либерал.ru

Исайя Берлин

История свободы

Россия

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Либеральный мыслитель, философ оксфордской школы, Исайя Берлин (1909–1997) совместил ясность британского либерализма с антиутопическими уроками русской истории. Его классические работы по политической теории и интеллектуальной истории объясняют XIX век и предсказывают XXI. Эта книга – второй том его сочинений (первый – «Философия свободы. Европа»), рисующих масштабную картину русской мысли. История свободы в России для Берлина – история осмысления этого понятия российскими интеллектуалами XIX–XX веков, жившими и творившими в условиях то большей, то меньшей несвободы. В книгу также включены воспоминания Берлина о его визите в СССР и встречах с А. Ахматовой и Б. Пастернаком.

- Исайя Берлин
  -
  - Предисловие
  - Рождение русской интеллигенции
  - Обязательства художника перед обществом
  - Герцен и Бакунин о свободе личности[82]
  - Отцы и дети: Тургенев и затруднения либералов[157]
  - Еж и лиса[252]
  - Толстой и просвещение
  - Русское народничество
  - Молчание в русской культуре
  - Генералиссимус Сталин и искусство властвовать
  - Литература и искусство в России при Сталине
  - Встречи с русскими писателями[379]
  - Советская интеллигенция
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187

- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231

- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275

- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319

- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363

- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403

Исайя Берлин
История свободы. Россия

© Isaiah Berlin, 1952, 1953, 1955,
© President and Fellows of Harward
© The Isaiah Berlin Trust, 1997, 2000
© А. Эткинд. Предисл., 2014
© Переводчики, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение». Оформление, 2014

Предисловие

Исайя Берлин (1909–1997) – один из немногих современных мыслителей, кто оказался прав. Его классические работы по политической теории и интеллектуальной истории объясняют XIX век и предсказывают XXI. Эта книга – второй том его неполного собрания сочинений в русском переводе. Первый том включал работы по политической философии, во втором собраны работы Берлина, посвященные русской интеллектуальной истории.

Как знает читатель первого тома, центральной идеей Берлина было «негативное» определение свободы как границы, окружающей индивида и гарантирующей его от любого вмешательства: старый британский идеал «мой дом – моя крепость», поднятый на уровень политической философии. Это не мешало ему ценить общение и сообщество, человеческую зависимость и национальную культуру. Олицетворяя общение культур, он любил следить за их отдельностью и своеобразием. Англичанин, русофил и сионист, Берлин очищал идею национальной культуры от злокачественных новообразований, которые она приобрела в XX веке. Сопротивление материала тем более интересовало его, что сам он воплощал его гибкость и чувствительность. Вико и Гердер, славянофилы и народники были его любимыми героями. В своем «переоткрытии» национализма как политической силы работа Берлина параллельна работе другого британского философа-эмигранта, Эрнеста Геллнера.

Исайя Берлин родился в Риге, а в Питере провел самые страшные годы, с 1916-го по 1920-й. Его взрослая жизнь прошла в сердце англосаксонской цивилизации и увенчалась славой по обе стороны океана, созданием нового колледжа в Окфорде, президентством в Британской академии наук. Но самые необычные его решения часто бывали связаны с его российским происхождением. Летом 1940 г. Берлин прервал карьеру окфордского философа ради дипломатической миссии в Москву. Его пригласил туда Гай Берджес, начинающий политик с богемной репутацией; позднее, когда он бежал в СССР, стало ясно, на кого он работал. К счастью Берлина, в тот раз миссия была отозвана, не доехав до Москвы. Военные годы Берлин провел в британском посольстве в Вашингтоне, составляя еженедельные обзоры того, как американская пресса освещает европейскую войну. По окончании войны Берлин летит в Москву, чтобы планировать послевоенные отношения с Советами[1].

12 ноября 1945 он приехал в Ленинград, где не был четверть века. Россия была для него миром идей и текстов, и первым

делом он разыскал книжный магазин. Оттуда он пришел к Ахматовой. Ночь, проведенная в разговорах, для обоих стала важнейшим из впечатлений. «Поэма без героя» называет Берлина «гостем из будущего», а ее величавый, затравленный автор всерьез считала ту встречу началом холодной войны. Оба позднейшие занятия Берлина – политическая теория и интеллектуальная история – несут отпечатки той встречи. Опыт духовного выживания в экстремальных условиях, не пережитый благодаря случаю, был примерен на себя темной ноябрьской ночью под ахматовское чтение Байрона. Практика внутренней эмиграции преобразилась в концепцию негативной свободы. Сострадание и возмущение выразились в безусловном, столь поучительном сегодня уважении к мыслящим людям русского прошлого.

В следующий раз он приедет в Питер перед смертью. В нем не было тоскливых чувств русского эмигранта, и его интерес к России не нуждался в посещениях. Не было в нем и авантюрного, извращенного влечения к левым идеям, характерного для британских интеллектуалов его поколения. Дипломатическая служба Берлина пришлась на годы мировой войны и на месяцы, предшествовавшие холодной войне. Его отвращение к советскому режиму вошло в центральные понятия его философии так же, как в его исторические работы. Не русские пейзажи с березками и горничными, но русские интеллигенты с их крайними идеями, роковыми надеждами и смертельными успехами были подлинным предметом его страстей. Его ближайшие коллеги верили, что делом философа является анализ языка вне личностей и политики. Берлин рассказывал о Герцене и Толстом, о национализме и утопии, о свободе человека и непредсказуемости истории. Читая лекцию в Белом Доме, он говорил о том, что русские тоже верили в свободу и что их страсть к идеям не имела себе равных в истории. Его двойной интерес к либерализму и национализму позволил ему вновь сделать увлекательными множество явлений русской мысли, от славянофильства до того, что его собеседник Борис Пастернак назвал в своем романе «политическим мистицизмом советской интеллигенции».

Любопытно сравнить занятия Берлина с интересами другого эмигранта, который достиг сходного успеха в англосаксонском мире – Владимира Набокова. Встречаясь в Гарварде, они наверняка оценили свои различия. Один был мастером вымысла, другой – мастером не-фикций; один писал и почти не говорил, другой говорил и почти не писал. Но оба считали либерализм символом веры, и оба занимались русским народничеством. Выбранные ими герои и созданные образы столь же различны,

сколь сходным был общий интерес: Набоков высмеял Чернышевского, Берлин возвеличил Герцена, и оба автора, возможно, превысили меру справедливости. Такова логика постреволюционной мысли: альтернативы надо искать не в плодах, а в корнях. Народничество было магистральной линией русской традиции, самой своеобразной ее стороной, глубинной причиной революции. Отказаться от народнической идеи значило заняться пересмотром всего русского наследства, прямиком возвращаясь к Пушкину и по дороге заглядывая разве что к Чехову. Из предшественников все это осознавал один Бердяев; из современников такое понимание зрело у Ахматовой и в последних работах Пастернака, а среди ученых только у Лидии Гинзбург. Сегодняшний читатель воспринимает середину русского XIX века через *Дар* Набокова. Работы Берлина, более сочувствующие своим героям, готовят следующий уровень понимания[2].

Эссе Берлина лишены нервности или полемичности, но это спокойствие обманчиво: он постоянно шел против течения. Ему мешали и он мешал; его успех – либерала среди социалистов, историка среди философов, русофила среди холодной войны – был неожидан и непредсказуем. Он умел говорить о фигурах непонятых, как Вико и Сорель, он причислял сюда и Герцена; забытых – как Гаман и Мозес Гесс, сегодня к ним можно причислить и Писарева; и о самых почитаемых, как Кант или Толстой. Он не искал своих идей у мыслителей прошлого; наоборот, он увлеченно писал о своих антилиберальных героях, как де Местр, Маркс или Бакунин. Свободный жанр его монографических очерков был ближе его героям из русской интеллигенции, чем его коллегам по Британской академии. Но его работы принадлежат к самым цитируемым источникам новой политической теории. В совсем другой области – не любящей споры славистике – его работы по народничеству задают непревзойденный образец исторического понимания. В отношении множества русских авторов, которыми занимался Берлин, у него не было ни сентиментальности, ни высокомерного всепрощения, характерных для западных исследователей его поколения. Плюралист в сфере ценностей, он был чужд безоценочному релятивизму в сфере идей. Он судил Самарина или Пастернака той же высокой мерой, с какой подходил к Макиавелли или к Остину.

В статье о рождении русской интеллигенции Берлин конструирует фигуру столь необычную, что его можно заподозрить в непережитом романтизме. «Интеллектуальный освободитель» не решает проблемы, но меняет их контекст и

смысл и, не забывая традиций и реальностей, открывает новые пространства для знания и действия. Для русских середины XIX века таким освободителем, считал Берлин, была германская метафизика. Для русских начала XXI века, прошедших старые и новые искусы, освобождающую роль сыграет англосаксонский либерализм с его ясностью языка, свежестью взгляда и бесконечным интересом к индивиду.

Александр Эткинд

Рождение русской интеллигенции

[3] [4]

I

…«Интеллигенция» – русское слово, оно придумано в XIX веке и обрело с тех пор общемировое значение. Сам же феномен со всеми его историческими, в полном смысле слова – революционными, последствиями, по-моему, представляет собой наиболее значительный и ни с чьим другим не сравнимый вклад России в социальную динамику.

Не следует путать интеллигенцию с интеллектуалами. Принадлежащие к первой считают, что связаны не просто интересами или идеями; они видят себя посвященными в некий орден, как бы пастырями в миру, назначенными нести особое понимание жизни, своего рода новое евангелие. Выход этих людей на историческую сцену требует некоторых пояснений.

II

Большинство историков России согласны в том, что начало глубочайшему социальному расколу между образованными слоями и «темным народом» в русской истории положил урон, нанесенный русскому обществу Петром Великим. В реформаторском пылу Петр отправил группку избранной молодежи на Запад, а когда те освоились с европейскими языками и различными новейшими искусствами и ремеслами, порожденными на свет научной революцией XVII столетия, призвал их назад, дабы поставить во главе того нового социального порядка, который в беспощадной и кровавой спешке навязал своей феодальной стране. Тем самым он создал замкнутый класс новых людей, наполовину русских, наполовину иностранцев, воспитанных за рубежом, хотя и русских по рождению. Они в свою очередь образовали замкнутую управленческую и чиновничью олигархию, стоящую над народом и не разделяющую с ним его прежнюю средневековую культуру, непоправимо от него отрезанную. Управлять гигантской и неповоротливой страной становилось все труднее, поскольку и социальные, и экономические условия России все разительней отличались от развивающегося Запада. Чем шире делался разрыв,

тем жестче и жестче становились репрессии со стороны правящей элиты. Крошечная группка правителей все дальше уходила от народа, которым была поставлена управлять.

Ритмика правления в России XVIII и начала XIX века складывалась из чередований репрессий и либерализации. Так, Екатерина Великая, почувствовав, что ярмо стало невыносимым (точнее, варварство начало уж слишком бросаться в глаза), ослабила жесткую узду деспотической власти, за что, соответственно, и была превознесена Вольтером и Гриммом. А когда за этим последовали слишком неожиданные сдвиги внутри страны и многочисленные протесты; когда многие образованные люди принялись сравнивать российские условия с западными, далеко не к чести первых, она почувствовала угрозу. Французская революция окончательно привела ее в ужас, и она возобновила прежний зажим. Власть вернулась к суровостям и репрессиям.

Мало чем отличалась в этом отношении и Александровская эпоха. Подавляющее большинство населения России оставалось в феодальной темноте, один на один с маломощным и, как правило, необразованным клиром, не пользующимся поэтому сколько-нибудь серьезным моральным авторитетом, а тем временем растущая армия вполне правоверных и зачастую весьма исполнительных чиновников душила все менее и менее покорную крестьянскую массу. В зазоре между угнетателями и угнетенными гнездился малочисленный класс образованных, говорящих в основном по-французски людей, ясно сознающих непомерный разрыв между воображаемой (а то и действительной) жизнью на Западе и жизнью их соотечественников. Но понимали они и другое: что изменить существующие условия крайне трудно, что сами они слишком тесно связаны с режимом, а реформы грозят поставить на голову всю структуру общества. Многие из них впадали в легко доступный цинизм квазивольтерьянского толка, одновременно подписываясь под либеральными принципами и поря слуг, либо ограничивались возвышенным, красноречивым и бесплодным разочарованием.

Все переменилось с вторжением Наполеона, в конце концов приведшего Россию в самое сердце Европы. В одно прекрасное утро Россия проснулась первым лицом на европейской сцене, сознавая свое грозное, подавляющее всех вокруг могущество и – не без ужаса и отвращения – воспринимаясь европейцами как величина не просто равная, но явно превосходящая их своей не знающей снисхождения силой.

Для истории идей в России победа над Наполеоном и вступление в Париж – события не меньшей жизненной важности, чем реформы Петра. Они породили у русских сознание

национального единства, самоощущение великой европейской страны, признанной в этом качестве и другими; теперь они больше не скопление варваров, отгороженных от мира китайской стеной, погруженных в средневековый мрак и то ли простодушно, то ли тупоумно повторяющих чужеземные образцы. Больше того, поскольку долгие годы войны с Наполеоном повлекли за собой заметное и постоянно растущее патриотическое воодушевление, а далее – как результат общей причастности к единому идеалу – и ширящееся чувство равенства всех сословий, в кругах идеалистически настроенной молодежи начали ощущать некую новую связь между собой и отечеством – связь, которую никогда не внушило бы полученное воспитание. А за ростом патриотически окрашенных национальных чувств последовал и неизбежный рост чувства ответственности за хаос, убожество, нищету, бесплодие, грубость и ужасающий беспорядок российской жизни. Общее чувство моральной уязвленности проникало даже в самые бесчувственные, наименее восприимчивые, намертво закоснелые сердца полуобразованных представителей правящего класса.

III

Повлияли на это коллективное чувство вины и некоторые другие факторы. В частности, выход России на европейскую сцену совпал (именно совпал, не более того) с подъемом романтизма. А один из ключевых пунктов романтического учения (и родственных ему учений о том, что история движется в соответствии с умопостигаемыми законами или образцами и нации представляют собой не просто скопление людей, но единые «организмы» и развиваются «органически», а не механически либо по воле случая) гласил: все в мире существует лишь там, тогда и постольку, поскольку соучаствует в движении к единой всемирной цели. Романтиков возбуждала мысль, что не только индивиды, но целые группы, и не только группы, но даже общественные институты – государства, церкви, профессиональные союзы и объединения, – на первый взгляд созданные для вполне определенных, зачастую явно утилитарных целей, воплощают в себе некий «дух», которого могут и не сознавать, поскольку осознание его и есть процесс просвещения.

Учение, по которому любой человек, любая страна, раса, институция имеют собственную неповторимую, индивидуальную, сокровенную цель, «органическую» составную часть более широкой и общей цели всех других, а осознание этой цели уже

само по себе становится соучастием в общем движении к свету и свободе, – эта светская версия древних религиозных верований глубоко вошла в умы российской молодежи и усваивалась охотнее под влиянием двух обстоятельств. Одно из них – физического, другое – духовного порядка.

Физической причиной послужило неодобрение, с каким режим начал относиться к путешествиям своих подданных во Францию, – в ней, особенно после 1830 года, стали видеть страну хронических революций, подверженную непрестанным переворотам, кровопролитию, насилию и хаосу. Напротив, Германия под пятой респектабельного деспотизма выглядела по контрасту вполне безобидно. А потому российскому юношеству охотно позволяли отправляться в германские университеты, где ему предстояло укрепиться в здоровых гражданских принципах, которые, как предполагалось, сделают молодых людей еще более верными слугами российского престола.

Результат получился обратный. Тайное франкофильство в Германии этой поры было настолько сильным, а просвещенные немцы отдавались идеям – на сей раз французского Просвещения – настолько горячей и самозабвеннее самих французов, что послушно отправлявшиеся в Германию юные русские Анахарсисы заражались опасными идеями куда серьезней, чем в старом Париже беззаботных лет Луи-Филиппа. Николаевский режим словно не замечал пропасти, в которую был обречен рухнуть.

Если первое обстоятельство послужило причиной романтических веяний, то второе – их прямым следствием. Поездившие по Германии или начитавшиеся немецких книг русские юноши утвердились в простой мысли: если Французская революция и последовавший за ней упадок – это, как старательно повторяли католики-ультрамонтаны во Франции и приверженцы национальной идеи в Германии, кара, ниспосланная народам, забывшим древнюю веру и ее обычаи, то русские совершенно не запятнаны подобными пороками и, что там о них ни говори, счастливо избегли революции. Романтически настроенные немецкие историки с особым рвением отстаивали мысль, будто Запад довели до упадка скепсис, рационализм, материализм, забвение собственных духовных традиций, тогда как избегнувшая этой печальной судьбы Германия – свежая и юная нация, чьи обычаи не тронуты разложением гибнущего Рима, страна, быть может, и варварская, зато полная неукротимой энергии и готовая принять наследие, выпавшее из слабеющих рук французов.

Русские попросту сделали следующий шаг. Они по справедливости рассудили: если молодость, варварство и

отсутствие воспитания – залог великого будущего, то у них куда больше прав на него, чем у тех же немцев. Соответственно, излияния немецкой романтической риторики относительно нерастраченных жизненных сил, сохраненного в целокупности и первобытной чистоте немецкого языка и молодой, неутомимой германской нации, противостоящих «нечистому», латинизированному, упадочному Западу, восприняли в России с понятным энтузиазмом. Больше того, это всколыхнуло целую волну общественного идеализма, между началом 20-х и началом 40-х годов захлестнувшего едва ли не все классы общества. Призвание человека – жертвовать собой ради идеала, которого взыскует его «суть». Научный рационализм, которому учили французские материалисты XVIII века, здесь не поможет ничем, поскольку нелепо думать, будто жизнь подчиняется законам механики. Еще худшая ошибка – полагать, что научная строгость, вынесенная из исследований неживой природы, применима к рациональному управлению людьми и к организации их жизни в мировом масштабе. Долг человека – совсем в другом: постигнуть основу, «ход», принцип всеобщей жизни, иными словами, проникнуть в душу мира (богословское и мистическое понятие, облаченное питомцами Шеллинга и Гегеля в рационалистскую терминологию), уяснить скрытый, «внутренний» строй мироздания, понять свое место в нем и действовать в согласии с этим.

Задача философа – прозревать ход истории, ее, выражаясь более туманным языком, «Идею» и различать пути человечества. История – огромная река, но направление ее могут предугадывать только люди с особым даром внутреннего, сокровенного зрения. Сколько ни наблюдай за внешним миром, ничто не подскажет, куда обращен этот подземный поток. Постигнуть это дано лишь тем, кто с ним заодно: и развитие индивида как разумного существа, и будущее самого общества зависят от того, насколько верно установлена духовная направленность более общего «организма», в который входит и данный индивид. На вопрос, как этот организм определить, что он, собственно, такое, разные основатели романтических течений в философии отвечали по-разному. Гердер связывал это единство с духовной культурой или жизненным укладом; римско-католические penseurs[5] отождествляли его с жизнью христианской церкви; Фихте несколько уклончиво, а Гегель вполне однозначно провозгласили, что это национальное государство.

Само представление об органическом методе спорило с тем, что излюбленный инструмент XVIII века – химический анализ составляющих мир частиц, мельчайших и далее несводимых

атомов будь то неживой материи, будь то общественных установлений – годится для постижения жизни. В центр выдвигалось новое понятие «роста» – новое, поскольку начало применяться далеко за пределами биологии. Чтобы уяснить сущность роста, нужно обладать особым внутренним чувством, способным постигать незримое царство, интуитивно схватывать бестелесное начало, в согласии с коим все вырастает именно таким, а не иным, и вырастает не просто через механическое умножение «мертвых» частиц, но благодаря таинственному жизненному процессу, который, соответственно, требует почти мистической прозорливости, особого ощущения жизненного потока изнутри, чувства самих движущих сил истории, зиждительных начал природы, искусства и связей между людьми – некоего творческого духа, неизвестного эмпирической науке и способного проникать в суть.

IV

Такова сердцевина политического романтизма от Берка до наших дней, кладезь бесчисленных пылких доводов против либеральных реформ и любых попыток врачевать общественное зло средствами разума, в которых усматривается «механический» взгляд на мир, не понимающий, что такое общество и как оно развивается. Программы французских энциклопедистов или преемников Лессинга в Германии вместе со многими другими смехотворными и прокрустовыми попытками свести общество к амальгаме неодушевленных частиц, к простому механизму, тогда как оно есть трепетное, живое целое, были бесповоротно отвергнуты.

Русские оказались весьма чувствительны к подобной пропаганде, увлекавшей по пути реакции и прогресса разом. С одной стороны, допускалась вера, что жизнь или история – это поток, которому бесполезно и даже опасно противиться и от которого не уйти. С ним можно только смешаться, по Гегелю – посредством дискурсивной, логической, рациональной деятельности Духа, по Шеллингу – благодаря интуиции и воображению, с помощью вдохновения, глубина которого есть мера человеческой одаренности и которому обязаны своим происхождением мифы и религии, искусство и наука. Это подталкивало к консерватизму, избегающему всего связанного с анализом, рациональностью, эмпирией, всего основанного на эксперименте и естественных дисциплинах. Но, с другой стороны, каждый был вправе провозглашать, будто чувствует в

окружающем родовые схватки, предвестие нового мира, борющегося за появление на свет. Вы чувствуете – а следовательно, знаете, – что короста отживших установлений рано или поздно треснет под неукротимым внутренним напором Духа. А доподлинно веруя в это, вы, как существо мыслящее, обязаны поставить на карту все и встать на сторону революционизирующей мир стихии, иначе она сметет вас. Все развивается, все движется вперед. И если будущее требует развала и гибели нашего внешнего мира ради новых форм существования, только безумец не отдаст свои силы этому неудержимому и бесповоротному процессу.

На этом немецкий романтизм, прежде всего гегелевской выучки, раскололся, двинувшись далее в двух разных направлениях и в самой Германии, и соответственно в России, следовавшей в умственных поисках за немецкой университетской мыслью. Но если на Западе подобные идеи распространялись уже много лет и философские, социальные, политические теории и мнения по меньшей мере с Ренессанса перемешивались и соединялись друг с другом, образуя самые разные сочетания и складываясь в общий процесс многосторонней интеллектуальной активности, где ни одна идея или точка зрения не могла претендовать на сколько-нибудь длительное превосходство, – в России все было совершенно иначе.

Одно из главных различий между областями, находившимися под эгидой западной и восточной церквей, в том, что последние не пережили Возрождения и Реформации. Балканские народы могли винить в своей отсталости турецких поработителей. Но не многим лучше было и положение России, где не сформировалось сколько-нибудь широкого слоя грамотных и образованных людей, которые через множество социальных и интеллектуальных промежуточных звеньев связали бы наиболее и наименее просвещенных. Пропасть между неграмотным крестьянством и умевшими читать и писать была в России много шире, чем в других европейских странах, если Россию того времени вообще можно причислять к Европе.

Поэтому объем и разнообразие социальных или политических идей в салонах Санкт-Петербурга и Москвы многократно уступали интеллектуальным кругам Парижа или Берлина. Культурной Меккой эпохи был, понятно, Париж. Но и Берлин, при всех репрессиях прусской цензуры, не отставал от него в накале интеллектуальных, теологических и художественных споров.

Ситуацию же России определяли три основных фактора. Во-первых, мертвая, гнетущая, лишенная воображения власть, занятая прежде всего удержанием своих подданных в подчинении

и отвергающая всякие попытки перемен, поскольку они могут повести к дальнейшим сдвигам, при том что более здравомыслящие представители верхов не могли хотя бы смутно не понимать, что реформа, и самая радикальная реформа, к примеру, крепостной системы, суда, образования в стране, не только желательна, но и просто неизбежна. Во-вторых, условия жизни широчайших масс российского населения – угнетенного, экономически обездоленного крестьянства, угрюмо и неразборчиво ворчащего, но, увы, слишком слабого и неорганизованного, чтобы сколько-нибудь эффективно отстаивать свои права действием. И, наконец, между ними двумя – тонкая прослойка образованного меньшинства, глубоко и порой уязвленно проникшегося западными идеями и переживающего танталовы муки при поездках в Европу и лицезрении растущей социальной и умственной активности в центрах тамошней культуры.

Рискну еще раз напомнить, что в воздухе и России и Германии носилась романтическая убежденность, будто каждый человек обязан исполнить свое неповторимое предназначение, разгадай он только, в чем оно состоит; это порождало общее упоение социальными и метафизическими идеями, – возможно, своего рода моральными заменителями ушедшей религии, – похожее на тот пыл, с каким философские системы и политические утопии провозглашались веком раньше во Франции и Германии людьми, взыскующими новой теодицеи, не запятнанной связями с опорочившим себя политическим или церковным истеблишментом. Но у образованных слоев в России к этому добавлялся еще и своеобразный моральный и умственный вакуум, вызванный отсутствием ренессансных традиций светского образования и поддерживаемый жесточайшей правительственной цензурой, повальной безграмотностью, а кроме того – недоверием и антипатией к любым идеям со стороны самолюбивой и в массе своей попросту безмозглой бюрократии. В подобных условиях идеи, соперничавшие в Европе с бесчисленными другими доктринами и позициями, добиваясь победы в суровой борьбе за выживание, в России западали в умы даровитых одиночек и нередко буквально подавляли их, зачастую просто потому, что никаких других способных утолить их умственные нужды идей под рукой не оказывалось. Больше того, в крупнейших городах Российской империи царил жесточайший, требующий любой умственной пищи интеллектуальный голод, а вместе с ним – не имевшая себе равных искренность (а то и обезоруживающая наивность) чувств, свежесть мысли, страстная решимость участвовать в решении судеб мира при весьма смутном

понимании социальных и политических проблем своей огромной страны и отсутствии каких бы то ни было связей между этим новым состоянием умов и окружающей их реальностью. Все, чем жила тогда мысль, как правило, завозилось из-за границы, и вряд ли хоть одна из ходовых в России XIX века политических или социальных идей родилась на отечественной почве. Может быть, лишь толстовский принцип непротивления злу так или иначе русский, – это до такой степени оригинальный вариант христианского учения, что в устах Толстого он возымел силу подлинно новой идеи. В целом же, насколько могу судить, Россия не внесла в сокровищницу человечества ни одной новой социальной или политической мысли: любую из них легко возвести не просто к западным корням, но к той или иной конкретной доктрине, исповедовавшейся на Западе восемью, десятью, а то и двадцатью годами раньше.

V

Итак, представьте себе крайне восприимчивое общество с невиданной способностью к усвоению понятий – понятий, которые пересекают границу самым что ни на есть случайным образом: один захватил с собой книгу или пачку брошюр из Парижа (либо отважный книготорговец чудом сумел их переслать), другой побывал на лекциях кого-то из неогегельянцев в Берлине, третий свел знакомство с друзьями Шеллинга или повстречал английского миссионера с необычными идеями. С прибытием нового «послания» того или иного из учеников Сен-Симона или Фурье, книги Прудона, Кабе или Леру, этих последних социальных мессий во Франции, либо идеи, приписанной Давиду Штраусу, Людвигу Фейербаху, Ламенне или какому-то иному позабытому автору, возникает настоящее столпотворение. Из-за скудости собственных идей любая мысль, даже простой осколок мысли воспринимаются с крайней жадностью. Социальные и экономические пророки Европы пылко веровали в новое, революционное будущее и заразили своими идеями российскую молодежь.

Распространяясь на Западе, подобные идеи порой возбуждают публику, в иных случаях подталкивая к образованию партии или секты приверженцев. Но большинство аудитории не расценивает их как истину в последней инстанции, и даже признающие кардинальную важность той или иной идеи не бросаются сломя голову воплощать ее в жизнь любыми подручными средствами. Русские же подвержены именно этому. Они убеждают себя, что

если посылки бесспорны и рассуждения верны, то бесспорны и следующие из них выводы; более того, если эти выводы диктуют неотложность и благотворность тех или иных действий, то прямой долг любого честного и серьезного человека – реализовать их по возможности скорее и полнее. Вопреки общепринятому мнению о России как стране мрачной, склонной к мистике и самомучительству, исступленной в вере, я бы скорее сказал, что русские – по крайней мере, судя по интеллигенции – куда больше западники, чем сами западные люди XIX века, и вместо приверженности иррационализму и невротической поглощенности собой в высшей, а то и попросту чрезмерной степени развили в себе способности рассудка, крайнюю логичность и однозначность мысли.

Конечно, как только образованные люди попытались реализовать эти утопические схемы на практике и первые же их шаги пресекла полиция, пришло разочарование, а вместе с ним – манера впадать то в бессильную меланхолию, то в необузданную ярость. Но это потом. На первой фазе господствовали не мистика и самопоглощенность, а, напротив, рассудок, вера в себя, нацеленность вовне и оптимизм. Кажется, знаменитый террорист Кравчинский обронил однажды, что каковы бы ни были свойства русских, но перед последствиями собственных рассуждений они не останавливались никогда. Углубляясь в российские «идеологии» XIX и даже XX века, рано или поздно видишь: чем эти последствия в целом непосильней, парадоксальней и невообразимей, тем с большей страстью и восторгом русские, по крайней мере некоторые, их воспринимают. Для них это лишний раз доказывает моральную искренность человека, его подлинную преданность истине, нешуточность его устремлений. И хотя последствия того или иного рассуждения могут prima facie показаться невероятными или даже прямо абсурдными, это не должно останавливать: все другое будет трусостью, слабостью или – того пуще – поисками удобства ценою истины. Герцен заметил однажды, что все мы большие начетчики и raisonneurs. К этой немецкой способности добавляется наш собственный национальный элемент, безжалостный, фанатически-сухой. Мы без колебания готовы идти до предела, даже за него, и вовсе не под влиянием диалектики, но лишь под диктовку самой истины…

Этот характерно горький приговор некоторым современникам по-своему справедлив для всех.

VI

Представьте себе далее группу молодых людей под цепенящим игом николаевского режима, людей со страстью к идеям, равной которой не найти в европейском обществе, буквально бросающихся на любую занесенную с Запада мысль в невероятном воодушевлении и строящих планы по немедленному претворению ее в жизнь, – и вы хотя бы отчасти поймете, какой была интеллигенция в самом начале. Ее составляла крохотная группа littérateurs, как профессионалов, так и любителей, понимающих, насколько они одиноки в безжалостном мире, где, с одной стороны, – жестокая власть самодуров, а с другой – абсолютно непросвещенная масса задавленных и неорганизованных крестьян и сознающих себя как бы авангардом разума, поднявшим всеобщее знамя ума и науки, свободы и лучшей жизни для всех.

Как путники в темном лесу, они чувствовали близость друг друга просто потому, что малочисленны и затеряны, слабы, преданы истине, искренни, непохожи на других. Больше того, они глубоко восприняли романтическое учение о том, что всякий человек призван исполнить миссию, которая превосходит эгоистические цели материального достатка; что, получив более высокое образование, нежели их угнетенные собратья, они обязаны помочь им выйти к свету; что этот прямой долг и связует их воедино, и если они исполнят его, как недвусмысленно требует от них история, будущее России окажется настолько же славным, насколько бесплодным и мрачным было ее прошлое, и именно в силу всего этого они обязаны хранить единство своего кружка посвященных. Они составляли гонимое меньшинство, черпавшее силы в самом факте своих гонений; они были скромными переносчиками европейского наследия, освобожденными от цепей невежества и предрассудков, темноты и малодушия тем или иным западным освободителем – немецким романтиком, французским социалистом, – который преобразил их взгляд на мир.

Нельзя сказать, чтобы подобный акт освобождения был вовсе не знаком интеллектуальной истории Европы. Освободитель – это человек, который не столько дает ответ на ваши вопросы – касаются ли они взглядов или поступков, – сколько преображает их: он кладет предел вашим волнениям и тревогам, перенося вас в новую систему координат, где прежние проблемы теряют смысл, а новые, лишь появившиеся, поддаются решению, отчасти предопределенному уже самим устройством нового мира, в котором вы теперь обретаетесь. Я хочу сказать, что получившие подобное освобождение из рук ренессансных гуманистов или philosophes XVIII века не просто считали, будто Платон или

Ньютон отвечают на их прежние вопросы точней Альберта Великого либо иезуитов, – нет, они по-другому видели мир. Вопросы, ставившие в тупик их предшественников, разом потеряли для них насущный смысл. Миг, когда старые цепи спадают и вы чувствуете себя заново рожденным, в корне переворачивает жизнь. Кто только не был в роли подобного освободителя. Вероятно, Вольтер освободил за свою жизнь больше людей, чем кто бы то ни было до и после него; позже освободителями выступили Шиллер, Кант, Милль, Ибсен, Ницше, Сэмюэл Батлер, Фрейд. Насколько я знаю, в наше время это удавалось Анатолю Франсу и даже Олдосу Хаксли.

Русских, о которых я веду речь, освободили великие немецкие метафизики. Они сняли с них цепи, во-первых, догм православной церкви, а во-вторых – сухих, рационалистических формул XVIII века, не столько опровергнутых, сколько дискредитированных крушением Французской революции. То, что внесли в жизнь Фихте, Гегель и Шеллинг вместе с их бесчисленными популяризаторами и толкователями, было своего рода конспектом новой религии. Под воздействием этой новой системы мыслительных координат сложилось, среди прочего, и российское понимание литературы.

VII

Есть, рискну сказать, два подхода к литературе и искусству. Небезынтересно было бы их сопоставить. Один я, чтобы не тратить слов, предложу назвать французским, другой – русским, хотя это, разумеется, всего лишь ярлыки, нужные мне для краткости и удобства. Надеюсь, меня не заподозрят в мысли, будто всякий французский писатель придерживается подхода, названного здесь «французским», а всякий русский – именуемого «русским». Предложенное различие не следует воспринимать буквально.

Французские писатели XIX века в общем и целом считали себя мастерами литературной выделки. Они исходили из того, что интеллектуалом или художником движет взятое перед собой и публикой обязательство делать то, что умеешь, по возможности лучше: художником – создавать самые прекрасные полотна, которые может, писателем – наилучшие романы, на какие способен. Прежде всего это обязанность перед собой, но того же самого ждет и публика. Если работа хороша, ее признают и автор достигает успеха. Если ему не хватило вкуса, умения или удачи, он успеха не достигает, вот и все.

С этой «французской» точки зрения частная жизнь художника касается публики не больше, чем частная жизнь столяра. Заказав столяру стол, никто ведь не интересуется, с добрыми или дурными намерениями тот за него взялся и хорошо или скверно относится он к жене и детям. Считать, будто стол этого мастера грешит либо хромает из-за того, что грешит либо хромает его нравственность, может только ханжа или попросту глупец, но в любом случае это самый диковинный способ охаивать достоинства столяра.

Подобный подход (который я, конечно, утрировал) с порога отверг бы любой сколько-нибудь значительный русский писатель XIX века, будь он отчетливым выразителем тех или иных социальных и моральных принципов либо эстетом, исповедующим «искусство для искусства». «Русский» подход к литературе (по крайней мере, последние сто лет) состоит в том, что человек един и разделен быть не может; нельзя даже предположить, будто он, с одной стороны, гражданин, а с другой – и совершенно независимо от первой – работает за плату, и это вещи совершенно разные. Невозможно и подумать, что любой из нас ведет себя на выборах, за мольбертом и в кругу семьи совершенно иначе. Человек неделим. Слова: «как художник я думаю так, а как избиратель – этак» – ложь; мало того, они аморальны и бесчестны. Человек един и во все, что ни делает, вкладывает себя целиком. Делать добро, служить истине и творить красоту – прямой долг человека. И служить истине он обязан на любом поприще. Романист – создавая романы, балетный танцовщик – своим танцем.

Эта идея цельности человека, его поглощенности одним – самая сердцевина романтического миропонимания. Моцарт и Гайдн, я думаю, немало бы подивились, узнав, что, как художники несут на себе особую печать святости, вознесены над прочими и без остатка отданы служению некоей запредельной реальности, уклониться от которого – смертный грех. Сами они смотрели на себя как на обыкновенных умельцев, а порой – как на вдохновленных свыше слуг Господа или Природы, пытающихся своими трудами славить, по мере сил, божественного Творца; но всегда и везде они прежде всего оставались музыкантами, пишущими на заказ и стремящимися сделать свои творения как можно мелодичней. В XIX веке распространилось представление о художнике как своего рода священном сосуде, неприкосновенном и наделенном неповторимой душой, неповторимым положением в мире. Родилось оно, по-моему, в Германии и связано с верой, будто каждый человек обязан полностью отдать себя служению цели, и обязанность эта в первую очередь возложена на

полностью принадлежащих другому миру художника и поэта, чья судьба высока и трагична, поскольку единственная возможность самоосуществиться для них – это целиком пожертвовать собой идеалу. В чем он – не так существенно. Важна беззаветность самопожертвования, отказ от всего ради внутреннего света (что бы он ни освещал) из самых чистых побуждений. Главное – побуждения.

Любой русский писатель чувствует себя выступающим перед публикой, как бы дающим показания на суде; а потому малейший промах с его стороны – обман, лукавство, снисходительность к себе – вырастает в чудовищное преступление. Работая за плату, он бы скорее всего не зависел от общества так жестко. Но, обращаясь к публике в качестве поэта, романиста, историка или в другой общественной роли, он принимает на себя всю полноту ответственности за то, куда зовет и ведет людей. А если в этом его призвание, тогда он связан своего рода Гиппократовой клятвой служить истине и ни на йоту не отклоняться от нее, без остатка посвятив себя избранной цели.

Есть недвусмысленные примеры, когда подобные принципы воспринимались с буквальной точностью и доводились до самых крайних последствий. Один из них – Толстой. Но сама эта тенденция в России гораздо шире толстовского случая. Назову хотя бы Тургенева, признанного всеми самым европейским из русских писателей, человека, верившего в чистое и независимое искусство куда сильней, нежели Достоевский или Толстой, автора, сознательно и последовательно уходившего от морализации и не раз получавшего от собратьев жестокий разнос за исключительную – и, как с сожалением отмечалось, явно западную – озабоченность эстетическими вопросами и поглощенность формой и стилем при недостаточном углублении в нравственную, духовную суть героев. Так вот, «эстет» Тургенев целиком и полностью убежден, будто социальные и моральные вопросы – главное и в жизни, и в искусстве и что понять их можно только в своем историческом контексте, в данных идеологических рамках.

Я немало удивился, прочитав в воскресной газете мнение известного литературного критика о Тургеневе, который, в отличие от других, будто бы слабо разбирался в расстановке общественных сил своего времени. Вот уж нет! Как раз наоборот. Возьмите любой тургеневский роман: речь там идет о совершенно отчетливых социальных и моральных проблемах, а люди действуют в обстоятельствах настолько конкретных, что их можно датировать с точностью до месяца. Да, Тургенев был до мозга костей художником и понимал общезначимые черты своих героев

и их человеческий удел, но этот факт не должен заслонять другого: он полностью признавал долг писателя перед публикой служить объективной истине – истине обстоятельств не меньше, чем характеров, – и никогда не уклонялся от него сам.

Докажи кто-нибудь, что Бальзак шпионил в пользу французского правительства, а Стендаль был замешан в биржевых махинациях, это известие, вероятно, опечалило бы их друзей, но вряд ли бросило бы тень на статус и дар самих художников. А вот среди русских авторов, будь они уличены в занятиях такого рода, вряд ли хоть один усомнился бы в том, что подобный поступок перечеркивает всю его писательскую деятельность. Даже не представляю себе русского писателя, который использовал бы в качестве алиби тот простой довод, что положение писателя – это одно, а частные дела индивида – другое и не надо их путать. Между «русским» и «французским» подходами к жизни и к искусству, как я их назвал, – непреодолимый разрыв. Не то чтобы каждый европейский писатель исповедовал идеал, который я приписываю французам, равно как и не всякий русский подписался бы под тем, что я именую «русским» миропониманием. Но в целом это разграничение, по-моему, не лишено смысла. Оно верно, даже если взять писателей эстетского крыла – скажем, русских лириков-символистов конца XIX и начала XX века, презирающих утилитарное, назидательное или «нечистое» искусство в любом виде, не испытывавших ни малейшего интереса к социальному анализу либо психологическому роману и воспринявших западный эстетизм, преувеличив его до outré[6]. Даже русские символисты не могли отречься от моральных обязательств. Они представляли себя эдакими пифиями на мистическом треножнике, прозревающими иную реальность, которую этот мир лишь смутно символизирует или неясно отражает, и – далекие от какого бы то ни было социального идеализма – тем не менее со всем моральным и духовным пылом веровали в свои священные обеты. Они были очевидцами таинства, служа идеалу, от которого, по законам своего искусства, не считали себя вправе уклониться. Это совершенно непохоже на флоберовскую формулу верности своему искусству, которая составляла для него и единственную реальную функцию художника, и наилучший способ всегда оставаться на пределе возможностей. Подход, который я называю «русским», – всегда и прежде всего моральный: жизнь и искусство для него одно, в этом и состоит его суть. Не надо путать его с подчинением искусства той или иной утилитарной цели, хотя иные из русских писателей к этому склонялись. В целом люди, о которых я веду речь – люди 30-х и 40-х годов, – решительно не

согласились бы с тем, что дело романов и стихов – учить человека быть лучше. Взлет утилитаризма наступил много позже, и проповедовали его умы куда более плоские и жесткие.

Большинство типичных русских писателей верили в то, что писатель – это прежде всего человек и как таковой всегда и напрямую ответствен за любые свои слова, сказаны ли они в частном письме, публичной речи или дружеской беседе. Подобный взгляд на вещи в свою очередь оказал потом серьезное воздействие на западные теории об отношениях между искусством и жизнью, составив заметный вклад русской интеллигенции в историю мысли. Хорош он или плох, сильнейшее влияние его на умы европейцев отрицать невозможно.

VIII

В эпоху, о которой идет речь, в сознании молодой России господствовали Гегель и гегельянство. Со всем имевшимся у них моральным пылом эмансипированные юноши уверовали в свой долг с головой погрузиться в гегелевскую философию. Гегель был великим освободителем новейшего времени, а посему каждому предписывалось – и предписывалось категорически! – в любом жизненном шаге, будь он шагом частного лица или писателя, воплощать истину, почерпнутую у германского пророка. Эту преданность – с таким же пылом перенесенную позже на Дарвина, потом на Спенсера, а затем на Маркса – непросто почувствовать тому, кто не читал пламенной тогдашней словесности, и прежде всего – литературной переписки. Для иллюстрации позвольте мне привести хотя бы несколько иронических пассажей из Герцена, написанных в ту пору, когда он, оглядываясь на пройденный путь, воскрешал в памяти атмосферу своей юности. Картина, как нередко бывает у нашего несравненного сатирика, в чем-то утрирована, порой даже карикатурна и тем не менее замечательно передает дух времени.

После слов о полной несовместимости созерцательного отношения к жизни с русским характером Герцен повествует о судьбах занесенной в Россию гегелевской философии:

«…Нет параграфа во всех трех частях “Логики”, в двух “Эстетики”, “Энциклопедии” и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении “перехватывающего духа”, принимали за обиды мнения об “абсолютной личности и о ее *по себе бытии*”. Все

ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах, немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он, – так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге… если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их *покупали*.

…Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это “птичьим языком”. Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: “Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”»[7].

Не стоит воспринимать иронические сентенции Герцена буквально. Но в них живо видна та взвинченная интеллектуальная атмосфера, которой дышали его друзья.

А теперь позвольте предложить вам отрывок из Анненкова, из его великолепного эссе под названием «Замечательное десятилетие»… Он дает несколько иную картину жизни тех же самых людей в то же самое время, и ее стоит привести хотя бы для того, чтобы скорректировать забавный набросок Герцена, по которому – и несправедливо! – может показаться, будто бы вся тогдашняя умственная активность сводилась к совершенно бессмысленной тарабарщине смехотворной группки неуемных молодых интеллектуалов. Анненков описывает жизнь за городом, на даче в Соколово, которую ведут летом 1845 года трое друзей – преподаватель истории в Московском университете Грановский, известный переводчик Кетчер и сам Герцен, в ту пору богатый молодой человек без определенных занятий, как-то связанный с государственной службой. Они снимают дом для того, чтобы собирать в нем друзей и предаваться вечерами интеллектуальным беседам.

«…Не позволялось только одного – быть ограниченным человеком. Не то чтоб там требовались непременно эффектные речи и проблески блестящих способностей вообще; наоборот, труженики, поглощенные исключительно своими специальными

занятиями, чествовались там очень высоко – но необходим был известный уровень мысли и некоторое достоинство характера… круг берег себя от соприкосновения с нечистыми элементами… и приходил в беспокойство при всяком, даже случайном и отдаленном напоминании о них. Он не удалялся от света, но стоял особняком от него, – потому и обращал на себя внимание, но вследствие именно этого положения в среде его развилась особенная чуткость ко всему искусственному, фальшивому. Всякое проявление сомнительного чувства, лукавого слова, пустой фразы, лживого заверения угадывалось им тотчас и… вызывало бурю насмешек, иронии, беспощадных обличений… круг этот… походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял, по какому-то соглашению, никем, в сущности… не возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими»[8].

IX

Тип описанного Анненковым сообщества, при всем налете ограниченности и самодовольства, кристаллизуется всюду (в Блумсбери или любом ином месте), где есть интеллектуальное меньшинство, которое чувствует себя отделенным собственными идеалами от окружающего мира и старается сохранить известный умственный и нравственный уровень хотя бы между своими. Это и делали описанные выше русские в 1838–1848 годах. Положение их в России отличалось от прочих уже тем, что все они вместе не принадлежали автоматически ни к одному из существовавших классов, хотя к низкородным могли причислить себя лишь некоторые. В целом же они происходили из благородного, хотя и скромного, сословия, иначе у них не было бы почти никаких шансов получить подобающее, то бишь европейское, образование.

В отношениях друг с другом они были совершенно свободны от буржуазной скованности. Богатство их не впечатляло, не тяготила и бедность. Успех тоже не манил, да они его, в большинстве своем, так и не изведали. Почти никто из них не стал сколько-нибудь признанным в общесветском значении слова. Часть отправилась в ссылку, нескольких оставили на университетской кафедре под присмотром царской полиции, иные сделались полунищими литературными поденщиками или переводчиками, некоторые попросту исчезли из виду. Один-

другой покинули ряды движения и прослыли ренегатами. Таким оказался, к примеру, Михаил Катков, одаренный журналист и писатель, поначалу входивший в кружок, а затем перешедший на службу царскому правительству; таким оказался и Василий Боткин, близкий друг Белинского и Тургенева, начинавший философствующим чаеторговцем, а кончивший через много лет одиозным реакционером. Но подобные исключения пересчитывали по пальцам.

…В целом этих людей отличало обостренное чувство литературной и нравственной солидарности, рождавшее у них ощущение подлинного богатства и единой цели, не сравнимое ни с каким другим обществом в России. И встречавший позже многих знаменитых людей, выделявшийся критичностью и нетерпимостью взглядов, часто весьма сардонически и даже цинично судивший об окружающих Герцен, и немало поездивший по Западной Европе, имевший пестрые знакомства среди звезд своего времени Анненков – оба эти знатока людей признавались позднее, что никогда в жизни не встречали потом общества столь цивилизованного, веселого и свободного, столь просвещенного, раскованного и приятного, столь искреннего, остроумного, одаренного и притягательного, как кружок их юных лет.

Обязательства художника перед обществом

[9]

Русский вклад в мировую культуру

Я ставлю перед собой двоякую задачу: во-первых, наглядно проиллюстрировать одно явление современной культурной истории, весьма, на мой взгляд, интересное и важное, но – вероятно, ввиду своей излишней самоочевидности – не слишком замеченное; и, во-вторых, защитить по мере сил некоторых духовных отцов русской либеральной интеллигенции от несправедливого, но весьма привычного обвинения в том, будто они вольно или невольно ковали цепи, уготованные советским творческим людям, прежде всего писателям. Позвольте начать с первого из этих тезисов.

I

В XIX веке многие русские критики отмечали, что всякая более или менее значимая для русской мысли идея, если не учитывать сферу естествознания и других специальных дисциплин, всякая идея общего плана приходила из-за границы; что на русской почве не родилось ни одной философской или исторической, общественной или художественной доктрины либо тенденции, которая оказалась бы жизнеспособной. С этим положением я в принципе согласен; но более интересным мне представляется тот факт, что все эти идеи, каково бы ни было их происхождение, падали в России на столь гостеприимную, столь плодородную духовную почву, что вскоре разрастались пышными, бескрайними зарослями и таким образом преображались.

Исторические причины хорошо известны. Поскольку в первой половине XIX века образованные люди в России были малочисленны и находились в культурной изоляции от основной массы населения, этому меньшинству приходилось искать духовную пищу за пределами родины; оно жаждало идей – любых идей; его пылу способствовало множество факторов: медленное, но верное распространение просвещения, которое в итоге стало доступно и слоям недовольных режимом; знакомство с идеями

западных либералов посредством книг и «салонов», а больше – благодаря поездкам на Запад, особенно после похода победоносных армий на Париж в 1814–1815 годах; метания в поисках веры или идеологии, которая заполнила бы вакуум на месте ветшающей религии и все более вопиющего несоответствия откровенно средневекового абсолютизма потребностям «развивающейся» страны. Но первостепенную роль тут играли мучительные искания ответа на «социальный вопрос» – лекарства для язвы, вызванной существованием огромной пропасти между привилегированными, образованными людьми и широкими массами их угнетенных, нищих и неграмотных братьев, чье положение пробуждало в человеческом сердце и гнев, и нестерпимую личную вину.

Все это достаточно знакомо; я же привлеку внимание к тому, что отсталые в культурном плане регионы часто принимают новые идеи со страстным, порой некритическим энтузиазмом и вкладывают в них такие эмоции, такую надежду и веру, что в своем обновленном, концентрированном, упрощенном до примитива варианте идеи эти становятся гораздо величественнее, чем раньше на своей родине, где их со всех сторон толкали и теснили другие доктрины и среди множества течений не было ни одного неопровержимого. Соприкоснувшись с неистощимым русским воображением, воспринятые всерьез людьми, чей принцип – проводить свои воззрения в жизнь, некоторые из этих идей, преображенные, напоенные живительной силой, вернулись на Запад и оказали на него огромное влияние. Оставив родину в форме светских, теоретических, абстрактных доктрин, они вернулись пламенными, сектантскими, квазирелигиозными верованиями. Такова была, к примеру, судьба поклонения народу: оно восходит к Гердеру и немцам, но, лишь обрядившись в русские одежды, вырвалось за пределы Центральной Европы и стало в наше время взрывоопасным движением мирового масштаба; так было и с историцизмом, особенно в его марксистском варианте; еще более яркий пример – идея коммунистической партии, которая, будучи прямым логическим продолжением принципов, сформулированных Марксом и Энгельсом, лишь в руках Ленина превратилась в такое орудие, какое и не снилось ее основоположникам.

Вышеописанное явление мне хотелось бы назвать «рикошетом» или «эффектом бумеранга». Затрудняюсь сказать, есть ли у него равнозначные параллели в истории: греческий стоицизм, преобразованный римлянами, не вернулся, чтобы преобразовать родной мир Восточного Средиземноморья; не выдерживает критики и мысль о том, что влияние Америки на

мир вылилось в повторное завоевание Европы идеями Локка и Монтескье, общим правом и доктринами пуритан. Скорее, на мой взгляд, во взаимодействии России и Запада есть что-то свое, неповторимое, особое, хотя, несомненно, особый эффект от интервенции западных идей в культурно отсталые страны сам по себе не уникален и вполне известен. Мне хотелось бы рассмотреть одно из проявлений этого эффекта, а именно – феномен обязательств художника, прежде всего литератора, перед обществом, который в России XIX века именовался «направлением», а позднее получил название «engagement» («ангажированность»). Феномен этот сыграл определяющую роль чуть ли не для всех направлений русской мысли и искусства и, сделав их своим проводником, оказал сильнейшее воздействие на весь остальной мир, хотя ныне пик его влияния, возможно, уже в прошлом.

Разумеется, сама мысль, что художник несет социальную ответственность – ответственность перед обществом, появилась очень давно. Платон, который, видимо, первым из европейских писателей поднял этот вопрос (как и многие другие из основных вопросов, и доныне будоражащих Запад), считал, что ответ на него очевиден. В диалоге «Ион» поэт – вдохновенный пророк, знающий истину и возглашающий ее под влиянием сверхъестественных сил. В «Государстве» поэт – талантливый лжец, причиняющий вред. И в том, и в другом случае важная роль поэта для социума не отрицается. Позднее, в классическом Средневековье, никто, насколько мне известно, тоже открыто не отрицал и не преуменьшал могущество и ответственность художника. Писатель, а точнее, любой творец, был либо учителем добродетелей, либо одописцем, прославляющим заказчика или правящий режим, либо потешником, который услаждает публику, либо вдохновенным провидцем, либо, в самом худшем случае, ремесленником, сообщающим полезные знания или произносящим полезные слова. Даже в эпоху Ренессанса, которая не была склонна к утилитарным доктринам, самым высоким положением, на какое мог претендовать художник, был статус полубога (sicut deus), поскольку художник творит свой мир рядом с Божьим миром, одушевляет свое творение, вкладывая в него свою творческую душу, как Бог одушевляет реальный мир. Творчество есть чудо, ибо оно – один из способов единения с anima mundi[10], которая, согласно доктрине христианского неоплатонизма, одушевляет вселенную и движет ею. Данте, Тассо, Мильтон в глазах своих почитателей (а возможно, и в своих собственных) были боговдохновенными пророками. В других видели потешников, призванных нас развлекать, – так,

вероятно, относились к себе Боккаччо, Рабле, Шекспир. Искусство всегда подчинено какой-то внешней, высшей цели: оно должно сообщать истину, учить, тешить, исцелять, переделывать людей или служить Богу, приукрашивая сотворенную им вселенную и подвигая сердца и умы на исполнение Божьих (или природных) замыслов.

Доктрина искусства ради искусства и сопутствующее ей отрицание социальной ответственности или функции художника – учение о том, что художник творит, как птичка поет на ветке и как распускается цветок, судя по всему, без какой бы то ни было внешней надобности, и следовательно, художник – дитя природы, имеющее право, если ему угодно, не обращать внимания на окружающие его сомнительные людские конструкции, – короче, мысль о том, что существование искусства оправдывает само искусство, достаточно поздняя и возникла как реакция на старое, традиционное воззрение, которое начало стеснять людей или, во всяком случае, утратило убедительность. Сама концепция цели, преследуемой исключительно ради нее самой, отсутствует, насколько мне известно, и в античном мире, и за его пределами, в великих религиозных учениях Запада. Вселенная и деятельность человека в оной воспринимаются как составная часть промыслительного замысла, сценария, который всегда мыслится как единый и всеобщий при всем несходстве конкретных концепций в разных культурах: для одних это гармония вне пространства и времени, для других – космическая драма, движущаяся к некоей апокалиптической или запредельной кульминации. Переходя с теологического на гуманистический язык, можно сказать, что это могут быть искания счастья, или истины, или знания, или справедливости, или любви, или раскрытие творческого потенциала в человеке – словом, любой грандиозный монистический план полной самореализации. Идея, что к некоей цели можно стремиться ради самой этой цели, не думая о последствиях, не заботясь о согласованности этих усилий с другими действиями, с естественным порядком вещей или с устройством мира, возникает в русле одного из течений протестантизма (и, возможно, иудаизма), которое впервые открыто оформилось в Германии в XVIII веке, еще до Канта. Как только был провозглашен принцип долга во имя долга, чары всеобщности рассеялись и приятие плюрализма независимых друг от друга, а то и несовместимых целей стало возможно как идеология. Красота ради красоты, власть ради власти, удовольствие, слава, знание, самовыражение индивида, чья личность и чей темперамент уникальны, – все эти понятия (или их противоположности) теперь могли мыслиться как самоцели,

независимые друг от друга. К ним следовало стремиться не потому, будто они имели объективный статус необходимых ингредиентов некоего общепризнанного предназначения человека, но потому, что это твои личные, собственные цели – цели данного индивида, данной нации, данной церкви, данной культуры, данной расы. Все большая популярность индивидуального и коллективного самовыражения, а не поиски объективной истины, при которых искатель играет подчиненную роль, – это сердцевина романтизма и национализма, элитаризма и анархизма с культом народа.

На такой почве и произросла со временем доктрина искусства ради искусства. Сила родилась как протест художника против попыток привязать его к какой-то внешней цели, которую он находит чуждой, стесняющей либо унизительной. Такова позиция Канта, Гете, Шеллинга, Шлегелей. Антиутилитаристская и антифилистерская, она направлена против попыток якобинцев, Директории или Наполеона мобилизовывать художников на службу государству и, что было особенно характерно для времен Реставрации, обуздывать крамольные идеи, направляя мысль и искусство в желательное с точки зрения политики или религии русло. После 1830 года эта доктрина принимает форму страстных выпадов против коммерциализации искусства, против диктата буржуазного потребителя, против взгляда на художника как на поставщика массовой продукции; она помогает резко осудить тех, кто предлагает ему продать свои принципы, дар и независимость за деньги, славу, популярность или покровительство властей. Романтический бунт против единообразия, законов, дисциплины, подчинения любым правилам, кроме свободно избранных (а то и спонтанно придуманных творческой личностью), сливается с обличением грубых нивелирующих процессов индустриализации и их последствий – регламентации жизни, деградации и дегуманизации людей. Герой мифологии протеста выступает в образе художника-одиночки, который живет по-настоящему лишь в своем внутреннем мире, в творчестве. Это Чаттертон, Ленц[11], Бетховен, Байрон – люди, с презрительным или вызывающим видом стоящие перед сплоченными рядами врагов искусства и культуры: перед развращенной, филистерствующей публикой, варварской чернью, церквями, полицией, солдафонами-военными. Представители экстремального крыла «чистых» обрушивались даже на таких львов романтизма, как Вальтер Скотт, Бальзак, Гюго, которые, по их мнению, предали свое священное призвание и проституируют искусство в угоду массовым вкусам, сочиняя, подобно каким-нибудь Дюма и Эжену Сю, ради славы или денег.

Философскую базу подо все это подводили критики и

профессора, очарованные кантовским тезисом о том, что необходимое условие всех величайших добродетелей – истины, добра, красоты – это бескорыстие. Такая мысль красной нитью проходит через учение парижских законодателей: Саси, Катрмера де Кинси, позднее – Кузена, Жоффруа и в особенности Бенжамена Констана, воспринимавшего якобинский террор и нивелировку человеческих индивидуальностей как истинный кошмар и заговорившего об «искусстве для искусства» еще в 1804 году. Вначале врагом свободного художника был истеблишмент – государство, церковь, рынок, традиция, но вскоре открылся и второй фронт, слева: угроза художнику возникла со стороны ранних коллективистских движений, вдохновленных идеями Сен-Симона и Фурье, которые от нападок на безответственность фривольного, гедонистического XVIII века перешли к обличению тех, кто продолжал эту линию в веке XIX. Шиллер писал, что в раздробленном обществе, где люди оторвались от своих истинных, полноценных душ, когда-то гармоничных и цельных, именно искусство призвано отомстить за оскорбленную природу и сделать так, чтобы люди и целые общества вновь обрели себя. Только искусство, только воображение в силах врачевать раны, нанесенные разделением труда, специализацией функций, развитием массового общества, все усиливающимся уподоблением человека машине.

Таким образом, теперь функция искусства состоит в том, чтобы исцелять, чтобы заново творить неискалеченных людей. К этой руссоистской позиции – к пониманию искусства как Bildung[12], как формирования полноценного человека – склонялся даже Гете, ненавидевший все, в чем есть хоть капля утилитарности. Еще дальше пошел Сен-Симон. Глупость, невежество, безответственность, праздность – вот причины великой катастрофы якобинского террора, этого триумфа темных сил, когда звероподобная чернь сокрушала разум и гений. Одного здравомыслия и даже гениальности еще недостаточно. Общество надо перестроить на новой, «непоколебимой», рациональной основе, созданной специалистами по общественной жизни – людьми, постигшими природу и цели социальных процессов; и важнейшая роль в этой мирной реконструкции общества отведена художникам. Если художник участвует в сотворении нового рационального общества, это вовсе не значит, что он подчиняет свое творчество какой-то чуждой цели.

Сенсимонисты первыми из мыслителей выработали что-то вроде связной доктрины или всеобъемлющей идеологии. Искусство, учили они, не что иное, как общение; оно призвано выражать сознательные представления человека о его

потребностях и идеалах, обусловленные представлениями класса, к которому он принадлежит. Эти коллективные представления в свою очередь обусловлены тем, на какой стадии научно-технического развития находится общество, часть которого – данный класс. Поскольку, выражая некую мысль при помощи слов или каких-либо других средств коммуникации, мы неизбежно пытаемся убедить, призвать к действиям, заклеймить, разоблачить или предостеречь кого-то, пропагандировать некие конкретные убеждения, надо осознать этот факт и поставить его на службу целостному жизненному идеалу, опирающемуся на истинное, то есть научное, понимание исторического процесса. Только за счет этого можно определить истинные цели данного общества и распределить между теми или иными индивидами либо группами людей приличествующие им роли, необходимые, чтобы вырваться из плена иллюзий, разоблачить ложных пророков и тем самым максимально реализовать свой потенциал в социальном контексте, где люди в любом случае вынуждены действовать и жить. Эту доктрину позднее переработали, развили и кодифицировали разные школы марксизма. Вполне естественно, что для учеников Сен-Симона, занимавшихся функцией искусства (прежде всего Буше, Пьера Леру и их единомышленников), оторванность от социальных проблем или нейтральное отношение к ним были не только знаком поверхностности или эгоизма, но и нравственной (точнее, безнравственной) позицией. За ней они видели презрение к идеалам, которые художник игнорирует или отрицает либо неспособен их узреть по трусости, по слабости, по нравственной испорченности, не позволяющей ему взглянуть в лицо социальной реальности своего времени и соответственно действовать[13].

Вот кредо европейских радикалов 30-х годов XIX века. Ради него они и нападали на литературу века XVIII; Карлейль, ее самый яростный и вызывающе известный критик, был далеко не одинок в своих обличениях. «Молодая Франция», «Молодая Германия», «Молодая Италия», даже англичане Вордсворт и Колридж – а тем более Шелли – с головой уходили в религию искусства, понимаемого как способ спасения, личного и политического, общественного и частного. Искусство – священная миссия духовно одаренных существ – поэтов, мыслителей, провидцев, которые, как учил Шеллинг, наделены способностью интуитивно понимать реальность глубже, чем ученые, политики или заурядные филистеры-буржуа. Вытекающая отсюда идея социальной ответственности в 30-е годы XIX века стала основным аргументом тех, кто нападал слева на доктрину, гласящую, что без абсолютной независимости художник – пустое место, что он

должен посвятить себя свету, горящему в его душе, и больше ничему. Неважно, видят ли этот свет окружающие и имеет ли он для поборников традиции социальное, нравственное, религиозное или политическое значение.

Именно против этого взгляда на художника как на жреца общественной религии, а также против более грубых попыток навязать ему социальный конформизм направлена знаменитая диатриба самого красноречивого защитника новой доктрины «искусства для искусства» – поэта и прозаика Теофиля Готье. Мы находим ее в знаменитом «Предисловии» Готье к его роману «Мадемуазель де Мопен»:

«Нет, глупцы, нет, зобастые недоумки, книга – это тарелка супа, роман – это вам не пара сапог, сонет – не клистирная трубка, драма – не железная дорога. Она никак не связана с достижениями цивилизации, ведущими человечество по стезе прогресса.

Нет, клянусь кишками всех прежних, нынешних и грядущих пап: нет и нет!

Из метонимии не сошьешь ночного колпака, сравнение не напялишь на ногу вместо домашней туфли, антитезой не прикроешься вместо зонтика. Втайне я глубоко убежден, что ода – слишком легкое платье на зиму…»[14]

Хотя филиппика Готье направлена против всех форм позитивизма, утилитаризма, социализма и в особенности против того, что в его времена именовалось «реализмом», а позднее – «натурализмом», она была всего лишь самым громким залпом в битве, которая, начавшись в те дни, не утихает и теперь. Настоятельные утверждения, что искусство – не искусство, если оно не бесполезно; что красота – сама себе цель и оправдание, и это верно не только для красоты, но и для безобразия, для абсурда, для всего, что выходит за пределы «juste milieu»[15] Июльской монархии и не принадлежит к миру банкиров, промышленников, аферистов, карьеристов либо тупого или развращенного конформистского большинства; что использовать искусство как социальное или политическое орудие для достижения посторонних ему целей – значит его проституировать… – утверждения эти поддерживали Мюссе, Мериме, а в последние годы жизни и Гейне, который, несмотря на свой сенсимонистский период и радикальную юность, приберег некоторые из своих горчайших насмешек для тех, кто призывал мобилизовать искусство на службу политическим надобностям. Флобер и Бодлер, Мопассан и Гонкуры, парнасцы и эстеты боролись под этим флагом с пропагандистами социальной ответственности – с проповедниками и пророками,

натуралистами, социалистами, моралистами, националистами, клерикалами, романтичными утопистами. Однако самое страстное, а сейчас и самое важное наступление на доктрину «чистого искусства» осуществили те, кто явился на этот пир с опозданием, неотесанные варвары из-за восточных болот – русские писатели и русские критики, еще совершенно неизвестные на Западе.

II

В свое время Россия тоже прельстилась обаянием доктрины «искусства для искусства». В 1830 году Пушкин в своем замечательном стихотворении «Поэту» пишет: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»[16]. Кроме того, он заявляет: «Цель поэзии – поэзия – как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все невпопад»[17]. Эта позиция (самый знаменитый пример ее, несомненно, кредо поэта в стихотворении «Поэт и чернь») имеет силу не только для Пушкина, но и для всей блестящей плеяды его товарищей: аристократов, дилетантов, рожденных в XVIII веке и, как правило, уходящих в него корнями. Их сочувствие декабристам в большинстве случаев – если не считать Рылеева и, возможно, Кюхельбекера – не сформировало у них идеалов социально ответственного искусства. Для сравнения приведем слова, написанные спустя несколько лет после смерти Пушкина Белинским, который, что бы о нем ни говорили, выражал мнение целого слоя русского общества:

«Никто, кроме людей ограниченных и духовно малолетных, не обязывает поэта воспевать непременно гимны добродетели и карать сатирою порок; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов»[18].

Вот первый выстрел сражения, во время которого были нащупаны проблемы глубочайшей важности, сражения, которое продолжается и сегодня. В своих мемуарах Тургенев рисует забавный и трогательный портрет Белинского, который, меряя шагами комнату, декламирует строки Пушкина – презрительное обращение поэта к черни: «Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь!»[19] «– И конечно, – твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, – конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, – и прежде чем любоваться красотой истукана –

будь он распрефидиасовский Аполлон, – мое право, моя обязанность накормить своих – и себя, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам!»[20] Яростное неприятие эстетизма, свойственное Белинскому в 40-х годах XIX века, как это часто случается, было мучительным радикальным отречением от его собственных былых убеждений. Когда-то он разделял мнение Фихте (в своем понимании), а до и после «фихтеанского периода» – Шеллинга, что суть искусства – это высвобождение человеком своего «я», это побег духа из эмпирической реальности в чистую сферу духовной свободы, где человеческая душа сможет созерцать идеал, который отражают души даже самых низменных созданий. Способность подняться до такого прозрения, избыв зрелище хаоса, уродства, борьбы, подняться над всеми этими случайностями обыденного мира, над чувственными ощущениями дарована элите вольных духом, тем, кому дано созерцать истинную реальность.

В конце 30-х годов статьи Белинского исполнены страстного, фанатичного, неоплатонического эстетизма, преломившегося в Шеллинге и преподанного Белинскому (который плохо знал немецкий) его менторами Станкевичем и Бакуниным. В 1839 или 1840 году Белинский ценой сильнейших душевных страданий обращается в гегелианский квиетизм, но это не слишком отразилось на его воззрении, будто всякое подлинное искусство независимо и само себя оправдывает. Если «все действительное разумно»; если (как считал предтеча Гегеля Поуп) всякое зло – лишь ложно понятое добро; если понять что-то означает постичь его рациональную необходимость и, следовательно, найти ему оправдание; если действительность постижима как всеобъемлющая матрица развития духа, в свете которой то, что близорукому глазу кажется грубым, уродливым, несправедливым, отвратительным, при взгляде с иной, возвышенной точки окажется необходимой составляющей более широкой гармонии, достигаемой нравственным духом в его диалектическом восхождении (то есть постоянных усилиях духа постичь как себя, так и внешний мир, который не что иное, как истинное «я» духа, оторванное и отчужденное от самого себя) – если все именно так, тогда любой протест против устройства общества, любая попытка воспользоваться искусством, чтобы побыстрей улучшить человеческую жизнь, – вульгарность, близорукость, ребячество, преждевременное и нецелесообразное действие, ложное представление о глубинных интересах человеческого духа. Именно поэтому Белинский сурово критикует ранние пьесы Шиллера, а также Виктора Гюго (который после запрета его драмы «Король забавляется» переметнулся из правого в левое

крыло оппозиции), Жорж Санд, Леру и всю французскую школу социальной критики и социального искусства. В том же (несколько беркеанском) духе он громит Грибоедова вкупе с другими русскими критиками и сатириками, которые не смогли вознестись на ту высоту, откуда рациональный дух зрит, почему все должно быть так, как оно есть, почему неразумно желание все переделать за одну ночь по ребячески утопической, капризной, субъективной прихоти. Содержание истинной поэзии, утверждает Белинский в 1840 году, «не вопросы дня, а вопросы веков, не интересы страны, а интересы мира, не участь партий, а судьбы человечества»[21]. В той же статье он пишет, что искусство «служит обществу, выражая его же собственное сознание…; но оно же служит обществу не как что-нибудь для него существующее, а как нечто существующее по себе и для себя, в самом себе имеющее свою цель и свою причину»[22]. Тут нет ничего, что могли бы оспорить Готье или Флобер. Сходных воззрений в тот период помимо Белинского придерживались и члены философского кружка, сложившегося вокруг Станкевича (которому оставалось жить меньше года), – и Тургенев, и Бакунин, и Катков, и Боткин, и Панаев, и западники, и славянофилы: в общем, все, кроме пламенных сенсимонистов Герцена и Огарева.

Однако совсем неудивительно, что человек с темпераментом Белинского (возможно, тут сыграло роль и его социальное происхождение) недолго оставался равнодушен к обаянию социальной критики. Он решительно отринул гегельянское приятие нравственно неприемлемой действительности – это «примирение» с миром угнетения, несправедливости, жестокости и людских страданий во имя некоей расположенной где-то над звездами гармоничной действительности, где все сущее мыслится как рационально необходимое и, для мудреца, всецело постижимое. Отныне Белинский считает обманом и злой насмешкой все, что не дает человеку утешения, когда он страдает, все, что не дает ответа взывающим о милосердии. Даже в краткую пору гегельянства, через силу подавляя в себе сомнения, он не мог принять концепцию искусства, развитую в лекциях его учителя об эстетике. «Искусство нашего времени, – писал Белинский в 1843 году, – есть… осуществление в изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия»[23]. Однако искусство ради искусства «может удовлетворять разве что записных любителей художественности по старому преданию»[24]. «Подобно истине и благу, красота есть сама себе цель»[25]. «Миновать этот момент – значит никогда не понять искусства.

Остаться при этом моменте – значит односторонне понять искусство»[26]. Белинский идет еще дальше: «Наш век особенно враждебен такому направлению искусства. Он решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты»[27].

Эти цитаты прямо вторят «гражданственной» позиции сенсимонистов в грандиозном споре, расколовшем на два лагеря парижскую прессу. Ясно, что к 1843 году, в статье по поводу «Речи о критике» Никитенко, которую сам Белинский назвал своей пламенной филиппикой против эстетов, жребий брошен: «*Действительность* – вот лозунг и последнее слово современного мира»[28]. Жорж Санд, когда-то отвергнутая им вместе с Гюго, Шиллером и Грибоедовым, которых он счел недалекими мятежниками, неспособными узреть великолепное зрелище медленно разворачивающейся во всю свою ширь разумной действительности, теперь провозглашена «решительно Иоанной д'Арк нашего времени, звездой спасения и пророчицей великого будущего»[29]. Белинский становится преданным, некритичным почитателем ее творчества и ее лирического социалистического популизма; в этом он не одинок. Под прямым влиянием Жорж Санд написана повесть Герцена «Кто виноват?». Было время, когда Тургенев, Салтыков-Щедрин и даже Достоевский видели в этой писательнице непревзойденного гения. Писемский схлестнулся с цензурой из-за крамольных идей, явно навеянных ее «Жаком»; даже «абсолютный эстет» Дружинин был многим ей обязан в своей повести «Полинька Сакс»; при Николае I у ее ног, казалось, была вся молодая Россия Москвы и Петербурга. Однако все это не побудило Белинского поддаться некоей разновидности протомарксизма или хотя бы «протозоляизма». В 1843 году Белинский – находясь на пике своего увлечения парижскими социалистами – провозглашает, что искусство ничего не выигрывает, если его называют умным, правдивым, глубоким и все же непоэтичным, и еще, что идеал – это «не преувеличение, не ложь, не ребяческая фантазия, а факт действительности, такой, как она есть; но факт, не списанный с действительности, а проведенный через фантазию поэта, озаренный светом общего (а не исключительного, частного и случайного) значения, "возведенный в перл создания"[30], и потому более похожий на самого себя, более верный самому себе, нежели самая рабская копия с действительности верна своему оригиналу»[31]. Пусть искусство ради искусства – это заблуждение, но произведение искусства, сколько бы в него ни было вложено высоконравственных чувств и интеллектуальной проницательности, не может считаться таковым, не пройдя испытания эстетикой.

Этого убеждения Белинский придерживался до конца дней. Четыре года спустя, в один из периодов острейшего радикализма, он сопоставил повесть Герцена «Кто виноват?» с романом Гончарова, опубликованным примерно в то же время. Герцен «философ по преимуществу, – пишет Белинский, – а между тем немножко и поэт»[32]. В этом смысле ярчайшей ему противоположностью будет автор «Обыкновенной истории». Гончаров – поэт, художник, и не более того. Он не питает ни любви, ни вражды к создаваемым им персонажам; они его не забавляют и не раздражают; он не учит морали ни их, ни читателя. Принцип его таков: «Кто в беде, тот и в ответе, а мое дело – сторона»[33].

«Изо всех нынешних писателей он один, только он приближается к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство – и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный»[34].

К этой идее Белинский возвращается еще раз:

«У Искандера [то есть у Герцена] мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям. Картины Искандера отличаются не столько верностию рисунка и тонкостию кисти, сколько глубоким знанием изображаемой им действительности, они отличаются больше фактической, нежели поэтическою истиной, увлекательны словом не столько поэтическим, сколько исполненным ума, мысли, юмора и остроумия, – всегда поражающими оригинальностью и новостию… В таланте г. Гончарова поэзия – агент первый и единственный…»[35]

Из воспоминаний Гончарова мы узнаем, что Белинский порой буквально накидывался на него за то, что он не выказывал никакой злости, никакого раздражения, никаких субъективных чувств:

«“Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, – всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!” И это скажет (и не раз говорил) с

какою-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шепотом: “А это хорошо, это и нужно, это признак художника!” – как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю»[36].

Возможно, Герцен Белинскому нравился больше, но в глазах Белинского Гончаров был художником, а Герцен – все-таки нет.

Позиция Белинского кристально ясна: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии – в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное»[37]. Дело в том, что «направление» писателя (его обязательства перед обществом) «должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего… Идея… не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и для всякой литературной деятельности»[38]. Но и на этом Белинский остановиться не может. Мы уже обращали внимание на его слова в статье о Пушкине от 1844 года: «…каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов»[39]. По радикализму это высказывание лишь немногим уступает нашумевшему приговору 1845 года: «Теперь искусство – не господин, а раб; оно служит посторонним для него целям»[40]. Хотя он уточняет, что это относится только к «критическим» эпохам (так сенсимонисты называли переходные периоды, когда старое, сделавшись невыносимым, рушится и агонизирует, а нового еще нет), перед нами тем не менее неподдельный «cri de coeur»[41]. Это не что иное, как перефразированные в более жестком ключе его же высказывания 1843 года: «наше время алчет убеждений, томится голодом истины»[42] и «наш век – весь вопрос, весь стремление, весь искание и тоска по истине»[43].

Вот самое раннее и самое пронзительное определение тоски, зачастую переходящей в мучительное самокопание, – тоски, которой отныне суждено терзаться русской интеллигенции. Впредь ни один русский писатель не сможет до конца освободиться от этой нравственной позиции: даже отказываясь подчиняться ее давлению, он будет чувствовать, что надо объясняться с ней, искать компромиссы. Однако в 1846 году Белинский сообщает нам, говоря о «Каменном госте» Пушкина, что это – истинный шедевр, что подлинным любителям искусства

он должен казаться «лучшим и высшим в художественном отношении созданием Пушкина», «перлом созданий Пушкина, богатейшим, роскошнейшим алмазом в его поэтическом венке», а затем добавляет, что искусство такого рода не может снискать популярности – оно создается для немногих, но эти «немногие» будут любить его со «страстью» и с «энтузиазмом», и к этим «немногим» причисляет себя[44]. Таких противоречий, которые, возможно, лишь кажутся противоречиями, в последние годы его жизни становится все больше. В уже процитированном мной обзоре русской литературы за 1847 год – изумительной статье, которая в каком-то смысле стала его лебединой песней, – мы находим самые знаменитые его строки:

«Отнимать у искусства право служить общественным интересам – значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит – лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия»[45].

Но чуть ниже следует пассаж, который я уже частично цитировал: «Теперь многих увлекает волшебное словцо “направление”; думают, что все дело в нем, и не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и сознательною мыслию, – что для него, этого направления, так же надобно родиться, как и для самого искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал… если у вас нет поэтического таланта… идеи и направления останутся общими реторическими местами»[46].

Если из-под пера настоящего писателя вышли слова или образы, «проведенные через собственную натуру, получившие отпечаток его личности», самый отъявленный формалист не откажет им в праве считаться произведениями искусства, даже если вызвали их злободневные «проклятые вопросы»[47]. По всем признакам, Белинский и на этом не успокаивается. Он

подчеркивает, что социальная ситуация налагает на писателя особые обязательства: что в такие времена он не волен сочинять только ради собственного удовольствия, что одного гедонизма недостаточно, и читатель имеет право требовать, чтобы писатель поднимал острые социальные вопросы. Есть и фатальное заявление Белинского – сделанное лишь единожды, но этого хватило – о том, что в наши ужасные времена искусство должно быть рабом, служителем посторонних целей. Это уже безапелляционность того сорта, на которую французские адепты «чистого искусства» отвечали неистовыми и вполне резонными контратаками. Одновременно Белинский открыто заявляет, что и сам считает творчество Гете искусством par excellence – как свойственно великому искусству, оно отражает глубочайшие тенденции своего времени; но в нем нет «направления», как нет «направления» в «Каменном госте», этом «перле» пушкинского творчества. Что же касается «Онегина», этой «энциклопедии русской жизни»[48], его «направление», видимо, неверно. Белинский критикует Пушкина за то, что тот заставил Татьяну остаться с нелюбимым мужем, проповедуя конформистское смирение перед лживыми устоями общества, к которому она принадлежит: точно так же Анна Ахматова как-то подосадовала, что Толстой убил Анну Каренину не в соответствии со своим собственным нравственным кодексом – сам-то он знал, что правда на ее стороне, – а в угоду своим московским тетушкам. Однако Белинский и помыслить не может о том, чтобы отказать в высокой гениальности чистейшим, напрочь лишенным социального «направления» стихотворениям Пушкина; на эстетизм Пушкина он не сетует.

Что же в таком случае он декларирует? Неужели Белинский – просто впечатлительный неуч с кашей в голове, исключенный из университета за недостаточные умственные способности, клубок пламенных, но несвязных, нестройных чувств, живое доказательство того, что одной искренностью и горячностью не обойдешься, жалкий самоучка, каким его изображали позднейшие литературные критики – Волынский, Айхенвальд, Чижевский? Эти критики писали, что свои мысли он получал готовыми от других, а потом вываливал их, не обдумывая, не упорядочивая, без удержу, хаотично, с бухты-барахты. Пожалуй, говорят они, его можно и простить – ему приходится работать с лихорадочной скоростью, добывая хлеб насущный, но воззрения его не следует воспринимать всерьез. Это – чистая, даже благородная душа, но не авторитет и даже не самобытная личность, в лучшем случае симптом интеллектуально-сырой, нервной молодости той эпохи; как критик он недостоин и прикасаться к одеждам Шлегеля, Сент-

Бева или даже Гершензона. И в наши времена его иногда обвиняют в том, что он создал занудную утилитарную или дидактическую критику (или, по крайней мере, подготовил почву для нее), вменяют ему в вину грубые и жестокие нападки на теорию и практику «чистого искусства», на которые не скупились его эпигоны и принявшие у них эстафету госинспекторы современной нам советской литературы.

Такого мнения придерживается, в сущности, и современный американский исследователь, написавший самую вдумчивую и оригинальную, по моему мнению, работу о Белинском, Руфус Мэтьюсон, чья книга «Положительный герой в русской литературе»[49] показалась мне, хотя я не согласен с ее идеями, настоящим шедевром исследовательской проницательности. Однако я не считаю справедливым приговор, вынесенный Мэтьюсоном Белинскому, – а именно, что тот, не будучи представителем авторитаризма или тоталитаризма, все же заложил их фундамент[50]. Подчеркну: никогда, даже в моменты наибольшего неистовства и неприятия эстетизма, Белинский не отрицал, что искусство есть искусство и что судить его должно по законам эстетики. Ключевым мне тут кажется его противопоставление Гончарова Герцену. Герцен по сердцу Белинскому, «направление» Герцена он принимает всей душой, а взглядам Гончарова не особенно симпатизирует; тем не менее художником считает не Герцена, а Гончарова. Преданное служение Белинского русской литературе: он увенчал лаврами Пушкина, воспел хвалу Гоголю, открыл Достоевского, Гончарова, Тургенева, окончательно расчистил путь от всяческих Кукольников, Марлинских, Загоскиных и Сенковских – эта славная, в буквальном смысле эпохальная работа делалась без оглядки на то, насколько внимательны эти писатели к проблемам общества, без сознательной или бессознательной опоры на критерии, отличающие позиции радикалов от взглядов либералов (кстати, блестяще сформулированные Мэтьюсоном): радикал считает, что писатель – производное от свойственной этому писателю идеологии, а либерал воспринимает идеологию как производное от темперамента и индивидуальности писателя.

Разумеется, социальные вопросы волновали Белинского – и гораздо сильнее, чем большинство его современников; безусловно, ему хотелось, чтобы лучшие художники его времени откликались душой на социальную действительность, которую по определению сознавали и чувствовали тоньше, чем их менее даровитые собратья. Он, возможно, предпочел бы, чтобы Гончаров не был холодным наблюдателем, отрешенно фиксирующим нравственные качества и социальное положение своих

персонажей, ведь Белинский полагал, правомерно или неправомерно, что глубокая озабоченность нравственными вопросами не обязательно препятствует чисто художественным достижениям. Он знал – и говорил вслух, – что Григорович второстепенный художник, даже когда превозносил его умение обнажить перед читателем ужасы крестьянской жизни; он предпочел бы, чтобы Пушкин порвал с той удобной моралью, которую Белинский относил на счет его сословно-классовой принадлежности, социального положения и воспитания. Все это так. Но, на мой взгляд, Белинский никогда не позволял своим тревогам об обществе, которые, признаюсь, и я в чем-то разделяю, толкнуть его на путь отрицания или извращения художественной ценности писателей, чье творчество он анализирует (кстати, многих из них он открыл первым).

Ошибки Белинского представляются мне, по большей их части, скорее огрехами вкуса, чем следствием социальной, политической либо нравственной предвзятости; он не занимается искусственным продвижением «прогрессистов» за счет реакционеров, консерваторов, колеблющихся либералов или тех, кто равнодушен к общественной жизни. Мысль, что «Фауст» Гете – воплощение духа своего времени и общества, Белинский выводит из того, что «Фауст» – великое произведение искусства. Другими словами, он не говорит, что «Фауст» – велик, ибо автор придал ему сознательное социальное направление. Сердцем Белинский глубоко презирал холодную натуру Гете и его конформистский, робкий, консервативный образ жизни – и все же ни на миг не усомнился в его гениальности по сравнению с заурядными способностями таких обеспокоенных социальными проблемами, сострадающих униженным и оскорбленным писателей, как, к примеру, Гюго, Эжен Сю или Григорович. Правда, Белинский – как и все его современники – сильно переоценил дар Жорж Санд, но это не в счет. Мэтьюсон справедливо предполагает, что доктрина обязательств перед обществом сковывает художественную деятельность уже тем, что препятствует созданию противоречивых, амбивалентных произведений. Он цитирует Чехова, сказавшего примерно так: дело художника – не предлагать решение, а правильно поставить вопрос перед читателем[51]; кстати, именно это, на взгляд Белинского, и делал Гончаров. В конечном счете Белинский не требует от художника ничего, кроме творческой одаренности и искренности; ему достаточно, чтобы тот исследовал и образно выражал все что угодно – лишь бы он действительно пережил это сам, на собственном опыте. Он критикует лишь то, что кажется ему фальшью, – например, подмену действительности

идиллиями, фантазиями, псевдоклассическими пастишами, преувеличениями, экстравагантными выдумками, архаикой, все эти попытки бегства от того, что действительно «прожито» писателем. Именно поэтому Белинский порой нападает на влюбленность романтиков в старину и их увлеченность региональными культурами – для него это безнадежные экспедиции в дальние или экзотические закоулки жизни, отчаянные попытки любой ценой увильнуть от самопознания. Так формируется некая этика искусства, концепция определенной ответственности художника, который словно бы связан клятвой говорить только правду. Но это совсем не то, что терпеть, а тем более приветствовать контроль общества или политиков над искусством или хотя бы государственное меценатство в той его форме, к какой сам Сент-Бев настойчиво пытался склонить Наполеона III.

Позвольте мне пойти еще дальше: позиция Белинского действительно обрекает его воспринимать искусство как говорящий голос, как форму коммуникации между двумя людьми или анонимными группами людей, создателями «Эдд» или храмов Ангкор-Вата. Эта идея впрямую оспаривает мнение оппонентов, отлично выраженное, к примеру, у Готье и состоящее в том, что высшая цель существования художника – это делать красивые вещи, будь то эпические поэмы или серебряные шкатулки, а личность художника, его мотивы, его жизнь, волнующие его проблемы, его характер, повлиявшие на него социальные или психологические обстоятельства – все это не имеет ни малейшего значения для самого произведения искусства, которое, как полагал Т.С. Элиот, само себе светит. Таковы, несомненно, были убеждения критиков-классицистов XVII–XVIII веков, такова доктрина, которую, в разных ее формах, яро отстаивали Бодлер и Флобер, Малларме и Элиот, Патер[52] и Пруст, да и сам Гете. У нее достаточно защитников и в наши дни.

Для Белинского вышеизложенная доктрина была пагубным заблуждением – но не по тем причинам, которыми сегодня руководствуются фрейдисты, марксисты или психологи-когнитивисты. Белинский считал, что человек – это нечто целостное, а не составное, не разделенное на уровни или роли. Если то, что человек говорит в одном качестве, не соответствует тому, что он говорит в другом качестве, значит, тут имеет место фальшь или, в любом случае, снижение пафоса – слова превращаются в машинальный жест либо дань условности. Если слова, которые некий человек говорит неважно в каком качестве – как художник, как судья, как солдат, как трубочист, окажутся ложными или неискренними в том случае, если он произнесет их,

выступая в ином качестве – как отец, как революционер, как влюбленный, тогда эти слова фальшивы или пусты даже в их первоначальном контексте. Нет сферы, где с человека слагалась бы ответственность под тем предлогом, будто он всего лишь выполняет свою функцию, «métier»[53], или играет роль. Если ты решаешь скрыть правду, подменить ее фантазиями, изменить своему жизненному материалу, играть на впечатлительном человеческом сердце, как на музыкальном инструменте, если ты решаешь возбуждать, развлекать, пугать, прельщать, ты используешь свой дар, чтобы достигнуть власти, извлечь наслаждение, получить прибыль, и тем самым предаешь то человеческое, что в тебе есть. Ради политики в самом низменном, отвратительном смысле ты бессовестно попираешь ногами или, по крайней мере, отбрасываешь то самое, известное тебе и всем людям на свете, подлинное предназначение человечества.

Искусство – не журналистика и не нравоучение. Искусство есть искусство, но это не избавляет его, а еще точнее – художника, от ответственности. Творческая деятельность – не костюм, который можно по настроению надевать и снимать: это либо выражение нераздельной сущности, либо ничто. Гениальный творец и филистер могут уживаться в одном человеке – у Гете это доказывают «Герман и Доротея» и «Избирательное сродство», в случае Гегеля – его характер и биография. Значимо лишь то, что выражает произведение искусства, и неважно, порождено ли оно сознательными усилиями или неясным инстинктом: ибо произведение – это и есть его создатель, его наиподлиннейший голос, его «я». Шекспир, Мильтон, Диккенс, Рафаэль, Гоголь для Белинского равны их произведениям; их личная жизнь не имеет к нему прямого отношения – важно лишь их мировоззрение, вескость и глубина мыслей, важен их подход к основным проблемам, над которыми человечество мучительно размышляет от начала времен.

Эта позиция, с которой Белинский после 1842–1843 годов уже не сойдет, восходит скорее к Сен-Симону или его ученикам, чем к Фейербаху. Ее первоисточник – шиллеровская концепция художника как мстителя за оскорбленную природу, как строителя, восстанавливающего цельного человека, который был изуродован или уничтожен условностями, а также метафора Августа Вильгельма Шлегеля, уподобившего художника зажигательному стеклу, в котором глубочайшие и самые характерные тенденции общества и эпохи собираются в единый пучок, очищаются и преображаются в яркую квинтэссенцию реальности, с коей неспособно соперничать воспроизведение разрозненных фрагментов обыденной жизни. Историк русской

литературы обнаружит здесь начало луча, протянувшегося к Толстому и Тургеневу, к некоторым из лучших критических статей Михайловского и Плеханова, а на противоположном конце спектра окажутся шестидесятники и редукционный материализм Чернышевского, идеологизированный радикализм Добролюбова, свойственные Писареву одержимость наукой и неимоверное презрение к чисто художественным задачам, не говоря уже о штампах официозных советских формулировок. А непосредственным истоком этого центрального течения русской мысли и словесности, влияние которого на Запад за последние сто лет не поддается никакому учету, мне кажется, – не что иное, как полемика сенсимонистов со сторонниками «чистого искусства». Социальные корни и косвенные следствия этой роковой схватки – уже совсем другая история.

III

Но на этом тема не исчерпана. Возгласы Белинского – при всей их изолированности, – что «теперь искусство – не господин, а раб»[54] или что «чистое искусство в наше время невозможно»[55] отнюдь не равносильны утверждению, что художник – а следовательно, и его творчество – обязательно уходит корнями в конкретные социальные обстоятельства, а оторвавшись от них, непременно увянет или деградирует до голой развлекательности. Белинский заходит гораздо дальше, оставляя французские первоисточники своих идей далеко позади, и этот факт придает вес притязаниям Добролюбова на право считаться последователем Белинского. Истина, как мне представляется, в том, что Белинский (пользуясь тургеневской метафорой) – это Дон Кихот, человек страстный, целеустремленный, готовый умереть за свои убеждения и в то же самое время снедаемый неразрешимыми внутренними противоречиями. С одной стороны, литературу он обожал: он был наделен необыкновенным инстинктивным чутьем, позволявшим безошибочно отличать настоящую литературу от подделки; его дар выдержал испытание временем; благодаря своему чутью он стал самым самобытным, самым влиятельным и (несмотря на несколько случаев, когда вкус его катастрофически подводил) самым справедливым и проницательным литературным критиком России в XIX столетии. Литература – первая и последняя любовь всей его жизни: потребность окунуться с головой в мир писателя, испытать его чувства, полностью принять его точку зрения – это свойство субъективное, очень личное, особая способность к

психологической, эстетической абсорбции, упражнение в том, что Гердер называл «Hineinfühlen»[56], неподвластное требованиям, налагаемым социальными обстоятельствами и меняющимися от эпохе к эпохи потребностями людей. Одновременно Белинский искал для себя всеобъемлющую, несокрушимо верную идеологию; в его времена «голод истины» был повсеместным, но никто мучительнее Белинского не страдал за Россию с ее несправедливостью, нищетой, жестоким произволом – и никто так ярко не описал все ее ужасы на бумаге. Итак, он отчаянно пытался найти ответ на вопрос, каким следует быть человеку, как нужно жить; он надеялся и мечтал, что все сферы человеческой деятельности – прежде всего литература, составлявшая для него всю жизнь, – займутся этим и помогут искателям истины. Он готов принести себя в жертву своим идеям, он готов биться не на жизнь, а на смерть с врагами доктрины, добытой ценою многих мук. Он сознает свои недостатки, знает за собой склонность переоценивать чисто общественно-политическую значимость текста – ведь если тот не имеет художественной ценности, то, каким бы похвальным целям он ни служил, он будет чем угодно, только не литературным произведением. На этом Белинский не устает настаивать до последнего вздоха – и одновременно сознается, что в душе пристрастен. В знаменитом письме Василию Боткину он пишет, что пусть даже в повести недостаточно поэзии и художественности – если она «сколько-нибудь дельна», он «не читает, а пожирает ее», лишь бы она «не отзывалась диссертациею» или «не впадала в аллегорию». «Главное, чтобы она [повесть] вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление»[57]. Он признается, что даже низкосортная беллетристика, если она имеет общественное значение, содержит мысли, вызывает вопросы, порой может взволновать его душу сильнее, чем любое произведение искусства. Я веду к тому, что Белинский не путает эти два жанра: искусство остается искусством вне зависимости от своей общественной значимости и сохраняет свою нетленную ценность вне зависимости от ценности социальной; меж тем как самая глубокая заинтересованность социальными проблемами, самый глубокий ум и искренность писателя еще не делают текст произведением искусства. Шиллер благороднее и сердечнее Гете, но как художник Гете более велик. В этом Белинский не сомневался.

Мучительные споры, бушевавшие в душе Белинского, сильно повлияли на его современников. Белинского за границей не читали; но великие русские прозаики, сформировавшиеся именно при нем, и более поздние проповедники социальных

преобразований со временем оказали воздействие на западную мысль. Тут имело место явление, которое я назвал «эффектом бумеранга»; если его не учесть, история западной культуры будет неполной.

IV

Судьбы сенсимонистского движения во Франции широко известны: некоторые из ближайших учеников его отца-основателя, вдохновленные идеей плановой централизованной индустриализации, стали преуспевающими банкирами и «железнодорожными королями», именно они организовали строительство Суэцкого и Панамского каналов. На основе доктрины Сен-Симона его ученик Огюст Конт создал позитивизм, который глубоко повлиял на марксизм, а также сказался на развитии других, более умеренных учений социалистов и радикалов второй половины века. Идеи сенсимонистов, распространяясь из вышеописанной точки, заняли свое место рядом с другими идеологическими течениями – консервативными, либеральными, монархистскими, марксистскими, клерикальными, антиклерикальными – и, по-разному комбинируясь с ними, образовали социальную, экономическую и интеллектуальную историю Второй империи и Третьей республики.

В России их последствия не столь бросались в глаза, но оказались более глубокими, поистине революционными. Сенсимонизм стал первой цельной идеологией, которую открыло для себя нравственно и умственно впечатлительное меньшинство, искавшее комплекс принципов, который мог бы послужить руководством к действию, – и тут отлично подошли идеи, изложенные в работах левых сенсимонистов: социалистических трактатах и статьях Пьера Леру и его единомышленников по «Ревю индепендан», яростных филиппиках против капитализма, что выходили из-под пера их верного ученика Ламенне, но прежде всего в социалистических романах Жорж Санд. Нравственный идеализм этого движения повлиял на Герцена, Белинского и их друзей, когда они были в самом впечатлительном возрасте, и, как бы разительно ни менялись потом их личные воззрения, этот гуманный и цивилизованный радикализм с его искренней ненавистью к социальному неравенству и жестокой эксплуатации слабых сильными неотступно владел их умами. И именно эту деятельность в ее организованных, институциализированных формах – на основе

марксизма, на основе ли позитивизма – позднее высмеивал и обличал Достоевский, в молодости тоже подпавший под влияние более ограниченной, но в социальном плане еще более радикальной доктрины Фурье.

Я вовсе не хочу сказать, что если бы Герцен и его друзья не прочли Сен-Симона, либо если бы Белинский с Тургеневым в самый подходящий момент не прочли Жорж Санд, либо если бы в Россию не ввозили контрабандой трактаты Пьера Леру, Луи Блана или, если уж на то пошло, Фурье и Фейербаха, то в 40-х годах XIX века не было бы никакого общественного недовольства, никаких кающихся дворян, а в 60-х – никаких заговоров, репрессий и, хотя бы в зачатке, организованного революционного движения. Такое утверждение нелепо. Мне просто хочется отметить, что русская мысль и литература приобрели известные нам формы прежде всего благодаря влиянию, оказанному на конкретные слои русского общества 30–40-х годов XIX века данными французскими доктринами и возникшими на их основе дискуссиями – особенно теми, что касались искусства. Не знаю, была ли это прямая причинно-следственная связь или просто благоприятное стечение обстоятельств, в любом случае именно сенсимонистская закваска и вызванное ею противодействие указали Герцену и Белинскому направление, которому оба они остались верны до конца. Процесс, в течение которого это конкретное семя было заронено в ту необыкновенно плодородную почву, которую являли собой молодые русские интеллигенты, взыскующие идеалов, сыграл, как мне хочется верить, более значимую, чем принято считать, роль в развитии русского либерализма и русского радикализма, как умеренного, так и революционного. Отсюда естественно следует, что доктрина эта должна была буквально преобразить главную фигуру этого периода – Белинского, являвшего собой ярчайший, беспримерный образец обеспокоенного нравственными вопросами литератора; сила его влияния (о которой равно свидетельствуют популярность его идей и сопротивление им) на мысль и дело в его родной стране, а затем и в остальном мире кажется мне доселе недооцененной по достоинству.

Таков мой первый тезис. Я хотел бы дополнить его вторым, а именно подчеркнуть, что ни Белинский, ни кто-либо из его друзей ни разу не поддались искушению той привычной для нас идеи, будто искусство, и в особенности литература, не может состояться как искусство, если оно не выполняет прямую социальную функцию – не становится оружием в борьбе прогрессивной части человечества. Как близко ни подходил бы порой Белинский к этой мысли, требуя, чтобы искусство забыло

приличествующие ему задачи и обслуживало посторонние потребности, он никогда не путал искусство с нравоучением и тем более с пропагандой в любой форме. В этом смысле Чернышевский и Добролюбов, Плеханов и советские толкователи, взявшие у Белинского только то, что им было нужно, исказили его образ.

Возможно, еще более поучительна история его друга и в некотором роде ученика – Ивана Сергеевича Тургенева. Изо всех русских прозаиков, пожалуй, именно Тургенев наиболее близок к западному идеалу чистого художника. Если он и пронес сквозь свою жизнь какое-либо твердое убеждение, это была вера, что искусство в наивысшей его форме не проводник сознательных воззрений художника, но что-то вроде «отрицательной способности», как у Шекспира, которого Шиллер назвал богом, сокрытым за своими собственными творениями и реализовавшим себя через эти творения, чья цель – они сами. Главной причиной нелюбви Тургенева к Чернышевскому (помимо того факта, что Чернышевский вызывал у него брезгливое презрение как человек и критик) были настойчивые утилитаристские призывы подчинить искусство политике, науке, этике, поскольку искусству прежде всего приличествует действие – преобразование общества, сотворение нового человека. Когда Тургенев заставляет Рудина сказать: «Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? как может он знать, что он должен сам делать, если…»[58] – это говорит не автор, а Бакунин или какой-то другой типичный русский радикал 40-х годов. У Тургенева голос совсем другой. Самая сущность его натуры, как мне кажется, лучше всего выражена в его словах из письма к Полине Виардо от 1848 года:

«… жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту… все это я обожаю. Что до меня – я прикован к земле. Я предпочту созерцать торопливые движения утки, которая влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи. Или длинные блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено, – всему тому, что херувимы… могут увидеть в небесах»[59].

Почему же? Потому что небо – это не земля, а «вечная и пустая беспредельность»[60], всеобщая, абстрактная, недетализированная, не имеющая связи с земным миром вещей и людей, ощущений, эмоций и идей, цветов, запахов, поступков, рождения и смерти – миром природы, который, при всей его

эфемерности и холодном безразличии к радостям и печалям человека, один только и существует на самом деле; остальное – пустые разговоры, дым.

Но Тургенев жил тогда, когда жил, и социальные учения западных проповедников всколыхнули его так же, как и его современников. Ощущая на себе взгляд Белинского – и в 40-е годы, когда они близко общались, и после смерти критика, – Тургенев ставит в центр всех своих романов «проклятые» социальные вопросы. Пространных доказательств тому не нужно: «Накануне», «Новь», а в особенности, что неудивительно, «Отцы и дети» отнюдь не утратили своего значения и сегодня – причем последний роман был оценен по достоинству, возможно, только в наши дни. Одновременно Тургенев настойчиво утверждает, что не встает ни на чью сторону, – он всего лишь творец; он знает, что, когда автор резонно воздерживается от проявления собственных симпатий, читатель, покинутый на произвол судьбы, без «направления» и руководства, просто теряется, не зная, что и думать. Необходимость самостоятельно делать выводы раздражает его. Реальность – хаотичная, неровная – нервирует; ведь читателю нужно, чтобы его вели за ручку, ему нужны положительные герои.

Тургенев гордо отказывается удовлетворить такие требования; писателей типа Шекспира или Гоголя, чьи персонажи, оторвавшись от авторов, начинают независимую жизнь, он ставит выше разрядом, чем тех литераторов, чьи герои, неспособные двигаться сами по себе, связаны с автором неразрывно. Творения их обычно отличаются искренностью, задушевностью и теплотой, в них есть личная правда, но мало правды объективной, недостаточно мастерства и оконченности[61]. Однако в 1855 году, спустя семь лет после смерти Белинского, он пишет Боткину, который к тому времени превратился в пламенного защитника «чистого искусства»: «Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством – а есть интересы выше поэтических интересов», – и провозглашает, что «момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в развитии отдельного лица»[62]. Ту же самую мысль он выражает и в письме к Толстому в 1858 году, замечая, что время требует не «лирического щебетанья», не «птиц, распевающих на ветке»[63]. Он отказывается участвовать в посвященном «чистому искусству», не «загаженном» социальными вопросами журнале, проект которого тогда обдумывал Толстой: «Политическая возня вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; – да ведь и на улицах грязь и пыль – а без городов нельзя же»[64]. И, наконец,

вот вам знаменитый пассаж об «Отцах и детях» из письма к Салтыкову-Щедрину: «Я готов сознаться, что я не имел права давать нашей реакционерной сволочи возможность ухватиться за кличку – за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину»[65].

Есть мнение, что Тургенев написал эту фразу, желая оправдаться перед суровым писателем, но все равно это знак, симптоматическая черта долгого противоборства между требованиями искусства, как их понимали русские писатели, – а в вопросе о сущности искусства писатели 50–60-х годов XIX века были единодушны (разве что за исключением Некрасова, чья позиция на сей счет остается несколько неясной) – и требованиями, которые налагаются политическими убеждениями или личным нравственным кодексом. То было не столько противоборство между «эстетической критикой» и «натуральной школой» – хотя без этого, разумеется, не обошлось, – сколько внутренняя борьба с самим собой: Толстой, Тургенев, Гончаров, Писемский – все они мучились этими противоречиями, кто относительно мирно, кто нестерпимо страдая, в зависимости от темперамента. К критикам радикального «Современника» это имело мало отношения. Разве к концу 60-х годов у писателей осталась хоть капля уважения к Чернышевскому или Добролюбову, к Антоновичу или даже к Некрасову? Герцен не брал на себя задачу руководить, будь то из Лондона или из Женевы, литературной совестью русских писателей – даже тех, кто был с ним близко знаком. Несомненно, именно призрак Белинского, этот ужасный, неподкупный дух, преследует русских литераторов – это он раз и навсегда, на горе и на радость, задал нравственный тон общественно активной литературе, а также спорам о ее природе и ценности в России второй половины XIX века, которые в некотором смысле продолжаются и ныне.

То был не просто диспут, не просто ряд партизанских вылазок и ответов на них, а подлинный кризис, «la crise de foi»[66]. Даже молодой Чернышевский не совсем глух к требованиям искусства: в 1856 году, рецензируя «Детство», «Отрочество» и «Военные рассказы» Льва Толстого, он пишет:

«Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности – единство произведения и что потому, изображая “Детство”, надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его

чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в “Илиаде” – Макбета, в Вальтере Скотте – Диккенса, в Пушкине – Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в «Каменном госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать свое сочувствие к Петру Великому, «Каменный гость» вышел бы произведением нелепым в художественном отношении. Всему свое место: картинам южной любви – в «Каменном госте», картинам русской жизни – в «Онегине», Петру Великому – в «Медном всаднике». Так и в «Детстве» или в «Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, – а патриотизму, геройству, военной жизни будет свое место в «Военных рассказах»; странной нравственной драме – в «Записках маркера», изображению женщины – в «Двух гусарах». Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, сидящей у окна ночью, помните ли, как бьется ее сердце, как сладко томится ее грудь предчувствием любви?»[67]

Затем он переходит к похвалам Толстому за то, что тот не вводит в свои творения ничего лишнего. Толстой для Чернышевского – поэт, творец истинной красоты и истинной поэзии. Но, несмотря на банальность суждений и более чем банальную манеру письма, все это еще отвечает критериям Белинского, Тургенева и даже Аполлона Григорьева.

Вскоре все меняется. Добравшись до пресловутой статьи о повести Тургенева «Ася», мы сталкиваемся с классическим Чернышевским, восклицающим: «Бог с ними, с эротическими вопросами, – не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян»[68], с автором знаменитого отзыва о полотнах художников-маринистов. Оказывается, их главная ценность в том, что они дают жителям наших сухопутных провинций возможность узреть нечто им недоступное[69]. Вот такие-то чудовищные глупости, выходившие из-под пера честных, но обделенных эстетическим чутьем критиков, этих мучеников русского социализма, вкупе с добролюбовской концепцией литературной критики (призванной, на его взгляд, оценивать литературу исключительно как орудие социологического анализа) и порожденной ею пропагандой революционных мер, и проложили дорогу, которая привела к Плеханову, Ленину и всем последующим событиям. Да, Белинский – родоначальник этой тенденции, но не один, а вместе с Тургеневым, Толстым, Салтыковым-Щедриным и даже Аполлоном Григорьевым, если принять во внимание

экстатические страницы, исписанные им во славу непревзойденной, гениальной Жорж Санд.

Позвольте мне повторить: решающим, переломным моментом я считаю начало 40-х годов, когда учение сенсимонистов, найдя отзвук в измученной душе чрезмерно впечатлительного Белинского, оказало существенное влияние и на других крупных писателей, не всегда разделявших его взгляды. Мне кажется, Белинский заразил своих последователей искренней ненавистью к попыткам укрыться за фантазиями, ко всему, что встает между писателем и его задачами, что уводит от действительности и мешает видеть то, что для него – непосредственная реальность. Поэтому он так яростно отвергает архаику, сентиментальный местный патриотизм, романтизирование всего далекого и экзотического вообще и идиллического прошлого славян в особенности. В этой связи он истово настаивает на необходимости искренности, не уставая подчеркивать, что от писателя требуются только две вещи: талант – неважно, откуда он берется, хоть с неба, – и верность истине. Произведение должно быть порождено Erlebnis[70] писателя или пережито им либо в реальности, либо в воображении. Это влечет за собой пренебрежение к банальной ремесленной умелости, к технике, к непрошеным вторжениям дискурсивного интеллекта, этого врага свободной игры творческого воображения, кончается все это требованием, чтобы автор умел вычленить нравственную сущность описываемой им ситуации – постичь ее высший смысл для человечества в целом, противополагаемый преходящему значению для читателей, чьи эфемерные желания и жизненные обстоятельства вскоре исчезнут без следа. Влияние этих канонов на Тургенева очень явственно. Однако у Белинского был и другой, еще более талантливый, хотя непрямой, но тоже бессознательный ученик.

Лев Толстой знаменит как жертва своего художественного таланта и гражданской совести. Было время, когда его страстная любовь к «чистому искусству» и ненависть к политике, подогреваемые в нем Фетом и Боткиным, достигли апогея. В 1858 году он пишет:

«Большинство публики начало думать, что задача всей литературы состоит только в обличении зла, в обсуждении и в исправлении его… что времена побасенок и стишков прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться, что чистое искусство невозможно, что литература есть только орудие гражданского развития общества и т. п. Правда, слышались в это время заглушенные политическим шумом голоса Фета, Тургенева, Островского… но

общество знало, что оно делало, продолжало сочувствовать одной политической литературе и считать ее одну – литературой. Увлечение это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. Для того, чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним, оно должно было увлекаться дальше цели, чтобы достигнуть ее, должно было одну эту цель видеть перед собой. И действительно, можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность избавиться от него. Как думать о прекрасном, когда становилось больно! Не нам, пользующимся плодами этого увлечения, укорять за него… Но как ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлечение, оно не могло продолжаться, как и всякое увлечение. Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития»[71].

Однако было у Толстого и другое убеждение, от которого он никогда не отказывался, – он верил, что рядом с «политической литературой» существует литература другого рода, «отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность»[72]. Семь лет спустя он пишет Боборыкину:

«Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы»[73].

Несмотря на все, что произошло впоследствии, когда Толстой отверг искусство в целом как суету и разврат, поскольку оно не помогает исцелять нравственные раны, его творческие порывы оставались неудержимы. Спустя много лет, когда он написал «Хаджи Мурата», кто-то спросил у него, как он пришел к этой повести – какую нравственную или духовную идею он заложил в нее? Толстой ледяным тоном ответил, что старается разграничивать свой труд художника и свои нравственные проповеди. Он не требовал морализаторства от Чехова; и не желал иметь дела с Бернардом Шоу, хотя того никак нельзя было обвинить ни в невнятности, ни в недостаточной прямоте, ни в

бегстве от социальных проблем, ни в отсутствии позитивных убеждений. Шоу написал Толстому восторженное письмо: в конце концов, те множества врагов, которых обличали он и Толстой, во многом совпадали. Но старик не отступился от своего мнения; пьесы и статьи Шоу он находил вульгарными, поверхностными и, главное, откровенно дурными с художественной точки зрения. Старания Толстого выработать простую и связную жизненную философию, основанную на неопровержимых истинах, были еще более героическими, требовали еще большего насилия над его собственными инстинктами, стремлениями и интуицией, чем усилия Белинского или Тургенева, и, соответственно, закончились еще более ужасным крахом. Все та же дилемма – все та же попытка найти квадратуру круга – составляет сущность поздних статей Блока «Народ и интеллигенция» и «Крушение гуманизма». Еще болезненнее, если такое возможно, эта проблема становится в «Докторе Живаго» и опубликованных, а возможно, и неопубликованных или даже не написанных произведениях Синявского и писателей его круга.

Вернемся к особому отношению Толстого к Белинскому. Читать его Толстой начал в 1856 году, нехотя поддавшись на уговоры Дружинина, который Белинского не выносил, и Тургенева, который его обожал. По словам Толстого, однажды ночью ему приснилось, будто, по мнению Белинского, социальные доктрины справедливы только тогда, когда их «пусируют до конца», и будто сам он с этим мнением согласен[74]. Он был в восторге от статей Белинского о Пушкине, и в особенности от идеи, что понять писателя можно, лишь уйдя в него с головой и ничего, кроме него, не видя. 2 января 1857 года Толстой записывает в дневнике: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться»[75], и хотя позже он считал Белинского скучным и бездарным автором, сформулированные им принципы прочно въелись в его, толстовское мировоззрение. Мне кажется неслучайным, что Толстой проводил в жизнь заветы Белинского со столь необычайной, хотя и молчаливой и, возможно, неосознанной, преданностью. В словаре Толстого-критика нет более уничижительного эпитета, чем «выдуманный»; только чистосердечность, только простота, только ясность, – если писатель вполне отчетливо осознает, что именно он хочет сказать, и если его взгляду ничто не мешает, ео ipso получится произведение искусства. Таким образом, Толстой идет еще дальше, чем был готов идти Белинский даже на пике своего радикализма; Белинский никогда не отступался от мнения, что художественный дар – нечто совершенно своеобычное, а следовательно, искренность – или тот факт, что некто видит

жизнь своими собственными, а не чужими глазами и описывает увиденное ясно и без обиняков, – сама по себе еще не может считаться достаточным условием для того, чтобы создать произведение искусства. Позиция Толстого, как часто с ним бывало, – это упрощенный и гиперболизированный вариант и без того простого тезиса.

Настойчивые призывы к искренности, выпады против того, что в наши дни под влиянием неогегельянства и экзистенциализма именуется нечистой совестью[76] и ложным сознанием, чаще всего раздаются, когда Толстой уничтожающе критикует других писателей, прежде всего своих современников по XIX веку. Гете, например, достается за то, что он смотрел на свои творения со слишком удаленной точки; и потому его романы и пьесы при всем их изяществе, при всем мастерском умении автора распоряжаться самим собой и материалом, остаются неубедительными. Великолепные, но холодные и отрешенные, они неспособны на то, что Толстой считает главным смыслом и единственным предназначением искусства, а именно не могут напрямую передавать читателю чувства. Это обвинение в благодушно-презрительной самодостаточности, эти ироничные упоминания об олимпийском спокойствии Гете среди общественных потрясений, об его холодном самодовольстве, осторожности, сознательной неуязвимости – не что иное, как отголоски слов Белинского; те же упреки, несмотря на свое преклонение перед Гете, повторяет Тургенев в статье о «Фаусте» и в других местах. Лучше Тургенева о Гете не писал ни один русский писатель, да и по темпераменту Гете был созвучнее Тургеневу, чем, скажем, Герцену или Толстому. Но сенсимонистское зелье сделало свое дело: Тургенев отдавал предпочтение Шиллеру, Байрону и Жорж Санд и заявлял об этом вслух. Точно так же, с характерной для него иронией, Толстой пишет, что задается вопросом: что бы сделал Флобер, столь блестяще описавший, как святой Юлиан Странноприимец обнял прокаженного, оказавшегося Христом, – что бы сделал Флобер на месте своего героя? Это сомнение подрывает в Толстом доверие к писателю, веру в его искренность, которая для него самого – основа истинного искусства.

Как бы мы ни расценивали этот подход – как абсурд или как нечто резонное, – это, по сути, та же нравственная позиция, которая была свойственна Белинскому и вызывала восторг его сторонников, а также негодование оппонентов. То же самое и с Толстым: вознамерившись пригвоздить к позорному столбу недостатки некоторых из самых уважаемых писателей своего времени, он заимствует свои отравленные, метко разящие стрелы

именно из колчана Белинского. Своих противников он берется судить на основе трех desiderata: серьезности описываемых ими проблем, нравственной искренности и художественных способностей. Толстой сообщает нам, что Тургенев определенно «пережил», выстрадал в своем сокровенном внутреннем мире то, что описывает так живо и художественно. Но достойны ли эти грустные переживания и думы хиреющих русских дворян, которые либо сидят у себя в усадьбах и предаются мрачным мыслям, либо рассуждают о своих личных отношениях с другими помещиками, такими же развращенными, такими же малохарактерными образчиками человечества в целом, – достойны ли они того, чтобы занимать ум серьезного, «здорового» существа, крестьянина, добросовестного рабочего, нравственно «не испорченного» человека?

Что до Некрасова, кто посмеет отрицать, что этот писатель наделен огромным художественным талантом? Кто посмеет отрицать серьезность и значимость для человечества тех проблем, которые он поднимает, – нищеты и угнетения крестьян, подвергаемых жестокостям и беззакониям? А вот искренность… Действительно ли Некрасов пережил в реальности или хотя бы в воображении все то, что описывает? Передается ли читателю ощущение личной сопричастности происходящему, или стихи Некрасова – лишь жанровые картинки, созданные умелым, но равнодушным живописцем, сказать по чести – владельцем крепостных, которых он и не думает отпускать на волю, художником, чья частная жизнь и реальные, личные заботы далеки от страданий жертв, от социально-нравственного убожества жизни, которую он столь ловко перелагает стихами, в реальности не ощущая никакой личной сопричастности? Такое отношение Толстого к Некрасову, поскольку тот неискренен, то есть не всего себя отдает идее, гораздо радикальнее, чем, скажем, отношение Белинского к Гончарову. Белинский тоже добросовестно стремился докопаться до истины, какой бы неоднозначной она ни оказалась, но Толстой, «пусируя до конца» свои мысли, заходит еще дальше, чем заводила Белинского его гражданская совесть.

Наконец, вот вам один из вердиктов, вынесенных Толстым Достоевскому: он признает величайшую духовную важность поднимаемых Достоевским проблем; признает и то, что позиция его глубоко искренна, но, увы, тот не отвечает первоочередному критерию Толстого (и Белинского): у него нет таланта, он не способен просто и ясно выражать свое личное видение мира. После того как его персонажи продефилируют по сцене, дальнейшее (считает Толстой) сводится к работе сюжетного

механизма: все предсказуемо, тягуче, бесталанно, и так страница за страницей Достоевскому есть что сказать, но ни писать, ни строить композицию он не умеет.

V

На эти примеры из Тургенева и Толстого я сослался потому, что их обоих обычно не причисляют к традиции социальной критики, заложенной Белинским. Я же полагаю, что противоречие между требованиями искусства и требованиями общества в случае Белинского не исчерпало себя, разрешившись безусловной победой последних, и соответственно, отнюдь не породило кристально-ясную, радикальную традицию Чернышевского, Писарева, Плеханова и их эпигонов-марксистов. Напротив, оно осталось неразрешенным и вызвало к жизни дилемму, которой отныне суждено терзаться всем русским писателям и художникам; дилемму, сильно повлиявшую на все течения русской мысли и искусства, да и на общественную деятельность – на терзаемых сомнениями либералов и консерваторов, на «прогрессистов» и на всех, кто, наотрез отвергая политическую деятельность, искал спасения в чем-то ином (среди них – и Толстой с народниками, как и объект презрительной его ненависти – «декаденты» рубежа веков).

Мне кажется, итоговая позиция Белинского наиболее ясно выражена в его статье 1843 года о литературной критике: «Нас спросят: каким образом в одной и той же критике могут органически слиться два различные воззрения, историческое и художественное? или: как можно требовать от поэта, чтобы он, в одно и то же время, свободно следовал своему вдохновению и служил духу современности, не смея выйти из ее заколдованного круга?»[77] Белинский считает, что этот вопрос легко решить и теоретически, и исторически:

«Каждый человек, а следовательно, и поэт, испытывает на себе неизбежное влияние времени и местности. С молоком матери всасывает он в себя те начала, ту сумму понятий, которою живет окружающее его общество. От этого он делается французом, немцем, русским и т. д.; от этого он, родившись, например, в 12 веке, благочестиво убежден, что самое святое дело жечь на кострах людей, думающих так, как не все думают, а родившись в 19 веке, он религиозно убежден, что никого не должно жечь и резать, что дело общества не мстить наказанием за проступок, а исправить наказанием преступника, чрез что удовлетворится и оскорбленное общество, и выполнится святой

закон христианской любви и христианского братства. Но человечество не вдруг же перескочило от 12 века к 19-му: оно должно было прожить целые шесть веков, в продолжение которых развивалось, в своих моментах, его понятие об истинном, и в каждом из сих шести веков это понятие принимало особенную форму. Вот эту-то форму философия и называет *моментом* развития общечеловеческой истины; а этот-то *момент* и должен быть пульсом созданий поэта, их преобладающею страстию (пафосом), их главным мотивом, основным аккордом их гармонии. Нельзя жить в прошедшем и прошедшим, закрыв глаза на настоящее: в этом было бы что-то неестественное, ложное и мертвое. Отчего европейские живописцы средних веков писали все мадонн да святых? – Оттого, что религиозность христианская была преобладающим элементом жизни Европы того времени. После Лютера все попытки к восстановлению религиозной живописи в Европе были бы тщетны. “Но, – скажут нам, – если нельзя выйти из своего времени, то не может быть и поэтов не в духе своего времени, а следовательно, нечего и вооружаться против того, чего быть не может”. – Нет, отвечаем мы: это не только может быть, но и есть, особенно в наше время. Причина такого явления – в обществах, которых понятия диаметрально противоположны их действительности, которые учат в школах детей своих такой нравственности, за которую над ними же теперь смеются, когда те выйдут из школы. Это есть состояние безрелигиозности, распадения, разъединения индивидуальности и – ее необходимого следствия – эгоизма: к несчастью, слишком резкие черты нашего века! При таком состоянии обществ, живущих старыми преданиями, которым более не верят и которые противоположны новым истинам, открытым наукою, выработавшимся из исторических движений, – при таком состоянии обществ иногда самые благородные, самые даровитые личности чувствуют себя отделенными от общества, одинокими, и те из них, которые послабее характером, добродушно делаются жрецами и проповедниками эгоизма и всех пороков общества, думая, что так, видно, должно быть, что иначе быть не может, что не нами-де началось, не нами и кончится, другие – и это, увы! часто лучшие – убегают вовнутрь себя, с отчаянием махнув рукою на эту оскорбляющую чувство и разум действительность. Но это средство к спасению ложное и эгоистическое: когда на улице пожар, должно бежать не от него, а к нему, чтоб вместе с другими искать средств и трудиться братски для потушения его. Но многие, напротив, из этого эгоистического и малодушного чувства сделали себе начало, доктрину, правило жизни, наконец, догмат высшей мудрости. Они им горды, они с презрением

смотрят на мир, который, изволите видеть, не стоит их страданий и их радостей: засев в разубранном тереме своего фантастического замка и смотря из него сквозь расцвеченные стекла, они поют себе, как птицы… Боже мой! *человек* делается *птицею*! Какое истинно овидиевское превращение! К этому еще присоединилась обаятельная сила немецких воззрений на искусство, в которых действительно много глубокости, истины и света, но в которых также много и немецкого, филистерского, аскетического, антиобщественного. Что же из этого должно было выйти? – Гибель талантов, которые, при другом направлении, оставили бы по себе в обществе яркие следы своего существования, могли бы развиваться, идти вперед, мужать в силах. Отсюда происходит это размножение микроскопических гениев, маленьких-великих людей, которые действительно обнаруживают много таланта и силы, но пошумят, пошумят да и замолкнут, скончавшись вмале еще прежде своей смерти, часто во цвете лет, в настоящей поре силы и деятельности. Свобода творчества легко согласуется с служением современности: для этого не нужно принуждать себя, писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяет убеждений от дела, сочинения от жизни. Что вошло, глубоко запало в душу, то само собой проявится вовне»[78].

Впрочем, это еще никак не та позиция, к которой Белинский, в сущности, пришел. В том же 1843 году он начинает писать цикл статей о Пушкине и в пятой из них развивает идею, столь взволновавшую Толстого, – о том, что прочитать писателя по-настоящему можно, лишь если смотришь только на него, отрешившись от всего остального мира. Итак, вот как следует смотреть на «Каменного гостя» или «Цыган», имеющих с глубинными интересами народа так же мало общего, как ледяные шедевры Гете или, беря ниже, «Обыкновенная история» Гончарова. Однако Белинский знал: все это подлинные произведения искусства, созданные людьми, которые *не бежали,* когда на их улице случался пожар. Столь пространный отрывок из статьи 1843 года я привел потому, что в нем, как мне кажется, Белинский высказался наиболее открыто – высказался не о том, что есть искусство, и не о том, каким оно могло бы или обязано быть, но о том, каким желали бы видеть искусство он сам и его единомышленники, о том, что согревало их сердца, хотя они знали, что их позиция не абсолютна, но, по большому счету, субъективна, что она обусловлена историческими

обстоятельствами, что она непременно пошатнется под воздействием реальных событий, не сообразующихся с ней наглядных примеров, смены общественных настроений.

И все же, как бы мы ни толковали вышеприведенное заявление, являющее собой, как и знаменитое письмо к Гоголю, profession de foi[79] Белинского, оно совсем не равнозначно призывам Чернышевского к обслуживанию непосредственных потребностей общества; оно равно далеко от формализма и марксизма. Флобер, Бодлер или Мопассан, несомненно, с негодованием отвергли бы его. Для Стендаля, Джейн Остин или Троллопа – даже для Джеймса Джойса, несмотря на его социалистическую юность, – оно мало бы что значило. Марксисты приняли бы его лишь с множеством оговорок; шестидесятники его не цитировали. Но фразу Короленко: «Я нашел… свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература»[80] (а не сама Россия) – мог бы произнести в любой момент последних ста лет всякий русский писатель. А конечная причина этого, на мой взгляд, таится в воздействии, которое оказал на Белинского и его окружение сенсимонистский диспут о функциях художника: это воздействие сыграло здесь гораздо большую роль, чем всякий другой, отдельно взятый фактор. Скажи какой-нибудь английский современник Короленко – скажем, Арнольд Беннет, – что его родиной является не Англия, а английская литература, что бы это, собственно, значило? Да и мог ли Беннет вообще так сказать? Более того – даже если бы обеспокоенный социальными вопросами писатель-активист типа Эптона Синклера или Анри Барбюса заявил: «Моя родина – американская литература» или «французская литература», эта фраза показалась бы темной до невразумительности.

В этом и есть суть перемен, которые, возникнув в 40-е годы XIX века, привнесла в мир русская доктрина социальных обязательств художника – русская, поскольку в сердца и кровь своих сторонников она въелась глубже, чем в своих первых создателей из Парижа и прочих мест. За ней стоит чувство, абсолютно понятное сейчас в Азии и Африке, да и кое-где поближе; именно оно всегда и повсеместно волновало и волнует и либерально-реформистскую, и революционно-радикальную интеллигенцию (термин этот я использую исключительно в комплиментарном смысле). Процитировав слова Гете, мечтавшего о читателе, который бы «*меня, себя и целый мир забыл* и жил бы только в книге моей», Белинский комментирует их так: «При немецкой апатической терпимости ко всему, что бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной универсальности, которая, признавая *все,* сама не может

сделаться *ничем,* – мысль, высказанная Гете, поставляет искусство целью самому себе, и через это самое освобождает его от всякого соотношения с *жизнию,* которая всегда выше *искусства,* потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни»[81]. Это можно принимать или отвергать, подвергать сомнению или оспаривать, но двусмысленным назвать нельзя. Мне представляется, что эпицентр борьбы лежит между этим высказыванием и позицией, которую старался отстаивать Белинский, то и дело оглядываясь на искусство, не ведающее тревог и не испытывающее на себе давления, характерного для «критических» периодов истории, – позицией, которая, на мой взгляд, наиболее исчерпывающе выражена в его «манифесте» 1843 года. Вот где уже десятки лет пролегает линия фронта: именно здесь, а не между дубовыми директивами, с помощью которых следующее поколение русских позитивистов и марксистов пыталось не столько разрешить, сколько разрушить проблему.

Две позиции, которые я пытался обрисовать, можно обнаружить и в спорах между «чистыми» и «общественно активными» русскими художниками и критиками, и при рассмотрении борьбы, которую каждый из них вел с самим собой. В этом сражении участвовали, но так и не смогли найти решение проблемы выдающиеся писатели: Тургенев, Толстой, Герцен, Белинский. Этим отчасти объясняется непреходящая живучесть их теоретических дискуссий, в то время как аргументы большинства их западных современников – Леру, Шасле и даже Тэна с Ренаном – кажутся мертвыми. Ибо речь идет о проблеме, которая, будучи стержнем социальных конфликтов в современном обществе, остро проявляется только в относительно отсталых странах, где отсутствует дисциплинированность, порождаемая богатой и сильной традиционной культурой, в странах, насильственно понуждаемых приспосабливаться под чуждые структуры и в то же самое время еще свободных – во всяком случае, пока свободных – от практического тотального контроля над жизнью и искусством.

Герцен и Бакунин о свободе личности [82]

– Жизнь человека – великий социальный долг, – <сказал Луи Блан>, – человек должен постоянно приносить себя в жертву обществу.

– Зачем же? – спросил я вдруг.

– Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица – благосостояние общества.

– Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.

– Это игра слов.

– Варварская сбивчивость понятий, – говорил я, смеясь.

> *Александр Герцен, «Былое и думы»* [83]

С 13 лет… я служил одной идее, был под одним знаменем – война против всякой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. И я буду продолжать эту маленькую партизанскую войну, как настоящий казак, auf eigene Faust[84] *– как говорят немцы.*

> *Александр Герцен, письмо к Мадзини* [85]

I

Из всех русских революционных писателей XIX столетия больше всего привлекают внимание Герцен и Бакунин. Они очень различны и по сути своих учений, и по темпераменту, но едины в одном: идеал свободы личности стоит в центре их идей и действий. Оба посвятили жизнь бунту против любой формы

угнетения – социального и политического, общественного и частного, явного и скрытого, но само многообразие их талантов привело к некоторой неясности в оценке их воззрений по этой ключевой проблеме.

Бакунин был одаренным журналистом, а Герцен – гениальным писателем, чья автобиография остается одним из шедевров русской прозы. Как публицист он выше всех в XIX столетии, благодаря уникальному сочетанию живости воображения, меткой наблюдательности, внутренней страстности и остроумия. Это и определяет его писательскую манеру, язвительную и изысканную, ироничную и яркую, живо захватывающую и возвышающуюся до необычайного благородства чувства и выражения. То, что Мадзини сделал для итальянцев, Герцен осуществил для своих соотечественников: он создал, практически в одиночку, традицию и «идеологию» систематической революционной агитации и, таким образом, стал основателем революционного движения в России. Вклад Бакунина в русскую литературу не столь велик, но по личному обаянию он не знал себе равных даже в тот героический век народных трибунов. От него идет традиция политической конспирации, которая сыграла важнейшую роль во всех крупных переворотах XX века. И все же как раз эти достижения, которые обеспечили обоим друзьям и соратникам право на бессмертие, способствовали тому, что их относительная ценность как политических и социальных мыслителей оказалась нераскрытой. Ведь Бакунин при всем своем удивительном красноречии, при способности к ясной, умной, энергичной, а порой и сокрушительной критике редко выражается точно, глубоко или прочувствованно, то есть на основании «прожитого», в любом смысле этого слова, тогда как Герцен, несмотря на его яркость, безрассудную спонтанность и пресловутую «пиротехнику», выражает смелые и оригинальные идеи и вправе считаться первоклассным политическим (а значит, нравственным) мыслителем. Рассматривая его взгляды наряду со взглядами Бакунина как некоторую форму полуанархического «народничества» или, наряду с идеями Прудона, Робертса или Чернышевского, как еще один вариант раннего социализма с аграрным уклоном, мы упустили бы самый значительный его вклад в политическую теорию. Эту несправедливость следует исправить. Основные политические идеи Герцена уникальны не только по российским, но и по европейским стандартам. Россия не так уж богата первоклассными мыслителями, чтобы не обратить внимания на одного из трех гениальных духовных учителей, родившихся на ее земле.

II

Александр Герцен рос в мире, где царили французский и немецкий романтизм. Провал Великой французской революции дискредитировал оптимизм натурфилософии XVIII столетия столь же глубоко, сколь русская революция в XX веке ослабила престиж викторианского либерализма. Центральным понятием Просвещения была убежденность в том, что главные причины человеческих бед, несправедливости и угнетения – невежество и безрассудство. Точное знание законов, правящих в мире природы и раз и навсегда открытых и сформулированных божественным Ньютоном, должно было со временем обеспечить человечеству господство над природой; осознав неизменные причинные законы природы и подчинившись им, люди начнут жить так хорошо и счастливо, сколь это возможно по самой сути этого мира; во всяком случае, они избегнут страданий и нестроений, проистекающих из пустых и невежественных попыток противостоять этим законам или обойти их. Одни считали, что мир, как и представлялось Ньютону, – то, что он есть de facto, без всякой причины; конечная, необъясненная реальность. Другие верили, что они могут открыть рациональный план – «природный» или божественный Промысел, руководствующийся конечной целью, к которой стремится все творение; и человек, подчинившись ему, не склонится перед слепой необходимостью, но сознательно признает ту роль, которую он играл в гармоничном, ясном и тем самым оправданном процессе. Но независимо от того, использовалось ли Ньютоново построение как чистое описание или как теодицея, оно становилось идеальной парадигмой любого объяснения; гению Локка оставалось указать тот путь, следуя по которому можно упорядочить и объяснить на основе тех же самых принципов нравственный и духовный мир. Если естественные науки позволяют людям формировать материальный мир согласно своим желаниям, этика дала бы им возможность так регулировать свое поведение, чтобы навсегда избежать несоответствия между убеждениями и фактами и положить конец любому злу, невежеству и отчаянию. Если бы вместо королей, аристократов, священства и их одураченных сторонников миром правили философы – и натурфилософы, и моралисты, – то в принципе можно было бы достигнуть всеобщего счастья.

Последствия Французской революции разрушили магию этих идей. Среди учений, которые пытались объяснить, что же тут неверно, доминирующее положение занял немецкий романтизм, и в субъективно-мистической, и в национально-освободительной

формах, и в особенности – движение гегельянцев. Здесь не место его исследовать; достаточно сказать одно: он сохранил положения о том, что мир подчиняется доступным для понимания законам; что, согласно некому неизбежному плану, прогресс возможен и тождественен развитию «духовных» сил; что ученые могут открыть эти законы и научить им остальных. Для последователей Гегеля величайший грех французских материалистов заключался в предположении, что эти законы механистичны, что вселенная сложена из отдельных элементов, из молекул, или атомов, или клеток и что все можно объяснить и предсказать в терминах пространственного движения тел. Человек стал не просто сочетанием частиц, он являл собой душу или дух, подчиняющиеся уникальным и сложным законам. Человеческие сообщества стали не просто собранием индивидуумов; они тоже обладали внутренней структурой, аналогичной психической организации отдельной души, и преследовали цели, которых в той или иной степени могли не осознавать входящие в них люди. Знание давало истинную свободу. Только те, кто знает, почему все так, а не иначе и почему неразумны все другие варианты, могут быть поистине разумными, то есть сотрудничать с мирозданием сознательно, а не лезть на рожон, вопреки упрямой «логике фактов». Единственно достижимые цели – только те, которые входят в модель исторического развития. Только они рациональны в силу того, что сама модель рациональна. Любая неудача свидетельствует о неразумности; о том, что мы не поняли, чего требует время, и не осознали, куда движется разум. На каждом отдельном этапе этого развития человек выбирает те ценности (неважно, хорошие или плохие, справедливые или несправедливые, прекрасные или уродливые), которые входят в разумную модель. Осуждая неизбежное или жалея о том, чего не было, мы отвергаем разумные ответы на вопросы: что делать и как жить? Сопротивляться течению равносильно самоубийству, что само по себе чистое безумие. Согласно этому воззрению, и доброта, и благородство, и справедливость, и сила, и неизбежность, и разум в конечном счете – одно и то же; всякий конфликт между ними исключен по логике вещей, a priori. Что касается самой модели, тут могли быть различия. Гердер представлял ее как развитие разных культур. Гегель – как развитие национального государства. У Сен-Симона была более обширная модель единой западной цивилизации, а главную роль в ней играли технический прогресс и противоречия между экономически обусловленными классами, а внутри этих классов решающее влияние принадлежало исключительным личностям –

нравственным, интеллектуальным или художественным гениям. Мадзини и Мишле говорили о внутреннем духе каждого народа, пытающегося на свой собственный манер утвердить общечеловеческие ценности, противостоя таким образом личному угнетению или слепой природе. Маркс понимал ее как историю борьбы общественных классов, возникших в ходе развития производительных сил и определяемых в рамках этого развития. Для политико-религиозных мыслителей Германии и Франции это была historia sacra[86], то есть борьба падшего человека за обретение союза с Богом, а в конечном итоге – за установление теократии и подчинение светских сил царству Бога на земле.

Существовало много разновидностей этих основных учений. Некоторые тяготели к гегельянству, другие – к мистике, третьи возвращались к натурализму XVIII века; и все они сражались, обличали ереси, сокрушали бунтарей. Но всех объединяла вера в то, что, во-первых, вселенная подчиняется законам и представляет собой некую модель, которая либо постижима разумом, либо открывается опытным путем, либо является в виде мистического откровения; во-вторых, люди – это элементы неких целокупностей, которые больше и сильнее их, так что поведение человека можно объяснить в терминах этой целокупности, а не наоборот; в-третьих, ответить на вопрос о том, что же надо делать, можно только в том случае, если мы знаем цель объективных процессов истории, в которые люди вовлечены помимо их воли, и ответы эти одинаковы для всех, чье знание истинно, то есть для разумных существ; в-четвертых, ничто не может быть дурным, или жестоким, или глупым, или уродливым, если оно необходимо для достижения объективно данной цели, – оно не может, по крайней мере, быть плохим «в конечном счете» (хотя, на первый взгляд, и может так выглядеть), и наоборот, все, что противоречит этой великой цели, заведомо плохо. Могли существовать разные мнения о том, неизбежны ли эти цели, – тем самым автоматичен ли прогресс, или, напротив, люди свободны в выборе и могут осуществлять их или игнорировать, пустив все на волю волн. Но все сходились в том, что можно найти справедливые для всех объективные цели и только они единственно достойны общественной, политической или личной деятельности. В противном случае мир нельзя рассматривать как «космос» с его действительными законами и объективными требованиями; все убеждения, все ценности окажутся относительными, субъективными, зависящими от настроения и случая, неоправданными и не имеющими оправдания – а этого быть не может.

Против этого грандиозного и всепоглощающего

мировоззрения, философской вершины эпохи, которое открыл и перед которым преклонялся метафизический гений Германии, украшая бесчисленными образами; которое признали самые глубокие и почитаемые мыслители Франции, Италии и России, – именно против него неистово восстал Герцен. Он отверг его основания и подверг сомнению его выводы не только потому, что оно казалось ему неприемлемым (как и его другу Белинскому) с точки зрения этики, но и потому, что он считал его интеллектуально недостоверным и эстетически безвкусным. С его точки зрения, это была попытка подогнать природу под убогие представления немецких филистеров и педантов. В своих работах «Письма из Италии и Франции», «С того берега», «К старому товарищу», в «Открытых письмах» к Мишле, Линтону, Мадзини и, конечно же, в «Былом и думах» он высказывал собственные этические и философские взгляды. Из них важнее всего следующие: природа не подчиняется никакому плану, у истории нет заранее написанного сценария; нет такого единственного ключа или формулы, которые могут в принципе разрешить проблемы отдельных личностей или обществ; общие решения – это иллюзия, универсальные цели ничего общего не имеют с реальными, у каждой эпохи своя неповторимая структура и только ей присущие вопросы, поспешные выводы и обобщения никоим образом не заменяют опыта; свобода реальных личностей в определенный момент времени и в определенной точке пространства – это абсолютная ценность; для всех людей минимальная сфера свободы действий – моральная необходимость, и ее нельзя ни в коем случае отменить во имя каких-либо абстракций или общих принципов, которыми так легко жонглировали великие мыслители этого, как, впрочем, и любого другого, века – спасения души, или истории, или гуманности, или прогресса, а тем более государства, или церкви, или пролетариата, всех этих громких слов, призванных оправдать отвратительную жестокость и деспотизм, этих магических формул, созданных для того, чтобы заглушить голоса чувства и совести. Такой либеральный подход явно перекликается с еле заметной, но еще не умершей традицией западного либертарианства, элементы которого сохранялись даже в Германии – у Канта, Вильгельма фон Гумбольдта, в ранних работах Шиллера и Фихте. Выжили они и во Франции и французской Швейцарии у идеологов, а также у Бенжамена Констана, Токвиля и Сисмонди. Кое-какие ростки взошли и в Англии, в среде утилитаристов-радикалов.

Подобно ранним либералам Западной Европы, Герцен восхищался независимостью, разнообразием и свободой игры

индивидуального темперамента. Он желал максимально возможного расцвета личных качеств, ценил спонтанность, прямоту, оригинальность, гордость, страстность, искренность, стиль и яркость свободной личности; а презирал конформизм, трусость, подчинение грубой силе и общественному мнению, ничем не оправданное насилие и трепетную послушность. Он ненавидел культ силы, слепое преклонение перед прошлым, перед институтами и мифами; унижение слабых более сильными, сектантство, филистерство, плебейскую злобу и зависть, грубое высокомерие элиты. Его идеалами были социальная справедливость, экономическая эффективность, политическая стабильность, но все они должны лишь обеспечивать защиту человеческого достоинства, гуманитарных ценностей, защиту личности от насилия, охрану тонкости и таланта от частных или общественных нападок. Любое общество, которое по какой бы то ни было причине не смогло предотвратить попрание свободы и дало возможность одним оскорблять, а другим пресмыкаться, он безоговорочно клеймил во всех своих работах и отвергал, несмотря на все социальные и экономические преимущества, которые оно могло бы предлагать совершенно искренне. Его моральное негодование – той же силы, что и у Ивана Карамазова, когда тот отвергает вечное счастье, если надо платить за него мучениями невинного ребенка; но доводы, которые приводил Герцен, и описание врага, которого он выбрал, чтобы осмеять и уничтожить, изложены языком, который и по тону, и по существу совсем непохож на богословское или либеральное красноречие той эпохи.

Как точный и проницательный исследователь своего времени он сравним, возможно, с Марксом и Токвилем, но его нравственное учение гораздо интересней и оригинальней.

III

Обычно говорят, что человек стремится к свободе. Более того, полагают, что у людей есть какие-то права и потому они претендуют на некоторую свободу действия. Сами по себе эти формулы представляются Герцену совершенно пустыми. Им необходимо дать конкретное содержание, но и тогда, в качестве гипотез о наших реальных представлениях, они не окажутся истинными. Их не подтверждает история; массы редко желали истинной свободы:

«Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими… К личной свободе, к

независимости слова они равнодушны: массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо; они под равенством понимают равномерный гнет… массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим – им и в голову не приходит»[87].

Здесь вообще слишком много «романтизма для сердца» и «идеализма для ума»[88] – слишком сильно стремление к словесной магии, слишком велико желание подменить предмет словом. Результатом этого были кровавые столкновения, в которых погибло много невинных людей, а самые ужасные преступления прощались во имя пустых абстракций:

«Нет в мире народа… который пролил бы столько крови за свободу, как французы, и нет народа, который бы менее понимал ее, менее искал бы осуществить ее на самом деле… на площади, в суде, в своем доме… Французы – самый абстрактнейший и самый религиозный народ в мире; фанатизм к идее идет у них об руку с неуважением к лицу, с пренебрежением ближнего; у французов все превращается в идол – и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру. Француз дерется геройски за свободу и не задумываясь тащит вас в тюрьму, если вы не согласны с ним в мнении… Тираническое salus populi[89] и инквизиторское, кровавое pereat mundus et fiat justitia[90] равно написано в сознании роялистов и демократов… читайте Жорж Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишле, – везде вы встретите христианство и романтизм, переложенные на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная риторическая нравственность без соотношения к практической жизни»[91].

Словом, пишет Герцен дальше, это не что иное, как бессердечное легкомыслие, мы жертвуем людьми во имя пустых слов, которые разжигают страсти и за которыми, если попытаться дойти до их сути, ничего не стоит, именно такое политическое jaminerie[92] «взволновало и очаровало» Европу, но ввергло ее в нечеловеческую и ненужную бойню. «Дуализм» в понимании Герцена – это подмена фактов словами, построение теорий, пользующихся абстрактными понятиями, которые не проистекают из конкретных потребностей, создание политических программ на основе абстрактных принципов, опять же никак не соотносящихся с конкретными ситуациями. Формулы эти превращаются в ужасное оружие в руках фанатиков и доктринеров, которые готовы навязать их людям, не останавливаясь перед насилием. Все это делается ради какого-то абсолютного идеала, освященного недоступным критике

представлением – метафизическим, религиозным, эстетическим, но уж точно никак не связанным с конкретными потребностями реальных людей. Во имя этого представления революционные лидеры убивают и мучают со спокойной совестью – они ведь знают, что только в этом есть – или должно быть – решение всех социальных, политических и личных проблем. Он развивает этот тезис, используя известные аргументы Токвиля и других критиков демократии, и подчеркивает, что массы ненавидят талант, признают только свой образ мыслей и крайне подозрительны ко всякой независимости в мыслях и в поведении:

«Подчинение личности обществу, народу, человечеству – идее – продолжение человеческих жертвоприношений… распятие невинного за виновных… Лицо, истинная, действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Кому жертвовали, об этом никто не спрашивал»[93].

Так как эти абстрактные понятия – история, прогресс, благо народа, социальное равенство – оказались жертвенниками, обагренными невинной кровью, на них надо остановиться. И Герцен исследует их по очереди.

Если у истории есть жестко определенное направление, некая рациональная структура и цель (возможно, благая), мы должны или смириться с ней, или погибнуть. Но какова эта цель? Герцен не может ее выделить; он не видит никакого смысла в истории, кроме того, что это история болезни, диагноз которой «наследственное хроническое безумие»:

«Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит… что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, – и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине – и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти так же очевидно, как и в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь в жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, – и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство!..

Как только христиан домучили, дотравили зверьми, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из-за вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняют свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики»[94].

«История – автобиография сумасшедшего»[95]. Так же резко могли бы написать Вольтер и Толстой. Цель истории? Но мы не делаем историю и не отвечаем за нее. Если история – это сказка, поведанная безумцем, то преступно оправдывать угнетение и жестокость, подчиняя тысячи людей весьма сомнительному авторитету во имя пустых абстракций – «требований» «истории» или «исторического предназначения», или «национальной безопасности», или «логики фактов». Все эти «Salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia»[96] пахнут жженым телом, кровью, инквизицией, пыткой и вообще «торжеством порядка»[97]. Абстракции, помимо их зловещих последствий, – это просто попытки не замечать фактов, которые не вписываются в заранее построенные схемы.

«Человек только тогда смотрит свободно на предмет, когда он не гнет его в силу своей теории и сам не гнется перед ним. Уважение к предмету не произвольное, а обязательное ограничивает человека, лишает его свободного размаха. Предмет, говоря о котором человек не может улыбнуться, не впадая в кощунство… – фетиш, и человек подавлен им, он боится его смешать с простою жизнию»[98].

Он становится иконой, объектом слепого поклонения, а значит – тайной, оправдывающей ужасные злодейства. Вот еще о том же:

«Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины… она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присваивает себе такие же права, как монархия, – презирает ее, как монархию, – нет, гораздо больше… Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным salus populi[99]»[100].

Он добавляет, что патриотизм – готовность жертвовать собой ради собственной страны – сомнительная доблесть; все же лучше, если живы оба – и страна, и ее гражданин. Вот пока все об «истории». Люди «вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней – рыцарства, католицизма, протестантизма»[101].

Кроме того, есть еще те, кто говорит о «прогрессе» и готов пожертвовать настоящим ради будущего, готов причинить страдания сегодня ради того, чтобы отдаленные потомки могли быть счастливы; они оправдывают преступления и унижения, потому что без этого не достигнешь гарантированного счастья. Именно на эту позицию – разделяемую в равной степени реакционными гегельянцами и коммунистами революционного толка, спекулятивными утилитаристами и ревностными ультрамонтанами, то есть всеми, кто оправдывает использование отвратительных средств во имя благородных, но отдаленных целей, – Герцен обрушился с неистовым презрением и сарказмом. Этому посвящены лучшие страницы в работе «С того берега» – его политическом profession de foi[102], своего рода плаче по разбитым иллюзиям 1848 года.

«Если прогресс – цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: “Morituri te salutant”[103], только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле. Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой другие когда-нибудь будут танцевать… или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку… со смиренной надписью “Прогресс в будущем”?.. цель бесконечно далека, – не цель, а уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере – заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства…

Цель для каждого поколения – оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе о будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, растворить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем…»[104]

«… Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика… разум вырабатывается трудно, медленно, – его нет ни в природе, ни вне природы… с ним надобно улаживать жизнь как придется, потому что libretto нет. А будь libretto, история потеряет всякий интерес, сделается ненужна, скучна, смешна… великие люди сойдут на одну доску с театральными героями… В истории все импровизация, все воля, все ex tempore[105], вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда

хотят, куда есть только дорога, – а где ее нет, там ее сперва проложит гений»[106].

Дальше Герцен пишет, что исторические процессы, как и природные, могут воспроизводиться миллионы лет или внезапно прекратиться. Хвост какой-нибудь кометы может задеть нашу планету и уничтожить все живое на ней; тогда наступил бы конец истории. Но из этого ничего не следует, из этого нельзя извлечь никакой морали. Нет никакой гарантии, что все будет происходить так, а не иначе. Смерть одного человека не менее абсурдна и непонятна, чем смерть всего человечества; это тайна, которую мы признаем, и нет необходимости пугать ею детей.

Природа не являет плавного телеологического развития, и уж наверняка – такого развития, которое ведет к счастью человечества или к социальной справедливости. Природа для Герцена – это некий клубок потенций, которые реализуются по никому не известному плану. Некоторые осуществляются, некоторые гибнут; при благоприятных условиях некоторые можно реализовать, но они могут изменить направление, потерпеть крах, уйти в небытие. От этого некоторые люди приходят к цинизму и отчаянию. Можно ли сказать, что человеческая жизнь – бесконечная череда подъемов и падений, достижений и провалов? Что же, в ней вообще нет цели? Заканчивается ли всякое усилие неудачей, за которой следует новая попытка, так же обреченная на провал? Если мы так говорим, мы просто не понимаем действительности. Почему природа должна быть задумана как полезное орудие, которое поможет достигнуть прогресса или счастья? Почему от бесконечно богатого, бесконечно щедрого космического процесса нужно требовать осуществления практических целей? Нет ли невыносимой пошлости в вопросе: какая польза цветку от его великолепного цвета, его прекрасного запаха, когда он обречен на скорую гибель? Природа бесконечно и безрассудно плодовита – «… она идет донельзя… до того, что разом касается пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее»[107]. Кто сказал, что природа будет подчиняться нашим скучным категориям? Какое имеем мы право настаивать на том, что история бессмысленна, если она не подчиняется тем схемам, которые мы ей навязываем, не преследует наши цели, не стремится к нашим изменчивым и прозаическим идеалам? История – это импровизация, она «стучится разом в тысячу ворот… которые отопрутся… кто знает?

– Может, балтийские – и тогда Россия хлынет на Европу?

– Может быть»[108].

Все в природе, как и в истории, существует само по себе и

само для себя цель. Настоящее – это осуществление настоящего, оно существует не ради неизвестного будущего. Если бы все существовало ради чего-то другого, каждый факт, каждое событие и существо были бы средством какого-то космического замысла. Неужели мы попросту марионетки, которыми управляют невидимые нити, жертвы таинственных сил в космическом libretto? Так мы представляем нравственную свободу? Разве кульминация любого процесса – тем самым и его цель? Тогда старость – это цель юности только потому, что таков порядок нашей жизни? А цель этой жизни – смерть?

Для чего поет певец? Чтобы, когда он кончит, его песню можно было вспомнить и потосковать по тому, чего не вернешь? Нет. Это фальшивое, близорукое, мелкое представление. Цель певца – песня. Цель жизни – сама жизнь.

Все проходит, но, проходя, может вознаградить путника за его страдания. Гете поведал нам, что гарантий нет, надо довольствоваться настоящим; но нет, мы недовольны, мы отвергаем красоту и радость, потому что должны властвовать и над будущим. Так отвечает Герцен тем, кто, подобно Мадзини и Кошуту, социалистам и коммунистам, призывает к величайшим жертвам и страданиям ради цивилизации, или равенства, или справедливости, или гуманности если не в настоящем, так в будущем. Но это же «идеализм», метафизический «дуализм», мирская эсхатология. Цель жизни – она сама, цель борьбы за свободу – свобода здесь и сейчас, для живых людей с их индивидуальными чаяниями, ради которых они действуют, сражаются и страдают. Эти чаяния священны для них. Растоптать эту свободу, остановить их поиски, разрушить их чаяния ради туманной счастливой будущности попросту безрассудно, потому что это будущее слишком неопределенно и жестоко. Мы посягаем на те единственные нравственные ценности, которые знаем, грубо попирая конкретные человеческие жизни и потребности. И во имя чего? Во имя свободы, счастья, справедливости – всех этих фанатических обобщений, мистических заклинаний, абстракций. Почему стоит стремиться к личной свободе? Только ради нее самой, самодовлеющей ценности, а не потому, что большинство желает свободы. Люди как раз не склонны искать свободы. Руссо полагал, что они рождены свободными. На это Герцен замечает (вслед за Жозефом де Местром), что с таким же успехом можно сказать: «Рыбы родятся для того, чтобы летать, – и вечно плавают»[109]. Ихтиофилы могут доказывать, что рыбы «по природе» созданы для полета; но это не так. Да люди по большей части и не любят освободителей. Им легче двигаться по проторенным путям и нести привычное ярмо, чем идти на

огромный риск, строя жизнь по-новому. Они предпочитают (снова и снова повторяет Герцен) ужасное бремя настоящего, утешая себя тем, что современная жизнь все же лучше феодализма или варварства. «Народ» не желает свободы, лишь цивилизованные личности стремятся к ней, так как это стремление неразрывно связано с цивилизацией. Свобода, как и цивилизация или образование, не «естественные» блага, они требуют больших усилий; значение же ее в том, что без нее отдельная личность не может реализовать все свои потенции, не может жить, действовать, радоваться, творить бесконечно разнообразными способами в соответствии с тем или иным историческим мгновением, которое непостижимым образом отличается от любого другого. Человек «не хочет быть ни пассивным гробовщиком прошлого, ни бессознательным акушером будущего»[110]. Он хочет жить в своем собственном времени. Его нравственность нельзя ни выводить из законов истории (которых просто нет), ни из объективных целей развития человечества (их тоже нет, они меняются вместе с изменением обстоятельств и появлением новых личностей). Нравственные цели – это то, чего люди хотят ради себя самих. «Свободный человек создает собственную нравственность»[111].

Такое обличение общепринятых нравственных норм – без малейшего пафоса, свойственного Байрону или Ницше, – редко можно было услышать в XIX веке; на самом деле в полном объеме оно прозвучало даже не в начале следующего столетия, а гораздо позже. Тут достается и правым, и левым: и романтическим историкам, и Гегелю, и отчасти Канту, и утилитаристам, и сверхчеловекам, и Толстому, и культу искусства, и «научной этике», и всем религиозным системам. Это учение – и эмпирическое, и натуралистическое, оно признает и абсолютные ценности, и возможность изменения, оно не преклоняется ни перед эволюцией, ни перед социализмом. Наконец, оно на удивление оригинально.

Герцен считает, что существующие партии достойны обличения не потому, что они не отвечают чаяниям большинства – оно, во всяком случае, предпочитает рабство свободе, а освобождение тех, кто внутренне так и остался рабами, всегда приводит к варварству и анархии: «недостаточно разобрать по камешку Бастилию, чтобы сделать колодников свободными людьми»[112]. «Роковая ошибка их (французских радикалов в 1848 году) состоит в том, что… они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились… Они хотят, не меняя стен (тюрьмы), дать им новое назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни»[113]. Экономической

справедливости недостаточно; социалистические «секты» этого не замечают, а потому они обречены. Что же касается демократии, то она легко может оказаться бритвой, которой незрелая нация – подобно Франции с ее всеобщим избирательным правом в 1848 году – буквально зарежется[114]. Если попытаться подправить ее диктатурой (в духе Петра Великого), это приведет к еще большей жестокости. Гракх Бабеф, разочарованный результатами Французской революции, провозгласил религию равенства – «каторжного равенства»[115]. А что же предлагают нам современные коммунисты? «Коммунистическую барщину» по Кабе? «Египетское устройство в духе Луи Блана»?[116] «Аккуратные фаланстеры Фурье, где свободный человек не может дышать – где одна сторона жизни постоянно рушится в пользу других»?[117] Коммунизм – это уравнивающее движение, деспотизм возбужденной толпы, комитетов народного спасения, провозглашающих безопасность народа – этот чудовищный лозунг, столь же ужасный, что и враг, которого они пытаются подавить. Варварство отвратительно, с какой бы стороны оно ни проявлялось: «Кто покончит, довершит? Дряхлое ли варварство скипетра или буйное варварство коммунизма, кровавая сабля или красное знамя?»[118] Да, либералы немощны, далеки от жизни, трусливы, не понимают, что нужно бедным и слабым, новому классу пролетариев, который неуклонно растет; истинно и то, что консерваторы показали себя жестокими, недалекими, подлыми и деспотичными – хотя надо помнить, что священники и землевладельцы обычно ближе к народным массам и понимают их нужды лучше, чем либеральные интеллектуалы, даже если их намерения менее великодушны или честны. Славянофилы – это чистой воды эскаписты, защитники пустого трона, готовые забыть дурное настоящее во имя воображаемого прошлого. Все они подчиняются грубым и эгоистичным инстинктам либо пустым формулам. Но безудержная демократия настоящего ничем не лучше и может подавлять людей и их свободы еще беспощадней, чем одиозное и корыстное правительство Наполеона III.

Чего хотят от «нас» массы? Они могут бросить в лицо европейскому правящему классу: «Мы были голодны, а вы кормили нас речами, мы были раздеты, а вы посылали нас в чужую страну убивать других голодных и раздетых». Парламентское правительство в Англии, конечно же, ничем не лучше, ведь оно вместе с другими так называемыми демократическими институтами («ловушки, названные оазисами свободы») всего лишь защищает права собственности, высылает людей в интересах общественной безопасности и содержит под ружьем солдат, которые готовы без лишних вопросов стрелять по

первому приказу. Как плохо наивные демократы понимают, во что же они верят и каковы будут последствия. «Отчего верить в Бога… и Царство Небесное глупо, а верить в земные утопии умно?»[119] Что же до последствий, то когда-нибудь на земле действительно воцарится демократия, то есть власть народных масс. Тогда произойдет вот что:

«Вся Европа выйдет из дуг своих, будет втянута в общий разгром… Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку, унося с собой от гибели кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гуситов.

И тут – на краю гибели и бедствий – начнется другая война – домашняя, своя расправа неимущих с имущими!.. Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Среди грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест – явятся новые заповеди… новый символ веры. Они сочтутся на тысячу ладов с историческим бытом; но… основной тон будет принадлежать социализму, современный государственный быт со своей цивилизацией погибнут – будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы.

Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне.

Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения»[120].

Такие предсказания отцов-основателей Нового Порядка смущают советских исследователей и агиографов. Чаще всего о них просто не говорят.

У Гейне и Буркхардта тоже были кошмарные видения, они тоже знали демонов, вызванных из небытия несправедливостями и «противоречиями» нового мира и возвещающих не осуществление утопии, а гибель. Подобно им, Герцен не питает никаких иллюзий:

«Или вы не видите… новых варваров, идущих разрушать? Они… как лава, тяжело шевелятся под землею… Когда настанет их час – Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут разом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот… Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное… ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от

голода, от холода, они ропщут… на чердаках и в подвалах, в то время как мы с вами au premier[121], “шампанским вафли запивая”, толкуем о социализме»[122].

Диалектически Герцен гораздо последовательнее «научных» социалистов, которые отвергают «утопии» своих оппонентов, упиваясь при этом собственными фантазиями о тысячелетнем царстве. Сопоставить с классовой идиллией в «Манифесте коммунистической партии» можно такие строки Герцена:

«Социализм разовьется со всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией…»[123]

У исторического процесса нет «кульминации». Люди изобрели это понятие только потому, что они не могут смириться с идеей бесконечного конфликта.

Отрывки эти можно сравнить с буйными пророчествами Гегеля и Маркса, которые тоже предсказывали обреченность буржуазии, и смерть, и полное разрушение старого мира, и рождение новой цивилизации. Но и у Гегеля, и у Маркса нельзя не почувствовать сардонической, жгучей радости при мысли о разгуле огромных разрушительных сил и о грядущем истреблении всех этих простофиль, идиотов, презренных филистеров, которые не подозревают о своей ужасной участи. Герцен свободен от этого, он не восхищается зрелищем непобедимой силы и разрушения, не презирает слабости, у него нет романтического пессимизма, который стал сущностью нигилизма и грядущего фашизма. Он презирает тех либералов, которые затевают революции, а потом пытаются бороться с их последствиями; подрывают старый порядок – и не могут от него оторваться, поджигают фитиль – и пытаются предотвратить взрыв; боятся этой мифической фигуры, «несчастного, обделенного брата»[124], рабочего, пролетария, требующего своих прав и не понимающего, что ему-то нечего терять, а интеллектуал может потерять все. Именно либералы предали революцию в 1848 году в Париже, Риме и Вене не только тем, что помогли побежденным реакционерам вернуть власть и задушить свободу, но и тем, что сначала бежали, а потом стали утверждать, что «исторические силы» были слишком сильны. Если у проблемы нет решения, гораздо честнее признать это и четко ее сформулировать, чем сначала затемнить проблему, проявить слабость и предать свое дело, а потом оправдываться тем, что история оказалась сильнее, чем ты думал. Очевидно и то, что

идеалы 1848 года были сами по себе достаточно пустыми; по крайней мере, они казались Герцену пустыми в 1869 году: «Ни одной построяющей, органической мысли… экономические промахи не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти»[125]. Экономические промахи плюс «арифметический пантеизм всеобщей подачи голосов», «суеверие в республику или суеверие в парламентские реформы»[126] – вот, по мнению Герцена, суть этих идеалов. Тем не менее либералы не боролись даже за собственную куцую программу. Во всяком случае, такими средствами нельзя было завоевать свободу. Требования нашего времени достаточно ясны, они скорее социальные, чем экономические. Чисто экономические перемены, за которые ратуют социалисты, не подкрепленные более глубокими преобразованиями, недостаточны для отмены цивилизованного каннибализма, монархии и религии, судов и правительств, нравственных привычек и убеждений. Надо изменить институты частной жизни.

«И не странно ли, что человек, освобожденный новой наукой от нищеты и от несправедливого стяжания, – все же не делался свободным человеком, а как-то затерялся в общине? Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество – самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена»[127].

Наука не решит эту проблему (да простит нас Сен-Симон), не помогут ни заклинания против ужасов безудержной конкуренции, ни призывы к отмене бедности, если все, на что они способны, это растворить личность в едином, монолитном, репрессивном сообществе – «каторжном равенстве» Гракха Бабефа.

История не детерминирована. У жизни, к счастью, нет сценария, всегда возможна импровизация, будущее вовсе не обязано воплощать программу, подготовленную метафизиками[128]. Социализм невозможен и неизбежен; задача сторонников свободы – не дать ему переродиться ни в буржуазное филистерство, ни в коммунистическое рабство. Жизнь сама по себе ни плоха, ни хороша, и люди таковы, какими они сами себя делают. Без общественного сознания они становятся орангутанами, без эгоизма – смирными жако[129]. Но нет таких неумолимых сил, которые вынуждали бы их быть тем или другим. Наши цели поставлены не нам, а нами самими[130]; следовательно, оправдывая попрание свободы сегодня обещанием свободы завтра, поскольку это «объективно» гарантировано, мы воспользовались бы жестоким и опасным обманом для оправдания несправедливых действий. «Когда бы люди захотели

вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтоб освобождать человечество, себя освобождать, – как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека»[131].

Дальше Герцен говорит, что человек несомненно зависит от своего окружения и времени – физиологически, поведенчески, биологически, но и на более сознательном уровне; он признает, что люди отражают свое время и обстоятельства их жизни воздействуют на них. Тем не менее возможность противодействия социальной среде и протест против нее столь же реальны; неважно, действенен этот протест или нет, выражается ли он социально или индивидуально[132]. Вера в детерминизм – это алиби для слабости. Всегда будут существовать фаталисты, заявляющие: «Избрание путей истории не в личной власти; не события зависят от лиц, а лица – от событий. Мы только мнимо заправляем движением, но, в сущности, плывем куда волна несет…»[133]

Но это не так.

«Пути вовсе не неизменны. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманием, с личной энергией. Личность создается… событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать – тут взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил – … нам не по росту. Чтобы стать слепым орудием судеб, бичом, палачом Божиим – надобно наивную веру, простоту неведения, дикий фанатизм и своего рода непочатое младенчество мысли»[134].

Делать вид, что мы именно такие сегодня, было бы ложью. Появляются лидеры, подобные Бисмарку (или Марксу), которые заявляют, что ведут свою нацию или свой класс к неизбежной победе, предназначенной им судьбой, избранниками которой они себя осознают; и во имя этой святой исторической миссии они разрушают, порабощают, обрекают на мучения. При этом они всего-навсего наглые самозванцы.

«То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слыхали голоса, призывавшего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть – власть разума и понимания.

Отвергая их, мы становимся ренегатами цивилизации»[135].

IV

Этот приговор Бисмарку или Марксу еще более очевидно и преднамеренно адресован Бакунину и русским якобинцам, он направлен против пистолета Каракозова и «топора» Чернышевского, оправданных новыми молодыми революционерами, против террора, к которому призывают Заичневский или Серно-Соловьевич, против наивысшего выражения этой идеологии – ужаса нечаевщины и окончательного перерождения революционного учения, которое пошло намного дальше своих западных истоков и считает честь, сострадание и угрызения совести, присущие цивилизации, личным оскорблением. Отсюда уже недалеко до знаменитой формулы Плеханова, высказанной в 1903 году: «безопасность революции есть наивысший закон», которая оправдывала временную отмену гражданских свобод; до «Апрельских тезисов» и отношения к «неприкосновенности личности» как к непозволительной роскоши, без которой в трудные минуты можно обойтись.

Расхождение между Герценом и Бакуниным непреодолимо. И слабые попытки советских историков если уж не замалчивать эти различия, то хотя бы представить их как необходимые и последовательные этапы единого процесса, необходимые как логически, так и исторически (потому что история и эволюция идей подчиняются законам «логики»), являют собой грустную картину полной несостоятельности. Одни, подобно Герцену (или Миллю), ставят свободу личности в центр своего социального или политического учения, для них это святая святых, без нее лишается смысла вся остальная деятельность, наступательная или защитная; для других такая свобода – лишь побочный продукт социального переворота, единственной цели их деятельности, или, возможно, переходная стадия, неизбежная в ходе истории. Взгляды эти полностью противоположны, никакого примирения или компромисса между ними нельзя представить; их разделяет фригийский колпак. Для Герцена вопрос личной свободы важнее даже таких ключевых проблем, как централизм или свободная федерация, революция сверху или революция снизу; политическая деятельность или экономическая; крестьяне или рабочие; сотрудничество с другими партиями либо отказ от сделок и призыв к «политической чистоте» и независимости; вера в неизбежность капиталистического развития или в возможность его обойти; да и все прочие важнейшие вопросы, которые разделяли либеральные и революционные партии в России вплоть до революции. Для тех, кто «преклоняется перед фригийской шапкой», salus populi[136] – это абсолютный критерий, перед которым отступают все другие соображения.

«Несмотря на… всю гнусность правителей, – заметил

однажды Герцен, сравнивая Россию с Западом, – Спинозу не послали на поселение и Лессинга не секли или не отдали в солдаты» («С того берега»: VI, 15). В XX веке это противопоставление потеряло силу.

Для Герцена это неизменно «преступный» принцип, худшая из тираний, приняв его, мы пожертвуем свободой личности ради какой-либо великой абстракции – чудовища, изобретенного метафизиками или религией, откажемся от реальных земных проблем, будем повинны в «дуализме», то есть отделим принципы борьбы от эмпирических фактов и выведем эти принципы из совсем другого набора «фактов», полученных на основе особого мировосприятия[137]. Словом, мы встанем на путь, который всегда ведет к «каннибализму» – гибели людей сейчас ради «будущего счастья». «Письма к старому товарищу», в первую очередь, посвящены разоблачению этого фатального силлогизма. Совершенно обоснованно Герцен считал, что Бакунин в нем повинен, и за пылкими фразами, несокрушимой отвагой, широкой русской натурой, веселостью, личным обаянием и даром воображения своего друга – которому он был предан до самого конца – он различал циничное равнодушие к отдельным людям, детскую игру чужими жизнями ради социального эксперимента, жажду революции ради революции, что никак не сочеталось с исповедуемым им ужасом перед сознательным насилием или унижением невинных. Он замечал некоторую внутреннюю бесчеловечность Бакунина (о которой знали и Белинский, и Тургенев); понимал, что ненавидит рабство, угнетение, лицемерие, бедность, но в абстрактном смысле, без подлинного отвращения к конкретным случаям (истинно гегельянский подход!), ощущает, наконец, что бесполезно обвинять орудия, когда можно найти более возвышенную точку зрения и рассматривать структуру самой истории. Бакунин ненавидел царизм, но почти не проявлял личной ненависти к Николаю; ему бы никогда не пришло в голову раздавать монеты мальчишкам в Твикэме, чтобы они кричали в день смерти императора: «Царникол умер!», или ощущать освобождение крестьян как личное счастье. Судьба отдельных людей мало его занимала, его принципы были слишком общими и слишком грандиозными: «Сначала разрушить, а там будет видно». Чего у Бакунина было в избытке, так это темперамента, остроты зрения, щедрости, отваги, революционного огня, природной силы духа. А права и свободы отдельных личностей почти не играли никакой роли в его апокалиптическом мировоззрении.

Позиция Герцена по этому вопросу очевидна, и она не изменялась на протяжении всей его жизни. Никакие отдаленные

цели, никакие ссылки на высшие принципы или абстрактные понятия не могут оправдать подавление свободы, обман, насилие и тиранию. Если только отказаться от жизни в соответствии с теми этическими принципами, по которым мы действительно живем, и в той ситуации, которую мы признаем реальной, а не такой, какой она может или должна быть, то сразу же открывается дорога к отмене индивидуальной свободы и всех ценностей человеческой культуры. С подлинным ужасом и отвращением Герцен видел и обличал настойчивую и грубую бесчеловечность молодого поколения русских революционеров – бесстрашных, но жестоких, полных бешеного негодования, но враждебных цивилизации и свободе, поколения Калибанов – «этого сифилиса нашей революционной блудни»[138], то есть поколения самого Герцена. В ответ они платили ему непрекращающимися обвинениями в «мягкотелом» аристократическом дилетантизме, либеральном оппортунизме, предательстве революции, приверженности отжившему прошлому. Он же отвечал горьким и точным портретом нового поколения, которое заявляет старому: «Вы лицемеры – мы будем циниками, вы были нравственны на словах – мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими – мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, – мы будем толкаться, не извиняясь…»[139]

Особая ирония истории заключена в том, что Герцен, который желал личной свободы больше, чем счастья, или действенности, или справедливости, который отвергал планирование, экономическую централизацию, власть правительства, поскольку они могли ограничить способность личности к свободной игре фантазии, к неизмеримой глубине и разнообразию личной жизни в пределах обширной, богатой, «открытой» социальной среды, который ненавидел «немцев» Санкт-Петербурга (особенно «русских немцев» и «немецких русских»), потому что их склонность к рабству была не «арифметической» (как в России или в Италии), то есть неохотным подчинением численно превосходящим силам реакции, а «алгебраической», то есть частью их «внутренней формулы» – сутью их натуры[140], – что Герцен, благодаря случайной покровительственной фразе Ленина, теперь оказался в святая святых советского пантеона, и введен он туда тем правительством, происхождение которого он понимал лучше и боялся гораздо больше, чем Достоевский, и чьи слова и действия непрерывно оскорбляют все, во что он верил, и его самого.

Конечно, несмотря на все его призывы к конкретности и неприятие абстрактных принципов, Герцен и сам бывал

достаточно утопичен. Он боялся толпы, не признавал бюрократию и организацию и все же верил, что можно установить справедливость и счастье не для немногих, а для большинства, если уж не на Западе, то, во всяком случае, в России. Основанием этому был его патриотизм – вера в русский национальный характер, который столь ярко проявился, сумев пережить и византийскую стагнацию, и татарское иго, и немецкую дубину, и своих собственных правителей, сохранив неповрежденной душу народа. Он идеализировал русских крестьян, сельские общины, свободные артели; подобным же образом он верил в естественную доброту и моральное благородство парижских рабочих или населения Рима и, несмотря на все чаще проскальзывающие нотки «грусти, скептицизма, иронии… три главные струны русской лиры»[141], не становился ни циником, ни скептиком. Русское народничество более обязано его необоснованному оптимизму, чем любому другому источнику вдохновения.

И все же по сравнению с учением Бакунина взгляды Герцена – образец сухого реализма. У Бакунина и Герцена много общего: оба разделяют крайнюю антипатию к марксизму и его основателям, оба не видят никакого преимущества в замене одного угнетающего класса другим, оба не верят в добродетели пролетариев как таковых. Но Герцен, по крайней мере, не отворачивается от подлинно политических проблем – несовместимости неограниченной личной свободы и, с одной стороны, социального равенства, а с другой – минимума социальной организации и власти; необходимости опасного лавирования между Сциллой индивидуалистической «атомизации» и Харибдой коллективного угнетения; печального несоответствия и конфликта между многими, одинаково благородными человеческими идеалами; отсутствия «объективных», вечных, общечеловеческих моральных и политических стандартов, оправдывающих либо принуждение, либо сопротивление ему; призрачности отдаленных целей и невозможности полностью обойтись без них. В противоположность этому, Бакунин и в свои разнообразные гегельянские периоды, и в период анархизма, легко отметает подобные проблемы и обретается в счастливых эмпиреях революционной фразеологии с тем жаром и безответственным наслаждением словами, которые свойственны его подростковому и поверхностному мировосприятию.

V

Бакунин, что в равной степени могут засвидетельствовать его противники и последователи, посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу. Он сражался за нее делом и словом. Больше, чем кто-либо другой в Европе, он отстаивал непрекращающийся бунт против всякой формы существующей власти, непрекращающийся протест во имя всех униженных и оскорбленных, независимо от нации и класса. Сила его деструктивных доводов удивительна по своей убедительности и ясности и до сих пор не получила достойного признания. Его аргументы против теологических и метафизических понятий, его нападки на всю западную христианскую традицию – социальную, политическую и этическую, его яростные атаки на любую тиранию – государственную, классовую либо какой-то отдельной группы, обладающей властью, – священников, военных, бюрократов, демократических представителей, банкиров, революционных элит – выражены таким языком, который до сих пор остается образцом яркой политической прозы. С удивительным воодушевлением и талантом он продолжал традицию неистовых радикалов из плеяды философов XVIII века. Но вместе с их отвагой ему присущи их слабости, и его позитивные идеи оказываются, как часто и у них, набором звонких общих мест, связанных воедино невнятным эмоциональным созвучием или риторическим подобием, а не последовательной структурой подлинных идей. Его позитивные понятия еще мельче, чем у них. Скажем, он предлагает такое определение свободы: «Tous pour chacun et chacun pour tous»[142]. Это ученическая присказка, с несомненным отзвуком «Трех мушкетеров»; яркие краски исторического романа гораздо характерней для Бакунина с его непобедимым легкомыслием, любовью к фантазии и отсутствием сомнения в поступках и словах, чем портрет убежденного борца за свободу, нарисованный его последователями и почитаемый издали столькими молодыми революционерами, отправленными в Сибирь или на плаху силой его буйного красноречия. Бакунин в самой изысканной и абсолютно некритичной манере XVIII столетия слепляет в один нераздельный ком все известные добродетели (не исследуя, несмотря на свое гегельянское воспитание и знаменитую способность к диалектике, сочетаются ли они и что они вообще значат): справедливость, гуманность, доброту, свободу, равенство («свобода одного ради равенства всех» – это еще одно его пустое заклинание), науку, разум, здравый смысл, ненависть к привилегиям и монополии, ненависть к угнетению и эксплуатации, к глупости и бедности, к слабости, несправедливости, снобизму – они представлены в виде единого, ясного, конкретного идеала, достичь которого было бы

легко, если б люди не были столь слепы или испорчены. Свобода будет царить «на новом небе и новой земле, в новом волшебном мире, где все несогласия сольются в одно гармоничное целое – демократический и всемирный храм человеческой свободы»[143]. Стоит только перейти на этот жаргон радикалов середины XIX века, сразу становится понятно, к чему все клонится. Можно парафразировать еще один пассаж: я не свободен, если ты, в свою очередь, несвободен; моя свобода должна «отражаться» в свободе остальных – и неправ тот индивидуалист, который считает, что граница моей свободы – твоя свобода; индивидуальные свободы дополняют друг друга, необходимы друг другу и не притязают друг на друга[144]. «Политическая и юридическая» концепция свободы – это неотъемлемая составляющая того криминального словоупотребления, при котором общество и ненавидимое государство приравниваются друг к другу. Она лишает людей свободы, так как противопоставляет личность и общество; на этом основывается крайне вредная теория общественного договора, по которому люди должны отказываться от части своей изначальной, «естественной» свободы, чтобы сосуществовать в гармонии. Но это силлогизм, поскольку только в обществе люди становятся людьми и при этом свободны – «только коллективный и общественный труд освобождает (человека) от ига… природы», а без этого освобождения невозможна никакая «нравственная или интеллектуальная свобода»[145]. Свободы в одиночестве не бывает, непременное условие существования для нее – взаимность. Я свободный человек только постольку, поскольку и все остальные свободны. Моя свобода не имеет границ, если такова и свобода остальных; свобода одного отражается, как в зеркале, в свободе другого, и, пока в мире есть хоть один раб, я – не свободный человек, у меня нет достоинства и прав. Свобода – это состояние не физическое и не социальное, а душевное, состояние разума, и состоит оно во всеобщем, взаимном признании свободы личности; рабство – тоже состояние ума, и рабовладелец так же несвободен, как его рабы[146]. Бойкие эффектные фразы подобного рода в духе гегельянства часто встречаются у Бакунина, но в них нет даже мнимых достоинств гегельянской философии, так как Бакунин ухитряется на их основе воспроизводить многие из глубочайших заблуждений XVIII века, включая и смешение достаточно ясной, хотя и негативной, идеи личной свободы как условия, при котором человека не понуждают делать то, чего он не хочет, с утопическим и довольно невнятным понятием свободы от законов, когда под «законом» понимаются естественные потребности или общественное сосуществование. Из этого делается такой вывод: абсурдно

требовать свободы у природы, а я – то, что я есть, только являясь ее неотъемлемой частью; следовательно, так как мои взаимоотношения с другими людьми также принадлежат «природе», бессмысленно просить у них свободы, и надо искать той свободы, которая состоит в «гармоническом согласии» с ними.

Бакунин бунтовал против Гегеля и провозглашал ненависть к христианству; но его язык – это набор общих мест из них обоих. Для него все добродетели совместимы и, более того, обуславливают одна другую, свобода одного человека никогда не входит в противоречие со свободой другого при условии, что оба они разумны (так как тогда они не могут преследовать противоречащие друг другу цели); неограниченная свобода не только совместима с неограниченным равенством, но и невозможна без него. Он не хочет серьезно проанализировать ни понятия свободы, ни понятия равенства; он убежден в том, что только вполне устранимые глупость и испорченность людей мешают естественной доброте и мудрости человека устроить рай на земле почти без промедления или, по крайней мере, как только тираническое государство с его порочным и нелепым устройством будет разрушено до основания. Все эти наивные силлогизмы, достаточно убедительные для XVIII века, но многажды раскритикованные в более умудренном XIX, составляют сущность его проповедей urbi et orbi[147] и, в частности, его яростных призывов к зачарованным часовщикам из Ля-Шо-де-Фон и Валь-де-Сен-Имье.

Мысль Бакунина почти всегда проста, неглубока и очевидна; язык страстен, прям и неточен, он перетекает из одной банальности в другую. Иногда он разоблачителен, но чаще назидателен или полемичен, обычно ироничен, местами блестящ, всегда весел, всегда занимателен, всегда интересен для читателя, но редко связан с реальными фактами и никогда не оригинален, не серьезен и не точен. Слово «свобода» встречается у него бесконечное число раз. Иногда Бакунин говорит о ней на экзальтированном полурелигиозном языке, заявляя, что инстинктивная склонность к бунту, мятежу, вызову – это один из трех основных «моментов» в развитии человечества; он поносит бога и восхваляет дьявола, первого бунтовщика, верного друга свободы. В таком богоборческом настроении, слогом революционного марша, он провозглашает, что единственный истинно революционный элемент в России (да и повсюду) – лихой мир разбойников и головорезов, которым нечего терять и которые разрушат старый мир, а затем сам собой возникнет новый, словно феникс из пепла[148]. Его надежда – это сыновья

обедневших дворян, все те, кто обращает свои несчастья и негодование в яростные взрывы протеста против угнетающей их среды. Подобно Вейтлингу, он обращается к низам общества, и в частности к рассерженным крестьянам, Пугачевым и Разиным, с призывом подняться, как Самсон, и разрушить храм неравенства. Иногда он не столь кровожаден и призывает выступить всего лишь против отцов и учителей: дети должны быть свободны в выборе карьеры; нам не нужны «ни полубоги, ни рабы», но общество равных, и прежде всего не испорченных университетским образованием, которое дает чувство интеллектуального превосходства и ведет к еще более чувствительному неравенству, чем даже наличие аристократии и плутократии. Иногда он говорит о необходимости «железной диктатуры» на время переходного периода от порочного современного общества с его «кнуто-германскими» армией и полицией к будущему безгосударственному обществу, где не будет никакого принуждения. В других случаях он заявляет, что все диктатуры неизбежно стремятся к самосохранению и что диктатура пролетариата – это еще более отвратительная форма классового деспотизма. Он восклицает, что все «навязанные» законы надо отбросить, как придуманные людьми, но соглашается на то, что люди должны подчиняться «общественным» законам, которые «естественны», а «не искусственны», как будто они раз и навсегда установлены, неприкосновенны и неподвластны человеческому регулированию. Практически все оптимистические заблуждения рационалистов XVIII века так или иначе появляются в его работах. Провозгласив право – нет, обязанность – на бунт и необходимость немедленного революционного уничтожения государства, он безмятежно декларирует свое убеждение в абсолютном историческом и социологическом детерминизме и одобрительно цитирует слова бельгийского статистика Кетле: «Общество… само готовит преступления, а преступники – лишь орудия, их осуществляющие»[149]. Его вера в свободную волю так же иррациональна, как и у Энгельса, когда он пишет, что «свобода… это неизбежный результат естественной и общественной необходимости»[150]. Мы полностью формируемся естественной, в том числе человеческой, средой, и все же мы должны бороться за независимость человека не от «законов природы и общества», а от всех законов – «политических, уголовных или гражданских», навязанных ему другими людьми «против его личных убеждений»[151]. Это окончательное, наиболее запутанное определение свободы, и каждый может толковать его в меру своего разумения. Ясно только то, что Бакунин не хочет, чтобы

кого бы то ни было ограничивали в чем бы то ни было, в любое время и при любых обстоятельствах. Более того, он верит, подобно Гольбаху или Годвину, что как только искусственные ограничения, навязанные человечеству или слепой традицией, или глупостью, или «заинтересованным злом», будут сняты, все автоматически устроится само собой и справедливость, счастье, радость и свобода немедленно начнут царить на земле. Неблагодарное занятие искать в работах Бакунина что-либо более существенное[152]. Он принципиально пользуется словом не для того, чтобы описать, а для того, чтобы воспламенить, и в этом он проявил себя непревзойденным мастером. Даже в наше время его слова не совсем утратили эту способность.

Он, как и Герцен, не любил новый правящий класс «правящих Фигаро», «Фигаро-банкиров» и «Фигаро-министров», которые не могли избавиться от ливреи, сросшейся с их кожей. Он любил свободных людей и несломленные личности. Особым предметом ненависти для него было духовное рабство; подобно Герцену, он презирал немцев за неискоренимый сервилизм и повторял это оскорбительно часто:

«Когда англичанин или американец говорит: “Я англичанин”, “Я американец”, это означает “Я свободный человек”; когда немец говорит: “Я немец”, он имеет в виду “Я раб, но мой император сильнее всех, и немецкий солдат, который меня душит, вас всех тоже задушит”… у каждого народа свои предпочтения – немцы без ума от своей государственной дубины»[153].

Бакунин был достаточно проницателен, чтобы распознать любую форму угнетения; он искренне бунтовал против любой власти и порядка; любого диктатора, будь то царь Николай, или Бисмарк, или Лассаль, или Маркс (трижды диктатор, по его мнению, – как немец, как гегельянец и как еврей)[154], он узнавал сразу же. Но сам он не был серьезным мыслителем; не был он ни моралистом, ни психологом; единственное, чем он обладал, это наблюдательность и темперамент, но этого недостаточно для того, чтобы создать социальную теорию или политическое учение. Из его работ, написанных на протяжении всей его жизни, нельзя извлечь никакой последовательной философской системы, ощущаются только живое воображение, неистовая поэзия и погоня за сильными ощущениями во что бы то ни стало. Он хочет жить на пределе возможного, подрывать монотонную прозу повседневности, то есть всего, что есть мирного, уединенного, аккуратного, упорядоченного, некрупного, мещанского, устойчивого, умеренного. Его позиция и его учение весьма поверхностны, он сам об этом знал и только добродушно смеялся, когда его в этом уличали[155]. Ему хотелось разрушить все, что

возможно, и как можно скорее; сама мысль о хаосе любого рода, насилии, бунте его опьяняла. Когда в своей знаменитой «Исповеди» (написанной царю из тюрьмы) он писал, что больше всего ненавидит спокойную жизнь, а жаждет прежде всего чего-то – неважно чего именно – фантастического: неслыханных приключений, постоянного движения, действия, сражения, что он задыхается в мирной жизни, он выразил самую суть своих писаний.

VI

Хотя, на первый взгляд, у друзей так много общего – ненависть к царской власти, вера в русского крестьянина, теоретический федерализм и прудоновский социализм, ненависть к буржуазному обществу и добродетелям среднего класса, антилиберализм, воинствующий атеизм, преданная дружба, сходство в происхождении, вкусах и образовании, – разница между ними очень велика. Герцен – оригинальный мыслитель (хоть это редко признают даже его преданные почитатели), независимый, честный и неожиданно глубокий. В то время когда панацеи, расплывчатые системы и простые решения царствовали в общественном мнении, проповедуемые последователями Гегеля, Фейербаха, Фурье, христианских и неохристианских социальных мистиков, когда утилитаристы и неомедиевисты, пессимисты-романтики и нигилисты, пустословы «научной» этики и «эволюционной» политики и всякого рода коммунисты и анархисты предлагали быстродействующие средства и долгосрочные утопии – социальные, экономические, метафизические, теософские, – Герцен сохранял неизменное чувство реальности. Он отдавал себе отчет в том, что такие общие и абстрактные понятия, как «свобода» или «равенство», если их не конкретизировать в соответствии с реальной ситуацией, могут в лучшем случае разбудить поэтическое воображение и вдохновить людей на прекрасные чувства, а в худшем – оправдывать глупость и преступления. Он ясно видел – а в его время это было гениальное прозрение – всю абсурдность общих вопросов: «В чем смысл жизни?», или «Чем объяснить, что все происходит так, а не иначе?», или «Какова цель, или мораль, или направление истории?» Он понимал, что подобные вопросы только тогда имеют смысл, когда их конкретизируют, то есть когда ответы на них зависят от конкретных целей конкретных людей в конкретных обстоятельствах. Если мы задаем вопрос о конечных целях, это не значит, что мы понимаем саму цель; если мы

спрашиваем о «конечном» предназначении певца и его песни, это значит, что мы интересуемся совсем не его песнями или музыкой. Поскольку каждый человек действует тем или иным образом исключительно ради собственных, личных целей (независимо от того, насколько, по его мнению, они связаны с целями других людей и насколько он прав в этом предположении), цели эти для него священны и ради них он готов жить или умереть. Именно по этой причине Герцен так серьезно и страстно верил в независимость и свободу личности; осознавал то, во что он верил; и реагировал столь болезненно на фальсификацию или затемнение принципов, допускаемые в метафизическом или теологическом жаргоне и демократической риторике. По его мнению, важны только частные цели частных лиц, и попирать их – преступление, так как нет и не может быть принципа или ценности выше, чем цели отдельных лиц и, следовательно, не существует принципа, ради которого кто-то вправе насиловать их волю, или унижать, или убивать их – единственных творцов всех принципов и ценностей. Если каждому человеку не гарантировано минимальное пространство, внутри которого он может поступать так, как хочет, то ему остаются только те принципы и ценности, которые гарантируют теологические, или метафизические, или научные системы, претендующие на знание последней истины о месте человека во вселенной, а также о его функциях и целях в ней. Но все эти претензии Герцен считал мошенническими. Именно этот особый, не метафизический, эмпирический, «счастливый» индивидуализм делает Герцена заклятым врагом любой системы и любой попытки подавить ради нее свободу, неважно, во имя ли утилитаристских соображений или авторитарных принципов, во имя ли целей, данных в мистическом откровении, или во имя преклонения перед непобедимой силой, перед «логикой фактов», либо по еще какой-либо причине.

Что можно найти у Бакунина, хоть отдаленно сравнимое с этим? Бакунин с его напором, логикой и красноречием, с его желанием и способностью все ниспровергнуть, сжечь, разбить вдребезги, иногда по-детски неожидан, а иногда – патологически бесчеловечен; обладая странным сочетанием аналитичности и безудержного эксгибиционизма, он, как бы сам того не замечая, несет в себе многоцветное наследие XVIII века, не обращая внимания на то, что некоторые его идеи противоречат друг другу, – это забота «диалектики» – и сколько из них уже устарело, или дискредитировано, или было абсурдно с самого начала; Бакунин, официальный друг абсолютной свободы, не породил ни одной идеи, достойной внимания, ни одной свежей мысли, у него

нет даже подлинного чувства, только забавные обличения, приподнятое настроение, недоброжелательные зарисовки и одна-две запомнившиеся эпиграммы. Остается историческая фигура – «русский медведь», как он любил себя представлять, морально и интеллектуально безответственный человек, который из абстрактной любви к человечеству готов, подобно Робеспьеру, идти по колено в крови; который, таким образом, представляет собой связующее звено в традиции циничного терроризма и пренебрежения отдельными людьми, что на практике так глубоко внедрилось в политическую мысль XX столетия. И эту ипостась Бакунина, этого Ставрогина в обличье Рудина, этот несколько фашистский уклон, эти методы Аттилы, этот дух Петра – все эти мрачные черты, столь не соответствующие облику симпатичного «русского медведя» – die grosse Lise[156] – открыл не только Достоевский, который преувеличил их и окарикатурил, но и сам Герцен, который создал великолепный обвинительный документ в «Письмах старому товарищу» – возможно, самом ярком, пророческом, трезвом и волнующем эссе о перспективах человеческой свободы, какое только написано в XIX веке.

Отцы и дети: Тургенев и затруднения либералов [157]

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. <…> вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта <…> публика <…> видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности <…>

Виссарион Белинский (Письмо к Гоголю, 15 июля 1847 года)[158]

9 октября 1883 года Ивана Тургенева похоронили, как он и завещал, в Санкт-Петербурге, рядом с могилой его любимого друга, критика Виссариона Белинского. Его тело перевезли из Парижа после краткой церемонии около Гар дю Нор, на которой с приличествующими речами выступили Эрнест Ренан и Эдмон Абу. Панихида проходила в присутствии представителей императорского правительства, интеллигенции и рабочих организаций; возможно, то был первый и последний случай в России, когда эти классы мирно встретились. Времена стояли тревожные. Волна террористических актов достигла кульминации

во время убийства Александра II двумя годами ранее; главари заговорщиков были повешены или сосланы в Сибирь, но большие беспорядки продолжались, особенно среди студентов. Правительство опасалось, что похоронная процессия может превратиться в политическую демонстрацию. Пресса получила секретный циркуляр из Министерства внутренних дел с инструкцией печатать только официальную информацию о похоронах, не упоминая об этой инструкции. Ни городским властям Санкт-Петербурга, ни рабочим организациям не позволили называть себя в надписях на венках. Собрание писателей, на котором Толстой должен был говорить о своем друге и сопернике, отменило приказ правительства. Во время похоронной процессии распространялась революционная листовка, но официально ничего об этом сказано не было, и, судя по всему, обошлось без инцидентов. Однако эти предосторожности и та тяжелая атмосфера, в которой проходили похороны, могут удивить тех, кто видит Тургенева так, как его видели Генри Джеймс, Джордж Мур или Морис Беринг и как большинство его читателей, вероятно, по-прежнему видит его. Для них он – автор прекрасной лирической прозы, тоскующий по идиллиям сельской жизни, элегический поэт последнего очарованья увядающих усадеб и их нелепых, но необычайно привлекательных обитателей, несравненный рассказчик, великолепно передававший оттенки настроения и чувства, поэзию природы и любви, что и обеспечило ему место среди первых писателей его времени. Во французских мемуарах тех времен он – *le doux géant*[159], как его называл Эдмон де Гонкур, милый, очаровательный, бесконечно приятный, просто обворожительный собеседник, которого прозвали Сиреной некоторые русские друзья, лучший друг Флобера и Доде, Жорж Санд, Золя и Мопассана, самый желанный и приятный гость из всех *habitués*[160], посещавших *salon* ближайшей подруги всей его жизни, певицы Полины Виардо. Тем не менее у российского правительства были некоторые основания для беспокойства. Оно не приветствовало приезд Тургенева в Россию, а особенно его встречи со студентами двумя годами ранее и нашло способ недвусмысленно передать ему это. Смелость не была ему свойственна; он сократил свой визит и вернулся в Париж.

Нервозность правительства неудивительна, поскольку Тургенев был далеко не только тонким наблюдателем души и изысканным стилистом. Как практически каждый большой русский писатель его времени, он всю жизнь глубоко и болезненно переживал состояние и судьбу своей страны. Его романы дают великолепное представление о том, как социально и

политически развивалась в те годы маленькая, но влиятельная элита либеральной и радикальной российской молодежи – и она сама, и ее критики. Его книги с точки зрения петербургских властей ни в коей мере не были безвредными. Однако, в отличие от своих великих современников, Толстого и Достоевского, он не был проповедником и не желал потрясти свое поколение. Ему было важно понять, вникнуть во взгляды, идеалы, нравы тех, кому он сочувствовал, и тех, кто приводил его в замешательство или даже отталкивал. Тургенев в весьма высоко развитой форме обладал тем, что Гердер называл *Einfühlen,* – он умел вникнуть в убеждения, чувства и позиции, чуждые, а то и противные ему; об этом его даре особо напомнил Ренан в надгробной речи[161]. Некоторые молодые русские революционеры с легкостью признавали, что их портреты, созданные им, точны и правильны. Большую часть жизни он был мучительно озабочен спорами на темы моральные и политические, социальные и личные, которые раздирали образованную Россию тех дней. Его глубоко трогали ожесточенные конфликты между националистами-славянофилами и поклонниками Запада, консерваторами и либералами, либералами и радикалами, умеренными и фанатиками, реалистами и мечтателями, а главное – между старыми и молодыми. Он старался оставаться в стороне и смотреть на все это объективно. Это ему не всегда удавалось. Но, поскольку он был тонким и восприимчивым наблюдателем, самокритичным и скромным как человек и как писатель и прежде всего поскольку он не стремился навязывать читателю свое мнение, проповедовать, обращать, он оказался лучшим пророком, чем оба эгоцентричных, сердитых литературных гиганта, с которыми его обычно сравнивают, и разглядел рождение социальных проблем, которые стали с тех пор общемировыми. Через много лет после смерти Тургенева радикальный писатель Владимир Короленко, который называл себя его «фанатичным» поклонником, отмечал, что Тургенев «раздражал <…> больно задевал самые живые струны тогдашних настроений»; что он вызывал страстную любовь, уважение – и яростную критику, а также «у него была ссора, но было и удовлетворение триумфа. Он понимал, и его тоже понимали»[162]. Именно этот относительно забытый аспект тургеневской прозы, который имеет непосредственное отношение к нашему времени, я и собираюсь рассмотреть.

I

По темпераменту Тургенев не был человеком, сосредоточенным на политике. Природа, человеческие отношения, оттенки чувства – вот что он понимал лучше всего и в жизни, и в искусстве. Никто и никогда не любил так глубоко искусство и красоту. Сознательное использование искусства для чуждых ему целей – идеологических, дидактических или утилитарных, а особенно как оружие в классовой борьбе (именно этого требовали радикалы в 1860-х годах) – было ему отвратительно. Его часто описывали как чистого эстета, верящего в искусство ради искусства, обвиняли в эскапизме и отсутствии гражданского мышления, что часть русского общественного мнения тогда, как и сейчас, воспринимала (и презирала) как безответственное сибаритство. Но эти определения не подходят к нему. То, что он писал, не так идейно и страстно, как у Достоевского после сибирской ссылки или у позднего Толстого, но он достаточно глубоко затрагивал общественные проблемы, чтобы дать возможность и революционерам, и их критикам, особенно либеральным, черпать из его романов средства нападения или защиты. Император Александр II, который когда-то восхищался ранними его книгами, в конце концов стал видеть в нем своего *bête noire*[163].

В этом смысле Тургенев был типичным представителем своего времени и своего класса. Более чувствительный и щепетильный, менее одержимый и нетерпимый, чем великие страдальцы-моралисты его времени, он не менее резко, чем они, реагировал на ужасы российского самодержавия. В огромной и отсталой стране, где образованных людей было очень мало и от большинства соотечественников, которых с трудом можно назвать гражданами, живших в неописуемой бедности, угнетении и невежестве, их отделяла истинная пропасть; в такой стране, повторим, рано или поздно должен был возникнуть резкий кризис общественного сознания. Факты достаточно хорошо известны: Наполеоновские войны ввели Россию в Европу, а значит – в более прямой контакт с западным Просвещением, чем допускалось раньше. Армейские офицеры из помещичьей элиты в какой-то мере сблизились со своими крестьянами, поднятыми, как и все, общей волной патриотического чувства. Это на время прорвало жесткое расслоение российского общества. Характерны для этого общества были полуграмотная, подневольная, очень развращенная церковь; небольшая, плохо перенявшая западные влияния, довольно невежественная бюрократия, которая хотела непременно сохранить свою власть над огромным, примитивным, полусредневековым, социально и экономически неразвитым, но полным сил и трудно усмиряемым народом, который рвался из

оков; почти всеобщее чувство неполноценности, и социальной, и интеллектуальной, по сравнению с западной цивилизацией. Словом, это было общество, исковерканное и своевольными окриками сверху, и тошнотворным подобострастием снизу, в котором люди мало-мальски независимые и своеобразные или сильные почти не могли нормально развиваться.

Наверно, этого достаточно, чтобы объяснить, почему в первой половине столетия зародилось то, что назвали «лишним человеком», – герой новой, мятежной литературы, член небольшого меньшинства образованных и нравственно чутких людей, который не может найти места в родной стране и, сосредоточенный на самом себе, вынужден либо спасаться среди фантазий и иллюзий, либо впасть в цинизм или отчаяние, а кончает он чаще всего саморазрушением или капитуляцией. Жалкая, выродившаяся система, в которой «людей», то есть крепостных, считали «крещеной собственностью», вызывала острый стыд или яростное возмущение, а ощущение, что ты бессилен перед господством несправедливости, глупости и продажности, направляло задавленное воображение и нравственность на те единственные пути, которые цензура не перекрыла полностью, – в литературу и другие искусства. Отсюда печально известный факт, что в России общественные и политические мыслители становились поэтами и романистами, а особенно неугомонные писатели – публицистами. Любой протест против государственных институтов, независимо от того, каковы его причина и цель, в атмосфере абсолютного деспотизма становился политическим актом. Тем самым литература стала полем битвы, на котором решались самые главные общественные и политические вопросы. Литературные и эстетические проблемы, которые на их родине – в Германии или во Франции – оставались уделом академических или артистических кружков, стали общественными и завладели умами всего поколения образованных молодых людей, поначалу не интересовавшихся литературой или искусствами. Например, спор между сторонниками «чистого искусства» и теми, кто верил, что у него есть общественное предназначение, – спор, который занимал довольно небольшую часть французской критической мысли при Июльской монархии, – в России стал нравственной и политической проблемой. Здесь противостояли друг другу прогресс и реакция, просвещение и мракобесие, нравственная чистоплотность, социальная ответственность, человеческие чувства – и самодержавие, ханжество, традиция, конформизм и подчинение властям.

Самый страстный и влиятельный голос тургеневского

поколения принадлежал радикальному критику Виссариону Белинскому. Бедный, чахоточный, больной от рождения, получивший плохое образование, человек неподкупной искренности и большой силы духа, он стал Савонаролой своего поколения – пылким моралистом, который проповедовал единство теории и практики, литературы и жизни. Его талант критика и безотчетное понимание самой сути социальных и моральных проблем, которые стояли на пути новой радикальной молодежи, сами собой сделали его ее истинным лидером. Литературные эссе Белинского были для него и для его читателей непрерывной, мучительной, неотступной попыткой найти истинный ответ на вопросы: в чем цель жизни, во что верить, что делать? Страстная и цельная личность, Белинский прошел через мучительные перемены во взглядах, но каждое его суждение было выстрадано, и жил он согласно им со всей мощью своей горячей и нерасчетливой натуры, а они же подводили его, одно за другим, и вынуждали снова и снова начинать с начала, пока все это не закончилось его ранней смертью. Литература была для него не *métier*[164], не профессией, но художественным выражением всеохватывающего мировоззрения, этической и метафизической доктрины, взгляда на историю и место человека в мире, который охватывал все факты и ценности. Прежде всего и в первую очередь Белинский искал справедливости и истины, и молодых радикалов он привлек и примером своей жизни, и своими наставлениями. Тургенев, чьи первые поэтические опыты Белинский поощрял, стал его преданным поклонником на всю жизнь. Образ Белинского, особенно после его смерти, стал истинным воплощением идейного литератора; после него ни один российский писатель не был полностью свободен от веры в то, что писать – это прежде всего свидетельствовать об истине, что писатель не имеет права отводить глаза от центральных проблем его времени и общества. Если художник – в частности, писатель – отдалялся от глубочайших забот своего народа, посвящал себя созданию прекрасных творений или преследовал собственные цели, его осуждали за себялюбие и легкомыслие, поскольку он предал свое призвание, а это могло лишь изувечить его и обездолить.

Мучительная честность и прямота Белинского – скорее даже тон, чем суть его слов, – проникли в нравственное сознание его соотечественников. Иногда их отвергали, но никогда не забывали. Тургенев был по натуре осторожен, рассудителен, опасался любых крайностей, в критические минуты мог уклониться от действий; его друг, поэт Яков Полонский, много лет спустя писал о нем одному реакционному деятелю: «добр и мягок как воск.

Ничего не стоит <…> воспользоваться его <…> женской бесхарактерностью»[165]. Может, это слишком, но он действительно был очень восприимчив и всю жизнь легко уступал более сильным личностям. Белинский умер в 1848 году, а его незримое присутствие Тургенев ощущал всю оставшуюся жизнь. Когда Тургенев – от слабости ли, от пристрастия ли к легким путям, от жажды ли тихой жизни или от истинной доброжелательности – чувствовал искушение оставить борьбу за свободу личности или общественное достоинство и помириться с врагом, тогда, скорее всего, именно суровый и волнующий образ Белинского, как икона, вставал у него на пути и звал его на выполнение священной миссии. «Записки охотника» были его первой и самой продолжительной данью памяти умирающего друга и наставника. Его читателям казалось и по-прежнему кажется, что это – прекрасное описание старой и меняющейся сельской России, жизни природы и крестьян, описание, превращенное в чистый образ искусства. Но Тургенев считал, что «Записки» – первое большое выступление против ненавистного крепостного права, крик возмущения, призванный впечататься в сознание правящего класса. Когда в 1879 году Тургенев на этом самом месте[166] получал диплом почетного доктора права Оксфордского университета, Джеймс Брайс, который представлял его, назвал его борцом за свободу. Это Тургеневу понравилось.

Белинский не был ни первым, ни последним из тех, кто повлиял на жизнь Тургенева. Первой была (и возможно, принесла больше всего вреда) его мать – вдова, женщина властная, истеричная, жестокая, горько разочаровавшаяся в жизни, которая любила сына и сломила его дух. Даже по не слишком взыскательным меркам гуманности, бытовавшим среди российских помещиков того времени, она была злобным чудовищем. Маленький Тургенев видел, каким отвратительным жестокостям и унижениям она подвергала своих крепостных и слуг; эпизод в рассказе «Бригадир», по-видимому, основан на том, что бабушка с материнской стороны убила при нем одного из мальчиков-крепостных: она ударила его в припадке гнева, он упал на пол, и она, раздраженная этим зрелищем, задушила его подушкой[167]. Воспоминания такого рода переполняют рассказы Тургенева, и ему стоило целой жизни избавиться от них.

Вот каков был детский опыт у тех людей, которых в школе и университете воспитывали в духе уважения к ценностям западной цивилизации, а ведь именно благодаря этому духу постоянные мысли о свободе и достоинстве личности и ненависть к пережиткам российского феодализма были с самого начала характерны для политических воззрений всей русской

интеллигенции. Моральное смятение было велико. «…Наше время алчет убеждений, томится голодом истины, – написал Белинский в 1842 году, когда Тургеневу было двадцать четыре года и они близко сошлись, – наш век – весь вопрос, весь стремление, весь искание и тоска по истине…»[168] Тринадцать лет спустя Тургенев отозвался на это: «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством – а есть интересы высшие поэтических интересов»[169]. Через три года Толстой, в то время преданный идеалам «чистого искусства», предложил ему выпускать периодическое издание, посвященное исключительно литературе, оторванное от отвратительной полемики на злобу дня. Тургенев ответил, что время требует не «лирического щебетанья» и не «птиц, распевающих на ветке»[170]; «Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; – да ведь и на улицах грязь и пыль – а без городов нельзя же»[171].

Общепринятый образ Тургенева как чистого художника, втянутого в политическую борьбу против своей воли, но остающегося полностью чуждым ей, раздираемого критиками справа и слева (особенно теми, кого раздражали его политические романы), обманчив. Его романы начиная с середины 1850-х годов глубоко проникнуты теми главными социальными и политическими вопросами, которые мучили тогда либералов. На его мировоззрение глубоко и постоянно влиял негодующий гуманизм Белинского, особенно гневные филиппики в адрес всего темного, продажного, жестокого, фальшивого[172]. Двумя или тремя годами ранее в Берлинском университете он слушал гегельянские проповеди будущего анархиста Бакунина, своего однокашника, учился у того же великого немецкого философа и, как ранее Белинский, восторгался бакунинским мастерством диалектики. Пять лет спустя он встретился в Москве и вскоре сблизился с молодым радикальным публицистом Герценом и его друзьями. Он разделял их ненависть к любому порабощению, к любой несправедливости и жестокости, но, в отличие от некоторых из них, не чувствовал себя уютно внутри какой бы то ни было доктрины или идеологической системы. Все общее, абстрактное, абсолютное отталкивало его; его видение осталось тонким, острым, конкретным и неизлечимо реалистичным. Гегельянство правого и левого толка, которое он поглощал студентом в Берлине, материализм, социализм, позитивизм, о котором его друзья беспрестанно спорили, культ народа, соборность, русская сельская община, идеализированная теми российскими социалистами, кого горько разочаровал бесславный крах левых в Европе в 1848 года, – все это стало

казаться ему лишь абстракциями, подменами реальности. Многие в них верили, некоторые даже старались жить доктринами, которым шершавая и неровная жизнь человека с его поведением и нравом могла легко сопротивляться и даже разбить их, если бы когда-нибудь он всерьез попытался применить их на практике. Бакунин был дорогим другом, отличным и веселым товарищем, но его фантазии, славянофильские или анархистские, не оставляли следа в мышлении Тургенева. С Герценом вышло иначе – это был резкий, ироничный мыслитель с богатым воображением, и в ранние годы у них было много общего. Тем не менее народнический социализм Герцена казался Тургеневу жалкой фантазией, мечтой человека, чьи ранние иллюзии убиты неудачей революции на Западе, но который не мог долго жить без веры. Когда его старые идеалы – социальная справедливость, равенство, либеральная демократия – оказались беспомощны перед силами реакции на Западе, он должен был найти себе нового кумира, и «золотой телец» (по слову Тургенева) жадного капитализма сменился «овчинным тулупом» российского крестьянина.

Тургенев понимал и сочувствовал культурному разочарованию друга. Как Карлейль и Флобер, Стендаль и Ницше, Ибсен и Вагнер, Герцен задыхался в мире, где все обесценено. Ему казалось, что все свободное, возвышенное, независимое и созидательное унесла волна буржуазного мещанства, жизнью завладели продажные и грубые торговцы товаром широкого потребления с их подлыми и наглыми лакеями, которые обслуживают громадные акционерные компании под названием Франция, Англия, Германия; даже Италия (писал он), «самая поэтическая страна в Европе», когда «толстенький, в очках, гениальный мещанин» Кавур предложил ей взять ее на содержание, оставила и пылкого любовника Мадзини, и могучего мужа Гарибальди и отдалась ему[173]. Неужто на этот гниющий труп должна смотреть Россия как на образец для подражания? Время как раз созрело для какого-нибудь решительного преобразования – варварского завоевания с Востока, которое бы очистило воздух, как освежающая буря. Против этого, говорил Герцен, есть только один громоотвод – русская крестьянская община, свободная от заразы капитализма, от алчности, ужасов и бесчеловечности разрушительного себялюбия. На этом фундаменте еще можно построить новое общество свободных, самоуправляющихся людей.

Тургенев считал, что все это сильно преувеличено, сказано от отчаяния. Конечно, немцы напыщенны и смешны, а Луи-Наполеон и парижские спекулянты отвратительны, но западная

цивилизация не обвалилась. Она – величайшее достижение человечества. Не русским бы смеяться над ней или держать ее подальше от своих ворот – они-то ведь не могут предложить ничего сопоставимого. Он обвинял Герцена в том, что тот – усталый и разочарованный человек, который после 1849 года искал новое божество и нашел его в простом русском крестьянине[174]. «…Так давай воздвигать алтарь этому новому неведомому богу, благо о нем почти ничего не известно – и <… > можно молиться, и верить, и ждать. Бог этот делает совсем не то, что вы от него ждете – это, по-вашему, временно, случайно, насильно привито ему внешней властью; – бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите – и ненавидит то, что вы любите, бог принимает именно то, что вы за него отвергаете – вы отворачиваете глаза, затыкаете уши»[175]. «…Либо служи революции и европейским идеалам по-прежнему – либо, если уж дошел до убежденья в их несостоятельности, имей дух и смелость посмотреть черту в оба глаза, скажи guilty в лицо всему европейскому человечеству – и не делай явных или подразумеваемых исключений в пользу новодолженствующего прийти российского мессии» – а менее всего для русского крестьянина, который, по сути, и есть самый страшный консерватор из всех и которому нет никакого дела до либеральных идей[176]. Трезвый реализм Тургенева никогда не оставлял его; он отвечал на самые слабые колебания российской жизни; в частности, на разные выражения того, что он называл «быстро изменявшейся физиономией русских людей культурного слоя»[177]. Он просто хотел запечатлевать то, что Шекспир назвал «внешностью и отпечатком» века, и честно описывал всех – мыслителей, идеалистов, борцов, трусов, реакционеров и радикалов – иногда, как в «Дыме», с едкой полемической иронией, но обычно так тщательно, с таким пониманием всех аспектов каждого вопроса, с таким невозмутимым терпением, лишь иногда тронутым неприкрытой иронией или сатирой (не щадящей и его нрава, и его взглядов), что наконец разозлил почти всех.

Те, кто по-прежнему видит в нем не присоединившегося ни к кому художника, стоявшего над идеологическими битвами, могут удивиться, узнав, что никто во всей истории русской, а может быть, мировой литературы не подвергался столь жестоким и продолжительным нападкам и справа и слева. Достоевский и Толстой придерживались куда более жестких взглядов, но они были внушительными фигурами, яростными пророками, к которым даже самые резкие их оппоненты относились с боязливым уважением. Тургенев ни в малейшей мере не был

внушителен; он был приятен, скептичен, «добр и мягок как воск», слишком обходителен и неуверен в себе, чтобы внушать кому-либо страх. Он не воплощал никаких ясных принципов, не отстаивал никаких доктрин, не предлагал никаких панацей от «проклятых вопросов», как их стали называть, личных и общественных. «Он чувствовал и понимал жизнь в ее противоречиях, – сказал о нем Генри Джеймс, – <…> наши англо-саксонские, протестантские, исполненные морализма и условностей, мерки были ему полностью чужды <…> половина прелести общения с ним заключалась в окружающей его атмосфере, где ходульные фразы <…> звучали бы попросту смешно[178]. В стране, в которой читатели, особенно молодые, до сего дня обращаются к писателям за моральным наставлением, он отказывался проповедовать. Он осознавал, какую цену ему придется заплатить за такую молчаливость. Он знал, что российский читатель хочет, чтобы ему сказали, во что верить и как жить, ожидает, что ему представят ясно разграниченное добро и зло, четко различимых героев и злодеев. Если автор не дает этого, писал Тургенев, читатель неудовлетворен и обвиняет писателя, поскольку необходимость составлять собственное мнение, искать собственный путь кажется ему трудной задачей и раздражает его. Действительно, Толстой и вправду никогда не оставляет вас в сомнении, к кому он благоволит, а кого осуждает; Достоевский не скрывает, что он считает путем спасения. На фоне этих великих, страдающих Лаокоонов Тургенев остается осторожным скептиком; читатель пребывает в неопределенности, в сомнении: центральные проблемы подняты и по большей части оставлены. Некоторые воспринимали это как несколько самодовольный ход – без ответа.

Ни одно общество не требовало от своих авторов больше, чем российское, что тогда, что теперь. Тургенева обвиняли в шатаниях, лавированиях, нечеткости задач, в том, что он говорит слишком многими голосами. Эта проблема его и вправду мучила. «Рудин», «Ася», «Накануне», основные произведения 1850-х, исполнены ощущением слабости – человек с благородным сердцем, искренне верящий в идеалы, остается слабохарактерным и сдается без борьбы косным силам. Рудин, частично списанный с молодого Бакунина, частично с самого Тургенева[179], человек высоких идеалов, хорошо говорит, очаровывает слушателей, выражает взгляды, которые Тургенев сам мог принять и защищать; но он сделан из бумаги. Когда наступает момент истины, требующий мужества и решительности, он сдается и терпит крах. Друг Рудина Лежнев защищает его память: его идеалы были благородны, но у него не было «натуры, крови». В

эпилоге (который автор добавил к одному из последующих изданий), поскитавшись по свету, Рудин храбро, но бессмысленно гибнет на парижских баррикадах в 1848 году, его прототип Бакунин, по мнению Тургенева, вряд ли на это способен. Но даже этого он не мог бы сделать в родной стране; даже если бы у Рудина были «натура и кровь», что бы он мог совершить в российском обществе той поры? Этот «лишний человек», предшественник всех милых, бесполезных, неумелых говорунов в русской литературе, должен ли был он, мог ли он в тех обстоятельствах, в то время объявить войну неприятной знатной даме и ее миру, перед которым он капитулирует? Читатель должен решать сам. Героиня «Накануне» Елена ищет героическую личность, чтобы та помогла ей бежать от фальшивого существования, которое ведут ее родители, но понимает, что даже лучшим и самым одаренным русским ее круга не хватает силы воли, они не могут действовать. Она следует за бесстрашным болгарским заговорщиком Инсаровым, который бледнее, грубее, суше, как-то деревянней, чем скульптор Шубин или историк Берсенев, но, в отличие от них, одержим одной идеей – освободить свою страну от турок, и эта простая цель объединяет его с последним крестьянином и последним нищим в его земле. Елена едет с ним, потому что только он в ее мире – цельный и несломленный, только его идеалы подкреплены неукротимой моральной силой.

Тургенев опубликовал «Накануне» в «Современнике», радикальном журнале, который неуклонно и быстро двигался влево. Люди, которые руководили им, были так же чужды по духу Тургеневу, как они были чужды Толстому; Тургенев считал их тупыми, ограниченными доктринерами, врагами прекрасного, не разбирающимися в искусстве, не интересующимися человеческими отношениями (которые для него значили так много), однако они были смелыми и сильными, они были фанатиками, которые судят обо всем с точки зрения одной цели – освобождения российского народа. Они отвергали компромиссы во имя радикальных решений. Освобождение крепостных, которое глубоко тронуло Тургенева и всех его друзей-либералов, для этих людей было не началом новой эры, но жалким обманом – крестьяне по-прежнему оказались прикованными к своим помещикам новыми экономическими установлениями. Добролюбов, литературный издатель журнала, в рецензии на «Накануне» счел болгарина положительным героем, поскольку тот готов отдать жизнь за то, чтобы изгнать турок из своей страны. А мы? У нас, русских, тоже (писал он) есть свои турки – только они внутренние: двор, дворянство, генералы, чиновники,

поднимающаяся буржуазия, угнетатели и эксплуататоры, чье оружие – невежество народа и грубая сила. Где *наши* Инсаровы? Тургенев говорит о кануне; когда же займется настоящий день? Если он еще не занялся, то потому, что хорошие, просвещенные молодые люди, тургеневские Шубины и Берсеневы, слабохарактерны. Они парализованы и вопреки всем своим прекрасным словам закончат тем, что будут приспосабливаться к правилам обывательской жизни их общества – ведь они слишком тесно связаны с господствующим порядком, включены в семейные, общественные и экономические отношения, которые никак не заставят себя окончательно сломать. «…А подите-ка сядьте в пустой ящик, – говорит Добролюбов в окончательной редакции статьи, – да и попробуйте его перевернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! – между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком»[180]. Инсаров стоит снаружи своего ящика, поскольку ящик этот – турецкий захватчик. Те, у кого действительно серьезные намерения, должны выбраться из российского ящика, сломать любые отношения со всей чудовищной структурой, а затем свалить ее ударом извне. Герцен и Огарев сидят в Лондоне и теряют время, раскрывая отдельные случаи несправедливости, продажности или неправильного управления в Российской империи; но это не ослабляет ее, мало того – может даже помочь ей устранить недостатки и прожить дольше. Настоящая задача в том, чтобы разрушить всю бесчеловечную систему. Совет Добролюбова ясен: те, у кого серьезные намерения, должны приложить усилия, чтобы выбраться из ящика – удалиться от любых контактов с сегодняшним Российским государством, поскольку нет других средств получить архимедову точку опоры, рычаг, который бы помог этому государству обвалиться. Инсаров прав, когда говорит, что личная месть тем, кто пытал и убил его родителей, должна подождать, пока не выполнена более важная задача. Нельзя тратить силы на частичные разоблачения, на спасение отдельных людей от жестокости или несправедливости. Это все либеральные пустяки, бегство от главной задачи. Нет ничего общего между «нами» и «ними». «Они», и Тургенев с ними, ищут реформ, приспособлений. «Мы» хотим разрушения, революции, новых принципов жизни; ничто иное не разрушит царство тьмы. Именно это для радикалов значит роман Тургенева; но он и его друзья, очевидно, слишком трусливы, чтобы сделать такой вывод.

Тургенев был расстроен и на самом деле напуган таким толкованием его книги. Он пытался добиться того, чтобы рецензию не печатали. Он говорил, что, если она появится, он не

будет знать, что делать, куда бежать. Тем не менее ему очень нравились эти новые люди. Он не терпел мрачного пуританства «невских Даниилов», как их называл Герцен[181], который считал их циничными и жестокими и не мог переносить их грубого утилитаризма, их фанатичного неприятия всего, что ему дорого, – либеральной культуры, искусства, цивилизованных человеческих отношений. Но они были молоды, смелы, готовы умереть в борьбе против общего врага, реакционеров, полиции, государства. Тургенев хотел, вопреки всему, чтобы они любили и уважали его. Он пытался заигрывать с Добролюбовым и постоянно вовлекал его в беседу. Однажды, когда они встретились в редакции «Современника», Добролюбов неожиданно сказал ему: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить»[182], – и ушел в дальний угол комнаты. Тургенев сдался не сразу. Он славился тем, что умеет пленять людей, и сделал все возможное, чтобы очаровать сурового молодого человека. Ничего не вышло; когда тот видел, что Тургенев подходит к нему, он глядел на стену или демонстративно выходил из комнаты. «Вам хорошо не уходить от разговора с Тургеневым», – сказал Добролюбов своему соиздателю Чернышевскому, который в то время все еще смотрел на Тургенева с благосклонностью и восхищением, и, что весьма характерно, добавил, что, по его мнению, плохие союзники – не союзники[183]. Эти слова достойны Ленина; у Добролюбова был, возможно, самый большевистский темперамент среди ранних радикалов. Тургенев в 1850-е и начале 1860-х был самым известным писателем в России и единственным российским писателем, которого хорошо знали в Европе. Никто никогда с ним так не обходился. Он был глубоко уязвлен. Какое-то время он упорствовал, но в конце концов сдался. Последовал открытый разрыв. Тургенев перешел в консервативный журнал, возглавляемый Михаилом Катковым, которого левое крыло считало своим смертельным врагом.

Тем временем политическая атмосфера становилась все более бурной. Террористическая организация «Земля и воля» была образована в 1861 году, в тот самый великий год освобождения крестьян. По рукам начали ходить резкие манифесты, призывающие крестьян к бунту. Радикальных лидеров обвинили в заговоре, посадили в тюрьму или сослали. В столице начались пожары, и студентов университета заподозрили в поджогах; Тургенев не встал на их защиту. Шиканье и свист радикалов, их жестокие насмешки казались ему чистым вандализмом; их революционные цели – опасными утопиями. Тем не менее он чувствовал, что приходит что-то новое, какое-то огромное социальное изменение. Он говорил, что чувствует его всюду. Оно

отталкивало его и в то же время увлекало. Возник новый, странный тип мятежника – и все же во многом такой, в какого верил и он, и его поколение либералов. Любопытство у Тургенева было всегда сильнее страха: он хотел прежде всего понять новых якобинцев. Да, эти люди грубы, фанатичны, враждебны, готовы оскорбить, но они не развращены, они уверены в себе и в некотором узком, но истинном смысле умны и бескорыстны. Он просто не мог повернуться к ним спиной. Они казались ему новым, очень зорким поколением, которое не сбили с толку старые романтические мифы. Прежде всего они были молоды, будущее его страны было в их руках, а он не хотел быть отрезанным от чего-либо, что казалось ему живым, горячим, смелым. Зло, с которым они хотели бороться, и впрямь было злом; их враги были в какой-то степени и его врагами; эти молодые люди упорствовали в заблуждениях, были варварами, презирали таких либералов, как он сам, но они были борцами и мучениками в битве против деспотизма. Они заинтриговали, испугали и поразили его. Весь остаток жизни его преследовало желание объяснить их себе и, возможно, – себя им.

II

Молодой человек – человеку средних лет: «У вас было содержание, но не было силы». Человек средних лет – молодому человеку: «А у вас есть сила, но нет содержания»[184].

Такова тема самого известного и самого интересного с политической точки зрения романа Тургенева «Отцы и дети». Это была попытка придать плоть и содержание его образу нового человека, чье таинственное, неумолимое присутствие, как признавался Тургенев, он ощущал повсюду вокруг себя и который пробудил в нем чувства, трудно для него объяснимые. «Тут был, – написал он одному другу много лет спустя, – не смейтесь, пожалуйста – какой-то фатум, что-то сильнее самого автора, что-то независимое от него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденции во мне тогда не было; я писал наивно, словно сам дивясь тому, что у меня выходило»[185]. Он говорил, что герой романа Базаров в основном списан с одного русского доктора, которого он встретил в поезде. Но у Базарова есть и некоторые черты Белинского. Как и тот, он – сын бедного армейского доктора; у него есть присущая Белинскому грубость, прямота, нетерпимость, готовность взорваться в ответ на любое проявление лицемерия, напыщенности, консервативного (или двусмысленно либерального) ханжества. Хотя Тургенев это

отрицал, есть в Базарове и что-то от жестокого, воинствующего антиэстетизма, присущего Добролюбову. Центральная тема романа – конфронтация старых и молодых, либералов и радикалов, традиционной цивилизации и нового грубого позитивизма, который не видит необходимости ни в чем, кроме того, что нужно разумному человеку. Базаров, молодой исследователь-медик, едет со своим однокашником и последователем Аркадием Кирсановым в поместье его отца. Николай Кирсанов, отец, – мягкий, добрый, скромный помещик, который любит поэзию и природу, а своего замечательного гостя, который дружит с его сыном, принимает с трогательной учтивостью. В том же доме живет брат Николая Кирсанова, Павел, офицер в отставке, щеголеватый, самодовольный, напыщенный старомодный денди, который когда-то был одним из второстепенных светских львов в салонах столицы, а теперь доживает свои дни, изысканно и раздражительно скучая. Базаров чует в нем врага и сознательно, с удовольствием описывает себя и своих союзников как «нигилистов», понимая под этим словом лишь то, что он и его единомышленники отрицают все, чего нельзя создать по разумным методам естественной науки. Только истина имеет значение; то, чего не создашь с помощью наблюдения и эксперимента – бесполезный или вредный балласт, «романтизм, чепуха», который умный человек безжалостно уничтожит. В эту кучу ненужной бессмыслицы Базаров включает все неосязаемое, несводимое к количественному измерению – литературу и философию, красоту искусства и красоту природы, традицию и власть, религию и интуицию, принимаемые на веру аксиомы консерваторов и либералов, народников и социалистов, помещиков и крепостных. Он верит в силу, волю, энергию, полезность, работу, в безжалостную критику всего, что только есть. Он хочет срывать маски, разрушать все почитаемые принципы и нормы. Одни неопровержимые факты, одно полезное знание что-то значат. Почти сразу он сталкивается с обидчивым, чурающимся новизны Павлом Кирсановым. «В теперешнее время, – говорит ему Базаров, – полезнее всего отрицание – мы отрицаем». – «Все?» – спрашивает Павел Кирсанов. «Все». – «Как? не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить…» – «Все». – «…Вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить». – «Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить».

Пламенный агитатор Бакунин, который как раз в то время бежал из Сибири в Лондон, говорил что-то в этом роде: полностью прогнившую структуру, продажный старый мир нужно снести с лица земли, прежде чем можно будет построить на ней что-нибудь новое. Не мы скажем, чему здесь быть; мы –

революционеры, наше дело рушить. Новые люди, очищенные от заразы, которую несет мир бездельников и эксплуататоров и его фальшивые ценности, – эти люди будут знать, что делать. Французский анархист Жорж Сорель как-то цитировал Маркса, который говорил: «…всякий человек, создающий программу будущего, есть реакционер»[186].

Это уже не позиция радикальных критиков Тургенева из «Современника» – у тех имелась какая-то программа: они были демократами-народниками. Но вера в народ кажется Базарову такой же неразумной, как и вся остальная «*романтическая чепуха*». «…Мужик наш, – заявляет он, – рад самого себя обокрасть, чтоб только напиться дурману в кабаке». Первый долг человека – развивать собственные способности, быть сильным и разумным, создавать общество, в котором другие разумные люди смогут дышать, жить и учиться. Его мягкий последователь Аркадий говорит, что идеально было бы, если бы все крестьяне жили в хорошей побеленной избе, как староста деревни. «…Я и возненавидел этого <…> мужика, – говорит Базаров, – для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет». Аркадий шокирован такой речью; но это голос нового, крутого, бессовестного материалистического эгоизма. Тем не менее Базаров чувствует себя свободно с крестьянами; они не смущаются его, даже если считают его странным дворянином. Базаров проводит послеполуденное время, препарируя лягушек. «Порядочный химик, – говорит он потрясенному хозяину, – в двадцать раз полезнее всякого поэта». Аркадий, посоветовавшись с Базаровым, ласково отбирает том Пушкина из рук отца и вкладывает ему в руки *Kraft und Stoff*[187] Бюхнера, новейшее популярное изложение идей материализма. Тургенев описывает, как старый Кирсанов ходит по саду: «Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. “Но отвергать поэзию? – подумал он опять, – не сочувствовать художеству, природе?..” И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе». Все принципы, заявляет Базаров, сводимы к простым ощущениям. Аркадий спрашивает, неужели в таком случае и честность – только ощущение. «А? что? не по вкусу? – говорит Базаров. – Нет, брат! Решился все косить – валяй и себя по ногам!..» Это голос Бакунина и Добролюбова: «нужно место расчистить». Новую культуру нужно возвести на реально существующих, то есть материалистических, научных ценностях: социализм абсолютно так же нереален и абстрактен, как и любой другой «изм», заимствованный из-за границы. Что касается старой эстетической,

книжной культуры, она падет пред лицом реалистов, новых, практичных людей, которые могут смотреть в лицо жестокой истине. «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы <…> сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны». Павел Кирсанов презрительно отвергает это; но и его племянник Аркадий тоже не может этого принять. «…Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан, – говорит ему Базаров. – В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, – а мы драться хотим. <…> Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно – нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич…»

Однажды кто-то сказал, что Базаров – первый большевик; хотя он даже не социалист, в этом есть доля истины. Он хочет радикальных перемен и не уклоняется от насилия. Старый денди Павел Кирсанов протестует против этого: «Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила – да на что нам она? Нам дорога цивилизация <…>; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун <…>, тапер <…>, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть!» В конце концов Базаров, вопреки всем своим принципам, влюбляется в холодную, умную, знатную светскую красавицу, глубоко страдает и вскорости умирает от инфекции, которую он подхватил, вскрывая труп в деревенской больнице. Он умирает стоически, задаваясь вопросом, действительно ли он и такие люди, как он, нужны его стране; и смерть его горько оплакивают старые, скромные, любящие родители. Базаров пал, потому что его сломала судьба, а не потому, что ему не хватило ума или воли. «Мне мечталась, – писал позднее Тургенев одному молодому студенту, – фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – и все-таки обреченная на погибель – потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего»[188]. Этот грубый, фанатичный, увлеченный человек с неиспользованными способностями представлен как мститель за ущербный человеческий разум. Тем не менее в конце концов он неизлечимо ранен любовью, человеческой страстью, которую он подавлял и отрицал в себе

самом; это и унижает его, и очеловечивает. Он раздавлен бессердечной природой, которую автор называет богиней Исидой с холодным взглядом; ей нет дела до добра и зла, искусства и красоты, а еще меньше до человека, живущего всего час. Его не спасают ни эгоизм, ни альтруизм, ни вера, ни труды, ни рациональное жизнелюбие, ни строгое выполнение долга. Он борется, чтобы самоутвердиться, но природа равнодушна; она подчиняется своим собственным неумолимым законам.

«Отцы и дети» были опубликованы весной 1862 года и вызвали бурю среди российских читателей, какой никогда не вызывал роман и до, и, пожалуй, после них. Что такое Базаров? Как его надо воспринимать? Положительный он или отрицательный? Герой или дьявол? Он молод, смел, умен, силен, он сбросил бремя прошлого, меланхолическую беспомощность «лишних людей», которые тщетно бились о решетку в тюрьме российского общества. Критик Страхов в рецензии на роман говорил о Базарове как о личности, которую можно оценить на героических весах[189]. Много лет спустя Луначарский описывал его как первого «положительного» героя в русской литературе. Что же он символизирует в таком случае? Прогресс? Свободу? А как же ненависть к искусству и культуре, ко всему миру либеральных ценностей, циничные замечания? Что же, восхищаться ими – или нет? Даже до того, как роман был опубликован, его издатель Михаил Катков возражал Тургеневу. Прославляя нигилизм, сетовал он, тот просто пресмыкается перед молодыми радикалами. «Как не стыдно Тургеневу, – сказал он его другу Анненкову, – было спустить флаг перед радикалом» или отдать ему честь, как заслуженному воину[190]. Катков говорит, что его не обманула видимая объективность автора: «…В ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, а опытный глаз узнает птицу в этой форме <…> молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора», – и заключает: то, что сделал Тургенев, политически опасно[191]. Страхов более благожелателен. Он написал, что Тургенев с его преданностью вечным истинам и красоте всего лишь хотел описать реальность, а не оценивать ее. Однако еще он говорил, что Базаров возвышается над другими персонажами, и делал такой вывод: Тургенев, видимо, будет заверять, что его тянет к Базарову, но правдивее было бы сказать, что он его боится. Катков откликается на это: «Чувствуется что-то несвободное в отношении автора к герою повести, какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется и не любит, а еще пуще боится его»[192].

Атака слева была куда более озлобленной. В «Современнике» преемник Добролюбова Антонович обвинил Тургенева[193] в отвратительной и безобразной карикатуре на молодежь. Базаров – жестокий, циничный сластолюбец, которому важны вино и женщины, а не судьба народа; создатель же его, какие бы ни были у него взгляды в прошлом, явно перешел в лагерь самых страшных реакционеров и угнетателей. Действительно, были консерваторы, которые поздравляли Тургенева с тем, что он раскрыл ужасы нового, разрушительного нигилизма и таким образом оказал услугу обществу, за которую все порядочные люди должны быть благодарны. Но более всего задело Тургенева именно нападение слева. Семь лет спустя он написал другу, что молодежь забросала его «грязью и гадостями». Его называли дураком, ослом, гадиной, Иудой, Видоком[194]. И снова: «В то время, как одни обвиняют меня в <…> отсталости, в мракобесии, извещают меня, что “с хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки”, другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед <…> молодым поколением. “Вы ползаете у ног Базарова!” – восклицает один корреспондент: – “вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности, вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!” <…> на мое имя легла тень»[195].

По крайней мере, один из его друзей-либералов, который прочел рукопись «Отцов и детей», посоветовал ему сжечь ее, поскольку она навсегда скомпрометирует его перед сторонниками прогресса. В прессе левого крыла появились враждебные карикатуры: Тургенев пресмыкается перед отцами, а Базаров, словно лукавый Мефистофель, издевается над Аркадием за то, что тот любит своего отца. В лучшем случае изображали, как озадаченный автор, на которого слева нападают неистовые демократы, а справа – вооруженные «отцы», беспомощно стоит между ними[196]. Однако левые не были единодушны. Радикальный критик Писарев пришел на помощь Тургеневу; он смело отождествил себя с Базаровым и его позицией. Тургенев, писал Писарев, может быть, слишком мягок или устал, чтобы идти с нами, людьми будущего; но он знает, что истинный прогресс коренится не в людях, привязанных к традиции, а в активных, освободивших самих себя, независимых, как Базаров, освобожденных от фантазий, романтической или религиозной чуши. Автор не запугивает нас, он не призывает нас принять ценности «отцов». Базаров восстает; он не попал в плен ни одной теории, в этом его привлекательная сила; вот что может способствовать прогрессу и свободе. Тургенев, возможно, хочет сказать нам, что мы на ложном пути, но на самом деле он похож

на Валаама: он глубоко привязался к герою своего романа, когда создавал его, и возлагает на него все свои надежды. «Природа не храм, а мастерская», а мы работники в ней; не меланхолические грезы, но воля, сила, ум, реализм, говорит Писарев, проложат себе дорогу. Базаров, добавляет он, это то, что видят отцы в своих сыновьях и дочерях, сестры – в своих братьях. Их может это напугать, озадачить, но именно здесь дорога в будущее[197].

Близкий друг Тургенева Анненков, которому он давал прочесть все свои романы прежде, чем публиковать их, увидел в Базарове монгола, Чингисхана, дикого зверя, очень типичного для дикого состояния России, только «прикрытого сверху книжками с Лейпцигской ярмарки»[198]. Хотел ли Тургенев стать лидером политического движения? «Автор сам не знает, за что его считать – за плодотворную ли силу в будущем или за вонючий нарыв пустой цивилизации, от которого следует поскорее отделаться»[199]. Хотя он и не может быть тем и другим вместе, «у него два лица, как у Януса, и каждая партия будет видеть только тот фас, который ее наиболее тешит или который она разобрать способнее»[200].

Катков в неподписанной рецензии в собственном журнале (где и появился роман) пошел намного дальше. Высмеяв смятение в рядах левых, неожиданно столкнувшихся с собственным отражением в образе нигилиста, которое порадовало одних и ужаснуло других, он упрекает автора за то, что тот слишком беспокоится, как бы не оказаться несправедливым по отношению к Базарову, и потому все время выставляет его в самом лучшем свете. Можно, говорит он, быть слишком справедливым: это приводит к очередному искажению истины. Что касается героя, то Базаров предстает жестоко откровенным – это хорошо, очень хорошо; он верит в то, что говорит всю правду, пусть и огорчающую бедных, мягких Кирсановых, отца и сына, без уважения к людям и обстоятельствам – вот самое замечательное в нем; он нападает на искусство, богатство, роскошную жизнь; да, но во имя чего? Науки и знаний? Это просто неправда, говорит Катков. Цель Базарова не открытие научной истины, иначе он не стал бы навязывать дешевые популярные брошюры – Бюхнера и других, – которые вовсе не наука, а журналистика, материалистическая пропаганда. Базаров, продолжает он, не ученый; эту породу едва ли можно найти в наше время в России. Базаров и его соратники-нигилисты просто проповедники; они осуждают фразы, риторику, напыщенный язык (Базаров наставляет Аркадия не говорить «красиво»), чтобы заменить все это своей политической пропагандой; они предлагают не строгие научные факты, которые их не интересуют, которых они на самом

деле и не знают, но лозунги, диатрибы, радикальный жаргон. Препарируя лягушек, Базаров не ищет истины; он просто хочет отвергнуть культурные и традиционные ценности, справедливо защищаемые Павлом Кирсановым, который в лучше организованном обществе – например, английском – занимался бы полезным делом. Базаров и его друзья не найдут ничего; они не исследователи; они всего лишь болтуны, витийствующие во имя науки, которой не утруждают себя овладеть; в конце концов они ничем не лучше невежественного, отсталого российского священства, из рядов которого они в большинстве своем происходят, и гораздо более опасны[201].

Герцен, как всегда, глубок и изящен. «Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал – шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую»[202]. Автор явно начал тем, что хотел сделать что-нибудь для отцов, но они оказались такими ничтожествами, что его увлек «крутой Базаров», «и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов»[203]. Герцен, вполне возможно, прав – могло быть так, хотя Тургенев отрицает это, что Базаров, которого автор начал описывать враждебно, стал очаровывать своего создателя. Герой, подобно Шейлоку, оказывается более человечным и куда более сложным, чем изначально позволял замысел книги, и таким образом сразу же меняет и, возможно, искажает его. Природа иногда подражает искусству: Базаров взволновал молодежь, как Вертер в предыдущем столетии, повлиял на нее, как разбойники Шиллера, как Лары, Гяуры и Чайльд-Гарольды Байрона. Впрочем, эти новые люди, добавил Герцен в более позднем эссе, эти догматики и доктринеры, загипнотизированные собственным жаргоном, являют собою наименее привлекательную сторону российского характера, полицейскую – солдафонскую – его сторону, жестокий бюрократичный «кожаный сапог»; они хотят сломать ярмо старого деспотизма, но только для того, чтобы заменить его на свое собственное. «Поколение сороковых», к которому принадлежали Герцен и Тургенев, может быть, было глупым и слабым, но следует ли из этого, что их наследники – жестокие, грубые, лишенные любви, циничные молодые филистеры шестидесятых, которые ухмыляются, насмехаются, толкаются и пихаются, не прося извинения – непременно лучше? Какие новые принципы, какие новые конструктивные решения они дали? Разрушение – это разрушение, а не созидание[204].

Вслушиваясь в неистовый галдеж, вызванный романом, можно различить, по крайней мере, пять позиций[205]. Одни – сердитое правое крыло – считали, что Базаров представляет собой

апофеоз новых нигилистов и происходит от низкого желания подольститься к молодым. Другие радовались, что Тургенев удачно выявил варварство и подрывную деятельность. Третьи осуждали его за то, что он создал злую пародию на радикалов, снабдил реакционеров оружием, играл на руку полиции; они называли его ренегатом и изменником. Четвертые, как Дмитрий Писарев, гордо отстаивали идеи Базарова как свои собственные и благодарили Тургенева за его честность и симпатию ко всему самому живому и бесстрашному в растущей «партии будущего». Наконец, пятые считали: автор сам не полностью уверен, что он хотел сделать, его позиция неподдельно двойственна, он художник, а не памфлетист, он сказал истину, как он ее видел, без ясной политической цели.

Этот спор продолжался в полную силу после смерти Тургенева. О жизнеспособности его романа говорит тот факт, что дебаты не умерли даже в следующем веке, ни до, ни после русской революции. На самом деле, еще десять лет назад эта битва по-прежнему бушевала среди советских критиков. За нас Тургенев или против нас? Гамлет он, ослепленный пессимизмом угасающего класса, или, как Бальзак или Толстой, он видел дальше? Кто он, наконец, – предтеча преданного идее, воинствующего советского интеллектуала или злобная карикатура на отцов российского коммунизма? Полемика еще не окончена[206].

Тургенев был расстроен и озадачен такой реакцией на его книгу. Прежде чем посылать ее в типографию, он принял обычные меры предосторожности, бесконечно ища советов. Он читал рукопись друзьям в Париже, он менял, смягчал, пытался угодить всем. Базаров несколько раз менялся, двигаясь вверх и вниз по моральной шкале в соответствии с впечатлениями того или иного советчика. Нападки слева нанесли Тургеневу такие раны, которые мучили его весь остаток жизни. Много лет спустя он писал: «<…> меня уверяют, что на стороне «Отцов»… я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил против художественной правды и пересолил, довел до карикатуры его недостатки, сделал его смешным!»[207] Что касается Базарова, он «честен, правдив и демократ до конца ногтей»[208]. Много лет спустя Тургенев говорил анархисту Кропоткину, что он любил Базарова: «<…> сильно любил. <…> я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова»[209]. «Скажите по совести, – писал он одному из своих самых язвительных критиков, сатирику Салтыкову (который выражал недовольство тем, что реакционеры используют слово «нигилист» для осуждения всякого, кто им не нравится), – разве кому-нибудь

может быть обидно сравнение его с Базаровым? Не сами ли Вы замечаете, что это самая симпатичная из всех моих фигур?»[210] Что до «нигилизма», это, возможно, была ошибка. «…Я готов сознаться <…> что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку – за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину <…> я признаю справедливым и отчуждение от меня молодежи, и всяческие нарекания… Возникший вопрос был поважнее художественной правды – и я должен был это знать наперед»[211]. Он претендовал на то, что разделяет почти все убеждения Базарова, кроме воззрений на художества[212]. Одна знакомая дама сказала ему, что он ни за отцов, ни за детей, а сам нигилист; он думал, что она может быть права[213]. Герцен сказал, что в них всех было что-то от Базарова, в нем самом, в Белинском, в Бакунине, во всех тех, кто в 1840-х обвинял российское царство тьмы перед лицом Запада, науки и цивилизации[214]. Тургенев и этого не отрицал. Он без сомнения принимал разный тон в письмах к разным корреспондентам. Когда радикальные русские студенты в Гейдельберге потребовали разъяснить его собственную позицию, он сказал им, что «если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью <…> я виноват и не достиг своей цели. Но “рассыропиться”, говоря его словами – я не хотел <…> Я не хотел накупаться на популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сражение (и, кажется, я его проиграл) – чем выиграть его уловкой»[215]. Тем не менее своему другу Фету, консервативному помещику, он писал, что сам не знает, любит он Базарова или ненавидит. Имел ли он в виду превознести или обругать его? Он не знает[216]. И это повторилось восемь лет спустя: «<…> мои личные чувства [к Базарову] были смутного свойства (любил ли я его, ненавидел ли – Господь ведает!)»[217]. Либеральной мадам Философовой он написал: «Базаров, это мое любимое детище, из-за которого я рассорился с Катковым <…> Базаров, этот умница, этот герой – карикатура?!» И добавил, что это «бессмысленный упрек»[218].

Тургенев считал, что презрение молодых несправедливо до невыносимости. Он писал, что летом 1862 года «гнусные генералы меня хвалили – а молодежь ругала»[219]. Лидер социалистов Лавров сообщает, что Тургенев горько жаловался ему, как несправедливо, что радикалы изменили отношение к нему. Он возвращается к этому в одном из поздних «Стихотворений в прозе»: «<…> честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени»[220]. Это не просто уязвленная *amour propre*[221].

Тургенев страдал от глубинного ощущения, что он поставил себя в политически неверную позицию. Всю жизнь он хотел идти в ногу с прогрессивными людьми, с партией свободы и протеста, но не смог принять их жестокого презрения к искусству, цивилизованному поведению, всему, что для него было дорого в европейской культуре. Он ненавидел их догматизм, высокомерие, страсть к разрушению, ужасающее незнание жизни. Он уехал за границу, жил в Германии и Франции и возвращался в Россию только для мимолетных визитов. На Западе повсеместно восхваляли его и восторгались им. Но он-то ведь в конце концов хотел говорить именно для русских. Популярность его у русской публики в 1860-х и во все времена была очень велика, но больше всего он хотел угодить именно радикалам. Они же бранились или не реагировали.

В следующем романе «Дым», который он начал сразу после публикации «Отцов и детей», он пытался залечить раны, свести счеты со всеми оппонентами. Роман был опубликован пять лет спустя, в 1867 году, и содержал острую сатиру на два лагеря – на напыщенных, тупых, реакционных генералов и бюрократов и глупых, ограниченных, безответственных болтунов из левого крыла, которые в равной степени оторваны от реальности, в равной степени неспособны вылечить Россию. Это спровоцировало дальнейшую атаку на него. В этот раз он не удивился. «…Меня ругают все – и красные, и белые, и сверху, и снизу – и сбоку – особенно сбоку»[222]. Польское восстание 1863 года, а через три года – покушение Каракозова на императора породили большой подъем патриотических чувств даже среди либеральной российской интеллигенции. Тургенев был списан со счетов российской критикой, и правой, и левой, как разочарованный эмигрант, который больше не видит своей страны из Баден-Бадена и Парижа. Достоевский называл его ренегатом и советовал ему достать себе телескоп, который бы помог ему лучше видеть Россию[223].

В 1870-х Тургенев начал нервно, опасаясь оскорблений и унижений, восстанавливать отношения с левым крылом. К его удивлению и облегчению, его хорошо приняли в русских революционных кругах Парижа и Лондона; его ум, добрая воля, неиссякаемая ненависть к царизму, очевидная честность и беспристрастность, симпатия к отдельным революционерам, огромное обаяние подействовали на их лидеров. Более того, он выказал смелость робкого от природы человека, вознамерившегося побороть свои страхи: тайно давая деньги, он помогал публиковать нелегальные материалы, он открыто встречался с объявленными вне закона террористами, которых

выслеживала полиция в Париже и Лондоне. Все это смягчило сопротивление. В 1876 году он опубликовал «Новь» (которую считал продолжением «Отцов и детей») – окончательную попытку объясниться перед негодующей молодежью. «Молодое поколение, – писал он на следующий год, – было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников <…> либо <…> возведено в идеал, что опять несправедливо – и, сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу – стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных – и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось – не мне судить <…> во всяком случае <…> они <…> должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне – если не к их целям, то к их личностям»[224]. Герой «Нови» Нежданов, неудавшийся революционер, кончает жизнь самоубийством, в значительной степени потому, что его происхождение и характер не дают ему приспособиться ни к жесткой дисциплине революционной организации, ни к неторопливой и серьезной работе настоящего героя романа, практического реформатора Соломина, чьи негромкие, но неустанные труды внутри его собственной демократически организованной фабрики призваны создать более справедливый общественный порядок. Нежданов слишком цивилизован, слишком чувствителен, слишком слаб, а главное, слишком сложен, чтобы соответствовать строгому, монашескому новому порядку: он мучительно мечется, но в конце концов терпит поражение, потому что «*не может опроститься*»; равно как и сам Тургенев, и здесь корень проблемы, как указал Ирвинг Хау[225]. Своему другу Якову Полонскому Тургенев писал: «<…> если за “Отцов и детей” меня били палками, за “Новь” меня будут лупить бревнами – и точно так же с обеих сторон»[226]. Три года спустя газета Каткова опять обвинила его в том, что он «шут “этой молодежи”», <…> готов плясать на каком угодно канате только бы не лишаться благоволения этих “русских нигилистов”, в которых резюмируется для него все представление о современной “молодежи”»[227]. Как всегда, он ответил сразу: он сказал, что не изменил своих взглядов ни на йоту за последние сорок лет. «Я всегда был и до сих пор остался «постепеновцем», либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше* – принципиальным противником революций <…> Молодежь была права в своей оценке – и я почел бы недостойным и ее и самого себя представляться ей в другом свете»[228].

В конце 1870-х левые простили ему его недостатки. Моменты

слабости, постоянные попытки оправдаться перед российскими властями, отказ признать отношения с изгнанниками в Лондоне и Париже – все эти грехи были, кажется, почти забыты[229]. Его обаяние, симпатия к отдельным революционерам и их убеждениям, его правдивость как писателя завоевали большое расположение среди изгнанников, хотя они не питали никаких иллюзий, зная его крайнюю умеренность и закоренелую привычку прятаться, когда битва разгорится особенно сильно. Он продолжал рассказывать радикалам, что они ошибаются. Когда старое потеряло влияние, а новое плохо работает, нужно то, о чем он говорил в «Дворянском гнезде»: «*действенное терпение не без ловкости и изобретательности*». Когда нас поглощает кризис, «*когда*, – его словами, – *несведующие сталкиваются с бессовестными*», требуется практичный здравый смысл, не абсурдные ностальгичные идиллии Герцена и народников с их слепым, идолопоклонническим обожанием крестьянина, который из всех худший реакционер. Он снова и снова говорил, что не любит революцию, жестокость, варварство. Он верил в постепенный прогресс, какой под силу только меньшинствам, «*если только они не уничтожат друг друга*». Что до социализма, то это фантазия. Для русских характерно, говорит его герой и рупор Потугин в «Дыме», «поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней». По поводу равенства Тургенев говорил революционеру Лопатину: «Ведь не будем же мы в самом деле ходить по Сен-Симону, все в одинаковых желтеньких курточках с пуговкой назади?»[230] Тем не менее они молоды, они – партия свободы и благородства, партия неимущих, больных или, по крайней мере, страждущих; он не откажет им в симпатии, помощи, любви, даже виновато поглядывая все время через плечо на друзей из правого крыла, для которых он опять и опять старался преуменьшить свое беспрестанное заигрывание с левыми. Иногда беседы проходили хорошо, в другие разы, особенно когда он пытался очаровать их воспоминаниями о 1840-х годах, студенты начинали скучать, глядели презрительно и обиженно. Впрочем, когда они выказывали ему приязнь или даже обожание, он чувствовал, что их разделяет пропасть – тех, кто хочет разрушить старый мир до основания, и тех, кто, как он, желает сохранить его, потому что в новом мире, созданном на фанатизме и жестокости, не для чего стало бы жить.

Его ирония, терпимость, скептицизм, отсутствие страсти, «бархатное прикосновение» и прежде всего его решимость избегать слишком определенных общественных или политических

обязательств – все это отдалило от него оба крыла. Толстой и Достоевский, несмотря на открытую оппозицию «прогрессивным людям», воплощали непоколебимые принципы, оставались гордыми и уверенными в себе и потому никогда не становились мишенями для тех, кто бросал в него камни. Даже его дарования, умение подробно и внимательно наблюдать, увлеченность оттенками характеров и ситуаций, его беспристрастность, закоренелая привычка оценивать по достоинству цели, позиции и убеждения во всей их полноте и разнообразии – даже это казалось им нравственным самодовольством и политической безответственностью. Как и Монтескье, он был обвинен радикалами в том, что слишком много описывает и слишком мало критикует. Тургенев более всех русских писателей обладал тем, что Страхов назвал поэтическим и истинным талантом – он умел изобразить само разнообразие взаимопроникающих человеческих воззрений, которые незаметно переходят друг в друга, нюансы характера и поведения, мотивов и позиций, не искаженных моральным пафосом. Когда цивилизацию защищает избалованный, но умный Павел Кирсанов, это не карикатурно, в этом есть убежденность, а когда вроде бы те же ценности защищает никчемный Паншин из «Дворянского гнезда», в этом просто ничего нет. Славянофильство Лаврецкого трогательно и симпатично; народничество и радикалов и консерваторов в «Дыме» отталкивает, но в том и состоит авторский замысел. Это ясное, умеющее четко различать, слегка ироничное видение, совсем не похожее на одержимый гений Достоевского или Толстого, раздражало всех тех, кто тосковал по контрастным цветам, по определенности; тех, кто искал у писателей морального руководства и ничего не находил в тщательной, честной, но, на их взгляд, несколько самодовольной двойственности Тургенева. Ему, по-видимому, нравились собственные сомнения; он не был склонен глубоко копать. Оба его великих соперника находили это все более и более невыносимым. Достоевский, который поначалу восторженно любил Тургенева, стал считать его льстивым, поверхностным, космополитичным позером, бессердечно предающим Россию. Толстой считал его писателем, пусть одаренным и правдивым, но морально слабым и безнадежно слепым к глубочайшим и самым мучительным духовным проблемам человечества. Для Герцена он был милым старым другом, одаренным художником и хилым союзником, тростинкой, которая слишком легко гнется при каждой буре, вечным искателем компромиссов.

Тургенев не мог терпеть душевную боль молча. Он жаловался, оправдывался, протестовал. Он знал, что его обвиняют

в отсутствии глубины, серьезности или смелости. То, как приняли «Отцов и детей», продолжало терзать его. «…Семнадцать лет прошло со времени появления “Отцов и детей”, – писал он в 1880 году, – а <…> взгляд критики все еще не установился – и не далее как в прошлом году я, по поводу Базарова, мог прочесть в одном журнале, что я не что иное, как “башибузук[231], добивающий не им раненных”»[232]. Его симпатии, твердил он, всегда на стороне жертв, а не на стороне угнетателей; он сочувствует крестьянам, студентам, художникам, женщинам, цивилизованным меньшинствам, а не большим армиям. Как могли критики быть так слепы? Что касается Базарова, то в нем, конечно, много дурного, но он лучше, чем его хулители; можно было просто изобразить радикалов как людей с грубой внешностью и золотым сердцем; «Штука была <…> сделать Базарова волком и все-таки оправдать его»[233].

Единственное, что Тургенев отказался сделать – найти оправдание для доктрины «искусство ради искусства». Он не сказал, как легко бы мог: «Я художник, а не памфлетист. Я пишу художественные произведения, которые не следует судить по общественным или политическим критериям. Мои мнения – это мое личное дело; вы не тащите Скотта, Диккенса, Стендаля или даже Флобера на ваш идеологический трибунал – так оставьте же и меня в покое!» Он никогда не пытался отречься от общественной ответственности писателя; доктрина социальных обязательств была привита ему раз и навсегда обожаемым Белинским, и он никогда не отходил от нее полностью. Этот социальный интерес накладывает отпечаток даже на самые лиричные его произведения, и именно это тронуло революционеров, которых он встречал за границей. Они прекрасно знали, что Тургеневу хорошо только со старыми друзьями, принадлежащими к его классу, с людьми, взгляды которых невозможно назвать радикальными, – с культурными либералами или деревенскими помещиками, с которыми он, когда только мог, ходил стрелять уток. Тем не менее он нравился революционерам, ведь и они нравились ему, он сочувствовал их негодованию: «я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство <…> (здесь, согласно революционеру-эмигранту Лопатину, который передает эту беседу, он сделал соответствующий жест). Ну и пусть и пусть, я очень рад»[234]. Прежде всего их влекло к нему, потому что они были для него личностями, а не просто представителями партий или мировоззрений. Это в каком-то смысле парадоксально, именно личных особенностей, и социальных, и нравственных, они старались в теории не замечать; они верили в объективный

анализ, в социологическое суждение о людях на основании той роли, которую, независимо от сознательных мотивов, те играли (сами по себе или как представители социального класса), приближая или отдаляя желанные цели человечества – научное знание, эмансипацию женщин, экономический прогресс или революцию.

Именно это Тургеневу претило, именно этого он боялся в Базарове и в революционерах из «Нови». Тургенев и либералы вообще считали, что тенденции и политические позиции – функции людей, а не люди – функции общественных тенденций[235]. Поступки, идеи, искусство, литература выражают человека, а не объективные силы, лишь воплощенные в деятелях или мыслителях. Сводить предназначение людей к тому, чтобы те были в первую очередь носителями или средствами для безличных сил, так же отвратительно для Тургенева, как и для Герцена или для почитаемого им Белинского в его поздний период. Русские революционеры, бежавшие за границу, не привыкли, чтобы им сочувствовали, их так понимали, даже любили, как людей, а не как выразителей идеологии: это было для них своего рода роскошью. Уже одно это отчасти объясняет, почему Степняк, Лопатин, Лавров, Кропоткин привечали такого понимающего, мало того – очаровательного и одаренного человека, как Тургенев. Он тайно снабжал их деньгами, но не шел ни на какие уступки в области мысли. Он верил – это был его «старомодный» либерализм в «английском, династическом [он имел в виду конституционном] смысле»[236] – что только образование, только постепенные методы, «*промышленность, терпение, самопожертвование, без блеска, без шума, гомеопатические вливания науки и культуры*» могут наладить человеческую жизнь. Он был потрясен и разбит непрестанной критикой, под которую сам себя подставлял, но (в своей типичной извиняющейся манере) ни за что не хотел «опроститься». Он по-прежнему верил – может быть, то был пережиток его гегельянской юности, – что ни один вопрос не закрыт навсегда, что каждый тезис нужно сопоставить с антитезисом, что системы и абсолюты всех видов – общественные или политические ничуть не менее, чем религиозные, – форма опасного идолопоклонства[237]; и главное, ни в коем случае не следует идти на войну, пока на карту не поставлено все, во что ты веришь, и пути назад действительно нет. Некоторые из фанатичных молодых людей отвечали ему искренним уважением, а то и глубоким восхищением. Один молодой радикал писал в 1883 году: «Тургенев умер; стоит теперь еще умереть Щедрину[238], и тогда хоть живьем в гроб ложись! Везде эти люди

заменяли нам и парламент, и сходки, и жизнь, и свободу!»[239]. Один член террористической организации, за которым охотились, в некрологе, незаконно опубликованном в день похорон Тургенева, написал: «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, “постепеновец” по убеждениям, Тургенев, быть может бессознательно для самого себя <…> сочувствовал и даже служил русской революции»[240]. Особые полицейские предосторожности на похоронах Тургенева явно не были излишними.

III

Пора уже отцам-Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков[241].

Критические переломы в истории происходят обычно, как нам говорят, когда возрастает ощущение, что форма жизни и ее институты препятствуют самым энергичным и продуктивным силам в обществе – экономическим или общественным, художественным или интеллектуальным – и не имеют достаточно силы противостоять им. Против такого общественного порядка объединяются люди и группы самого разного склада, класса и положения. Переворот – революция – иногда добивается ограниченного успеха. Он достигает точки, в которой некоторые запросы или интересы его изначальных организаторов удовлетворены в той мере, что дальнейшая борьба становится невыгодной. Те останавливаются или сражаются неуверенно. Союз распадается. Самые страстные и целеустремленные, особенно среди тех, чьи цели или идеалы дальше всего от осуществления, хотят идти дальше. Остановка на полдороге кажется им предательством. Удовлетворенные, или менее мечтательные, или те, кто опасается, что на смену старому ярму придет даже более жестокое, ищут путь к отступлению. В итоге оказывается, что они атакованы с двух сторон. Консерваторы смотрят на них в лучшем случае как на прихрамывающих сторонников, в худшем – как на дезертиров и предателей. Радикалы смотрят на них как на малодушных союзников, а чаще – как на диверсантов и ренегатов.

Людям такого сорта нужен большой запас смелости, чтобы противостоять притяжению обоих полюсов и настаивать на умеренности, когда кругом хаос. Среди них есть те, кто видит вещи во всей их сложности, есть и те, кто понимает, что гуманная цель, осуществленная жестокими средствами, грозит обернуться

своей противоположностью: свобода – притеснением, равенство – новой, воспроизводящей саму себя олигархией, правосудие – тиранией, сокрушающей всякое неподчинение, любовь к людям – ненавистью к тем, кто противостоит жестоким методам, будто бы к ней ведущим. Средняя линия весьма уязвима, опасна и неблагодарна. Сложную позицию тех, кто в пылу битвы хочет по-прежнему говорить с обеими сторонами, часто толкуют как мягкотелость, обман, оппортунизм, трусость. С некоторыми так оно и обстоит, но этого нельзя сказать об Эразме Роттердамском, Монтене, Спинозе, который согласился разговаривать с французами, захватившими Голландию, о лучших представителях Жиронды или некоторых из либералов, потерпевших поражение в 1848 году, или стойких представителях европейских левых, которые не встали на сторону Парижской коммуны в 1871 году. Не слабость и не трусость удержали меньшевиков от союза с Лениным в 1917 году или несчастных немецких социалистов от превращения в коммунистов в 1932-м.

Двойственность *умеренных*, которые не готовы изменять своим принципам или предавать дело, в которое они верят, стала общим явлением политической жизни после этой войны. Она восходит частично к исторической позиции либералов XIX века, для которых враг до сего времени всегда был справа – монархисты, клерикалы, аристократы, поддерживающие политическую или экономическую олигархию, чье правление вело к бедности, невежеству, несправедливости, эксплуатации и деградации людей или хотя бы всем этим пренебрегало. Либералы действительно склонялись и склоняются влево, к поборникам добра и человечности, ко всему, что разрушает барьеры между людьми. Даже после неизбежного раскола они все еще очень неохотно верят, что слева могут быть реальные враги. Их может нравственно коробить то, что некоторые из их союзников прибегают к грубой жестокости; и они протестуют, говоря, что такие методы исказят или уничтожат общую цель. Жирондисты пришли к такой позиции в 1792 году; такие либералы, как Гейне или Ламартин, – в 1848-м; Мадзини и довольно много социалистов, выдающимся представителем которых был Луи Блан, отшатнулись от методов Парижской коммуны. Эти кризисы прошли. Разрывы зажили. Возобновилась обычная политическая борьба. Надежды умеренных начали возрождаться. Безвыходные дилеммы, перед которыми они оказывались, можно было считать результатом внезапного помрачения, которое не продлится долго. Но в России с 1860-х годов до революции 1917-го это нелегкое чувство, особенно болезненное в периоды репрессий и ужаса, стало хронической,

долгой, беспрерывной болезнью всей просвещенной части общества. Дилемма либералов была неразрешимой. Они хотели уничтожить режим, который казался им воплощением зла. Они верили в разум, отделение церкви от государства, права личности, свободу слова, свободу собраний, свободу мнения, свободу групп, племен и национальностей, большее социальное и экономическое равенство, и прежде всего – в торжество правосудия. Они восхищались самоотверженной преданностью, чистотой помыслов, мученичеством тех людей, пусть даже и экстремистов, кто положил жизнь на ниспровержение *status quo*. Но они опасались, что ущерб, вызванный террористическими или якобинскими методами, окажется невосполнимым, превзойдет любые доходы; их ужасал фанатизм и варварство крайне-левых, ужасало презрение к той единственной культуре, которую они знали, и слепая вера в то, что им, либералам, казалось утопическими фантазиями, анархистскими, народническими или марксистскими.

Эти русские верили в европейскую цивилизацию, как верят неофиты в новообретенную веру. Они не могли и не смели предположить, тем более – одобрить разрушение большей части того, что было бесконечно ценно и для них самих, и для всех людей прошлого, даже царского прошлого. Зажатые между двумя армиями, обвиняемые обеими, они повторяли свои мягкие и разумные слова без особой надежды на то, что их услышит любая из двух сторон. Они оставались упрямыми реформистами, нереволюционерами. Многие страдали от сложных форм вины: они искренне сочувствовали целям левых; но, отвергнутые радикалами, по своей самокритичности и непредвзятости они начинали ставить под вопрос основательность собственных позиций; они сомневались, они изумлялись, они время от времени чувствовали соблазн отбросить свои просвещенные принципы и обрести мир, обратившись в революционную веру, а прежде всего подчинившись господству фанатиков. Возможность растянуться на удобном ложе догмы спасла бы их от мук неуверенности, от ужасного подозрения, что простые решения крайне-левых могут оказаться такими же неразумными и репрессивными, как национализм, высокомерие или мистицизм правых. Мало того, несмотря на всё, им по-прежнему казалось, что левые придерживаются более человечной веры, чем застывшие, бюрократичные, бессердечные правые, хотя бы потому, что всегда лучше быть с преследуемым, чем с преследователем. Но было одно убеждение, от которого они не отреклись: они знали, что дурные средства уничтожают благую цель. Они знали, что, истребив существующие свободы,

цивилизованные привычки, разумное поведение, отменив их, веря, что они, как феникс, восстанут в более чистой и прекрасной форме, можно попасть в ужасную ловушку. Герцен говорил своему старому другу, анархисту Бакунину, в 1869 году, что, приказывая разуму остановиться, на том основании что его плоды враг может использовать во вред, насильственно удерживая науку, изобретения, прогресс мысли, пока люди не очистятся огнем тотальной революции – пока «*мы не освободимся*», революционеры совершают самоубийственную ошибку. «Нельзя же остановить ум, – писал Герцен в своем последнем и великолепном эссе, – основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем <…> Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ним так и следует разнуздание диких страстей <…> Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей <…> Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам»[242], – и дальше следует фраза, которую слишком плохо помнят, – «…им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их»[243]. Бакунин как-то сказал, что надо сперва расчистить место – а там видно будет. Для Герцена это отдавало темными веками варварства; и он говорил об этом всему своему поколению в России. То же чувствовал и писал Тургенев последние двадцать лет жизни. Он заявлял, что он европеец; что западная культура – единственная культура, которую он знает; под ее знамя стал он с молодости, и ему не изменил[244]. Его мысли выражает Потугин из «Дыма», когда говорит: «…я предан Европе; то есть, говоря точнее, <…> цивилизации <…> это слово <…> чисто <…> и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут». Он безусловно осуждал политический мистицизм и иррационализм, народничество и славянофильство, консерваторов и анархистов.

Однако, если вычесть это, «люди сороковых годов» были мало в чем уверены: помощь левым со всеми их крайностями противоречила принципам цивилизованности; но пойти против них или даже остаться безразличными к их судьбе, оставить их на произвол реакционеров казалось еще более немыслимым. Умеренные надеялись, против всякой очевидности, что жестокое противление разуму, которое, как говорили Тургеневу либералы в России, распространялось среди молодежи, словно заразная болезнь, презрение к живописи, музыке, книгам, возрастающий политический терроризм – все это преходяще, все это крайности, вызванные незрелостью и невежеством; это плод длительного

разрушения, и он исчезнет, когда будет устранен гнет, который его породил. Отсюда следовало, что либералы оправдывают жестокий язык и жестокие действия крайне-левых и продолжают поддерживать нелегкий союз с ними.

Этот болезненный конфликт, который стал постоянным затруднением русских либералов на полвека, сейчас распространился на весь мир. Мы должны ясно понимать: сегодня герои мятежа не Базаровы. В каком-то смысле Базаровы выиграли. Победное продвижение количественных методов, вера в организацию человеческой жизни с помощью технологического управления, упование на один лишь расчет утилитарных последствий при выработке политики, которая затрагивает огромные массы людей, – это Базаров, а не Кирсановы. Триумф хладнокровной моральной арифметики, которая интересуется рентабельностью, освобождает приличных людей от беспокойств, потому что они больше не думают о тех единицах, к которым применяют свое научное исчисление, как о людях, о конкретных личностях, которые живут и умирают; сейчас это гораздо типичней для влиятельных кругов, чем для оппозиции. Не доверять тому, что оперирует понятиями качественного, неопределенного, что не поддается анализу, но дорого для людей, и считать все это, как Базаров, устарелой, интуитивной, донаучной кучей мусора, как ни удивительно, склонны и правые антирационалисты, и левые иррационалисты; именно поэтому и те и другие – в одинаково резкой оппозиции технократической верхушке, находящейся в середине. С противоположных точек зрения крайне-левые и крайне-правые видят в попытках рационализировать общественную жизнь страшную угрозу тому, что обе стороны считают важнейшими человеческими ценностями. Если бы Тургенев жил сегодня, молодыми радикалами, которых он хотел бы описать и которым, возможно, хотел бы угодить, оказались бы люди, желающие спасти человечество от господства тех самых «софистов, экономистов и вычислителей», чье пришествие оплакивал Берк, которые не замечают или презирают и самих людей, и то, чем они живут. Новые же мятежники наших дней поддерживают – насколько они могут, сосредоточившись, это внятно изложить – что-то вроде расплывчатой разновидности старого, естественного права. Они хотят построить общество, в котором люди относились бы друг к другу как люди, каждый из которых обладает уникальным правом самовыражения, каким бы недисциплинированным и диким оно ни оказалось, а не как единицы производства или потребления в централизованном, всемирном, самодвижущемся общественном механизме. Последователи Базарова выиграли, а наследники

разгромленных, презираемых «лишних людей», Рудиных, Кирсановых и Неждановых, потомки чеховских растерянных, жалких студентов и циничных, сломленных врачей готовят сегодня человечество к революционным баррикадам. Тем не менее сходство с тургеневским затруднением остается: современные бунтари верят, как верили Базаров, Писарев и Бакунин, что в первую очередь необходимо очищение, полное разрушение существующей системы; остальное не их дело. Будущее само о себе позаботится. Лучше анархия, чем тюрьма; среднего нет. Этот жестокий крик встречает отклик в душе современных Шубиных, Кирсановых и Потугиных – у маленькой, нерешительной, самокритичной группы не самых смелых людей, которые занимают позицию где-то слева от центра и которым нравственно отвратительны и безжалостные правые, и истеричные левые с их бессмысленной жестокостью и демагогией. Как и люди сороковых, от имени которых говорил Тургенев, они и напуганы, и заворожены. Их шокирует жестокий иррационализм левых дервишей, и тем не менее они не готовы без разбору отвергать позицию тех, кто вроде бы представляет молодых, обездоленных, яростных борцов за права бедных, социально ущемленных или угнетенных. Такова печально известная неудовлетворительная, нередко – отчаянная позиция современных адептов либеральной традиции.

«…Я понимаю причины гнева, возбужденного моей книгой в известной партии, – писал Тургенев чуть более ста лет назад. – <…> на мое имя легла тень. <…> что за важность? Кто через двадцать, тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в стакане воды – и о моем имени – с тенью или без тени?»[245] На имени Тургенева по-прежнему лежит тень в его родной стране. Его репутация как художника не вызывает вопросов, но как общественный мыслитель он и сегодня остается предметом полемики. Ситуация, которую он анализировал из романа в роман, болезненное положение тех, кто верит в либеральные западные ценности, их трудности, которые когда-то считались присущими одной России, сегодня знакомы повсюду. Знакомы и его колеблющаяся, неуверенная позиция, его ужас перед реакционерами, его страх перед варварами-радикалами, смешанный со страстным желанием быть понятым и одобренным пылкими молодыми людьми. Еще более знакома неспособность, несмотря на более сильную симпатию к партии протеста, открыто примкнуть к любой из сторон в конфликте идей, классов и прежде всего поколений. Фигура действующего из лучших побуждений, встревоженного, подвергающего себя самоанализу либерала, свидетельствующая о сложности истины, та фигура,

которую как литературный тип Тургенев практически создал по собственному образу и подобию, сегодня стала широко распространенной. Есть люди, которые, когда битва чересчур разгорается, пытаются заткнуть уши – или установить перемирие, спасти людей, предотвратить хаос.

Что касается бури в стакане воды, о которой говорил Тургенев, то она не только не забыта, но и захватила весь мир. Если внутренняя жизнь людей, их идеи, их моральные затруднения значат что-либо при объяснении человеческой истории, то романы Тургенева, особенно «Отцы и дети», независимо от их литературных достоинств, также помогают понять прошлое России и наше собственное настоящее, как помогают пьесы Аристофана понять классические Афины, а письма Цицерона или романы Диккенса и Джорджа Элиота – понять Рим и викторианскую Англию.

Возможно, Тургенев любил Базарова; несомненно, он боялся его. Он понимал и в какой-то степени сочувствовал доводам, которые представляли новые якобинцы, но он не мог не думать о том, что́ они растопчут. «То же легковерие, – писал он в середине 1860-х, – и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи <…> те же бессмысленные страдания во имя <…> того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном»[246]. А искусство? А красота? «Да, это сильные слова <…> Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года»[247], тем не менее и она, и творения Гете и Бетховена канут в вечность. Исида с холодным взглядом, как он называет природу, «ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое <…> Она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра»[248]. Но почему люди должны так фанатично помогать ей, когда она обращает все в пыль? Образование, только образование может замедлить этот болезненный процесс, ведь наша цивилизация еще далеко не иссякла.

Цивилизация, гуманистическая культура значили больше для русских, опоздавших на гегельянский праздник духа, чем для пресыщенных уроженцев Запада. Тургенев держался за нее более страстно, лучше осознавал ее хрупкость, чем даже его друзья Флобер и Ренан. Но в отличие от них он разглядел за спиной филистерской буржуазии куда более яростного оппонента – молодых бунтарей, склонных к тотальному уничтожению его мира и уверенных, что появится новый, более справедливый мир. Он лучше всех понял этих Робеспьеров, лучше Толстого и даже Достоевского. Он отвергал их методы, он считал их цели наивными и абсурдными, но его рука не поднялась бы против

них, если бы тем самым он помог и способствовал удобству генералов и бюрократов. Он не предложил никакого ясного выхода – только постепенность и образование, только разумность. Чехов как-то сказал, что дело писателя не предлагать решения, но лишь описывать ситуацию настолько правдиво и представлять проблему настолько справедливо, чтобы читатель не мог больше обойти ее. Сомнения, которые выразил Тургенев, еще не устранены. Дилемма морально чувствительных, честных и интеллектуально ответственных людей в период острой поляризации мнений стала с его времен еще острее и распространеннее. Затруднение тех, кто для него был лишь «образованной частью» страны, едва ли тогда воспринимавшейся как вполне европейская, стало в наши дни затруднением для любого класса. Он распознал его на ранней стадии и описал с несравненной остротой взгляда, поэтичностью и искренностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В качестве иллюстрации политической атмосферы в России в 1870-х и 1880-х годах, особенно с точки зрения поднимавшейся волны политического терроризма, может быть интересен отчет А.С. Суворина о разговоре с Достоевским, чьим издателем он был. И Суворин и Достоевский были верными сторонниками самодержавия и не без основания воспринимались либералами как сильные и безнадежные реакционеры. Периодическое издание Суворина «Новое время» было самым лучшим и влиятельным журналом для крайних представителей правого крыла в России к концу XIX – началу XX века. Политическая позиция Суворина придает особую значимость этой записи в его дневнике[249].

«В день покушения Млодецкого[250] на Лорис-Меликова я сидел у Ф.М. Достоевского. Он занимал бедную квартиру, я застал его за круглым столиком его гостиной, набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. <…> Я, верно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал: “А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад”. И он продолжил набивать папиросы. О покушении ни он, ни я еще не знали. Но разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

– Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?»

– Нет, не пошел бы…

– И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто – боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить.

Он долго говорил на эту тему и говорил одушевленно. Тут же он сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером <…>»[251]

Еж и лиса [252]

Эссе о взглядах Толстого на историю

Памяти Джаспера Ридли

Странное сочетание разума английского аптекаря с душой индийского буддиста.

Э.М. де Вогюэ [253]

I

Среди фрагментов греческого поэта Архилоха есть строка, которая гласит: «Лис знает много секретов, а еж один, но самый главный»[254]. Ученые по-разному толкуют этот не слишком ясный по смыслу отрывок, который может описывать всего лишь навсего тот факт, что лис, при всей его хитрости, не справится с одним-единственным оборонительным трюком ежа. Однако, если воспринимать эту фразу фигуративно, в нее можно вложить смысл, который сделает явственным одно из глубочайших различий между писателями, мыслителями, а то и вообще между людьми – между теми, кто все и вся соотносит с некой ключевой точкой зрения, с одной более или менее последовательной и ясно выраженной системой, исходя из которой воспринимает мир, мыслит и чувствует, с единым, универсальным, всеобъемлющим первопринципом, который, собственно, и придает смысл всему, что они говорят и делают, – и теми, кто способен одновременно заниматься многими предметами, зачастую не имеющими друг к другу никакого касательства, а то и вовсе противоположными, связанными между собой разве что *de facto*, в силу сугубо ситуативных психологических или физиологических причин, и не имеющими отношения к единым нравственным или эстетическим принципам. Между такими людьми лежит глубокая пропасть. Те, кого я описал последними, совершают поступки, пестуют идеи и проживают жизнь скорее центробежную, нежели центростремительную; их мысль разбросанна и рассеянна и работает сразу на нескольких уровнях, ухватывая суть огромного количества разрозненных переживаний и предметов и не пытаясь, осознанно или бессознательно, приспособить каждый такой предмет или исключить его из общей, всеохватной, порою противоречивой и неполной, подчас до фанатизма доходящей, но

единой внутренней системы виденья. Первый тип мыслящей и творческой личности – ежи, второй – лисы. Не настаивая на жесткой классификации и не слишком опасаясь впасть в противоречие, мы можем сказать, что в этом смысле Данте принадлежит к первой категории, Шекспир ко второй; Платон, Лукреций, Паскаль, Гегель, Достоевский, Ницше, Ибсен, Пруст – в какой-то степени ежи; а Геродот, Аристотель, Монтень, Эразм, Мольер, Гете, Пушкин, Бальзак и Джойс – лисы.

Конечно, как и все элементарные классификации, данная дихотомия, если ее довести до логической точки, становится искусственной, начетнической и в конце концов просто абсурдной. Но, пусть она и не выдерживает сколь-нибудь серьезной критики, отвергать ее на том простом основании, что она поверхностна и легковесна, тоже не стоит; если способ разграничения достоверен хотя бы отчасти, он предложит некую потенциально возможную точку зрения, точку опоры для того, кто намерен наблюдать и сравнивать, отправной пункт для добросовестного исследования. Так, мы ни на секунду не сомневаемся, что Пушкин и Достоевский – совершенно разные; и при всей проникновенности и глубине знаменитой речи Достоевского, навряд ли хотя бы для единственного чуткого читателя она смогла пролить свет на пушкинский гений. Скорее она высветила гений самого Достоевского, именно потому, что тот преподносит Пушкина – величайшую лисицу XIX столетия – как личность, подобную ему самому, ежу до мозга костей; и тем самым перевоссоздает его образ, рождая искаженное представление о Пушкине-пророке, несущем миру уникальную, универсальную весть, столь важную для Достоевского и невероятно далекую от многообразного и текучего пушкинского дарования, обращенного разом на все стороны света. Мысль о том, что всю русскую литературу можно означить двумя гигантскими фигурами – на одном полюсе Пушкин, на другом Достоевский, – не так уж абсурдна; и всякий, кто ради пользы дела или просто для удовольствия задается такими вопросами, вправе оценивать и сравнивать русских писателей в зависимости от их соотношения с этими двумя великими противоположностями. Сопоставление Гоголя, Тургенева, Чехова, Блока с Пушкиным и с Достоевским приводит – или, по крайней мере, приводило – к весьма плодотворным и ярким наблюдениям. Но стоит нам только дойти до графа Льва Николаевича Толстого и спросить себя, принадлежит ли он к первой категории или ко второй, монист он или все-таки плюралист, обладатель единого виденья или человек, способный охватить великое множество разнообразных точек зрения, создан он из неделимой субстанции

или составлен из разнородных элементов, – немедленного или хотя бы сколь-нибудь ясного ответа мы не получим. Вопрос в данном случае кажется не совсем уместным; он создает больше сложностей, нежели разрешает. Однако мешает нам не отсутствие сведений. Толстой поведал о себе, о своих взглядах и методах больше, чем любой русский, и едва ли не больше, чем любой европейский литератор. Ни в одном из принятых смыслов его книги нельзя назвать малопонятными – в его вселенной нет темных углов, рассказанные им истории буквально залиты ярким солнечным светом; он объяснял и их, и самого себя, спорил о них и о методах, при помощи которых они созданы, куда выразительней, разумней, трезвее и яснее, нежели какой-либо другой писатель. Так лис он все-таки или еж? Почему на удивление трудно найти ответ на этот вопрос? Кого он больше напоминает – Шекспира и Пушкина или же Данте и Достоевского? А может, он совершенно не схож ни с тем, ни с другим типом, и вопрос, таким образом, попросту снимается? В чем суть вставшего у нас на пути таинственного препятствия?

В этом эссе я вовсе не намерен формулировать ответ на поставленный вопрос, поскольку тогда пришлось бы критически пересмотреть все литературное и философское наследие Толстого. Ограничусь предположением, что трудность, по крайней мере – отчасти, может состоять в том, что Толстой и сам в какой-то мере осознавал эту проблему и приложил максимум усилий к тому, чтобы сфальсифицировать ответ. Гипотеза, которую я хочу предложить, состоит в том, что по природе Толстой был лис, но искренне считал себя ежом; что его дар и его творческие достижения одно, а его убеждения и, соответственно, его толкование собственных творческих достижений – совсем другое; и что именно поэтому его идеалы вынудили и его самого, и тех, кого покорил свойственный ему дар убеждения, снова и снова ложно толковать то, что он или другие делали или должны были делать. Он не скрывал своей позиции, и всякий его читатель может лично в том убедиться: его взглядами на этот предмет буквально пропитаны все его высказывания от первого лица – дневники, собранные и записанные *obiter dicta*[255], автобиографические эссе и повести, социальные и религиозные трактаты, критические статьи, частные и открытые письма. Но нигде конфликт между тем, что он из себя представлял, и тем, что о себе думал, не виден настолько отчетливо, как в его взглядах на историю, которым он посвятил многие из самых блестящих и самых парадоксальных страниц. Это эссе – попытка разобраться в его исторических доктринах и выявить как мотивы, по которым он придерживался тех или иных взглядов, так и

некоторые из его возможных источников. Проще говоря, я попытаюсь принять толстовское отношение к истории с той же серьезностью, которую он сам пытался внушить своим читателям, хотя и в силу совершенно иных резонов – ради света, который оно проливает на одного-единственного гениально одаренного человека, а не ради заботы о судьбах человечества.

II

Толстовская философия истории еще не получила должного освещения, ни как действительно оригинальная и не лишенная интереса концепция, ни как своего рода прецедент в истории идей, ни даже как один из элементов становления его творческой личности[256]. Те, для кого Толстой оставался в первую очередь романистом, порой считали разбросанные по тексту «Войны и мира» исторические и философские пассажи досадными огрехами повествовательной техники, печального пристрастия к ненужным отступлениям, свойственного великому, но невероятно своевольному автору, ущербной, доморощенной метафизикой, не представляющей почти никакого или вообще никакого интереса и совершенно чуждой как общему направлению, так и внутренней структуре романа. Тургенев, которому личность и творчество Толстого были вполне антипатичны – пусть даже впоследствии он не скупился на щедрые похвалы Толстому-писателю, – стоял на острие атаки. В письмах к Павлу Анненкову[257] он говорит о «шарлатанстве» Толстого, называет его исторические изыскания «штукарством», которое должно обмануть неосторожного читателя, и говорит о том, что этот «самоучка» ввел их в текст, недостойно подделывая истинные исторические знания. Спеша добавить, что Толстой, конечно, искупает все это своим поразительным талантом, он тут же обвиняет его в изобретении «какой-нибудь одной системы, которая, по-видимому, все разрешает очень просто; как, например, исторический фатализм, да и пошел писать! Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает все свои силы….»[258]. Та же нота звучит и в трогательном призыве, отправленном старому другу-врагу со смертного одра: Тургенев просит снять мантию пророка и вернуться к истинному своему призванию – призванию «великого писателя земли русской»[259]. Флобер, у которого отдельные места «Войны и мира» исторгали «вопли восторга», временами приходил в такой же бурный ужас: «Il se répète et il philosophise»[260], – пишет он в письме к Тургеневу, который переправил ему французский перевод этого до той поры почти

неизвестного за пределами России шедевра. В том же духе выражается и Василий Боткин, философствующий торговец чаем, близкий друг и корреспондент Белинского, в письме к Афанасию Фету:

«…от литературных людей и военных специалистов слышатся критики. <…> Первые находят, что умозрительный элемент романа очень слаб, что философия истории мелка и поверхностна, что отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более чем мистическое хитроумие; но помимо всего этого художественный талант автора вне всякого спора. Вчера у меня обедали и был также Тютчев, – и сообщаю отзыв компании»[261].

Современные историки и специалисты по военному делу, из коих по меньшей мере один принял личное участие в войне 1812 года[262], с возмущением указывали на неточность приведенных фактов; а впоследствии отыскали и вовсе убийственные доказательства преднамеренной, по-видимому, фальсификации исторических подробностей[263], совершенной, судя по всему, в угоду не столько художественным, сколько «идеологическим» мотивам: Толстой не мог не знать, что есть вполне доступные оригинальные источники и нет каких бы то ни было противоречащих им данных.

Такой консенсус историографической и эстетической критики задал, по-видимому, тон едва ли не всем более поздним оценкам «идеологического» содержания «Войны и мира». Шелгунов, по крайней мере, удостоил Толстого прямой атаки за социальный квиетизм, который он окрестил «философией болота», прочие же по большей части либо вежливо обходили эту проблему, либо рассматривали ее как характерную аберрацию, вызванную сочетанием хорошо известной русской склонности сбиваться на проповедь (и тем самым губить произведения искусства) и незрелой, но пламенной увлеченности глобальными идеями, характерной для молодых интеллектуалов из стран, удаленных от признанных центров цивилизации. «Нам повезло, что автор – художник лучший, чем мыслитель», – сказал Дмитрий Ахшарумов[264], и более чем три четверти века это настроение эхом отдавалось в работах большинства критиков Толстого, как российских, так и иностранных, как дореволюционных, так и советских, как «реакционных», так и «прогрессивных», как тех, кто видел в нем в первую очередь писателя, художника, так и тех, для кого он был прежде всего учителем и пророком, или мучеником, или фигурой огромный социальной значимости, или же социологическим и психологическим «случаем». Толстовская концепция истории в равной степени мало занимала Вогюэ и

Мережковского, Стефана Цвейга и Перси Лаббока, Бирюкова и И.Дж. Симмонса, не говоря уже о фигурах менее значимых. Историки русской мысли[265] склонны относить данный аспект толстовского мировоззрения на счет «фатализма» и переходить к более интересным историческим теориям Леонтьева и Данилевского. Критики, наделенные несколько большей осторожностью или просто скромностью, не забираются в такие дебри и трактуют его «философию» с каким-то нервическим уважением; даже Деррик Леон, который разбирает толстовские взгляды соответствующего периода гораздо тщательней, нежели большинство биографов, кропотливо излагая размышления Толстого о движущих силах истории и уделяя особое внимание второй части объемистого эпилога, примыкающего к собственно романному телу «Войны и мира», после этого, как и Эйлмер Мод, не пытается ни оценить эту теорию, ни соотнести ее с жизнью и творчеством Толстого; но даже и такие попытки – редчайшее исключение[266]. Тем же, кого Толстой интересует прежде всего как пророк и учитель, важны поздние доктрины мастера, созданные после обращения, когда он перестал воспринимать себя как писателя и утвердился в роли наставника человечества, объекта преклонения и паломничества. Жизнь Толстого представляется обычно суммой двух различных периодов: сначала перед нами автор бессмертных шедевров, затем – пророк личного и общественного возрождения; сначала – писатель-аристократ, трудный, порою и вовсе неприступный гений, склонный поднимать самые острые и неразрешимые вопросы, затем – мудрец, самоуверенный, капризный, ходульный и чрезвычайно влиятельный, в особенности на родине, но и всемирно значимая, уникальная по своей значимости «инстанция». Время от времени кто-нибудь пытается отыскать истоки позднего периода в периоде раннем, который вроде бы предвещает толстовское самоотрицание; но существенно важным считается все-таки именно этот, поздний период. Позднему Толстому во всей его сложности и во всем многообразии посвящены философские, теологические, этические, психологические, политологические и экономические труды.

И все же здесь, несомненно, скрывается некий парадокс. Толстой страстно, едва ли не одержимо интересовался историей и проблемами исторической достоверности и до, и во время работы над «Войной и миром». Навряд ли человек, читавший его дневники и письма или, по крайней мере, «Войну и мир», усомнится в том, что сам автор считал данную проблему ключевой в своем гигантском замысле – центральной темой, вокруг которой и строится весь роман. «Шарлатанство»,

«поверхностность», «интеллектуальная слабость» – к Толстому эти эпитеты попросту неприменимы. Пристрастность, капризность, самонадеянность – что ж, может быть; склонность к самообману, отсутствие должной выдержки – да, вероятно; несоответствие собственным требованиям с моральной или духовной точки зрения – он сам знал об этом куда лучше, чем его враги. Но слабость ума, отсутствие критического дара, тяга к легковесности, наклонность педалировать заведомо вздорную, поверхностную доктрину в ущерб реалистическому описанию и анализу жизни, одержимость той или иной модной теорией, которую Боткин и Фет с легкостью видят насквозь, тогда как Толстой на это неспособен, – нет, эти обвинения нелепы и неуместны. Ни один здравомыслящий человек, по крайней мере – в нашем столетии, и не подумает отрицать интеллектуальной мощи Толстого, его потрясающей способности проникать сквозь покров любой общепринятой условности, разъедающего скепсиса, из-за которого князь Вяземский заклеймил «Войну и мир» словом «нетовщина»[267] – ранней версии того самого нигилизма, который позже вполне естественно припишут Толстому Вогюэ и Альбер Сорель. Что-то здесь не так. За яростно неисторическим, в сущности – антиисторическим отрицанием всех и всяческих попыток объяснить или оправдать человеческий поступок или характер, исходя из понятий общественного или же индивидуального становления или из уходящих в прошлое «корней», и вместе с тем за постоянным и глубоким интересом к истории, приведшим к тем самым художественным и философским итогам, которые вызвали такие до странности пренебрежительные отклики вполне здравомыслящих и понимающих Толстого критиков, – за всем этим, несомненно, скрывается что-то важное.

III

Интерес к истории пробудился у Толстого достаточно рано. Возник он, кажется, не из интереса к прошлому, но из страстного желания добраться до первопричин, понять, как и в силу чего все складывается так, а не иначе, из недовольства теми общепринятыми объяснениями, которые в действительности ничего не объясняют и оставляют разум неудовлетворенным, из наклонности сомневаться, ставить под подозрение и, при необходимости, отвергать все то, что не дает полного ответа на поставленный вопрос, во всем доходить до самого основания, любой ценой. Данное свойство было присуще Толстому на

протяжении всей его жизни, и навряд ли его можно счесть симптомом «штукарства» или «поверхностности». Ему соответствовала неизлечимая любовь к конкретному, эмпирическому, доказуемому при инстинктивном недоверии к абстрактному, неосязаемому, сверхъестественному – короче говоря, рано проявившаяся склонность к научному и позитивистскому подходу, чуждому романтизма, абстрактных формулировок и метафизики. Всегда и при любых обстоятельствах он искал «твердых» фактов – доступных и доказательных для нормального интеллекта, не испорченного путаными, оторванными от осязаемой реальности теориями или некими потусторонними таинствами, не важно, теологическими, поэтическими или метафизическими. Он мучился последними вопросами, с которыми сталкиваются молодые люди в каждом новом поколении, – о добре и зле, о происхождении и предназначении вселенной и ее обитателей, о причинах всего сущего; но ответы, предлагаемые теологами и метафизиками, казались ему абсурдными, хотя бы по причине того языка, на котором они были сформулированы, – языка, не имевшего, судя по всему, никакого касательства до повседневного существования обычного здравого смысла, а за здравый смысл он упрямо держался обеими руками как за единственную возможную реальность даже и задолго до того, как понял, что он, собственно, делает. История, и только история, только сумма конкретных событий, происшедших в определенном месте в определенное время, – сумма реального опыта реально существовавших людей в их отношении друг к другу и к трехмерному, эмпирически воспринимаемому физическому миру! Только здесь и следует искать строительный материал для настоящих ответов, которые понятны и без каких-то особенных чувств или качеств, не свойственных обычным людям.

Это, конечно же, тот самый дух эмпирического исследования, который воодушевлял мыслителей XVIII столетия, противившихся теологии и метафизике. Толстовский реализм, толстовская неспособность уверовать в призраков сделала его их естественным преемником прежде, чем он успел ознакомиться с их доктринами. Подобно г-ну Журдену, он говорил прозой задолго до того, как узнал об этом, и оставался врагом отвлеченностей от начала и до конца своих дней. Пора его становления пришлась на самый расцвет гегельянской философии, которая пыталась объяснить все и вся через соотнесенность с категорией исторического развития, выводя, однако, способ познания самого этого процесса за рамки эмпирических методов. Свойственный эпохе историцизм,

несомненно, влиял на молодого Толстого, как и на всякого думающего человека, но метафизическая начинка вызывала в нем инстинктивное отторжение, и в одном из своих писем он назвал труды Гегеля неудобопонимаемой чушью, обильно сдобренной общими местами. Только история – сумма поддающихся эмпирической проверке данных – содержит ключ к тайне: отчего то, что случилось, случилось именно так и не иначе; и, соответственно, только история может пролить свет на основные этические проблемы, столь важные для него, как и для любого русского мыслителя XIX века. Что делать? Как жить? Почему мы существуем? Чем должны мы стать и чем заниматься? Как показывают ранние дневники и письма Толстого, изучение исторических взаимосвязей и требование эмпирических ответов на *проклятые вопросы*[268] сплавились для него воедино.

В дневниках раннего периода мы находим упоминания о его попытках сравнить «Наказ»[269] Екатерины Великой с теми пассажами из Монтескье, на которых она, если верить ей самой, основывалась[270]. Он читал Юма и Тьера[271], Стерна и Диккенса[272]. Его преследует мысль, что философские принципы можно понять только в их конкретно-историческом выражении[273]. «Составить истинную правдивую Историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь»[274]. Или еще: «Нас забавляют более листочки дерева, чем корни»[275]; такой взгляд на мир кажется ему поверхностным. Но вместе с этим все усиливается острое разочарование. Он ощущает, что история, в том виде, в котором ее преподносят специалисты, берет на себя задачи, с которыми ей попросту не справиться, поскольку, как и метафизическая философия, она прикидывается наукой, способной делать строго определенные выводы. Люди не могут решить философские вопросы, основываясь на принципах разума, и пытаются решить их исторически. Однако история – «одна из самых отсталых наук <…> наука, потерявшая свое назначение»[276]. Причина в том, что она не может, не способна дать ответ на великие вопросы, которыми мучительно задается человечество в каждом своем поколении. В поисках ответов на эти вопросы люди накапливают факты в их временно́й последовательности: однако эти факты – лишь побочный продукт, который – именно в том и состоит ошибка – воспринимают как основной, самоценный. И снова: «История не откроет нам, какое и когда было отношение между науками и художествами и добрыми нравами, между добром и злом, религией и гражданственностью, но она скажет нам, и то неверно, откуда пришли Гунны, где они обитали и кто был основателем их могущества и т. д.»[277]. По словам его друга Назарьева, Толстой

сказал ему зимой 1846 года: «История есть не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колотовой, – в 1572 году?»[278]

История не раскрывает причин; она предлагает нашему вниманию только чистую последовательность необъясненных событий. «Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте…»[279] А полвека спустя, в 1908 году, он заявляет Гусеву: «История хороша бы была только совершенно истинная»[280]. Представление о том, что историю можно (и должно) сделать научной дисциплиной, было общим местом в XIX веке, но таких, кто понимал «научный» как «естественно-научный», а затем задавался вопросом, как сделать историю наукой именно в этом смысле слова, было немного. Самым бескомпромиссным в этом отношении оказался Огюст Конт, который, вслед за своим учителем Сен-Симоном, пытался превратить историю в социологию; результат вышел совершенно фантастический, и останавливаться на нем я не собираюсь. Быть может, серьезнее всех прочих мыслителей эту программу воспринял Карл Маркс и смело, хотя и не очень удачно, попытался открыть общие законы, управляющие ходом истории, основываясь на заманчивой по тем временам аналогии с биологией и анатомией, победно использованной Дарвином при создании эволюционных теорий. Подобно Марксу (о котором во время работы над «Войной и миром» он, судя по всему, даже и не слышал), Толстой ясно понимал, что, стань история наукой, появится возможность открыть и сформулировать систему истинных исторических законов, которые в сочетании с данными эмпирического наблюдения позволят предсказывать будущее (и задним числом угадывать прошлое) столь же точно, как в геологии или астрономии. Однако куда яснее Маркса и его последователей он осознал фактическую неудачу предпринятой попытки и сам об этом говорил с привычным чистосердечием догматика, подкрепляя свой тезис аргументами, нарочно выстроенными так, чтобы получше показать, что достичь поставленной цели невозможно; а затем окончательно решил исход дела, заметив, что осуществление данной мечты положило бы конец человеческой жизни в том виде, в котором мы до сих

пор ее наблюдали: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни (т. е. спонтанной деятельности, включающей сознание свободы воли)»[281].

Но угнетала Толстого не только «ненаучная» природа истории – то обстоятельство, что, какие бы скрупулезные методы мы ни применяли при историческом исследовании, открыть сколь-нибудь надежные законы, основу основ и самой неразвитой из естественно-научных дисциплин, все равно не удастся. Размышляя дальше, он дошел до мысли, что не сможет оправдать в собственных глазах произвольного, судя по всему, выбора материала и не менее произвольной расстановки акцентов, свойственной всем историческим исследованиям. Факторы, определяющие жизнь человечества, жалуется он, весьма многочисленны и разнообразны, историки же склонны выбирать из них какой-либо единственный аспект, скажем – политический или экономический, и представлять его как основной, как действительную причину общественных изменений. Куда же в таком случае девать религию, куда девать «духовные» факторы и поистине неисчислимое множество иных аспектов, которые так или иначе проявляются во всех исторических событиях? Как не согласиться с Толстым, с точки зрения которого существующие исторические системы представляют «возможно, не более 0,001 процента элементов, действительно составляющих настоящую историю народов»? История в ее привычном виде обычно представляет «политические» – то есть публичные – события как наиболее важные, в то время как духовные – «внутренние» – события по большей части остаются в тени; но, скорее всего, именно они, «внутренние» события, составляют самый реальный, самый непосредственный пласт настоящей жизни. Из них, и только из них, в сущности, она состоит; следовательно, авторы привычных трактатов по истории несут пустопорожнюю чушь.

На протяжении 1850-х годов Толстой был одержим идеей написать исторический роман, и одной из основных целей в данном случае было столкнуть «реальную» жизненную ткань, как индивидуальную, так и общественную, с «нереальной» картиной, рождающейся под пером историков. На страницах «Войны и мира» мы раз за разом наталкиваемся на жесткое противопоставление «реальности» – того, что действительно произошло, – опосредующей и искажающей эту реальность субстанции, сквозь которую она пропущена, чтобы предстать перед публикой в официальных отчетах или даже в воспоминаниях непосредственных участников событий, поскольку исходные впечатления уже прошли контроль предательского

рассудка (да, именно предательского – ведь он автоматически рационализирует и формализует сведения). Героев «Войны и мира» Толстой постоянно помещает в такие ситуации, в которых все это особенно ясно.

Во время битвы при Аустерлице Николай Ростов видит, как великий полководец, князь Багратион, едет со свитой в сторону деревни Шенграбен, откуда наступает противник. Ни он сам, ни его штаб, ни скачущие к нему с донесениями офицеры, ни вообще кто бы то ни было не знает, да и не может знать наверное, что происходит, где и почему; и от появления Багратиона хаос битвы ничуть не становится яснее ни в действительности, ни в глазах и умах русских офицеров. Однако появление это вдохновляет людей. Его смелость, его спокойствие, один только факт его присутствия создают иллюзию, первой жертвой которой становится он сам, – иллюзию того, что все происходящее каким-то образом связано с его военным дарованием, с его планами, что именно его воля в каком-то смысле определяет ход сражения; а это, в свою очередь, явственно воздействует на общий боевой дух. В отчетах, которые со временем будут написаны, всякое действие и всякое событие на русской стороне неизбежно припишут ему и его приказам; слава или бесславие, победа или поражение будут принадлежать ему, хотя всякому ясно, что к ходу и к результату битвы он имел меньше отношения, чем простые, никому не известные солдаты, которые, по крайней мере, действительно сражались, то есть стреляли друг в друга, ранили, убивали, наступали, отступали и так далее.

Это понимает и князь Андрей, особенно при Бородине, где его смертельно ранят. Осознавать эту истину он начинает раньше, еще тогда, когда он пытается встретиться с «важными» людьми, которые, на его взгляд, определяют судьбы России; и мало-помалу он убеждается, что главный советник Александра, известный реформатор Сперанский, как и его друзья, и даже сам Александр систематически обманывают себя, полагая, что их деятельность, их слова, их записки, рескрипты, резолюции, законы служат причиной исторических сдвигов, определяя судьбы людей и наций. На самом деле они – ничто: так, толкут воду в ступе и надувают щеки. Таким образом Толстой выходит на один из своих знаменитых парадоксов: чем выше полководцы или государственные деятели на пирамиде власти, тем дальше они от ее основания, состоящего из обычных людей, чьи жизни и есть действительная материя исторического процесса; и тем, соответственно, меньше воздействуют на историю слова и поступки подобных персон, несмотря на всю их власть.

В знаменитом пассаже о Москве 1812 года Толстой замечает,

что героические свершения России после пожара наводят на такой вывод: ее обитатели были все до единого вовлечены в непрекращающееся самопожертвование – спасали свою страну или оплакивали ее тяжкую долю, совершали подвиги, шли на мученичество, впадали в отчаяние; а на самом деле они были заняты своими, частными нуждами. Те, кто был погружен в обыденные дела, не испытывая героических чувств и не числя себя актерами на ярко освещенной авансцене истории, оказались более всего полезны для своей страны и для ближних, те же, кто пытался понять общий ход дел и жаждал сыграть свою роль в истории, кто совершал акты немыслимого самопожертвования или героизма и принимал участие в грандиозных событиях, были всего бесполезнее[282]. Хуже всего, с точки зрения Толстого, те неуемные болтуны, которые обвиняли друг друга в том, «в чем никто не мог быть виноват», поскольку «в исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»[283]. Пытаясь «понять» что бы то ни было рациональными средствами, мы обрекаем себя на поражение. «Потерявшись» на Бородинском поле, Пьер Безухов пытается найти что-то напоминающее заранее спланированный спектакль, какой он представлял себе раньше; битву, как ее изображают историки и художники. Но находит только обычную сутолоку людей, хаотически влекомых теми или иными человеческими потребностями. В этом, по крайней мере, есть конкретность, не замутненная теориями и абстрактными понятиями; и Пьер, таким образом, ближе к пониманию истинного положения вещей – по крайней мере, с человеческой точки зрения, – чем те, кто считает необходимым подчиняться какому-либо своду рационально постижимых законов или правил. Пьер видит только череду «случайностей», чьи причины и следствия по большей части не обнаружимы и непредсказуемы; и какая-то зыбкая структура формируется сама собой, безо всякой видимой закономерности, из слабо связанных между собой событийных цепочек. Всякая попытка выявить систему, подходящую под «научные» формулы, ложна по определению.

Самые горькие свои насмешки, самую ядовитую иронию Толстой приберег для тех, кто выступает в роли официально признанных специалистов, разрешающих стоящие перед народами проблемы, в данном случае – для западных теоретиков военного дела, генерала Пфуля или генералов Бенигсена и Паулуччи, которые несут вздор на Дрисском совете, вне

зависимости от того, защищают они стратегическую или тактическую доктрину или опровергают; эти люди не могут быть никем иным, как самозванцами, поскольку ни одна теория не охватит бесчисленных форм возможного поведения, необозримого множества мельчайших, непредсказуемых причин и следствий, именно и формирующих ту систему взаимодействия человека с природой, на описание которой претендует история. Тот, кто претендует на умение втиснуть это бесконечное разнообразие в некие «научные» рамки, – либо шарлатан, либо слепец, ведущий слепого. Самые резкие суждения припасены для главного теоретика, для великого Наполеона, который действует и других гипнотически убеждает в том, что он действует, понимая и контролируя события, ибо силой божественного своего интеллекта, или чутьем, или по каким-то иным неведомым причинам обладает способностью давать правильные ответы на каждый поставленный историей вопрос. Чем больше претензий, тем больше лжи; соответственно, Наполеон – самый жалкий, самый презренный из всех актеров, играющих в этой великой трагедии.

В этом и заключается великая иллюзия, которую Толстой задался целью выставить на свет Божий, – иллюзия того, что всякий отдельно взятый индивид может, опираясь на свои собственные возможности, осознавать и контролировать ход событий. Те, кто в этом уверен, жестоко заблуждаются. А рядом с личинами, надетыми на потребу публике, с полыми людьми, наполовину заблуждающимися, наполовину сознающими собственное мошенничество, которые говорят и пишут отчаянно, бесцельно, чтобы поддержать мир кажимостей и избежать мрачных истин; бок о бок с этой хитро выстроенной машинерией, скрывающей обманное зрелище человеческой немощи, несообразности и слепоты, лежит реальный мир, поток жизни, доступной пониманию человека, если только он внимателен к обыденным деталям повседневного существования. Когда Толстой сопоставляет реальную жизнь – действительный, каждодневный, «живой» опыт отдельных людей – с наколдованным историками панорамным виденьем, у него не возникает сомнений в том, где здесь реальность, а где пусть связная, пусть – иногда – элегантно выстроенная, но неизменно фиктивная конструкция. Толстой и Вирджиния Вулф – очень разные писатели и люди, они не похожи почти ни в чем, но, кажется, именно он впервые сформулировал то знаменитое обвинение, с которым полвека спустя она обрушилась на пророков своего поколения – Шоу, Уэллса, Арнольда Беннетта – слепых материалистов, которые так и не поняли, из чего состоит

настоящая жизнь, так и не отвыкли подставлять самые внешние и случайные ее проявления, тривиальнейшие аспекты, почти не затрагивающие человеческую душу, – социальные, экономические, политические реалии – вместо единственно истинной материи, индивидуального опыта, особой системы отношений, цвета, запаха, вкуса, звуков и движений, ревности, любви, ненависти, страстей, редких озарений, еще более редких минут, когда человек внутренне преображается, простой и обыденной последовательности лично значимых данных, из которых, собственно, и состоит все на свете.

Что же тогда должен делать историк? Описывать окончательные данные субъективного опыта, личную жизнь частных людей, те «мысли, науку, поэзию, музыку, любовь, дружбу, ненависть, страсти»[284], из которых, согласно Толстому, складывается «реальная» жизнь, – и только? Именно к этому Тургенев постоянно призывал и Толстого, и всех остальных, но его в особенности, поскольку здесь речь шла об истинном гении, обреченном стать величайшим русским писателем; именно это Толстой отвергал с яростью и возмущением даже в середине жизни, до наступления последней, религиозной фазы. Вместо того чтобы ответить на вопрос о природе вещей, о том, как и откуда вещи берутся и как исчезают; это, по мнению Толстого, отторгает от реальности, подавляет желание докопаться до того, как люди живут в обществе, как и с какой целью они воздействуют друг на друга и на окружающую жизнь. Такой писательский пуризм – в те дни главным проповедником его был Флобер, – такая сосредоточенность на опыте, отношениях, проблемах и внутренней жизни индивида (позже ее проповедовали и осуществляли Андре Жид и находившиеся под его влиянием литераторы во Франции и в Англии) казались ему и банальными, и фальшивыми. Он не сомневался ни в том, что сам в высочайшей степени одарен именно этой способностью, ни в том, что именно по этой причине многие им восхищаются; и отрицал ее без оговорок.

В письме, написанном во время работы над «Войной и миром», он печально признавал: да, конечно, публика прежде всего оценит вышедшие из-под его пера сцены общественной и частной жизни, его дам и господ, со всеми их мелкими интригами, увлекательными беседами, великолепно подмеченными маленькими странностями[285]. Но это всего лишь тривиальные «цветы» жизни, а не ее «корни». Цель Толстого – обнаружить истину, а потому он должен знать, из чего состоит история, и воссоздавать именно эту, первичную материю. История – не наука, а социология, претендующая на статус

науки, – сплошное мошенничество; до сих пор не открыт ни один сколь-нибудь достоверный исторический закон, а находящиеся в обращении концепции – «причины», «случайности», «гения» – ничего не объясняют; это – всего лишь неудачный способ замаскировать собственное невежество. Почему события, сумму которых мы именуем историей, происходят именно так и никак иначе? Некоторые считают их плодом деятельности тех или иных индивидов, но это не ответ; историки не объясняют, как же эта деятельность «определила» или «породила» события.

Есть у Толстого жестоко иронический пассаж, пародирующий среднестатистическую школьную историю его времени, настолько типичный сам по себе, что имеет смысл привести его полностью[286].

«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек – Наполеон. Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться. И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народа. И Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александр, с помощью советов Штейна и других, соединил Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и

французы и союзники только смеялись. Наполеон же, проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты (в особенности Талейран, успевший сесть прежде другого на известное кресло[287] и тем увеличивший границы Франции) разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми и несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это время Наполеон с батальоном приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы».

Толстой продолжает:

«… новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает. <…>…первый вопрос…следующий: какая сила движет народами?

<…>

История как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать эту новую силу известною, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений, невольно усомнится в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известна».

Далее он пишет о том, что авторы подобных сочинений ровным счетом ничего не объясняют. Они приписывают события «власти» над всеми прочими, которой, как принято считать, обладают особенно важные люди, но не говорят нам, что означает сам термин «власть»: а именно в этом суть проблемы. Проблема исторического развития непосредственно связана с «властью» одних людей над другими, но что такое «власть»? Как она достается человеку? Может ли один человек передать ее другому? Неужели имеется в виду простая физическая сила? Или сила моральная? А какой из них, кстати сказать, обладал Наполеон?

Авторы общих, то есть не национальных, историй, с точки зрения Толстого, всего лишь расширяют эту категорию, нимало ее не проясняя: на место одной страны или нации встает множество, но взаимодействие таинственных «сил» ничуть не проясняет, отчего одни нации подчиняются другим, отчего ведутся войны,

одерживаются победы, отчего невинные люди, которые искренне считают убийство предосудительным, убивают друг друга с воодушевлением и гордостью и получают за это награды; отчего случаются великие перемещения больших человеческих масс, иногда – с востока на запад, иногда – наоборот. В особенности раздражают Толстого ссылки на влияние великих идеологов. Великие люди, уверяют нас, типичны для современных им движений, а потому изучение их характеров может эти движения «объяснить». Каким образом характеры Дидро или Бомарше «объясняют» влияние Запада? Каким образом письма Ивана Грозного к князю Курбскому «объясняют» русскую экспансию на Восток? С историками культуры дело обстоит не лучше, они всего лишь вводят еще один фактор, некую «силу» идей или книг, хотя мы по-прежнему не знаем, какой смысл вкладывается в понятие «силы». Каким образом Наполеон, или мадам де Сталь, или барон Штейн, или царь Александр, или все они, вместе взятые, вкупе с *Contrat social*[288] «побудили» французов рубить друг другу головы и топить друг друга в реках? Почему это принято называть «объяснением»? Особую важность историки культуры приписывают идеям; что ж, всякому свойственно преувеличивать значимость своего товара, а идеи – товар, имеющий хождение среди интеллектуалов. Для сапожника нет ничего важнее кожи, вот ученые и пытаются возвести свои личные достижения в ранг «сил», управляющих миром. Толстой добавляет, что моралисты и метафизики еще больше запутывают проблему. Например, известная концепция общественного договора, которой торгуют вразнос некоторые либералы, учит нас, что множество людей препоручают волю, иными словами – власть, одному конкретному человеку или группе людей, но что же происходит на самом деле? Акт этот может иметь юридическое или этическое значение, его можно соотнести с тем, что считается разрешенным или запретным, с миром прав и обязанностей, или с понятиями добра и зла, но объяснить, каким образом властитель собирает достаточное количество «власти», словно это некий товар, чтобы оказывать влияние на исход тех или иных событий, он никак не может. Концепция «общественного договора» учит, что сам факт обладания властью делает человека могущественным; но эта тавтология тоже ничего не дает. Что такое «власть», что такое «обладание»? Кто наделяет властью, и как это осуществляется на практике?[289] Данный процесс, судя по всему, весьма отличен от того, что изучают естественные науки. Наделение – это действие, но действие непостижимое; наделение властью, принятие власти, использование власти совсем не похожи на еду или питье, на мышление или на ходьбу. Мы так и остаемся во тьме; *obscurum per*

obscurius[290].

Расправившись с юристами, моралистами и философами от политики – в том числе и со своим любимым Руссо, – Толстой принимается за расправу над либеральной теорией истории, согласно которой все что угодно может произойти в силу самой незначительной, на первый взгляд, случайности. Отсюда страницы, на которых он упрямо старается доказать, что Наполеон знал о том, что в действительности происходит на поле Бородинской битвы ничуть не больше, чем самый последний из его солдат; и, следовательно, начавшийся у него накануне насморк, вокруг которого историки подняли столько шума, не имеет существенного значения. Он изо всех сил доказывает, что нам представляются кардинально важными (и привлекают внимание историков) только те решения и приказы, которые случайно совпали с дальнейшим ходом событий; тогда как великое множество других, ничуть не менее обдуманных решений и приказов, которые в ходе сражения казались ответственным за них лицам столь же кардинальными и жизненно важными, забыты потому, что неблагоприятное для них течение событий помешало их выполнить, и они кажутся теперь не имеющими исторической значимости.

Воздав по заслугам концепции героического в истории, Толстой с еще большим пылом обрушивается на научную социологию, которая претендует на открытие неких исторических законов, что невозможно по определению, ибо количество причин, порождающих любое историческое событие, чересчур велико и для человеческой системы знания, и для статистических подсчетов. Мы знаем слишком мало фактов, выбираем из них наугад и руководствуемся нашими субъективными предпочтениями. Будь мы всеведущими, мы при этом, несомненно, могли бы, как идеальный наблюдатель Лапласа, проследить путь каждой капли, составляющей поток истории, но, к сожалению, мы – жалкие невежды, и подконтрольные нам области знания ничтожно малы по сравнению с теми, которые не нанесли и (Толстой яростно на этом настаивает) никогда не нанесут на карту. Свобода воли – неизбежная иллюзия, однако, как считают великие философы, реальной от этого она не становится и проистекает исключительно от того, что мы не знаем истинных причин происходящего. Чем больше мы узнаем об обстоятельствах того или иного поступка, тем дальше он отодвигается во времени и тем труднее рассчитать все его возможные последствия; чем глубже тот или иной факт укоренен в нашей повседневной реальности, тем труднее нам представить, что было бы, если бы все вышло совсем иначе. Он кажется нам

изначальной данностью; думая иначе, мы поменяли бы слишком многое в привычном миропорядке. Чем ближе мы соотносим действие с контекстом, тем менее свободным кажется действующее лицо, тем менее ответственным за свое деяние, и тем меньше нам хочется требовать его к ответу, в чем-то его обвинять. Мы не в состоянии осмыслить всех причин события, соотнести каждый человеческий поступок с обусловившими его обстоятельствами, но это не значит, что мы свободны; просто мы так и не постигнем их причинно-следственной связи.

Центральный тезис Толстого (в каком-то отношении схожий с теорией о неизбежном «самообмане» буржуазии, созданной его современником Карлом Марксом, с той разницей, что Маркс говорит о классе, а Толстой распространяет эту мысль едва ли не на все человечество) состоит в том, что существует некий закон природы, которому подчиняется все сущее, не исключая и человека; но люди не могут без страха взглянуть в лицо этому неумолимому процессу и пытаются представить его как последовательность актов свободного выбора, чтобы возложить ответственность на тех, кого сами же и наделяют героическими доблестями или пороками и называют «великими людьми». Кто же это такие? Обычные люди, в достаточной степени тщеславные и невежественные для того, чтобы принять на себя ответственность за жизнь общества; те, кто скорее готов связать свое имя со всеми жестокостями, несправедливостями и несчастьями, чем признаться в ничтожности и беспомощности перед лицом вселенского потока, который следует своей дорогой независимо от их желаний и помыслов. В этом – главный смысл тех пассажей (очень «толстовских»), в которых реальное течение событий описывается бок о бок с абсурдными, эгоцентрическими объяснениями, которые волей-неволей дают им люди, раздувшиеся от чувства собственной значимости. Чудесно описывает он и те минуты, когда правду о доле человеческой прозревают люди, у которых достало смирения признать свою незначительность и немощь. В этом же – главная цель философских пассажей, где, куда яростнее, чем Спиноза, но с теми же исходными мыслями, Толстой обличает ошибки мнимых наук.

Есть у него особенно яркое сравнение[291]: великий человек подобен барану, которого пастух откармливает на убой. Баран постепенно жиреет, ему на шею вешают колокольчик, и он может с легкостью вообразить, что он и есть настоящий предводитель отары, а остальные овцы идут туда, куда они идут, повинуясь его воле. Он так считает, и отара может так считать. Тем не менее цель, для которой он избран, – совсем другая, и поставили ее

существа, о чьих мотивах ни он, ни другие овцы не имеют ни малейшего представления. Для Толстого таким бараном были и Наполеон, и, до определенной степени, Александр, да и вообще все великие исторические фигуры. Как заметил проницательный историк литературы[292], Толстой время от времени склонен едва ли не сознательно идти против исторической очевидности. Умышленно, не так уж редко, он искажает факты, чтобы лишний раз подтвердить свою любимую теорию.

В первую очередь речь идет о Кутузове как о литературном персонаже. Герои, подобные Безухову или Каратаеву, по крайней мере вымышлены, и Толстой имеет полное право наделять их самыми положительными, с его точки зрения, качествами – смирением и свободой от бюрократической, научной или еще какой-нибудь слепоты. Однако Кутузов – фигура реальная, и весьма показательно шаг за шагом Толстой превращает хитрого, слабого, престарелого сластолюбца, продажного и склонного к сикофантству придворного из ранних набросков, основанных на аутентичных источниках, в истинный символ русского народа, со всей его простотой и природной мудростью. К тому времени, когда мы добираемся до прославленной сцены в Филях – одной из самых трогательных в мировой литературе, – где Толстой описывает, как старый полководец пробуждается, услышав о том, что французская армия отступает, мы уже никак не связаны диктатурой фактов, мы в воображаемом царстве, в исторической и эмоциональной атмосфере, выстроенной на более чем скользких основаниях, но совершенно необходимой для созданной Толстым конструкции. Апофеоз Кутузова не имеет никакого отношения к истории, сколько бы автор ни клялся в безраздельной преданности святому идеалу истины.

В «Войне и мире» Толстой обращается с фактами по-рыцарски, когда ему это удобно, поскольку прежде всего он одержим своей главной идеей – противоречием между универсальным, общезначимым, но обманчивым опытом свободной воли, чувством ответственности, индивидуальными жизненными ценностями вообще – и реальности неумолимого исторического детерминизма, недоступного для непосредственного переживания, но истинного, поскольку бесспорны его теоретические основы. Это противоречие соответствует, в свою очередь, мучительному внутреннему конфликту, одному из многих у Толстого, – конфликту между двумя системами ценностей, общественной и личной. Да, те чувства и тот непосредственный опыт, на которых в равной степени основаны обычные жизненные ценности и частных лиц, и историков, держатся на всеобщей иллюзии, но во имя истины это

обстоятельство надо безжалостно выставить на свет, а ложные ценности и ложные истины, производные от него, обличить и дискредитировать. В каком-то смысле Толстой именно это и делает, особенно тогда, когда берется философствовать и в масштабных публичных сценах романа, и в сценах батальных, и в метафизических отступлениях. С другой стороны, он делает и прямо противоположное, когда противопоставляет панораме общественной непосредственный личный опыт как высшую ценность, сталкивая конкретную и многоцветную реальность индивидуальных человеческих жизней с бледными абстракциями ученых, особенно историков «от Гиббона[293] до Бакля[294]»[295], которых резко упрекает в том, что они принимают свои пустые категории за реальные факты. Однако примат личного опыта, и личных отношений, и личных доблестей предполагает то самое виденье жизни с присущим ему чувством личной ответственности, с верой в свободу и возможность спонтанного поступка, которому посвящены лучшие страницы романа. Оно именно и представляет собой ту самую иллюзию, от коей необходимо избавиться, чтобы встретить истину лицом к лицу.

Эту нелегкую дилемму он так и разрешил. Порою, как в опубликованном еще до выхода в свет последней части «Войны и мира» разъяснении[296], Толстой проявляет нерешительность. Индивид свободен «в некотором смысле», когда речь идет только о нем самом: так, поднимая руку, он свободен в определенных физических пределах. Но как только он вовлечен в отношения с другими людьми, он утрачивает свободу и становится частью неумолимого потока. Свобода реальна, но ограничена простейшими действиями. В иных случаях исчезает даже самый слабый луч надежды; Толстой не может допустить ни малейшего исключения из универсального закона; либо детерминизм не знает никаких границ, либо его попросту нет, и тогда воцаряется хаос. Человеческие поступки могут показаться свободными от социальной обусловленности, но они не свободны, они не могут быть свободны, они – часть этой самой обусловленности. Наука не в состоянии разрушить то сознание свободы, без которого не было бы ни морали, ни искусства, но она может доказать его несостоятельность. «Власть» и «случайность» – всего лишь имена, обозначающие, что мы ничего не знаем о причинно-следственных связях, но эти связи существуют независимо от того, замечаем мы их или нет. К счастью, мы их не замечаем; если бы мы почувствовали на себе их вес, мы вряд ли вообще были бы способны действовать; утрата иллюзии парализовала бы жизнь, которая держится на нашем счастливом неведении. Однако бояться нам нечего – мы никогда не откроем всех действующих в

нашем мире причинно-следственных связей. Причин очень много, а сами они бесконечно малы; историки выбирают из них ничтожно малое число и приписывают все на свете действию этого произвольно выбранного крохотного набора. Каким образом могла бы действовать идеальная историческая наука? Используя нечто вроде счисления, посредством которого ничтожно малые человеческие и нечеловеческие действия и события можно было бы проинтегрировать, чтобы больше не искажать исторического континуума, разбивая его на произвольные фрагменты[297]. Толстой выстраивает эту метафору, основанную на исчислении бесконечно малых величин, с великолепной ясностью и с привычным простым, живым и точным чувством слова. Анри Бергсон, прославившийся теорией о том, что реальность – искусственно расчлененный естественными науками поток, который тем самым искажен, лишен непрерывности и собственно жизни, развивал похожую мысль очень долго, не столь ясно, не столь доходчиво и привлекая целый арсенал ненужных терминов.

Такой взгляд на жизнь присущ не мистику и не интуитивисту. Мы не знаем сути происходящего не потому, что нам изначально недоступны первопричины, но потому, что их слишком много, первичные частицы микроскопически малы, а мы неспособны видеть, слышать, запоминать, записывать и координировать достаточное количество материала. Всеведение в принципе возможно даже для эмпирического существа, но, конечно же, практически недостижимо. Только этим, и ничем иным, более глубоким или занятным, объясняются наша мегаломания и наши абсурдные иллюзии. Мы не свободны, но не можем жить без уверенности в своей свободе. Что же нам остается делать? Толстой так и не приходит к какому-либо ясному выводу, он формулирует только общий взгляд, в чем-то похожий на взгляды Берка[298]: лучше отдавать себе отчет в том, что мы понимаем происходящее именно так, как мы его понимаем, во многом так же, как понимают его обычные, простые, непосредственные люди, чей взгляд не искажен теориями и не замутнен пылью, поднятой научными авторитетами, чем пытаться ниспровергнуть взгляды, продиктованные здравым смыслом (которые, по крайней мере, хороши уже тем, что проверены длительным опытом), ради мнимых наук, основанных на неадекватных до нелепости формах оптимистического рационализма. Науки эти – не более чем ловушка и обман. Потому Толстой и нападает на все виды оптимистического рационализма, на естественные науки, либеральные теории прогресса, немецких военных теоретиков, французскую социологию и самоуверенные проекты социального переустройства. Так он находит себе оправдание, чтобы выдумать

Кутузова, который, следуя простому, русскому, наивному инстинкту, либо с презрением отвергает, либо просто игнорирует мнения немецких, французских, итальянских военных специалистов, и возвысить его до статуса национального героя, в каковом он, отчасти благодаря Толстому, и пребывает по сей день.

«Фигуры у него, – пишет Ахшарумов в 1868 году, сразу после выхода в свет последней части «Войны и мира», – реальные, а не просто пешки в руках непостижимого рока»[299]; с другой стороны, теория его остроумна, но совершенно ни с чем не сообразна. В дальнейшем именно этот взгляд и возобладал как среди русских, так и среди многих западных критиков. Русские левые интеллектуалы обвиняли Толстого и в «социальном равнодушии», поскольку, на их взгляд, он недооценивал благородных общественных побуждений, видя в них смесь невежества и дурной одержимости, и в «аристократическом» цинизме, поскольку он относился к жизни как к заболоченной земле, осваивать которую бессмысленно. Флобер и Тургенев, как мы имели возможность убедиться, считали порочной саму наклонность философствовать. Принял эту доктрину всерьез и попытался ее рационально опровергнуть только историк Кареев[300]. Он терпеливо и мягко указывает, что, сколь бы разительным ни был контраст между реальностью частной жизни и жизнью социального муравейника, отсюда вовсе не вытекают сделанные Толстым умозаключения. Действительно, человек – и атом, живущий своею собственной осознанной жизнью, и в то же время бессознательный проводник исторической тенденции, имеющий относительно небольшую значимость элемент огромного общего целого, составленного из невероятно большого числа равновесомых ему элементов. «Война и мир», по мысли Кареева, «историческая поэма на философскую тему о двойственности человеческой жизни»[301], и Толстой совершенно прав, полагая, что историей движет не сочетание неких невнятных сущностей вроде «власти» или «умственной деятельности», как представляется наивным историкам; в самом деле, с точки зрения Кареева, он правильно отвергал тенденцию метафизически мыслящих авторов идеализировать такие абстрактные сущности, как «герои», «исторические силы», «моральные силы», «национализм», «разум», или считать их причинами исторического процесса. Авторы подобных теорий впадают одновременно в два смертных греха: они изобретают несуществующие величины для объяснения конкретно-исторических событий и дают полную волю личным, национальным, классовым или же философским предубеждениям.

Здесь придраться не к чему, и Толстому воздается должное как писателю, который выказал большую историческую интуицию – «больший реализм», чем многие историки. Прав он и тогда, когда требует, чтобы мы научились интегрировать бесконечно малые исторические величины. Сам он именно это и сделал с персонажами собственного романа, которые исключительны ровно настолько, чтобы «суммировать» в своих характерах и поступках бессчетное количество других людей, через посредство которых осуществляется «движение истории». Это и *есть* интегрирование бесконечно малых, не научными, конечно, а «художественно-психологическими» средствами. Толстой прав в своем отрицании абстракций, однако он зашел слишком далеко и не только стал отрицать, что история – наука естественная, вроде химии (и здесь он прав), но и вовсе отказал ей в праве называться наукой, то есть предметом со своими специфическими концепциями и обобщениями; если бы он был прав, это означало бы конец истории как таковой. Толстой прав, когда утверждает, что безличные «силы» и «намерения» прежних историков были мифами, способными создать опасную путаницу, но если мы не сможем думать о том, что заставило ту или иную группу вполне реальных людей вести себя так-то и так-то, не исследовав психологию каждого члена этой группы, а затем «проинтегрировав» полученные данные, нам вообще придется забыть о таких понятиях, как история и общество. Однако человечество задавалось подобными вопросами с пользой для себя; и, отрицая то обстоятельство, что мы можем многое открыть через посредство социальных исследований, исторических умозаключений, мы, по мнению Кареева, отрицаем сколь-нибудь достоверные критерии различения между исторически истинным и ложным, а это, несомненно, предрассудок, порожденный упорным обскурантизмом.

Кареев утверждает, что создатель общественных форм, несомненно, человек, но и сами эти формы – способы человеческой жизнедеятельности – в свою очередь оказывают влияние на тех, кто рожден в сфере их действия. Индивидуальная воля, может быть, и не всесильна, но и не лишена средств воздействия на общественную среду, а у некоторых эта воля сильнее, чем у прочих. Наполеон, быть может, и не полубог, но он и не просто эпифеномен исторического процесса, в котором, если бы его и не было, ровным счетом ничего бы не изменилось. «Великие люди» не так важны, как представляется им самим и наиболее недалеким из историков, но они и не призраки; у индивидов, помимо частной внутренней жизни, которая кажется Толстому единственно реальной, бывают и определенные

социальные интенции, а у некоторых, кроме того, еще и сильная воля, и вот таким людям иногда удается изменить жизнь целых сообществ. Представление Толстого о неких неумолимых законах, действующих независимо от того, что думают и чего хотят люди, само по себе – миф, и миф деспотический; закон – всего лишь статистическая вероятность, по крайней мере в общественных науках, а не какая-то страшная и неумолимая «сила». Разве это не та же самая концепция, спрашивает Кареев, над которой в иных контекстах потешался сам Толстой так едко и с такой блестящей иронией, когда оппонент казался ему чересчур наивным, или чересчур умным, или завязшим в какой-нибудь нелепой метафизической доктрине? Предположим, что люди, творящие собственную историю, а в особенности «великие люди», – не более чем «ярлыки», поскольку история творит себя сама, и только бессознательная жизнь социального улья, человеческого муравейника имеет значение или ценность, и только она одна «реальна». Разве можно назвать это иначе как совершенно антиисторическим, догматическим, вненравственным скептицизмом? Почему мы должны этому верить, когда эмпирические данные свидетельствуют об ином?

Возражения Кареева весьма разумны и наиболее четки и ясны из всего того, что сказано против толстовского видения истории. Но в каком-то смысле он упустил из вида самое главное. Толстой прежде всего озабочен вовсе не тем, чтобы обличить недостатки исторических концепций, основанных на той или иной метафизической конструкции или пытающихся втиснуть слишком многое в рамки особенно близких автору понятий (все это Кареев одобряет), и не тем, чтобы отмести саму возможность социологии как эмпирической науки (Кареев считает это неразумным), поставив на ее место какую-то собственную теорию. Толстовские раздумья об истории исходят из более глубоких источников, нежели абстрактный интерес к проблемам исторического метода или философские возражения против историографической практики. Судя по всему, они берут начало в чем-то более личном, в глубоком внутреннем конфликте между его опытом и системой его представлений, между его видением жизни и его же представлением о том, какой она должна быть, и каким должен быть он сам для того, чтобы подобное видение было физически переносимо; между непосредственно полученными данными, которых человек слишком честный и слишком умный отрицать не мог, и необходимостью толковать так, чтобы не прийти к детским нелепостям предшествующих доктрин. Ибо единственное убеждение, с которым его темперамент и его интеллект не вступали в конфликт на протяжении всей его жизни, состояло в

том, что все попытки выстроить рациональную теодицею, чтобы объяснить, как и почему случилось именно то, что случилось, именно так и тогда и почему это хорошо или плохо, – все такие попытки гротескны и нелепы. Это – дешевое надувательство, которое рассыплется, как карточный домик, от одного-единственного точно и честно сказанного слова.

Русский критик Борис Эйхенбаум, написавший лучшую из существующих на всех языках работу о Толстом, развивает в ней такую мысль: больше всего мучило Толстого отсутствие позитивных убеждений; и знаменитая сцена из «Анны Карениной», где брат Левина говорит, что у него, у Левина, нет позитивных взглядов, что даже коммунизм с его искусственной, «геометрической» симметрией лучше, чем его всеобъемлющий скептицизм, фактически отсылает к самому Льву Николаевичу и к упрекам, которые он выслушивал от своего брата Николая[302]. Независимо от того, имеет ли этот эпизод буквальную автобиографическую привязку – а среди толстовских текстов трудно сыскать хоть что-нибудь, за чем в том или ином смысле ее нет, – теория Эйхенбаума представляется в общем вполне обоснованной. Толстой не был от природы мечтателем, визионером; он видел то, что действительно есть на земле, неисчислимые предметы и ситуации во всем их многообразии; с беспрецедентной зоркостью ловил их индивидуальные сущности и то, что отделяло, отличало их друг от друга. Удобные теории, пытавшиеся собрать все воедино, соотнести, «синтезировать», обнаружить скрытые основы и потайные внутренние связи, не видимые невооруженным глазом, но обеспечивающие всеобщее единство, свидетельствуя, что «в конечном счете» всякая вещь – часть другой и часть всеобщей гармонии, неразделимого целого, – все такие доктрины он опровергал легко и презрительно. Его гений лежал в другой области. Он воспринимал специфические свойства, почти невыразимые качества, благодаря которым данный предмет уникален и отличен ото всех прочих. И тем не менее он жаждал некоего универсального первопринципа, ответа на все вопросы; то есть хотел уловить общие черты, или общие основы, или единую цель, или некую всеобщую взаимосвязь в видимом разнообразии взаимоисключающих частей и фрагментов, из которых составлена скрипучая оснастка мира[303]. Все проницательные аналитики, наделенные богатейшим воображением и потрясающей ясностью видения, расчленяют и распыляют предмет для того, чтобы добраться до неделимого ядра, и оправдывают свои разрушительные действия (от которых они никак не могут удержаться) верой в то, что подобное ядро есть. Так и он с

ледяным презрением продолжал ломать шаткие конструкции своих соперников, недостойные умного человека, неизменно надеясь на то, что отчаянно искомое «реальное» единство рано или поздно восстанет из-под обломков подделок и обманок, которые подсовывает нам колченогая армия философствующих историков. Чем неотвязней было подозрение, что поиски эти лишены всякого смысла, тем яростнее пытался он отогнать эту мысль; тем беспощадней и изобретательней публично порол виновных, тем фальшивей становились претензии на обладание истиной. С отходом Толстого от литературы в область полемической публицистики эта тенденция становилась все более и более очевидной. Раздраженная и глубокая уверенность в том, что найти окончательное решение в принципе невозможно, побуждала его обрушиться на решения ложные за то обманчивое чувство внутреннего комфорта, которое они предлагали, и за то, что само их существование оскорбительно для разума[304]. Интеллектуальная способность Толстого к этой убийственной деятельности была огромной, исключительной. Всю свою жизнь он искал в достаточной степени стройную и сильную систему, которая смогла бы противостоять его отлаженной машине разрушения, его подкопам и таранам; он пытался найти систему укреплений, достойную его могучей артиллерии. Замечательная разумность доводов и экспериментальный метод Кареева, его по-академически мягкие увещевания слишком не похожи на ту непробиваемую, несокрушимую твердыню, на которой только и можно возвести надежную интерпретацию бытия, цель и смысл жизненных поисков Толстого.

Слабая «позитивная» доктрина исторических изменений в «Войне и мире» – вот и все, что остается от этих отчаянных поисков. Огромная разница между мощью наступательного и хлипкостью защитного вооружения неизменно позволяла мало-мальски добросовестному, критически настроенному, достаточно чуткому читателю счесть его философию истории – теорию крохотных частиц, которые надо интегрировать, – избитой и надуманной. Поэтому большинство тех, кто писал о «Войне и мире» и сразу по выходе в свет, и годы спустя, соглашались с мыслью Ахшарумова о том, что гений Толстого – в том, чтобы создавать мир более реальный, чем сама жизнь; а теоретические его изыскания, пусть даже он видел в них самый важный ингредиент своей книги, фактически не привносят ничего существенного в наше понимание текста, его ценности или предшествующего творческого процесса. Все это предвосхищало мнения критиков психологической школы, утверждавших, что сам автор нередко не отдает себе отчета в источниках собственной

деятельности. Питающие его гений родники ему неведомы, сам процесс по большей части бессознателен, и пытается он, собственно, лишь осознать и рационализировать истинные, но в основном неосознанные мотивы и методы, вовлеченные в творческий акт, а потому собственные усилия только мешают бесстрастным исследователям искусства, стремящимся к «научному», то есть натуралистическому, анализировать истоки и эволюцию его творчества.

Что бы мы ни думали о правомерности подобных взглядов, есть историческая ирония в том, что с Толстым можно обращаться именно так, как обращался он с академическими историками во всеоружии своего вольтеровского дара. Но есть в этом и немало справедливости, уже поэтической: ведь неравное соотношение критических и конструктивных элементов в его собственной философской системе, по-видимому, проистекает из того факта, что его чувство реальности (которая существует исключительно на уровне отдельных личностей и отношений между ними) помогало ему ниспровергать все несообразные с его виденьем теории, но само по себе оказалось не в состоянии дать основу для сколь-нибудь удовлетворительного систематизирования фактов. И нет никаких свидетельств того, что сам Толстой объяснял этим свои неудачные попытки воссоединить две разные жизни, которыми живет всякий человек.

Неразрешенный конфликт между верой Толстого в то, что реальны только атрибуты частной человеческой жизни, и его доктриной о том, что их анализ не может объяснить исторического процесса (то есть поведения человеческих сообществ), на более глубоком, личностном уровне параллелен внутреннему конфликту между его исключительной одаренностью и его идеалами, которым он неизменно хотел соответствовать и уж точно верил в них.

Позволю себе еще раз напомнить о нашем разделении писателей на лисов и ежей: Толстой воспринимал реальность во всей ее множественности, как собрание раздельных сущностей, которое он обозревал и в которое проницал с беспримерной остротой и ясностью видения, но верил он только в одно огромное, универсальное целое. Ни один писатель из живших на земле до и после Толстого не проникал с такой силой в многообразие жизни – различия, контрасты, столкновения людей, вещей и ситуаций. Каждую отдельную коллизию он воспринимал в абсолютной ее уникальности и передавал с такой прямотой и точностью конкретного образа, какая никому еще не удавалась. Еще никто не превзошел Толстого в том, чтобы передать особый букет, алгебраически точный состав чувства, все степени его

«мерцания», его приливов и отливов, мельчайших движений (Тургенев высмеивал подобные «фокусы»), внутреннюю и внешнюю текстуру, само ощущение взгляда, мысли, эмоции; как и в том, чтобы схватить специфику ситуации или целого периода в жизни людей, семей, сообществ и наций. Прославленное жизнеподобие каждой вещи и каждой личности в его мире происходит от удивительной способности представлять буквально все в самой полной его сущности, во всех многочисленных измерениях. Толстой показывает нам не какой-то сколь угодно яркий предмет в потоке сознания, не размытый контур, не силуэт, не призрак, не впечатление, не функцию восприятия, апеллирующую к читателю и от читателя зависимую, но едва ли не твердое тело, наблюдаемое и с ближней, и с дальней дистанции, при естественном, дневном освещении, под всеми возможными углами зрения, в совершенно особенном пространственном и временном контексте. Событие это в полной мере значимо для чувств и для воображения, во всех его гранях, при четкой и резкой артикуляции каждого нюанса.

Предмет его веры – совершенно другой. Он стремился к единому всеохватному видению; проповедовал не разнообразие, но простоту, не многочисленность уровней сознания, но сведение их к единому уровню: в «Войне и мире» – к стандарту доброго человека, одинокой, стихийной, открытой души; в более позднее время – к крестьянскому стандарту или к простейшей христианской этике, очищенной ото всякой теологии и метафизики; к простому, как бы насущному критерию, при помощи которого можно прямо увязать все на свете и всякую вещь определить через другую, применив к ней одну и ту же простую мерку. Гений Толстого – в таинственной способности точно воспроизводить невоспроизводимое, едва ли не волшебным образом вызывать к жизни совершенную, не переводимую ни на один язык индивидуальность уникального, отчего у читателя рождается острое ощущение, что все это существует, присутствует, а не просто описано. Для этой цели он использует метафоры, в которых фиксируется конкретное качество переживаний, и старательно избегает широких понятий, соотносящих что-то конкретное с близким по смыслу, не замечая индивидуальных различий – «мерцания» чувств – ради общего знаменателя. И этот же самый писатель вдруг требует прямо противоположного, и не просто требует – ударяется в гневную проповедь, особенно в поздней, религиозной фазе свой жизни. Он хочет, чтобы мы отказались от всего, что не подходит под очень общий, очень простой стандарт: скажем – под то, что нравится или не нравится крестьянам, или под евангельские представления

о добре.

Отчаянное противоречие между сведениями, почерпнутыми из опыта, от которых он не мог освободиться и за которыми, конечно, всю свою жизнь признавал первородное право на реальность, и глубоко метафизической убежденностью в существовании системы, в которую они должны укладываться, хочется им того или нет; конфликт между инстинктивным суждением и теоретической убежденностью – между его дарованием и его мнениями – отражает конфликт между реальностью нравственной жизни, с присущими ей ответственностью, радостями, горестями, чувством вины и чувством успеха – все сплошь одни иллюзии, – и законами, царящими надо всем, пусть даже нам доступна лишь ничтожно малая часть знания о них. Ученые и историки, которым кажется, будто они их знают и руководствуются ими, попросту лгут и изворачиваются – но тем не менее только эти законы и реальны. По сравнению с Толстым Гоголь и Достоевский, чью «ненормальность» так часто противопоставляют толстовской «вменяемости», выглядят весьма цельными личностями, с последовательным мировоззрением и внутренне единой системой представлений. Однако именно из этого отчаянного внутреннего конфликта выросла «Война и мир». Великолепное единство этого текста не должно нас обманывать; как только Толстой вспоминает или забывает забыть о том, что и зачем он делает, открывается зияние.

IV

Теории редко рождаются на пустом месте. Следовательно, и вопрос о корнях толстовского видения истории вполне правомерен. Все, что бы Толстой ни писал на эту тему, отмечено явственным отпечатком его личности – первостепенное качество, редкостное среди пишущих на абстрактные темы. В данной области он работал как любитель, а не как профессионал; но давайте вспомним, что он был причастен к миру великих дел, принадлежал к правящему классу своей страны и своей эпохи и прекрасно это понимал. Среда, в которой он вращался, была перенасыщена идеями и теориями. Во время работы над «Войной и миром» он поднял изрядное количество материала (хотя, как показали некоторые русские исследователи[305], не так много, как порой представляется), он много путешествовал и встречался с видными общественными деятелями в Германии и во Франции.

В том, что он много читал и испытывал влияние прочитанных книг, сомневаться не приходится. Общеизвестно, что он многим обязан Руссо, и, возможно, заимствовал у него, как и у Дидро и у французского Просвещения в целом, свой аналитический, антиисторический подход к социальным проблемам, в особенности – склонность трактовать их, соотнося с вневременными логическими, нравственными и метафизическими категориями, а не пытаться дойти до их сути, как настойчиво советовала немецкая историческая школа, через категории становления и реакцию на изменяющиеся исторические условия. Он оставался последовательным поклонником Руссо, и уже в поздние годы по-прежнему рекомендовал «Эмиля» как лучшую книгу о педагогике[306]. Автор ее, должно быть, если и не зародил, то усилил в нем растущую тягу к идеализации почвы и работающего на ней человека, простого крестьянина, который для Толстого стал вместилищем едва ли не такого же богатого набора «естественных добродетелей», как для Руссо – его благородный дикарь. Вероятно, способствовал Руссо и тому, что в Толстом, в его собственной личности, становился все прочнее прямой и грубый крестьянский элемент; отсюда его пуританская строгость и склонность к морализаторству, его подозрительность и антипатия к богатым, власть имущим и просто счастливым, свойственное ему порой искреннее варварство, периодические вспышки слепой, очень русской ярости по поводу западной изощренности и изысканности и то восхваление простых вкусов, «здоровой»

нравственной жизни, та воинственная антилиберальная дикость, которые можно считать особым вкладом Руссо в копилку якобинских идей. Не исключено также, что Руссо передал ему отношение к семье как к одной из самых главных ценностей и помог сформировать доктрину о первенстве сердца над разумом, нравственных достоинств – над достоинствами интеллектуальными и эстетическими. Все это отмечали и раньше, с этим трудно не согласиться, но вряд ли здесь можно найти истоки взглядов Толстого на историю, о которой глубоко антиисторичный Руссо не написал ничего внятного. И в самом деле, как только тот пытается возвести право отдельных людей властвовать над остальными к передаче власти в соответствии с общественным договором, Толстой тут же с немалым презрением доказывает полную несостоятельность этих взглядов.

Чуть ближе к истине подведет нас предположение о возможном влиянии на Толстого его романтически и консервативно ориентированных современников-славянофилов. С некоторыми из них он был довольно близок, в особенности с Погодиным и Самариным, в середине 60-х годов, когда писал «Войну и мир», и, естественно, вполне соглашался с их неприятием модных в то время исторических теорий, будь то метафизический позитивизм Конта и его последователей или более материалистические взгляды Чернышевского и Писарева, а также Бокля, Милля и Герберта Спенсера, той общей британской эмпирически ориентированной традиции, приправленной французским и немецким научным материализмом, к которой все эти очень разные люди в той или иной степени принадлежали. Славянофилы (в особенности Тютчев, чья поэзия так восхищала Толстого) могли повлиять на него, дискредитируя основанные на естественно-научных теориях исторические доктрины, которые, с точки зрения Толстого в не меньшей степени, чем с точки зрения Достоевского, не смогли дать верного представления о действительных поступках и страданиях человека. Они не годились хотя бы потому, что не учитывали «внутреннего опыта», считали человека явлением природы, равным всем прочим явлениям материального мира, игралищем безличных природных сил, ловя на слове французских энциклопедистов, славянофилы пытались изучать социальное поведение так же, как изучают пчелиный улей или муравейник, а затем сетовали на то, что сформулированные ими законы не в состоянии объяснить поведения живых людей. Кроме того, эти романтические поклонники старины помогли, должно быть, укрепить его природный антиинтеллектуализм и антилиберализм, как и глубоко скептическое и пессимистическое мнение, что в

человеческих действиях главенствуют нерациональные мотивы, которые и властвуют над людьми и заставляют их обманываться на собственный счет. Короче говоря, славянофилы способствовали развитию в нем того врожденного консерватизма, благодаря которому Толстой весьма рано попал под подозрение у радикальной русской интеллигенции 1850-х и 1860-х и который привел ее к несколько неловким, но неотвязным мыслям о том, что, несмотря на отчаянно смелую критику существующей политической системы, на явную неортодоксальность и даже разрушительный нигилизм, он все-таки прежде всего граф, офицер, реакционер, чужак, мракобес и уж, во всяком случае, не *révolté*[307].

Однако, хотя враг у Толстого и у славянофилов был общий, их позитивные взгляды расходились весьма резко. Доктрина славянофилов основывалась по большей части на немецком идеализме, а в особенности на представлении Шеллинга (несмотря на многочисленные реверансы в сторону Гегеля и его толкователей) о том, что истинного знания можно достичь не через посредство рассудочной деятельности, но только через своего рода образное самоотождествление с универсальным первопринципом, душой мира – вроде той, которая в минуты вдохновения посещает художников и мыслителей. Некоторые славянофилы находили все это в откровениях православной веры, в мистических традициях русской церкви – и завещали свои представления поэтам русского символизма и более поздним философам. Толстой придерживался полярно противоположной точки зрения. Он был уверен в том, что всякое знание можно обрести только через добросовестное наблюдение; что знание это всегда неадекватно, что простые люди нередко ближе к истине, чем люди образованные, но не потому, что они – вдохновенные проводники божественного озарения, а просто потому, что их взгляд на человека и природу не замутнен пустыми теориями. Острое лезвие здравого смысла, таящееся во всех без исключения толстовских текстах, автоматически отсекает метафизические фантазии и расплывчатую тягу к эзотерическим переживаниям или же поэтические и теологические интерпретации жизненных явлений, основу основ славянофильского мировидения, определив (как и в случае антииндустриального западного романтизма) и ненависть к политике и экономике в обычном смысле этих понятий, и мистический национализм. Более того, славянофилы почитали исторический метод, поскольку он один способен открыть истинную природу (которая обнаружится сама, мало-помалу, неощутимо вырастая во времени) и частных установок, и абстрактных наук.

Навряд ли это могло вызвать особые симпатии у жестко и конкретно мыслящего Толстого, в особенности – у Толстого-реалиста, в середине его жизненного пути. Если у крестьянина Платона Каратаева и есть что-то общее с почвенным этосом славянофильских (и, конечно, панславистских) идеологов – простая деревенская мудрость, противопоставленная нелепостям «шибко умного» Запада, – то Пьер Безухов в ранних набросках к роману заканчивает свои дни в Сибири как ссыльный декабрист, и при всей широте его духовных исканий обвинить его в том, что он нашел успокоение в какой бы то ни было метафизической системе, не говоря уже о православии или другой официальной религии, никак нельзя. Славянофилы понимали, как необоснованны претензии западных социальных и психологических доктрин, и в этом отношении Толстой им сочувствовал; однако их позитивные доктрины его не занимали. Он был противник всех и всяческих непостижимых таинств, «преданий старины глубокой» и любых попыток вернуться к бессмысленному дикарскому лепету; в этом отношении весьма враждебное изображение масонства в «Войне и мире» осталось характерным для него до самого конца жизни. Подобные настроения могли только усилиться за счет его интереса к творчеству Прудона, которого он посетил за границей в 1861 году. Прудоновская смесь иррационализма, пуританства, ненависти к власти и к буржуазным интеллектуалам, приправленная общеруссоистскими идеями, пришлась ему по душе, особенно ее яростный полемический тон. Более чем вероятно, что название своего романа он позаимствовал у вышедшей в том же году прудоновской *La Guerre et la paix*[308].

Классический немецкий идеализм не оказал на Толстого практически никакого влияния, но одним, по крайней мере, немецким философом он искренне восхищался. Нетрудно понять, почему его привлекал именно Шопенгауэр: этот одинокий мыслитель изобразил мрачную картину бессильной человеческой воли, отчаянно бьющейся о жестко заданные законы мироздания; он говорил о тщете человеческих страстей, о нелепости рациональных систем знания, о вселенской неудаче, постигшей человечество, пытавшееся постичь иррациональные истоки поступков и чувств, о страданиях плоти и, соответственно, о том, что свести к минимуму нашу уязвимость может крайний квиетизм, поскольку человека бесстрастного трудно разочаровать, унизить или ранить. Эта знаменитая доктрина отражает поздние взгляды самого Толстого: человек страдает, потому что слишком многого ищет, потому что до нелепого амбициозен и склонен преувеличивать свои возможности. К Шопенгауэру может

восходить и неотвязная горечь привычного конфликта между иллюзией свободы воли и реальностью правящих миром железных законов, и в особенности представление о неизбежности страданий, причиняемых этой иллюзией, отделаться от которой попросту невозможно. В этом, для Шопенгауэра и Толстого, центральная трагедия человеческой жизни. Если бы только люди смогли понять, сколь ничтожна доступная даже самым умным и самым талантливым из них «зона контроля», как мало они знают о великом множестве факторов, чье упорядоченное движение рождает историю мира, и прежде всего – как претенциозно и глупо утверждать, что ты постиг порядок мироздания, основываясь только на своей отчаянной вере в то, что порядок этот должен существовать, тогда как в действительности ты видишь лишь бессмысленный хаос, вершина которого микрокосм, где в наивысшей степени отразилась неслаженность человеческой жизни – борьба, война.

Самый общепризнанный из литературных долгов Толстого – несомненно, его долг Стендалю. В знаменитом интервью, которое Толстой дал в 1901 году Полю Буайе[309], он сказал, что Стендалю и Руссо он более всего обязан, а всему, что он знает о войне, он научился из стендалевского описания битвы при Ватерлоо в «Пармской обители», где Фабрицио бродит по полю боя, «ничего не понимая». Он добавил, что войну «без рисовки» и «преувеличений», о которой рассказывал ему брат Николай, он позже увидел собственными глазами, когда принимал участие в Крымской кампании. Людей, имевших непосредственный опыт боевых действий, особенно восхищают филигранно выписанные военные сцены Толстого, его описания того, как воспринимает сражение реально участвующий в нем человек.

Толстой, несомненно, был прав, когда говорил, что многим обязан острому стендалевскому взгляду. Однако за спиной Стендаля стоит фигура еще более бескомпромиссная и разрушительная, от которой и сам Стендаль мог, по крайней мере – отчасти, позаимствовать свой новый метод толкования общественных явлений; знаменитый писатель, с чьими трудами Толстой был, вне всякого сомнения, близко знаком и перед которым он находится в долгу гораздо большем, чем обычно принято полагать, ибо разительное сходство между их системами взглядов трудно приписать простому совпадению или таинственным воздействиям *Zeitgeist'a*[310]. Это – знаменитый Жозеф де Местр; и полная история его влияния на Толстого (хотя ученые, занимавшиеся Толстым, и по меньшей мере один из специалистов по де Местру[311] уже обращали на нее внимание) до сих пор остается практически ненаписанной.

V

1 ноября 1865 года, когда «Война и мир» была готова примерно до половины, Толстой записал в дневнике: «Читаю “Maistre”»[312], а 7 сентября 1866 года он просит издателя Бартенева, который был для него кем-то вроде помощника по общим вопросам, прислать «архив Maistre», то есть его письма и заметки. Есть несколько причин, по которым Толстой не мог пройти мимо этого ныне не слишком читаемого автора. Граф Жозеф де Местр был роялистом из Савойи и впервые получил известность в последние годы XVIII столетия как автор контрреволюционных трактатов. Обычно его воспринимают как ортодоксально-реакционного католического писателя, столпа реставрации Бурбонов и защитника дореволюционного status quo, в особенности – папской власти, но этот человек куда более сложен. Он придерживался весьма нетрадиционных по тем временам мизантропических взглядов на природу личности и общества и со свойственной ему бескомпромиссной и яростной иронией считал человека существом диким и злобным, говоря о неизбежности постоянных убийств, о войнах как о Божьем промысле и о том, какую ошеломляюще значимую роль играет в человеческих делах страсть к самоуничтожению, которая в гораздо большей степени, нежели природная тяга к общению или искусственное согласие, в ответе за создание и армий, и гражданских сообществ. Если мы хотим, утверждал он, чтобы цивилизация и порядок вообще смогли выжить, необходимы абсолютная власть, наказания и постоянно действующие механизмы подавления, и по содержанию, и по тону его труды ближе скорее к Ницше, д’Аннунцио и проповедникам современного фашизма, чем к респектабельным роялистам современной ему эпохи; вполне понятно, что они вызывали обеспокоенность как в стане легитимистов, так и в наполеоновской Франции. В 1803 году покровитель де Местра, король Пьемонта и Сардинии, который был изгнан из своих материковых владений и жил тогда в Риме, а потом перебрался на Сардинию, отправил его к Петербургскому двору полуофициальным представителем. Де Местр, обладавший изрядным умением очаровывать людей и прекрасным социальным чутьем, очень понравился российскому столичному свету как блистательный придворный, как острослов и проницательный политический обозреватель. Он прожил в Санкт-Петербурге с 1803 по 1817 год, и его написанные изысканным стилем и зачастую пророчески проницательные дипломатические депеши и письма, а также его частная корреспонденция и разного

рода заметки о России и ее обитателях, адресованные собственному правительству и местным друзьям и советчикам из русской знати, представляют собой уникальный по ценности источник сведений о жизни и настроениях правящих классов Российской империи эпохи Наполеоновских войн и нескольких последующих лет.

Он умер в 1821 году автором нескольких богословско-политических эссе, но решающие для него книги, особенно знаменитые «Санкт-Петербургские вечера», где, воспользовавшись формой Платонова диалога, он толкует о природе, о мотивах управления человеческими сообществами и о других политических и философских проблемах, а также «Дипломатическая корреспонденция» и собрание писем, вышли в полном объеме только в 1850-х и в начале 1860-х годов стараниями его сына Родольфа и некоторых других людей. Неприкрытая ненависть де Местра к Австрии, его антибонапартизм вкупе с растущей ролью Пьемонтского королевства до и после Крымской войны вполне естественно вызвали в середине века интерес к его личности и к его идеям. О нем стали писать, и эти книги порождали в российских литературных и исторических кругах весьма продолжительные дискуссии. У Толстого были и «Вечера», и дипломатические письма, и письма частные – все эти издания обнаружены в яснополянской библиотеке. Во всяком случае, нет сомнения, что он обильно использовал их в «Войне и мире»[313]. Так, известное описание вмешательства Паулуччи в дебаты русского генерального штаба в Дрисском лагере почти дословно взяты из письма де Местра. Разговор князя Василия на приеме у мадам Шерер с «homme de beacoup de mérite»[314] о Кутузове тоже, вполне очевидно, основан на одном из писем де Местра, в котором содержатся все до единой разбросанные по этому разговору французские фразы. Более того, в одном из ранних набросков Толстого есть заметка на полях: «У Анны Павловны J. Maistre», – и относится она к балагуру, который пересказывает красавице Элен и восхищенному кружку слушателей дурацкий анекдот о встрече Наполеона с герцогом Энгиенским на ужине со знаменитой мадемуазель Жорж[315]. Привычка старого князя Болконского переставлять кровать из комнаты в комнату, может быть, восходит к истории, рассказанной де Местром о графе Строганове. Наконец, появляется в романе и собственное имя де Местра, среди тех, с чьей точки зрения неудобно и бессмысленно брать в плен наиболее значительных владетельных князей и маршалов из наполеоновской армии, поскольку это привело бы к излишним дипломатическим сложностям. Жихарев, чьи

воспоминания Толстой, как известно, использовал, виделся с де Местром в 1807 году и описывал его в восторженных тонах[316]. Атмосферу, сходную с общим тоном этих мемуаров, Толстой воспроизводит, описывая видных эмигрантов в гостиной Анны Павловны Шерер (сцена эта открывает «Войну и мир»), и в других упоминаниях о тогдашнем петербургском высшем свете. Эти переклички и параллели тщательнейшим образом отслежены специалистами по творчеству Толстого и не оставляют никакого сомнения в масштабах толстовских заимствований.

Есть среди этих параллелей и более существенные черты сходства. Де Местр считает, что легендарная победа Горациев над Куриациями – как и вообще всякая победа – обусловлена неким неуловимым моральным фактором; Толстой также говорит об исключительной значимости этого неведомого свойства в определении исхода сражений – о неосязаемом «духе» армий и их командиров. Подобный акцент на невещественном и непредсказуемом – неотъемлемая часть свойственного де Местру иррационализма. Более ясно и прямо, чем кто бы то ни было до него, он заявил, что человеческий разум – всего лишь жалкое, негодное орудие в противоборстве с великой мощью природных явлений; а рациональные объяснения человеческих поступков очень редко что-либо объясняют. Он твердо верил, что опереться с достаточной степенью надежности можно только на иррациональное, поскольку оно не поддается объяснению, а значит, его не может подорвать критическая деятельность разума. Приводил он в пример такие иррациональные установления, как наследственная монархия или брак, которые держатся веками, хотя установления рациональные, вроде выборного правления или «свободной любви», быстро и без видимых разумных причин терпели крах, где бы и когда их ни пытались ввести. Де Местр воспринимал жизнь как отчаянную драку без правил на всех возможных уровнях – между растениями и животными, между людьми и народами. От драки этой никто и никогда не получит выгоды, но она уходит корнями в изначальную, таинственную, кровавую и самоубийственную страсть, заложенную в мир по воле Божьей. Этот инстинкт куда сильнее, чем слабые усилия рационально мыслящего человека, который пытается достичь мира и счастья, которые, во всяком случае, относятся не к числу глубинных потребностей сердца, а всего лишь к числу потребностей его карикатурного двойника, либерально ориентированного интеллекта. Человек этот планирует общественную жизнь, не учитывая тех неистовых сил, которые рано или поздно все равно сметут его жалкие постройки, как карточные домики.

Де Местр считал, что поле сражения – прекрасная иллюстрация жизни во всех ее аспектах, и иронизировал над генералами, которым кажется, что они реально контролируют передвижения собственных войск и направляют ход битвы. На его взгляд, ни один человек, действительно оказавшийся в пылу сражения, не сможет связно объяснить, что вокруг него происходит:

«On parle beacoup de batailles dans le monde sans savoir ce que c'est; on est surtout assez sujet à les considérer comme des points, tandis qu'elles couvrent deux ou trois lieus de pays: on vous dit gravement: *Comment ne savez-vous pas ce qui s'est passé dans ce combat puisque vous y étiez?* tandis que c'est précisément le contraire qu'on pourrait dire assez souvent. Celui qui est à la droit sait-il ce qui se passe à la gauche? sait-il seulement ce qui se passe à deux pas de lui?…représente aisément une de ces scènes épouvantables sur un vaste terrain couvert de tous les apprêts du carnage, et qui semble s'ébranler sous les pas des hommes et des chevaux; au milieu du feu et des armes? feu et des instruments militaires, par des voix qui commandent, qui hurlent ou qui s'éteignent; environné de morts, de mourants, de cadavres mutilés; possédé tour à tour par la crainte, par l'espérance, par le rage, par cinq ou six ivresses différéntesque devient l'homme? que voit-il? que sait-il au bout de quelques heures? que peut-il sur lui et sur les autres? Parmi cette foule de guerriers qui ont combattu tout le jour, il n'y en a souvent pas un seul, et pas même le général, qui sache oû est le vainqueur. Il ne tiendrait qu'a moi de vous citer des batailles modernes, des batailles fameuses dont la mémoire ne périra jamais, des batailles qui ont changé la face des affaires en Europe, et qui n'ont été perdues que parce que tel ou tel homme a cru qu'elles l'étaient; de manière qu'en supposant toutes les circonstances égales, et pas une goutte de sang de plus verseé de part et d'autre, un autre général aurait fait chanter le *Te Deum* chez lui, et forcé l'histoire de dire tout le contraire de ce qu'elle dira»[317].

И ниже:

«N'avons-nous pas fini même par voir perdre des batailles gagnées? <…> Je crois en général que les batailles ne se gagnent ni ne se perdent point physiquement»[318].

И снова, в том же духе:

«De même une armée de 40 000 hommes est inférieure physiquement a une armée de 60 000: mais si la première a plus de courage, d'expérience et de discipline, elle pourra battre la seconde; car ella a plus d'action avec moins de masse, et c'est que nous voyons à chaque page de l'histoire»[319].

И, наконец:

«C'est l'opinion qui perd les batailles, est c'est l'opinion qui les

gagne»[320].

Победа есть факт моральный или психологический, но никак не физический:

«*…qu'est ce qu'une bataille perdue?… C'est une bataille qu'on croit avoir perdue.* Rien n'est plus vrai. Un homme qui se bat avec un autre est vaincu lorsqu'il est tué ou terrassé, et que l'autre est debout; il n'en est pas ainsi de deux armées: l'une ne peut être tuée, tandis que l'autre reste en pied. Les forces se balancent ainsi que les morts, et depuis surtout que l'invention de la poudre a mis plus d'égalité dans les moyens de destruction, une bataille ne se perd plus matériellement: c'est-a-dire parce qu'il y a plus de morts d'un côté que l'autre: aussi Frédéric II, qui s'y entendait un peu, disait: *Vaincre, c'est avancer.* Mais quel est celui qui avance? c'est celui dont la conscience et la contenance font reculer l'autre»[321].

Такого предмета как военная наука нет и быть не может, ибо «c'est l'imagination qui perd les batailles»[322] и «peu de batailles sont perdues physiquement – vous tires, je tire… le véritable vainqueur, comme le véritable vaincu, c'est celui qui croit l'être»[323].

Толстой уверяет, что этот урок он получил от Стендаля, однако слова князя Андрея об Аустерлице – «…мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение – и проиграли»[324], – так же как и то обстоятельство, что победу русских над Наполеоном приписывают страстному желанию русских выжить, отсылают не к Стендалю, а к де Местру.

Близкое сходство во взглядах де Местра и Толстого на хаотический и неконтролируемый характер сражений и войн с дальнейшими выводами о человеческой жизни в целом, а также презрительное отношение к наивным теориям, к коим прибегают кабинетные историки, чтобы объяснить свойственную людям жестокость и тягу к войне, были отмечены выдающимся французским историком Альбером Сорелем в малоизвестной лекции, прочитанной 7 апреля 1888 года в École des Sciences Politiques[325]. Он провел параллель между Толстым и де Местром и подчеркнул, что, хотя де Местр был сторонником теократии, а Толстой «нигилистом», оба смотрели на первопричины событий как на некую тайну, низводя при этом значимость человеческой воли к нулю. «Расстояние, – пишет Сорель, – от теократа до мистика и от мистика до нигилиста меньше, чем от бабочки до гусеницы, от гусеницы до куколки и от куколки до бабочки»[326]. Толстой напоминает де Местра прежде всего тем, что пытается добраться до первопричин и задает вопросы вроде де-Местрова: *«Expliquez pourquoi ce qu'il y a de plus honorable dans le monde, au jugement de tout le genre humain sans exeption, est le droit de verser innocemment le sang innocent?»*[327] Он тоже не приемлет

рационалистических и натуралистических ответов, подчеркивает неощутимые психологические и «духовные», а иногда и «зоологические» факторы и поднимает их значимость в противовес статистическому анализу соотношения военных сил, совсем как де Местр в донесениях своему правительству. И в самом деле, когда Толстой описывает движения больших людских масс – сражение, бегство русских из Москвы или французов из России, – это можно воспринимать едва ли не как буквальные иллюстрации к теории де Местра о том, что великие события запланировать нельзя. Но сходство еще глубже. Как для савойского графа, так и для графа русского это реакция, причем реакция яростная, на либеральный оптимизм, включающий в себя представления об изначальной доброте и разумности человека и о ценности или о неизбежности материального прогресса. Оба отчаянно отрицают, что человечество можно осчастливить и облагородить сугубо разумными и научными средствами. Первая великая волна оптимистического рационализма, последовавшая за Религиозными войнами, разбилась о жестокость Французской революции и о пришедшую ей на смену эпоху политического деспотизма и суровых испытаний. В России такой вариант развития был заблокирован длинной чередой репрессивных мер, предпринятых Николаем I сначала для того, чтобы преодолеть последствия декабристского восстания, а почти через четверть века – чтобы нейтрализовать влияние европейских революций 1848–1849 годов; к этому необходимо добавить материальные и моральные последствия крымского разгрома. В обоих случаях апелляция к неприкрытым силовым методам загасила не один прекраснодушный порыв и привела к различным типам реалистических и просто «жестких» политических доктрин – среди прочего к материалистическому социализму, авторитарному неофеодализму, воинствующему национализму и другим никак не либеральным движениям. И у де Местра, и у Толстого – при всех непроходимо глубоких психологических, социальных, культурных и религиозных различиях между ними – разочарование приняло форму резкого недоверия к научному методу, неверия в какие бы то ни было виды либерализма, позитивизма, рационализма и влиятельного в Западной Европе стремления к отделению церкви от государства, привело к тому, что они сознательно сосредоточили внимание на «неприятных» аспектах человеческой истории, которых сентиментальные романтики, гуманистические историки и авторы оптимистических теорий общественного развития решительно не желали замечать.

И де Местр, и Толстой говорили о политических

реформаторах (как-то их мишенью оказался один и тот же представитель вышеназванной категории, русский государственный деятель Сперанский) в ироническом, едком, презрительном тоне. Де Местра подозревали в том, что он лично приложил руку к отстранению и ссылке Сперанского; Толстой, глазами князя Андрея, описывает бледное лицо бывшего при Александре фаворита, его мягкие руки, его суетливость и чванство, надуманность и пустоту жестов, которые внешне отражают ирреальность этого человека и его либеральных начинаний. Манеру эту де Местр одобрил бы от всей души. Оба с пренебрежением и враждебностью отзываются об интеллектуалах. Для де Местра это не просто гротескные жертвы исторического процесса – нелепые пугала, созданные Провидением, чтобы человечество отшатнулось от них и возвратилось в лоно древней католической веры, но люди, откровенно опасные для общества, зловредная секта смутьянов и развратителей, чью преступную деятельность всякий благоразумный государь должен по возможности пресекать. Толстой скорее презирает их, чем ненавидит, и выводит их несчастными, запутавшимися, недалекими созданиями с нелепой претензией на величие. Де Местр видит в них стаю социальной и политической саранчи, язву в самом сердце христианской цивилизации, самого святого, что только есть на свете; и считает, что спасут от них только героические усилия папы и верной ему Церкви. Для Толстого это умствующие дураки, плетельщики никому не нужных кружев, слепые и глухие к тому, что вполне доступно простым душам. Разозлившись, сгоряча спускает он на них время от времени какого-нибудь мрачного старика, крестьянина-анархиста, чтобы рассчитаться за долгие годы молчания с ничего не смыслящими, болтливыми городскими обезьянами, начитанными, набитыми умными словами, глядящими этак свысока, бессильными и пустыми. Оба отвергают любое толкование истории, которое не ставит во главу угла вопрос о природе власти; оба с пренебрежением говорят о рационалистических попытках решить его. Де Местр от души насмехается над энциклопедистами – над их привычкой изрекать с важным видом банальности, над их дотошно разработанными, но совершенно пустыми категориями – практически в той же самой манере, какую Толстой усвоил в отношении их последователей, адептов научной социологии и истории век спустя. Оба искренне верят в глубокую мудрость неиспорченного простого народа, хотя язвительные словечки де Местра о безнадежном варварстве, продажности и невежестве русских навряд ли пришлись Толстому по вкусу, если он, конечно, дал себе труд их прочесть.

И Де Местр, и Толстой в определенном смысле воспринимали западный мир как «загнивающий», причем разложение казалось им поступательным и быстрым. Эту доктрину в буквальном смысле слова придумали католические контрреволюционеры на рубеже XVIII и XIX веков, и она во многом определила их отношение к Французской революции как к наказанию Божьему, насланному на отступников от веры, в особенности – от веры католической. Из Франции эта связанная с воинствующим клерикализмом доктрина различными путями, в основном – через второразрядных журналистов и их ученых читателей, проникла в Германию и Россию (в Россию – и непосредственно, и в немецких интерпретациях), где нашла вполне подходящую почву среди тех, кто, счастливо избежав революционных потрясений, льстил своему самолюбию верой в то, что у них-то, во всяком случае, осталась возможность возвыситься к вящей силе и славе, в то время как Запад, подточенный падением отеческой веры, разлагается буквально на глазах, нравственно и политически. Несомненно, Толстой воспринял эту часть своего мировоззрения от славянофилов и прочих русских шовинистов в не меньшей степени, чем от де Местра, однако стоит отметить, насколько сильна была эта вера в обоих этих людях, жестких и аристократичных наблюдателях нравов, и насколько важное положение она занимает в их до странного близких способах видеть мир. Оба, в сущности, были неисправимыми пессимистами, чья безжалостная склонность разрушать принятые в обществе иллюзии отпугивала от них современников, даже тогда, когда тем приходилось нехотя признавать их правоту. Хотя де Местр был фанатически убежденным ультрамонтаном и защитником раз и навсегда установленных институтов, тогда как Толстой, совершенно аполитичный вначале, не оставил свидетельств сколь-нибудь радикальных политических мнений, оба вызывали смутное подозрение в нигилизме – и впрямь гуманистические ценности рассыпались во прах, стоило только этим ценностям попасть к ним в руки. Оба искали выхода из глухого, непробойного скептицизма в какой-то огромной, чреватой смыслами истине, которая защитила бы их от их же собственных природных наклонностей и темперамента: де Местр – в Церкви, Толстой – в неиспорченном человеческом сердце и в простой братской любви, которая вряд ли была близка ему. Перед ликом этого идеала повествовательный дар ему изменяет, и выходит нечто безыскусное, ходульное, наивное, отчаянно трогательное, отчаянно неубедительное и, видимо, весьма далекое от его собственного опыта.

Однако пользоваться этой аналогией нужно с известной

долей осторожности! И де Местр, и Толстой действительно придавали величайшую значимость войне, но де Местр, как, вслед за ним, и Прудон[328], считает войну таинственной и божественной, в то время как Толстому она внушает отвращение, и он считает, что объяснить ее можно лишь в том случае, если мы овладеем достаточным объемом микроскопических «причин», знаменитым историческим «дифференциалом». Де Местр верил, что власть – иррациональная сила, что надо ей подчиняться, что преступления неизбежны, страдания и наказания – глубоко значимы. Он видел в палаче краеугольный камень общества, и Стендаль отнюдь не случайно называл его *l'ami du bourreau*[329], а Ламенне сказал, что у него только две реальности – преступление и наказание, «все его книги как будто бы написаны на эшафоте». Для де Местра мир состоит из диких тварей, которые беспрерывно терзают друг друга, убивают ради жестокого и кровавого удовольствия; он считает это нормальным условием всякой одушевленной жизни. Толстой далек от таких ужасов и от подобного садизма[330]; нельзя назвать его и мистиком (*pace*[331] Альбер Сорель и Вогюэ), мистиком в каком бы то ни было смысле этого слова: запретных тем и вопросов для него нет, и он уверен, что на все можно достаточно просто ответить, если только мы не станем мучить самих себя и искать ответов в более чем странных и удаленных местах, когда они лежат у нас под ногами.

Де Местр был сторонником иерархического принципа и верил, что аристократия готова к самопожертвованию. Верил он и в ее героизм, в ее послушание и в то, что социальные и религиозные элиты должны осуществлять самый строгий присмотр за массами. Понятно, почему он хотел передать иезуитам образование в России, – они, по крайней мере, вдолбили бы в этих диких скифов латынь, священный язык человечества хотя бы в силу того, что он сохранил предрассудки и суеверия минувших веков, выдержавшие проверку историей и жизненным опытом, а только на них и можно выстроить стену, в достаточной степени прочную, чтобы сдержать страшные волны атеизма, либерализма и свободомыслия. В естественных науках и в светской литературе он видел опасные игрушки в руках неосторожных людей или крепкое вино, которое может чрезмерно возбудить, а там и разрушить непривычное к таким излишествам общество.

Толстой всю свою жизнь боролся против явных форм обскурантизма и искусственного подавления человеческой тяги к знаниям. Его самые резкие пассажи направлены против тех государственных деятелей и публицистов последней четверти XIX века – Победоносцева, его друзей и фаворитов, – кто буквально

следовал заветам великого католического реакционера. Автор «Войны и мира» открыто ненавидел иезуитов; особенно его раздражало, что они обращали в свою веру светских дам Александровской эпохи, – последние события в жизни ни к чему не годной жены Пьера с некоторой долей вероятности можно возвести к миссионерской деятельности де Местра среди санкт-петербургской аристократии. В общем-то, есть все основания полагать, что иезуитов изгнали из России, а де Местра, соответственно, отозвало его правительство, когда сам император счел его вмешательство в российские дела слишком неприкрытым и слишком успешным.

Соответственно, ничто бы так не шокировало и не возмутило Толстого, как подозрение в том, что у него много общего с этим апостолом тьмы, этим защитником невежества и рабства. И тем не менее из всех, кто писал в XIX веке на общественные темы, тон де Местра более всего напоминает тон Толстого. Обоим свойственно сардоническое, вплоть до цинизма, неверие в возможность улучшить общество рациональными средствами, введением правильных законов или развитием научных знаний. С одинаковой злой иронией оба говорят о модных теориях, о лекарствах от всех социальных болезней, а в особенности о том, как социальные процессы подгоняют к какой бы то ни было порожденной разумом формуле. Им свойствен один и тот же, у де Местра – выраженный открыто, у Толстого – менее очевидный, глубоко скептический взгляд на всяких экспертов, на прекраснодушные прожекты светской веры и на попытки улучшить общество со стороны, тех, кто искренне желает добра, но, к сожалению, витает в облаках. Обоим неприятны люди, живущие в мире идей, верующие в абстрактные принципы; и оба находятся под заметным воздействием вольтеровского темперамента, хотя весьма отрицательно относятся к вольтеровским идеям. Оба в конечном счете апеллируют к некому заключенному в людских душах первоисточнику; при этом де Местр отвергает Руссо как лжепророка; Толстой же относится к нему гораздо сложнее. Оба отрицают концепцию индивидуальной политической свободы – гражданских прав, гарантированных некой безликой системой правосудия; де Местр – потому что для него любое требование свободы – неважно, политической, экономической, социальной, культурной или религиозной – это сознательный отказ от дисциплины и глупейшее нарушение субординации. Он – сторонник традиции в самых темных, иррациональных и репрессивных ее формах, поскольку она одна в состоянии обеспечить социальным институтам жизненную энергию, преемственность и надежную основу. Толстой отрицает

политические реформы по другой причине: он уверен, что возродиться можно только изнутри, а истинная внутренняя жизнь течет лишь в нетронутых глубинах больших человеческих масс.

VI

Но есть и еще более значимая, более важная параллель между толстовской интерпретацией истории и идеями де Местра, и она выводит нас к фундаментальным принципам, определяющим познание прошлого. Одна из самых разительных общих черт в философских системах этих очень несхожих между собой, если не сказать антагонистически разных, мыслителей – их озабоченность «неотвратимым» ходом событий. И Толстой, и де Местр представляют себе действительность как плотную, непрозрачную, невероятно сложную сеть событий, объектов, характеристик, связанных и разделенных между собой посредством в буквальном смысле слова неисчислимых и необъяснимых звеньев, а также лакун и внезапных перерывов последовательности, видимых и невидимых. При подобном взгляде на реальность любые ясные, логичные и научно обоснованные конструкции, прекрасно аргументированные, тяготеющие к симметрии производные от человеческого разума, кажутся слишком гладкими, надуманными, пустыми, «абстрактными» и совершенно не пригодными ни для описания, ни для анализа того, что есть, или того, что было. Де Местр приписывает это обстоятельство непоправимой ограниченности человеческих способностей к наблюдению и к размышлению, по крайней мере – в тех случаях, когда человек не опирается на поддержку сверхчеловеческих источников знания – веры, откровения, традиции, а главное, опыта великих святых и Отцов Церкви, их не подлежащего анализу, особого чувства реальности, для коего смертельны естественные науки, свобода критики и секуляризм. Мудрейшие из греков, многие из великих римлян, а вслед за ними – центральные фигуры в церковной и светской иерархии Средних веков, уверяет нас де Местр, обладали этим высшим видением; именно в нем был источник их власти, их достоинства и успеха. Природные враги этого духа – тяга к излишнему знанию и специализация; отсюда столь праведное и дальновидное презрение римлян к специалисту и технику – *Graeculus esuriens*[332], – отдаленному, но несомненному предку хитроумных и мудрствующих персонажей современной Александрийской эпохи – ужасного XVIII столетия – всех этих *écrivasserie et avocasserie*[333], мерзкой шайки писак и адвокатишек во главе с хищным, отвратительным, ухмыляющимся Вольтером,

разрушающей и себя и других, поелику она слепа и глуха к истинному слову Божию. Только Церковь может понять «внутренние» ритмы, «глубинные» течения бытия, молчаливый ход вещей. *Non in commotione Dominus*[334] – не в шумных демократических манифестах, не в трескотне конституционных формул, не в революционном насилии, но в извечном естественном порядке вещей, управляемом «естественным законом». Только тем, кто понимает это, известно, чего можно и чего нельзя достичь, какая попытка плодотворна, а какая обречена на провал. Они, и только они, обладают ключом и к мирскому успеху, и к духовному спасению. Всеведением наделен один лишь Бог. Но, только окунувшись в созданный Им мир, приобщившись к теологическим или метафизическим принципам, воплощенным на нижнем уровне в инстинктах и вековечных суевериях, то есть к примитивным, проверенным временем способам угадывать Его волю и подчиняться Его законам, в то время как, умствуя, мы всего лишь пытаемся поставить на их место свои собственные, совершенно произвольные правила, мы можем надеяться обрести мудрость. Практическая мудрость в значительной мере – это умение видеть неизбежное, то, что при существующем порядке мироздания непременно должно произойти, и, напротив, то, чего не стоит или не стоило бы делать. Мудрый понимает, почему некоторые планы должны кончиться неудачей, хотя к тому и нет никаких видимых или научно обоснованных причин. Эту редкую способность мы справедливо именуем «чувством реальности», а можно назвать и чувством совместимости или несовместимости тех или иных предметов. Выступает оно под разными именами: озарение, мудрость, практический разум, здравый смысл, знание жизни и людей.

Толстой примерно так и думает, но причиной наших необоснованных и нелепых претензий на то, чтобы понимать и определять происходящее, он считает не глупые и кощунственные попытки обойтись без особенного, то есть сверхъестественного, знания, а невозможность одновременно охватить должное число из бесконечного множества мельчайших побудительных причин, определяющих цепочку событий. Если мы действительно начнем постигать огромную сеть причинно-следственных связей, мы перестанем восторгаться и бранить, хвастаться и каяться, перестанем видеть в людях героев или негодяев и с должным смирением подчинимся непреложному закону необходимости. Однако сказать это – значит исказить его взгляды. В «Войне и мире» Толстой и в самом деле достаточно ясно описал мнение, что истину следует искать в науке, в познании материальных

причин. Когда мы пытаемся делать выводы, используя слишком мало данных, мы попадаем в нелепое положение, тогда как крестьяне или дикари, которые ненамного наивнее нас, по крайней мере соизмеряют претензии с уровнем собственных возможностей; однако подобная точка зрения не характерна для мира, который фактически составляет фон и «Войны и мира», и «Анны Карениной», и всех остальных написанных в этот период произведений Толстого. Кутузов мудр, а не просто умен, как умны, к примеру, оборотистые Друбецкой и Билибин, его не заморочишь, как немецких военных советников, героическими и догматическими абстракциями. Он не похож на них, он умнее, но не потому, что владеет большим количеством фактов или знает, как свои пять пальцев, больше «мельчайших причин», чем его советники или его противники – Пфуль, или Паулуччи, или Бертье, или король неаполитанский. Каратаев выводит Пьера к свету, что не удается масонам, не потому, что владеет научными сведениями более высокого уровня, чем московские масонские ложи. Левин обретает жизненно важный опыт, работая в поле; раненый князь Андрей – лежа на поле боя при Аустерлице, но ни в одном из этих случаев никто не открыл свежие факты или новые законы в любом привычном смысле слова. Напротив, чем больше фактов ты выучил, тем бессмысленнее твоя деятельность, тем безнадежней твое поражение; так было с группой реформаторов, составлявших окружение Александра. Их и людей, им подобных, спасает от фаустовского отчаяния только глупость (как немцев, как военных советников, да и вообще всех и всяких советников и экспертов), или тщеславие (как Наполеона), или легкомыслие (как Облонского), или душевная черствость (как Каренина).

Что же открывают для себя Пьер, князь Андрей, Левин? Чего они ищут, где центр и суть того духовного кризиса, который разрешается обретением некоего опыта, преобразившего жизнь для каждого из них? Не в том, что они поймут, насколько малую толику великой общности законов и фактов, известных идеальному наблюдателю Лапласа, могут они воспринять; не в том, что они, как Сократ, признают свое неведение. Еще меньше это связано с противоположным полюсом – новой, более обоснованной уверенностью в существовании «железных законов», управляющих нашей жизнью, с представлением о природе как о машине или о фабрике, как у великих материалистов, Дидро, Ламетри, Кабаниса, или же ученых середины XIX века, выведенных Тургеневым в «Отцах и детях» в образе «нигилиста» Базарова; а уж тем более – с неким нездешним чувством невыразимого единства всего сущего, о

котором всегда и везде свидетельствовали поэты, мистики и метафизики. И тем не менее они что-то поняли, что-то увидели или, по крайней мере, заглянули в запредельность, их посетило откровение, способное в каком-то смысле примирить человека с миром и объяснить суть вещей, разом и оправдывая происходящее, и его толкуя. Из чего оно состоит? Толстой не оставил нам сколь-нибудь подробного объяснения; когда в более поздних, откровенно дидактических текстах он берется растолковать, в чем дело, его собственная точка зрения уже успевает претерпеть существенные изменения. Однако ни один из читателей «Войны и мира» не может остаться в полном неведении; как-то он да поймет заложенную в тексте весть. Мы говорили не только, и даже не столько, о сценах, где участвуют Кутузов или Каратаев, и о других квазитеологических и квазиметафизических пассажах, сколько о нарративной, нефилософской части Эпилога, где Пьер, Наташа, Николай Ростов и княжна Марья показаны в новой, спокойной и основательной жизни со строго размеренным течением ежедневных надобностей и дел. Нас прямо подталкивают к мысли, что эти герои романа – «добрые люди» – достигли теперь, после десятка с лишним лет, проведенных в бурях и горестях, своего рода внутренней умиротворенности, основанной на некоем понимании. Что же они понимают? С чем они смирились? Не просто с волей Божьей (во всяком случае, в те годы, когда писались великие толстовские романы) и не с «железными законами» наук, но с непрерывным взаимодействием вещей в окружающем мире[335], с единой тканью человеческой жизни, поскольку справедливость и истину только и можно сыскать через «естественное» – почти в аристотелевском смысле – знание.

Сделав это, в первую очередь, постигаешь пределы, положенные человеческой воле и человеческому разуму. Как происходит такое постижение? Не через какое-то особенное исследование или открытие, но через уверенность, не всегда явную или осознанную, в некоторых общих свойствах человеческой жизни. А самое важное и повсеместно значимое из этих свойств – в том, что «поверхность» четко отделена от «глубин». По одну сторону черты остается мир эмпирически воспринимаемых, подлежащих описанию и анализу данных, как физических, так и психологических, как «внешних», так и «внутренних», как общественных, так и лично значимых, с которыми имеют дело науки, пусть даже только в тех областях, которые не входят в компетенцию физики, поскольку наукам до сей поры удалось ничтожно мало. По другую же сторону – тот порядок, который, по сути, и определяет структуру нашего опыта,

ту систему, в которой он – то есть мы сами и все, что мы испытываем, – должен восприниматься как изначально заданный. Именно это и входит во все наши навыки мысли, действия, чувства, в наши эмоции, надежды, желания, в нашу манеру речи, реакцию на окружающее и вообще наш способ жизни. Мы, чувствующие существа, отчасти обитаем в мире, составные части которого можем обнаружить, классифицировать и воздействовать на них рациональными, научными и сознательно спланированными методами; но отчасти (Толстой, де Местр и множество других мыслителей уверяют нас, что в значительно большей части) мы заброшены и погружены в некую субстанцию, которую мы в той самой степени, в какой отождествляем с собой, наблюдаем и можем наблюдать только извне. Вот ее мы не можем определить, измерить, подвергнуть воздействию; не можем даже более или менее твердо верить в ее существование, поскольку она неотъемлема от любого нашего опыта, слишком тесно связана с нами и с тем, что мы делаем, чтобы отделить ее от потока (а она и есть сам поток) и изучать ее как объект с должной научной отстраненностью. Та среда, в которой мы находимся, определяет самые неизменные наши категории, наши стандарты истинного и ложного, реальности и кажимости, добра и зла, центра и периферии, субъективного и объективного, уродливого и прекрасного, движения и покоя, прошлого, настоящего и будущего, единого и множественного. К ней нельзя применить ни этих, ни других умопостигаемых категорий или концепций; ведь сама она – не что иное, как смутное поименование той всеобщности, которая уже включает все эти категории и концепции, некая окончательная упорядоченность, система исходных предпосылок, в которой мы и существуем.

И все-таки, хотя мы не можем анализировать эту среду, поскольку у нас нет и быть не может внешней наблюдательной точки, отдельные люди способны воспринимать (но не могут адекватно описать) состав и направление «подводных» частей своей собственной и чужой жизни. Воспринимают они их гораздо явственней, чем те, кто просто не замечает всепроникающей субстанции («потока жизни») и потому вполне заслужили название людей поверхностных; или те, кто пытается применить к ней научный, метафизический инструментарий, приспособленный исключительно к объектам, лежащим над поверхностью, и потому в своих теориях приходят к совершенно абсурдным заключениям, а на практике – к позорным неудачам. Мудрость – это способность допускать существование неизменной (по крайней мере, с нашей точки зрения) среды, в которой мы вынуждены действовать, как допускаем мы, скажем,

вездесущность пространства и времени, хотя это всего лишь неизменные характеристики нашего опыта; и предвидеть, более или менее сознательно, возможные последствия «неизбежных тенденций», «неуловимых веяний», «того, к чему все идет». Это не научное знание, но особая чувствительность к общим очертаниям обстоятельств, в которых мы оказались, но способность жить, не попадая под колеса тех условий или факторов, которые мы не можем изменить, что там – описать и просчитать в должной мере; способность жить по наитию, с той самой «вековечной мудростью», которую приписывают крестьянам и другим «простым людям», там, где научные законы по определению неприменимы. Необъяснимое чувство, помогающее нам ориентироваться в мироздании, и есть «чувство реальности», «умение жить».

Иногда Толстой как будто бы даже верит в то, что наука – пусть в принципе, пусть не на практике – может проникнуть повсюду и все превзойти. Если она действительно на это способна, мы познаем причины всего сущего и поймем, что мы не свободны, но целиком и полностью детерминированы, а большего мудрейший из мудрейших познать не может. Де Местр тоже говорит иногда так, словно ученым, благодаря особенной, необычной, надчеловеческой технике познания, ведомо больше, чем нам; однако знают они, в каком-то смысле, «факты» – предмет исследования естественных наук. Св. Фома Аквинский знал несравненно больше, чем Ньютон, с большей точностью и с большей уверенностью, но знания его – той же самой природы. Однако, несмотря на все поклоны в сторону естественных наук или теологии, все эти признания их заслуг чисто формальны: в позитивных доктринах и де Местра, и Толстого выражены совершенно иные системы предпочтений. Де Местр превозносит Аквината не за то, что тот был лучшим математиком, чем д'Аламбер или Монж; согласно Толстому, достоинства Кутузова – не в том, что он лучше, грамотней в теории военного дела, чем Пфуль или Паулуччи. Эти великие люди не образованнее, они мудрее. Мастерами их делают не индуктивные или дедуктивные способности; они глубже видят, подмечая то, что другим недоступно; видят пути, которыми следует мир, видят, что с чем сочетается, а что не сочетается ни при каких обстоятельствах; видят, что может быть, а что невозможно; как и для чего живут люди, что они делают, от чего страдают; как и почему они действуют, и именно так и не иначе.

В каком-то смысле это зрение не дает никаких новых сведений о мире; мы просто присутствуем при игре постижимого и непостижимого, умеем почувствовать общее положение вещей,

данную ситуацию или конкретный человеческий характер, то есть именно то, чего нельзя не только вывести из столь необходимых научному детерминизму законов природы, но даже и сформулировать в соответствующих терминах. Ученые вполне и справляются с тем, что можно подогнать под действие этих законов; «мудрость» для этого не нужна; отрицая права науки ради некой высшей «мудрости», мы безответственно вторгаемся на ее исконные территории, смешиваем понятия. Толстой, по крайней мере, не доходит до того, чтобы отрицать действенность физики в ее собственной области; но он считает эту область незначительной в сравнении с тем, что неизменно остается за пределами науки, – с социальным, нравственным, политическим, духовным мирозданием, которое нельзя привести к системе, описать и спрогнозировать с любой научной точки зрения, поскольку «подводной», недоступной научному анализу жизни в них чересчур много. То озарение, которое открывает нам природу и структуру всех этих миров, – не временная подмена, не эмпирическое *pis aller*[336], необходимое ровно до тех пор, пока не улучшается хоть немного соответствующие научные техники. Задача у него совершенно иная; оно занимается тем, на что не может претендовать никакая наука: различает истинное от ложного, ценное от не имеющего ценности, то, что можно сделать или вытерпеть – от того, чего ни сделать, ни вытерпеть нельзя. Для своих пророчеств оно не предоставляет рациональных оснований, хотя бы потому, что «рациональное» и «иррациональное» – это термины, которые восходят и в значении своем, и применении к этой же самой системе. Ведь данные такого понимания суть та окончательная почва, структура, атмосфера, среда (пусть не пропадет самая выразительная метафора), на основании которой мы чувствуем, оцениваем и судим все наши мысли и поступки так и только так, как это всегда и бывает.

Именно в неотвязном чувстве этой структуры – этого движения взаимосвязанных событий или постоянно меняющегося соотношения свойств – как чего-то «неотвратимого», всеобщего, вездесущего, неподвластного нам (если употреблять слово «власть» в том смысле, в котором наука наделила нас властью над природой) и кроются корни толстовского детерминизма, его реализма, пессимизма и присущего им (с де Местром) презрения к вере, основанной на разумных доводах, независимо от того, кто предлагает такую веру – наука или мирской здравый смысл. Она где-то «там», эта структура, на которой все основано, и только мудрый человек ощутит ее присутствие. Пьер ищет его на ощупь; Кутузов чувствует нутром; Каратаев таким родился. Все герои

Толстого удостаиваются хотя бы мимолетных свиданий с этим чувством; именно потому все объяснения, принятые наукой, историей, неразмышляющим «здравым смыслом», кажутся такими пустыми, а когда им сопутствует претенциозность – постыдно фальшивыми. Толстой тоже знает, что истина где-то там, а не «здесь» – не в областях, доступных наблюдению, распределению, созидательному воображению, не в той микроскопически точной фиксации и не в том анализе, где он – величайший и несравненный мастер; но сам он, лично, так и не удостоился созерцать ее лицом к лицу. Как отчаянно он ни бьется, цельное видение ему не дано. Он не еж, и никогда ежом не станет; а предстает его глазам никак не единство, но только множественность, бесконечно дробясь и уменьшаясь, в кишении бессчетных индивидуальностей, в назойливой, неотвязной, нерушимой, вездесущей ясности, которая поистине сводит его с ума.

VII

Мы – часть системы куда более масштабной, чем можем себе представить. Ее не описать тем способом, каким мы описываем внешние объекты или характеры чужих, вычленив их тем или иным способом из исторического «потока», в котором они осуществляют свое наличное бытие, а также изолировав их от «подводных», недоступных нам составляющих, которым профессиональные историки, с точки зрения Толстого, уделяли неоправданно малое внимание. Ведь мы сами живем в том же едином целом, за его счет, и мудры в той и только в той мере, в какой научились с ним ладить. Пока мы этому не научимся (что бывает, если верить Эсхилу и Книге Иова, только после долгих и жестоких страданий), мы будем мучиться и сетовать совершенно зря и всегда окажемся в дураках (как случилось с Наполеоном). Это чувство всеобъемлющего потока, пренебрегая которым по обычной глупости или самонадеянному эгоизму, мы обращаем дела и мысли к нашему собственному поражению, это представление о единстве опыта, чувстве истории, истинном познании реальности, вера в непередаваемое обычными средствами просветление мудреца (или святого) свойственны, *mutatis mutandis*[337], и Толстому, и де Местру. Присущий им обоим реализм тоже имеет общие черты: он – природный враг романтизма, сентиментализма, «историчности» и агрессивного «сциентизма». Цель их не в том, чтобы отделить то немногое, что мы уже знаем или создали, от безбрежного океана того, что мы в

принципе сможем узнать или сотворить, следуя путем прогресса в естественных науках, в метафизике или в науках исторических, или вернувшись в прошлое, или как-нибудь иначе; они нащупывают и утверждают извечные границы нашего познания и нашей власти, дабы очертить ту область, которую человек не может ни познать, ни изменить. Согласно де Местру, наша судьба предначертана первородным грехом; мы – люди, тщеславные, грешные, конечные, склонные ошибаться, и все наше эмпирическое знание (в отличие от учения Церкви) исходно заражено ошибками и мономанией. Согласно Толстому, все наше знание изначально носит эмпирический характер, другого не дано; однако оно приведет нас не к истинному пониманию, а только к накоплению абстрагированных на случайных основаниях фрагментов и обрывков знания. Ему (как и любому метафизику-идеалисту, коих он ни в грош не ставил) кажется, что знание это бессмысленно и нечетко, если оно оторвано от своих истоков, от невыразимого, но почти физически осязаемого высшего понимания, ради которого только и стоит гнаться за истиной.

Иногда Толстой почти проговаривается: чем больше мы знаем, говорит он, о данном человеческом деянии, тем более неизбежным, тем более детерминированным оно нам представляется. Почему? Потому что чем больше мы узнаем обо всех связанных с ним условиях и предпосылках, тем труднее нам представить себе такие обстоятельства, такое сочетание факторов, в котором эти условия и предпосылки не играли бы никакой роли, а поскольку в такой гипотетической ситуации нам приходится шаг за шагом отказываться от вполне действительных фактов, это становится не просто затруднительным, но и просто невозможным. Смысл этих слов достаточно ясен. Мы – то, что мы есть, и живем в определенной ситуации со всеми теми свойствами – физическими, психологическими, социальными, – которые для нее характерны. То, что мы думаем, чувствуем и делаем, ею обусловлено, включая и нашу способность придумывать возможные альтернативы, в прошлом, настоящем и будущем. Наше воображение и наша способность заранее просчитывать варианты, наше умение заранее представлять себе, скажем, то, что могло бы произойти, если бы ситуация, в той или иной частности, сложилась иначе, – словом, все такие способности достаточно скоро достигают своих естественных пределов, обусловленных и тем, что мы способны просчитать ограниченное число вариантов, которые мы и могли бы добавить, продолжая аргументацию Толстого, в гораздо большей степени, тем, что наши мысли, терминологический инструментарий, в котором они выражены, да и сами символы именно таковы, то

есть заранее детерминированы наличной структурой бытия. Доступные нам образы и области восприятия ограничены тем обстоятельством, что нашему миру присущи определенные свойства, именно эти, и не другие. Мир, слишком отличный от нашего, мы бы просто не поняли; у одних воображения меньше, у других – больше, но всему есть предел.

Мир – это система и структура. Полагая людей «свободными», мы приписываем им способность действовать в некоей точке прошлого иначе, нежели они действовали на самом деле; тогда мы должны просчитать последствия невоплотившихся возможностей и того, как изменился бы мир по сравнению с нынешним, наличным миром. Все это достаточно трудно проделать даже с искусственными, чисто дедуктивными системами вроде шахмат, где число вариаций ограниченно и не выходит за рамки определенных правил, нами же и определенных, так что просчитать тот или иной вариант вполне возможно. Но если вы попробуете применить этот метод к расплывчатой, богатой ткани реального мира и попытаетесь представить все возможные последствия того или иного нереализованного плана или несовершенного поступка, то есть понять, какое воздействие они окажут на все последующие события, и если вы основываетесь при этом на том, что известно о причинно-следственных законах и вероятностях, вы обнаружите: чем больше «малейших причин» вам удается выделить, тем труднее вам представить, что будет, когда «снимешь с дистанции» хотя бы одну из них, поскольку любое из возможных последствий неизбежно скажется на взятой как единое целое неисчислимой множественности предметов и событий, которые, в отличие от шахмат, не определены заранее системой жестко заданных нашей волей концепций и правил. А если, в реальной жизни или в шахматах, вы начнете изменять исходные понятия – непрерывность пространства, делимость времени, – вы достаточно скоро дойдете до той стадии, на которой символы вообще перестанут действовать, а сама ваша мысль лишится системности и остановится. Чем полнее мы представляем себе факты и систему их связи, тем труднее нам представить какую-нибудь альтернативу; чем яснее и точнее термины или категории, в которых мы представляем себе и описываем мир, тем жестче мы фиксируем структуру этого мира и тем менее свободным представляется любое возможное в нем деяние. Поняв пределы воображения, и в конечном счете самого мышления, мы столкнулись бы лицом к лицу с «неотвратимой» объединяющей структурой мироздания, осознали нашу с ней единосущность, подчинились ей и тем самым обрели истину и покой. Это не

просто разновидность восточного фатализма и не механистический детерминизм известных в то время немецких материалистов, Бюхнера, Фохта или Молешотта, столь популярный среди русских «нигилистов» толстовского поколения; несводима такая позиция и к тоске по мистическому озарению или единению. Для нее характерны скрупулезный эмпиризм, реализм, рациональность, жесткая логика разумных оснований. Но эмоциональное ее основание – жестокая тоска по монистическому мировоззрению, тоска лиса, который страстно мечтает научиться видеть мир глазами ежа.

Во всем этом есть весьма примечательное сходство с догматическими утверждениями де Местра: мы должны выработать в себе умение смиряться с требованиями истории, поскольку это – глас Божий, говорящий к нам через Его слуг и через божественные учреждения, не сотворенные человеческими руками и неуязвимые для человека. Мы должны настроиться на истинное слово Божие, на внутренний «перводвигатель» всех вещей; но как это осуществить в конкретных случаях, как надо согласовывать с ним нашу частную жизнь и нашу публичную политику, ни тот, ни другой противник оптимистического либерализма нам не сказал. Да и наивно ожидать от них чего-то подобного; ведь позитивное мировоззрение есть вещь, совершенно для них недоступная. Язык Толстого и в не меньшей степени язык де Местра приспособлен для совершенно противоположной деятельности. Толстой достигает вершин своего гения в анализе, в отточенных определениях и разграничениях, в выделении конкретных примеров, позволяющих проникнуть в самое сердце каждой отдельной сущности *per se*[338]. Де Местр тоже великий мастер припечатать и выставить к позорному столбу допущенные оппонентом нелепости. Оба они – остроглазые наблюдатели человеческой жизни во всем ее многообразии: любая попытка фальсификации или уклончиво-расплывчатых объяснений немедленно отслеживается и высмеивается самым безжалостным образом. Однако оба знают, что правда, как она есть, последняя и окончательная основа для корреляции всех частей вселенной, тот контекст, в котором все сказанное ими или кем бы то ни было только и можно оценить как истинное или ложное, банальное или важное, относится к области синоптического видения, которого они не в состоянии выразить, поскольку его у них нет.

Чему в конце концов научился Пьер, с чем примирилась княжна Марья, выйдя замуж, чего так отчаянно искал всю жизнь князь Андрей? Подобно блаженному Августину, Толстой может сказать об этом, только отталкиваясь от противного. Гений его по

природе разрушителен. Он может указать дорогу к цели, лишь выставив и высмеяв все ложные указатели; вычленить правду, уничтожив все то, что неистинно, то есть все то, что можно проговорить ясным аналитическим языком, который соответствует слишком ясному, но неизбежно ограниченному лисьему зрению. Подобно Моисею, он вынужден остановиться у самых границ Земли Обетованной. Без нее его путь лишился бы смысла, но он не может ступить в ее пределы; и все же знает, что она есть, и может рассказать нам о ней так, как никто еще не рассказывал. Собственно, рассказывает он обо всем, чего в ней нет, а нет в ней прежде всего ничего такого, чего можно добиться средствами искусства, или науки, или рациональной критики, или цивилизации вообще.

Таков и Жозеф де Местр, Вольтер реакции. Всякую доктрину, появившуюся после долгих веков истинной веры, он рвет на части с отчаянной лихостью и злостью. Самозванцев он одного за другим выводит на подмостки и сшибает с ног; такого мощного оружия, специально заточенного против либеральных и гуманистических доктрин, мир еще не видел. Но трон остается вакантным, позитивная доктрина чересчур неубедительна. Де Местр тоскует по Средним векам, но стоит только его собратьям-эмигрантам подумать о том, чтобы отменить Французскую революцию и восстановить *status quo ante* – и де Местр тут же называет детским лепетом попытку вести себя так, как будто того, что безвозвратно изменило буквально каждого человека, попросту не было. Пытаться отыграть революцию обратно, пишет он, все равно что осушать Женевское озеро, загнав его воды в винный погребок.

Он никоим образом не похож ни на кого из тех, кто действительно верил в возможность тем или иным способом вернуть прошлое – от Вакенродера, Гёрреса и Коббета до Честертона, славянофилов, дистрибутистов, прерафаэлитов, а также иных ностальгирующих романтиков. Как и Толстой, он верил совсем в другое – в «беспощадную» власть настоящего; в нашу неспособность совладать с суммой условий, определяющих наши основные категории, тот самый порядок, который мы никогда не сможем описать в полном объеме, а постигаем только во внезапном и непосредственном озарении.

Конфликт между этими двумя типами познания – тем, что идет от методического исследования, и другим, куда менее основательным, привыкшим опираться на «чувство реальности», на «мудрость», – стар как мир. Претензии обеих сторон в какой-то степени обоснованны; самые жестокие схватки кипели из-за точной линии, которая бы их разграничила. Тех, кто предъявлял

претензии на вненаучные способы познания, противники обвиняли в иррационализме и мракобесии, в том, что, угрожая эмоциям или слепому предубеждению, они обходят общепризнанные надежные стандарты достоверной истины. Сами они бросали своим оппонентам, приверженным научному знанию, упреки в голословности и нелепости претензий, в невыполнимости обещаний, в лживом прожектерстве, в попытках объяснить историю, или искусства, или состояния души (а также изменять их по своему усмотрению), тогда как они даже и близко не подошли к пониманию того, что же это, собственно, такое, а результаты их трудов, когда они все-таки не сводятся к нулю, имеют тенденцию приводить к непредсказуемым и даже катастрофическим последствиям – по той простой причине, что оппоненты эти слишком упрямы и тщеславны, чтобы признать: слишком большое количество факторов в слишком большом количестве ситуаций всегда остается неизвестным и недоступным для естественно-научных методов. Гораздо лучше и не притворяться, что ты сосчитаешь неисчислимое, поскольку есть некая архимедова точка вне нашего мира, в котором все можно измерить и изменить по нашему усмотрению. Лучше в каждом отдельном случае использовать именно те методы, которые можно счесть оптимальными, ибо они дадут нам оптимальный из возможных результатов; не поддаваться на искушение Прокруста; и прежде всего научиться отличать то, что можно вычленить из среды, классифицировать, объективно исследовать, а иногда – и точно измерить, от постоянных, неизбежных, исконно присущих нашему миру черт, которые настолько для нас привычны, что их неумолимого давления, с которым мы сжились от младенчества, мы не ощущаем, почти не замечаем и даже в отдаленной перспективе не сможем наблюдать и изучать.

Это и различает мыслительные схемы Паскаля и Блейка, Руссо и Шеллинга, Гете и Колриджа, Шатобриана и Карлейля – словом, тех, кто говорит о рациональных основаниях душевных качеств, и тех, кто говорит о нравственной или духовной природе человека, о поверхностности и глубине, о «глубинных» озарениях поэтов и пророков, об особых типах восприятия, о духовно постижимом, о единстве человека с миром. К этому, последнему типу мыслителей принадлежат и Толстой с де Местром. Толстой винит во всем то, что нам неведомы эмпирические причины событий, де Местр – измену томистской логике и католическому Преданию. Но таким заявлениям, рассчитанным на широкую публику, противоречат тон и содержание того, что говорят эти великие критики. Оба из раза в раз подчеркивают контраст между «внутренним» и «внешним», между «поверхностью», которую

только и способен озарить свет науки, и «глубинами» – «реальной жизнью, которой живут люди». Для де Местра, как позже для Барреса, истинное знание – мудрость – лежит в единении с *la terre et les morts*[339] (при чем тут томистская логика?), с великим неизменным потоком, составленным из связей между мертвыми, живыми и еще не рожденными и землей, на которой они обитают. Здесь мы сталкиваемся, быть может, с тем же самым или чем-то весьма похожим на то, что пытались выразить, каждый на свой лад, Эдмунд Берк, Ипполит Тэн и их многочисленные подражатели.

У Толстого мистически ориентированный консерватизм вызывал особенное раздражение, поскольку, как ему казалось, обходил ответ на основной вопрос, просто-напросто под прикрытием дымовой завесы из помпезной риторики превратив его в прямое утверждение, в ответ. Однако и он в конечном счете представляет нам некий образ России во всей ее необъятной широте, смутно прови́димый Кутузовым и Пьером, – того, что она могла или не могла совершить или вынести; того, чего Наполеон и его советники (которые знали много, но все не о том) так и не поняли и (хотя разбирались в истории, науке и мельчайших причинах событий едва ли не лучше Кутузова с Пьером) были неизбежно обречены. Хвалы де Местра глубоким познаниям былых великих бойцов воинства Господня и жалобы Толстого на нашу научную несостоятельность не должны скрывать, что фактически они защищают причастность к «глубинным токам», к тем *raisons de coeur*[340], которыми их не одарил личный, прямой опыт, но перед которыми (в этом они были глубоко убеждены) все хитрости науки – просто обманка, мираж.

Несмотря на все их глубокое несходство и даже на прямое, непримиримое противостояние, скептический реализм Толстого и авторитарный догматизм Местра – кровные братья. Оба рождены отчаянной верой в единую и ясную систему видения, в которой все проблемы будут решены, все сомнения успокоятся, и мы наконец достигнем мира и понимания. Лишенные подобного видения, они направили все свои грозные силы, отталкиваясь при этом от разных, а зачастую – и вовсе не совместимых позиций, на всех возможных противников его и критиков. Веры, за одну только абстрактную возможность которых они сражались, и в самом деле были разными. Та безвыходная ситуация, в которой они оба оказались и которая вынудила их направить свои силы на одно только разрушение, общие враги и невероятное сходство темпераментов сделали их неожиданными, но и несомненными союзниками в той войне, которую оба они сознательно вели до самой своей смерти.

VIII

При всем несходстве между Толстым и де Местром (один был апостолом Нового Завета, гласящего, что все люди братья, другой – холодным защитником насилия, слепой жертвенности и неизбежных страданий) их объединяла невозможность уйти от одного и того же трагического парадокса. Оба – остроглазые лисы, зорко подмечавшие очевидные, действительные различия и силы, которые разрывают на части человеческий мир; оба – наблюдатели, которых невозможно обмануть никакими, даже самыми хитрыми, ловушками, всеобъемлющими системами, религиями, науками, при помощи которых люди поверхностные или отчаявшиеся надеются спрятать хаос от себя или друг от друга. Они искали гармонической вселенной, но находили повсюду лишь борьбу и беспорядок, которых никакая хитрость, сколь угодно ловко замаскированная, не могла прикрыть от них и на время; а потому, окончательно впав в отчаяние, решили отбросить убийственное оружие критики, которым оба, а в особенности – Толстой, были оснащены более чем щедро, ради единого великого видения, настолько простого и далекого от обычных путей человеческого разума, что его и понять разумными средствами невозможно, а потому оно, вероятно, предложит путь к миру и спасению.

Де Местр начинал умеренным либералом, а закончил тем, что разносил на куски новый, сложившийся в XIX столетии мир, из одинокой цитадели, где по-своему трактовал ультрамонтанский католицизм. Толстой начинал со взглядов на жизнь и на историю, которые противоречили всему, что он знал, природе его дарования, всем его намерениям и наклонностям, а потому нельзя сказать, чтобы он применил эти взгляды на практике как писатель или как человек. Ближе к старости он избрал совершенно иной способ жизни, пытаясь разрешить откровенное противоречие между тем, во что он действительно верил, и тем, во что он думал, что верит, или пытался верить, выстраивая свое поведение таким образом, словно реально стоящие перед ним вопросы – не фундаментальные, а всего-навсего обыденные, бытовые проблемы пустячной, без смысла и плана прожитой жизни, тогда как проблемы настоящие формулируются совершенно иначе. Но толку из этого не вышло, музу не обманешь. Из всех человеческих качеств поверхностность была меньше всего присуща Толстому, он просто не мог спокойно плыть по течению, его неудержимо влекло в глубину, исследовать зияющие внизу провалы. Не мог он и не видеть того, что видел, и не сомневаться в увиденном; он мог закрыть глаза, но забыть о

том, что закрыл их по собственной воле, он был не в состоянии. Его потрясающее, разрушительное чутье свело на нет все его поздние попытки обмануть себя самого, правда, как и ранние. Умер он в муках, раздавленный грузом собственной добросовестности и чувством неизменной нравственной ошибочности собственных действий, и остался величайшим из всех, кто так и не смог ни разрешить, ни оставить в покое конфликт между тем, что есть, и тем, как должно быть.

Толстовское чувство реальности было до самой его смерти слишком опустошительным, чтобы ужиться с каким бы то ни было нравственным идеалом, который он смог бы выстроить из обломков разрушенного собственной интеллектуальной мощью мироздания, и он бросил свою мощь и всю волю на то, чтобы до конца своих дней яростно это отрицать. Преисполненный и безумной гордыней, и ненавистью к себе, презрением к другим и тягой к саморазрушению, всезнающий и привыкший во всем на свете сомневаться, холодный и отчаянно страстный, терзающийся и отстраненный, окруженный обожанием домашних, преданностью последователей, восхищением всего цивилизованного мира и почти совершенно одинокий, он – самый трагический из всех великих писателей, отчаявшийся старик, которому никто не в состоянии помочь, поскольку он сам себе выколол глаза и бредет в Колон.

Толстой и просвещение

[341]

«Репутация гр. Толстого двойственна, – писал известный русский критик Михайловский в забытом эссе, опубликованном в середине 1870-х годов, – как из ряда вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую доказательств». Этот почти всеобщий приговор господствовал, не подвергаясь, по сути дела, сомнению, лет примерно сто, и попытка Михайловского поставить его под вопрос – едва ли не единичный случай. Толстой отрекся от своего союзника слева как от обычного либерального писаки и выразил удивление, что им кто-то интересуется. Ход весьма для него характерный, но несправедливый. Эссе, которое автор назвал «Десница и шуйца Льва Толстого», – блестящая и убедительная защита Толстого и в идейном, и в нравственном плане, направленная главным образом против либералов и социалистов, которые видели в этических догмах романиста, особенно в прославлении крестьянства и естественного инстинкта, и неизменно пренебрежительном отношении к научной культуре оголтелый и изощренный обскурантизм, дискредитировавший либеральное течение и игравший на руку священникам и ретроградам. Михайловский отвергал эту точку зрения. Долго и тщательно пытаясь отсеять просветительское зерно у Толстого от реакционных плевел, он пришел к выводу, что во взглядах великого романиста на человеческую природу и на проблемы, стоящие перед российской и западной цивилизацией, есть неразрешенный скрытый конфликт. По его мнению, Толстой далеко не «плохой мыслитель», не менее проницателен, дальновиден и убедителен в своем анализе идей, чем в анализе чувств, характеров и поступков. Стремясь утвердить свой тезис, безусловно парадоксальный для того времени, Михайловский иногда заходит слишком далеко, но сам тезис кажется мне правильным или, во всяком случае, скорее правильным, чем ошибочным, и мои собственные мысли – не более чем расширенное его толкование.

Взгляды Толстого всегда субъективны и могут быть (как, например, в его сочинениях о Шекспире, Данте или Вагнере) очень предвзятыми. Но вопросы, на которые он пытается ответить даже в самых дидактических статьях, практически неизменно кардинальные и принципиальные, всегда самобытные и вскрыты в обычном для него намеренно упрощенном и обнаженном виде гораздо глубже, чем у более уравновешенных и «объективных»

мыслителей. Прямые взгляды – не самый верный путь к компромиссу. Толстой в полную силу применяет этот свой дар для того, чтобы лишить душевного покоя и себя самого, и своих читателей. Именно привычкой задавать подчеркнуто простые, но фундаментальные вопросы, ответом на которые он сам – во всяком случае, в 1860–1870-е годы – не располагал, он и заслужил репутацию «нигилиста». Однако жажда разрушать ради самого разрушения определенно ему не свойственна. Больше всего на свете он хотел докопаться до истины. Насколько разрушительной бывает эта страсть, показывает нам пример других людей, которые решились копнуть чуть глубже свойственных современной им мудрости пределов, – Макиавелли, Паскаля, Руссо; автора «Книги Иова». Как и они, Толстой не может быть отнесен ни к одному из общественных движений как своего, так, в сущности, и любого другого века. Компанию ему могут составить только разрушители, задающие вопросы, на которые не было, да, видимо, и не будет ответа, по крайней мере такого, который приняли бы они сами или те, кто их понимает.

Что же касается позитивных идей Толстого – а они менялись на протяжении его долгой жизни значительно меньше, чем иногда пытаются представить, – они совсем не уникальны: кое-что роднит их с французским Просвещением XVIII века; кое-что – с идеями века XX; доминирующим идеям собственной эпохи он практически совершенно чужд. Он не принадлежал ни к одному из тех великих идеологических течений, на которые в годы его юности разделилось общественное мнение России. Он не был ни радикальным интеллектуалом откровенно прозападной ориентации, ни славянофилом, то есть сторонником христианско-националистической монархии. Его взгляды попросту не сводимы к такого рода категориям. Подобно радикалам, он всегда осуждал политические репрессии, произвол и насилие, экономическую эксплуатацию и все то, что порождает и увековечивает неравенство между людьми. Но остальные «западнические» воззрения, основу основ современной ему интеллигентской идеологии – поразительное чувство гражданской ответственности, веру в естественные науки как в единственно возможный путь к истине, в социально-политические реформы, в демократию, материальный прогресс, секуляризм, – весь этот весьма характерный сплав идей Толстой отверг еще в юности. Он верил в индивидуальную свободу и даже по-своему в прогресс, но только в собственном, весьма эксцентрическом понимании[342]. Он с презрением относился к либералам и социалистам, а к правым партиям своего времени – едва ли не с ненавистью. Неоднократно подмечено, что ближе всего ему был Руссо; он

восхищался его взглядами больше, чем воззрениями любого другого современного автора. Подобно Руссо, он отвергал идею первородного греха и верил, что человек рождается невинным, а губят его им же самим и созданные дурные установления, в особенности – то, что среди цивилизованного человечества принято называть образованием. Опять-таки вслед за Руссо он возлагал вину за это падение в первую очередь на интеллигенцию: самозваную элиту утонченных и высоко специализированных экспертов, далеких от простого народа и устранившихся от естественной жизни, своего рода замкнутую касту. Эти люди прокляты, потому что у них есть все, но они утратили самое драгоценное из человеческих дарований – врожденную способность видеть правду, неизменную, вечную правду, которую только шарлатаны и софисты представляют меняющейся в зависимости от обстоятельств, места и времени; правду, которая полностью открывается лишь невинному оку тех, чьи сердца не развращены, – детям, крестьянам, тем, кто не ослеплен тщеславием и гордыней, простым и добрым людям. Образование в западном смысле этого слова губит врожденную невинность. Вот почему дети сопротивляются ему инстинктивно и ожесточенно; вот почему его приходится буквально заталкивать им в глотку, и оно, подобно всякому принуждению и насилию, калечит свою жертву, а порою – необратимо ее губит. Люди от природы тянутся к истине; следовательно, подлинное образование должно быть таким, чтобы дети и бесхитростные неграмотные люди впитывали его с готовностью и рвением. Но для того, чтобы это осознать и применить на практике, образованные люди должны поступиться своим умственным высокомерием и начать все сначала. Они должны очистить ум от теорий, от фальшивых псевдонаучных аналогий между миром человеческим и миром животным или между человеком и неодушевленным предметом. Только тогда смогут они воссоздать человеческие отношения с людьми необразованными – отношения, которых можно достичь только гуманностью и любовью.

Ему казалось, что в Новое время это видел только Руссо и еще, может быть, Диккенс. Положение народа нисколько не улучшится, покуда не только царских чиновников, но и «прогрессистов», как называл Толстой самодовольную и доктринерскую интеллигенцию, не «попросят с народной шеи», имея в виду под народом простой народ, включая детей. Пока образование калечит, надеяться почти не на что. Даже стародавний деревенский священник, замечает Толстой в одной из своих ранних работ, менее опасен: он был невежествен и

неуклюж, глуп и ленив, но обращался со своими учениками как с людьми, а не как с подопытными образцами. Он делал, что мог; он часто бывал несчастным, несдержанным, несправедливым, но это человеческие, «естественные» пороки, и потому их последствия не причиняли необратимого вреда, как у нынешних учителей, словно изготовленных на фабрике.

Неудивительно, что с такими идеями Толстой чувствовал себя уютнее среди реакционных славянофилов. Он отвергал их идеи, но сами они, как ему казалось, сохраняли хоть какую-то связь с действительностью – с землей, крестьянами, традиционным образом жизни. По крайней мере, они верили в примат духовных ценностей и тщетность попыток изменить человека, меняя лишь самые поверхностные стороны в его жизни посредством политических и конституционных реформ. Но славянофилы верили и в православную церковь, в уникальное историческое предназначение русского народа, в святость истории, как в процесс, согласный с Божьей волей, и оправдывали многие нелепости на том основании, что это нелепости родные и стародавние, а значит – орудия Божьего промысла. Они жили христианской верой в великое мистическое тело – разом и общество, и церковь, которое составлено из истинно верующих в поколениях прошлых, настоящих и еще не рожденных. Умом Толстой все это отвергал, но сердцем, нравом принимал, и даже слишком. Он хорошо понимал дворянство и крестьян, но и только, причем крестьян – лучше, чем дворян; он разделял многие инстинктивные воззрения своих соседей-помещиков; любые формы разночинного либерализма вызывали в нем, как и в них, органическое отвращение – людей средних сословий почти нет в его романах. К парламентской демократии, к правам женщин, ко всеобщему избирательному праву он относился примерно так же, как Коббет, или Карлейль, или Прудон, или Д.Г. Лоуренс. Он в полной мере разделял присущую славянофилам подозрительность к научным и теоретическим обобщениям: на этой почве он и смог общаться с московскими славянофилами. Но разум не был у него в ладу с инстинктивными симпатиями. Как мыслитель он очень близок к философам XVIII века. Он тоже считал, что патриархальное Российское государство и церковь, любезные сердцу славянофилов, – это организованный и лицемерный, преступный сговор. Подобно мыслителям Просвещения, он искал ключевые ценности не в истории, не в священной миссии наций, культур или церквей, но в личном человеческом опыте. Подобно им, он верил в вечные (а не развивающиеся исторически) истины и ценности и обеими руками отталкивался от романтических представлений о расе,

нации или культуре как о созидательных силах, а еще того больше – от гегельянского взгляда на историю как на самореализацию самосовершенствующегося разума, воплощенного в людях, общественных движениях и учреждениях. Такие идеи глубоко повлияли на его поколение, но он всю свою жизнь считал их туманным метафизическим вздором.

Этот ясный, холодный, бескомпромиссный реализм совершенно четко изложен в его ранних заметках, дневниках и письмах. Воспоминания тех, кто знал его еще ребенком или студентом Казанского университета, усиливают это впечатление. Толстой был глубоко консервативным, довольно своенравным, иррациональным, но разум его оставался спокойным, логичным и устойчивым, легко и бесстрашно доводя всякую мысль до логического предела, куда бы она ни вела; такое сочетание типично для русских, а порой – фатально. Все, что не выдерживало его критической оценки, он отвергал. Он ушел из Казанского университета, ибо решил, что профессора некомпетентны и заняты одними банальностями. Подобно Гельвецию и его соратникам в середине XVIII века, Толстой отвергал теологию, историю и преподавание мертвых языков – весь классический курс – как сумму фактов и правил, которых ни один здравомыслящий человек учить не станет. Особенно раздражала его история своими систематическими попытками отвечать на несуществующие вопросы, старательно опуская при этом все действительно важное. «История подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает», – объявил он ошеломленному однокурснику, когда их обоих посадили в университетский карцер за какую-то незначительную провинность. Впервые он пространно выразил свою «идеологическую позицию» в 1860-х годах; поводом послужило решение сочинить некий трактат на образовательные темы. В этой попытке проявилась вся его интеллектуальная мощь и вся его предвзятость.

В 1860 году, Толстой, тридцати двух лет от роду, переживал один из периодически возникавших в его жизни нравственных кризисов. К тому времени он уже приобрел некоторую писательскую известность – критики хвалили «Севастопольские рассказы», «Детство», «Отрочество», «Юность», две-три короткие повести. Он был на дружеской ноге с многими из тогдашнего исключительно талантливого поколения русских писателей – с Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Панаевым, Писемским, Фетом. Его язык поражал всех свежестью, остротой, великолепной пластичностью описаний, точностью и оригинальностью образов. Порой его стиль считали неуклюжим и даже варварским, но он

был, несомненно, самым многообещающим из молодых прозаиков; и все же его литературные друзья относились к нему довольно сдержанно. Он посещал литературные салоны и правого и левого толка (политические расхождения в Петербурге и в Москве становились все острее), но нигде не чувствовал себя своим. Он был дерзок, одарен, независим. Но он не был рожден для литературной среды, не был вполне сосредоточен на проблемах литературных, а еще того менее – на писательских; он забрел из другого, менее интеллектуального, более аристократичного и более примитивного мира. Он был дилетант из знатной семьи, однако в этом не было ничего нового – поэзию Пушкина и его современников, непревзойденную в истории русской литературы, создали гениальные дилетанты. Не происхождение, но нескрываемое его равнодушие к литературной жизни как таковой – к привычкам и проблемам профессиональных писателей, редакторов, публицистов – побуждало приятелей-литераторов чувствовать себя в его присутствии несколько скованно. Этот светский, умный молодой офицер бывал чрезвычайно милым; его любовь к писательству была искренней и весьма глубокой; но на литературных сборищах он был высокомерен, суховат и замкнут; он не собирался открывать душу в среде, которая только и занималась непрерывным и весьма доверительным самовыражением. Он был неприступен, презрителен, способен обескуражить, а пожалуй – и отпугнуть. Правда, он уже успел совершенно оставить привычную жизнь офицера-аристократа. Буйные ночи, к которым юные радикалы относились с гневом и презрением как к симптому развращенности реакционной *jeunesse dorée*[343], больше не привлекали его. Он женился, остепенился, он был влюблен в свою жену и на время сделался образцовым (хотя порой и несносным) мужем. Но он не давал себе труда скрывать, что испытывает гораздо больше уважения к любым формам реальной жизни, будь то свободная жизнь казаков на Кавказе или жизнь молодых гвардейских офицеров в Москве с их скачками, балами и цыганами, чем к миру книг, рецензий, критиков, профессоров, политических дискуссий, разговоров об идеалах, мнениях и литературных ценностях. Мало того, он был упрям, сварлив и временами неожиданно груб; поэтому его литературные друзья принимали с ним манеру какой-то нервической почтительности и в конце концов отдалялись от него, а то он и сам давал им отставку. За исключением Фета, который был чудаком и глубоко консервативным помещиком, у Толстого не было близких друзей среди писателей своего поколения. Его разрыв с Тургеневым хорошо известен. Отношения с другими *littérateurs* были еще

отдаленней. Некрасов больше нравился ему как человек, чем как поэт; но тот был блистательный издатель, он восторгался Толстым и всячески его поощрял с самого начала.

Толстого преследовало чувство резкого противоречия между жизнью и литературой. Из-за него он и сомневался в своем писательском призвании. Как многие богатые и знатные молодые люди, он испытывал угрызения совести – ведь он понимал, как ужасно живут крестьяне. Рассуждая или даже негодуя по этому поводу, он, как ему казалось, только уклонился бы от реального действия; а надо именно действовать и начать со своего же собственного имения. Подобно радикалам XVIII века, он был убежден, что люди рождаются равными, неравенство происходит от неверного воспитания. Он учредил в своей деревне школу для мальчиков; и, не удовлетворившись модными в то время в России образовательными доктринами, решил отправиться за границу, чтобы изучить западные методы и в теории, и на практике. Из своих поездок по Англии, Франции, Швейцарии, Бельгии и Германии он действительно немало почерпнул, включая название своего величайшего романа. Но, беседуя с самыми передовыми западными светилами и наблюдая их методы, он убедился, что методы эти в лучшем случае бесполезны, а в худшем вредны для тех детей, на которых их испытывают. В Англии он пробыл недолго и не обратил особого внимания на ее «устаревшие» школы. Во Франции он обнаружил, что обучают там совершенно механически, методом зубрежки. Ученики без труда отвечали на заранее подготовленные вопросы, знали на память длинные списки дат, но все потому, что они это вызубрили. Если тем же детям задавали те же вопросы с неожиданной для них точки зрения, они часто отвечали невпопад, а значило это, что они ничего толком не понимают. Очень типичным показался Толстому школьник, который ответил, что Генриха IV убил Юлий Цезарь, – мальчик не понимал и понимать не хотел накопленных в памяти фактов, почти все он запомнил механически.

Но подлинной родиной всяческих теорий была Германия. Страницы, которые Толстой посвящает описанию немецкой школы и немецких учителей, предвосхищают знаменитые страницы «Войны и мира», где он жестоко насмехается над прославленными экспертами в другой области – немецкими стратегами на русской службе, которых он выставляет гротескными и напыщенными болванами.

В «Ясной Поляне», журнале, который он издавал частным образом в 1861–1862 годах, Толстой говорит о том, как ездил на Запад, чтобы посмотреть, как там учат детей, и приводит в пример ужасающий (и чрезвычайно забавный) отчет о новейших

методах преподавания алфавита, используемых выпускником одной из самых передовых немецких педагогических семинарий. Педантичный, безмерно самодовольный учитель входит в класс и отмечает с одобрением, что ученики сидят по местам, вышколенные и послушные, в полной тишине, по всем немецким правилам. «Он оглядывает класс и уже знает, что они должны будут усвоить; он знает и это; и то, из чего сделаны детские души, и многое другое, чему его учили в семинарии». Вооружен он новейшим и самым передовым учебником, который называется «Das Fischbuch». Там – картинки с рыбами.

«Что это такое, дорогие дети?» – «Рыба», – отвечает самый догадливый. – «Нет». И он не успокоится, пока какой-нибудь ребенок не скажет, что видят они не рыбу, а книгу. Так-то будет лучше. «А что содержится в книгах?» – «Буквы», – говорит самый отважный мальчик. «Нет-нет, – печально говорит учитель. – Вам придется сперва хорошенько *подумать*, что вы такое говорите». К этому моменту дети уже почти совсем растеряны: они понятия не имеют, чего от них хотят. У них появляется смутное и совершенно правильное впечатление, что учитель хочет, чтобы они сказали что-нибудь невразумительное, например, что рыба – это не рыба, и чего бы он от них ни добивался, им до этого никогда не додуматься. Мысли у них разбредаются. Они гадают (это очень по-толстовски), почему учитель носит очки, почему он смотрит сквозь них, а не снимет, и так далее. Учитель велит им сосредоточиться, он изводит и мучит их до тех пор, пока не вынудит сказать, что они видят не рыбу, а картинку, а затем, после новых мучений – что на этой картинке рыба. Если именно того он и хочет от них добиться, не проще ли, спрашивает Толстой, чтобы они заучили наизусть этот образчик глубокой мудрости? Зачем мучить их по методу «рыбьей книги», от которого они совсем не приучаются «мыслить творчески», а просто тупеют на глазах?

По-настоящему умные дети понимают, что, как ни ответь, все будет неверно. Почему – они не могут взять в толк, просто так получается, и это они понимают; а вот глупые, случайно попав в точку, не знают, за что их хвалят. Германский педагог скармливает мертвый человеческий материал – или, вернее, живых людей – нелепому механическому методу, изобретенному тупыми фанатиками, которым кажется, что они знают, как применить науку к образованию. Толстой уверяет нас, что его отчет (из которого я привел только небольшой отрывок) – не пародия, а достоверное воспроизведение того, что он видел и слышал в самых передовых школах Германии и «тех школах в Англии, которым посчастливилось перенять эти чудесные…

методы».

Разгневанный и возмущенный, он вернулся в свое российское имение и начал сам обучать деревенских детей. Он строил школы, он продолжал штудировать, отрицать и разоблачать тогдашние педагогические доктрины, он издавал журналы и памфлеты, изобретал новые способы учить географии, зоологии, физике; сочинил целый учебник по арифметике, яростно разносил любые принудительные методы обучения, особенно те, что основаны на чистой зубрежке фактов, дат и цифр. Словом, он вел себя как просвещенный, энергичный, упрямый помещик XVIII века, чудак и оригинал, который увлекся доктринами Руссо и аббата Мабли. В дореволюционных собраниях сочинений его отчеты о своих теориях и экспериментах составляют два объемистых тома. Они и по сей день остаются совершенно восхитительными, хотя бы потому, что так описать деревенскую жизнь и в особенности детей, смешных и трогательных, даже ему самому редко удавалось. Писал он это в 1860–1870-е годы, в полном расцвете творческих сил. Его напористо-нравоучительные интонации легко уходят на задний план, стоит только погрузиться в бесподобный, густой и прихотливый узор детских мыслей, в ту изумительно богатую реалиями и творческим воображением манеру, в которой описаны их речь, их нравы и окружающая их природа. А бок о бок с этой попыткой прямо передать живой человеческий опыт идут четкие и жесткие догмы фанатически уверенного в собственной правоте доктринера-рационалиста в духе XVIII века – и догмы эти не сливаются с жизнью, которую он так хорошо описывает, но накладываются на нее, как строго симметрический узор на стекле, не имеющий никакого отношения к тому миру, на который выходят окна, но все-таки достигающий с ним какого-то иллюзорного единства, интеллектуального и художественного сразу. Очень уж живо и блистательно все это написано. В литературе немного таких замечательных представлений.

Противник всегда один и тот же: специалисты, профессионалы, люди, претендующие на особую власть над другими людьми. Нередко мишенью для атаки становятся университеты и профессора. Первые намеки такого рода встречаются уже в последней части его раннего автобиографического романа, озаглавленной «Юность». Есть что-то неуловимо напоминающее XVIII век, сразу и Вольтера, и Бентама, в отчаянно злых толстовских очерках российских университетских нравов своего времени, где профессора унылы и некомпетентны, а студенты подчиняются им и отчаянно скучают. Тон повествования необычен для XIX века – сухой, ироничный,

нравоучительный, язвительный, одновременно бесстрастный и занимательный; целое же основано на контрасте между гармонической простотой природы и саморазрушительной системой сложностей, порожденных злобой или глупостью людей, которых автор чуждается, старательно не понимает и высмеивает со стороны.

Мы – у самых истоков темы, которой в позднем своем периоде Толстой просто одержим: решение всех наших проблем – прямо у нас перед глазами; ответ повсюду, как свет дня, если только мы не станем закрывать глаза или щуриться по сторонам, не замечая, как вглядывается нам в лицо ясная, простая, неодолимая правда.

Как Руссо, и Кант, и сторонники естественного права, Толстой убежден, что у человека есть основные материальные и духовные потребности, где и когда бы он ни жил. Если эти потребности удовлетворяются, люди ведут ту гармоничную жизнь, для которой от природы и созданы. Моральные, эстетические и другие духовные ценности объективны и вечны, и внутренняя гармония человека зависит от правильного к ним отношения. Кроме того, он всю свою жизнь отстаивал представление, которому, правда, не нашлось места в его собственных романах и набросках, о том, что люди гармоничней в детстве, чем в дальнейшей жизни под несчастливым знаком растлевающего душу образования; а также о том, что простой народ (крестьяне, казаки и так далее) «естественнее» и правильнее относится к этим ценностям, чем цивилизованные люди, и что он свободен и независим в том смысле, в каком цивилизованные несвободны. Крестьянские общины (твердит он снова и снова) вполне удобны, чтобы удовлетворить свои материальные и духовные потребности собственными силами, если их не грабят и не давят угнетатели и эксплуататоры; а вот цивилизованные люди не выживут, если на них не будут работать крепостные, рабы, угнетенные, именуемые по иронии судьбы «подневольными», хотя на самом деле это барин зависит от их воли. Господа живут за чужой счет и деградируют не только потому, что, используя и порабощая других, они отрицают такие объективные ценности, как справедливость, равенство, достоинство, любовь, к которым люди непременно стремятся, раз уж они люди. Еще важнее, на его взгляд, то обстоятельство, что, живя за счет награбленного или присвоенного, а значит – не умея обеспечить себя, человек теряет «естественные» чувства и способность к «естественному» восприятию мира, разлагается нравственно, становится несчастным и злым. Человеческий идеал – общество свободных и равных людей, которые живут и

мыслят при свете правды и потому не вступают в конфликт ни с собой, ни с другими. Это одна из формул – кстати сказать, несложная – классической доктрины естественного права и в религиозной, и в светской, либерально-анархистской его разновидности. Ее Толстой придерживался всю свою жизнь и в «мирском» периоде, и после «обращения». В его ранних повестях и рассказах она представлена достаточно ярко. В «Казаках» Лукашка и дядя Ерошка – нравственно выше, счастливей и гармоничней, чем Оленин, – и он это знает, в этом вся соль. Пьер в «Войне и мире» и Левин в «Анне Карениной» чувствуют такое в простых крестьянах и солдатах, как и Нехлюдов в «Утре помещика». Это убеждение все больше и больше пропитывало сознание Толстого, пока не затмило все прочие проблемы в его позднейших творениях: «Воскресение», «Смерть Ивана Ильича» без этого понять невозможно.

Критическая мысль Толстого постоянно вращается вокруг этой центральной идеи – контраста между естественным и искусственным, правдой и вымыслом. Когда, например, в 1890-х он сформулировал условия высокой художественности в искусстве (в предисловии к русскому переводу рассказов Мопассана), он потребовал, чтобы каждый писатель был, во-первых, достаточно талантлив; во-вторых, чтобы рассматриваемые темы его были важны с нравственной точки зрения; наконец, чтобы он действительно любил (то, что достойно любви) и ненавидел (достойное ненависти), был «сопричастным», сохранял по-детски непосредственное нравственное видение, а не калечил свою натуру, стремясь к обманчивой, разрушительной, всегда иллюзорной беспристрастности или, еще того хуже, умышленно извращая «естественные» ценности. Талант не дается всем людям в равной степени; но всякий сможет, если попытается, обнаружить вечные, неизменные признаки того, что хорошо и что плохо, что важно, а что мелко. Только ложные – «надуманные» – теории вводят в заблуждение людей и писателей, искажая тем самым их жизнь и творческую деятельность. Толстой применяет этот критерий буквально, почти механически. Некрасов, с его точки зрения, пишет о глубоких и важных вещах, и пишет к страдающим крестьянам и сломленным идеалистам как-то холодно и не вполне естественно. Сюжетам Достоевского не занимать серьезности, он искренне и глубоко ими озабочен; однако здесь не соблюдено первое условие: он многословен, он повторяется, он не умеет ясно сказать правду и вовремя остановиться. Тургенев, напротив, и писатель прекрасный, и к темам своим относится правдиво, нравственно им соответствует; но он не проходит по

второму пункту, сюжеты слишком избиты и банальны – а этого не восполнят ни искренность, ни мастерство. Содержание определяет форму, только так; если содержание слишком незначительно или банально, ничто не спасет твое творенье. Думая иначе, веря в примат формы, мы пожертвуем истиной и закончим надуманной игрой в искусство. Во всем критическом словаре Толстого нет более оскорбительного слова, чем «надуманный», означающего, что писатель не испытал на самом деле и не представил себе, но лишь «сочинил», «надумал» то, что вознамерился описать.

Точно так же Толстой утверждает, что Мопассан, чьим талантом он искренне восхищался, изменил себе именно благодаря этим фальшивым и вульгарным теориям. Правда, он остался хорошим писателем, в той степени, в какой он, подобно Валааму, вознамерившись опорочить добродетель, поневоле распознал благо, и полюбил его, и против собственной воли обратился к правде. Талант – это зоркость, а зоркость открывает правду, правда же объективна и вечна. Видеть истинное в природе или в человеческом поведении, видеть непосредственно и живо, как только гений (или простой человек, или ребенок) может видеть, а потом отрицать или хладнокровно искажать, неважно ради чего, – чудовищно и противоестественно; явственный признак глубокого нравственного нездоровья.

Правда познаваема; следовать ей – значит быть хорошим, душевно здоровым, гармоничным. Ясно, однако, что наше общество негармонично и не состоит из внутренне гармоничных индивидов. Интересы образованного меньшинства – которое Толстой именует профессорами, баронами и банкирами – противоположны интересам большинства – крестьян, вообще бедных; каждая из сторон равнодушна к ценностям другой или подсмеивается над ними. Даже те, кто, подобно Оленину, Пьеру, Нехлюдову, Левину, обнаруживают пустоту профессорских, баронских и банкирских ценностей и всю глубину морального падения, куда заводит ложное, растлевающее воспитание, даже те, кто искренне раскаялся, не могут, несмотря на все прекраснодушные чаяния славянофилов, «слиться» с массой простых людей. Настолько ли они испорчены, что им не вернуть утраченной невинности? Безнадежно ли их положение? А может быть, цивилизованные люди усвоили (или открыли) какие-то собственные ценности, о которых варвары и дети даже и не догадываются, но которых они, цивилизованные люди, не могут утратить или забыть, даже если бы чудом превратились в крестьян или в свободных и счастливых казаков? Это одна из центральных и самых мучительных проблем для Толстого, он

непрестанно возвращается к ней и подбирает взаимоисключающие ответы.

Толстой прекрасно знает, что он и сам вполне определенно принадлежит к меньшинству, состоящему из баронов, банкиров и профессоров. Он слишком хорошо знаком с симптомами своей болезни. Он не может, например, отрицать своей страстной любви к Моцарту и Шопену или к Тютчеву и Пушкину, к самым зрелым плодам цивилизации. Ему никак не обойтись без печатного слова и всех тех сложных атрибутов культуры, на фоне которых только и можно жить такой жизнью и создавать такие шедевры. Но что толку от Пушкина деревенским мальчишкам, когда им он попросту непонятен? Какие реальные блага принесло крестьянам книгопечатание? Нам говорят, замечает Толстой, что книги просвещают (то есть развращают) сообщества; что именно печатное слово способствовало освобождению крепостных. Нет, это неверно: правительство сделало бы все то же самое и без книг и статей. Пушкинский «Борис Годунов» доставляет удовольствие только ему, Толстому; для крестьян он не значит ничего. Победы цивилизации? Телеграф сообщает о здоровье сестры или о замыслах греческого короля; но какой от этого прок народу? Однако именно он, народ, всегда оплачивал подобные нововведения и прекрасно об этом знает. Когда крестьяне убивают врачей во время «холерных бунтов» потому, что видят в них отравителей, они поступают дурно, но убийства эти не случайны: крестьяне чуют, кто их угнетатели, а врачи принадлежат именно к этому классу. Когда Ванда Ландовска играла на рояле для крестьян Ясной Поляны, почти все они остались совершенно равнодушными. Но можно ли сомневаться в том, что именно простые люди живут жизнью неизмеримо более цельной и гармоничной в сравнении с искореженными, изуродованными жизнями богатых и образованных людей?

Простой народ, доказывает Толстой в ранних педагогических работах, сам обеспечивает себя не только материально, но и духовно – народные песни, «Илиада», Библия выходят из самой народной толщи и потому понятны всем и везде, а «Silentium» Тютчева, или «Дон Жуан», или Девятая симфония – непонятны. Если идеал человека существует, его следует искать не в будущем, а в прошлом. Когда-то, как сказано в Библии и у Руссо, был Эдемский сад и в нем жили неразвращенные люди; потом пришли грехопадение, порча, страдание, неправда. Только слепой (Толстой повторяет это снова и снова) может верить, как верят либералы или социалисты, то есть сторонники прогресса, что золотой век все еще впереди, что история – это история совершенствования, что материальный прогресс в естественных

науках и материальных навыках совпадает с нравственным продвижением. На самом деле все наоборот.

Ребенок ближе к идеальной гармонии, чем взрослый, а простой крестьянин – ближе, чем истерзанные, «отчужденные», не имеющие нравственных и духовных корней, разрушающие себя паразиты, из которых состоит цивилизованная верхушка. Именно отсюда проистекает знаменитый толстовский антииндивидуализм, в особенности мысль о том, что индивидуальная воля – источник заблуждений и искажений «естественных» человеческих наклонностей, и, следовательно, убежденность (почерпнутая во многом из шопенгауэровской доктрины о воле как источнике страданий) в том, что, планируя, организовывая, полагаясь на науку, пытаясь создать рациональные жизненные схемы в соответствии с рациональными теориями, мы плывем против течения, закрываем глаза на скрытую в нас самих правду, искажаем факты, подгоняя их под искусственные схемы, мучаем людей, подгоняя их под социальные и экономические системы, против которых протестует само наше естество. Отсюда же и обратная сторона этой мысли – толстовское непротивление. Он верит в возможность интуитивно постичь, что все не просто неизбежно, но объективно, промыслительно идет ко благу, и этому надо подчиняться.

Вот одна из сторон его учения, самая знаменитая, самая центральная идея толстовства, и она проходит через все его книги – романы, статьи, проповеди – от «Казаков» и «Семейного счастья» до последних религиозных трактатов. Именно это осуждали либералы и марксисты. Именно в этом расположении духа Толстой говорил, что, воображая, будто исторические личности управляют событиями, мы впадаем в манию величия и обманываем себя. Повествование его выстроено так, чтобы показать незначительность Наполеона или царя Александра, аристократов и бюрократов в «Анне Карениной», судей и чиновников в «Воскресении»; или еще пустоту и умственную беспомощность историков и философов, которые пытаются объяснить события, применяя к великим людям такие понятия, как «власть», или приписывая «влияние» литераторам, ораторам, проповедникам, хотя это пустые слова, абстракции, которые, на его взгляд, ничего не объясняют, поскольку сами гораздо менее внятны, чем факты, которые они призваны объяснить. Он утверждает, что мы даже не приблизились к пониманию, а значит, и к возможности объяснить или проанализировать, что значит обладать властью, влиять, господствовать. Объяснения, которые ничего не объясняют, – это, по Толстому, симптом самодовольного разума, способного разрушить невинность,

исказить представления о мире и погубить человеческую жизнь.

Этот мотив, вдохновленный Руссо и сказавшийся уже в раннем романтизме, породил опрощение и в искусстве, и в жизни, причем не только в России. Толстому кажется, что он и другие люди могут найти путь к правде о том, как следует жить, приглядываясь к народу, изучая евангельские заповеди.

Другой свойственный ему мотив прямо противоположен. Михайловский совершенно справедливо замечает, что при всей своей очарованности Кавказом и казацкой идиллией Оленин не может превратиться в Лукашку, вернуться к детской гармонии, которая в нем самом давно разрушена. Левин знает, что если бы он попытался стать крестьянином, вышло бы смешно и нелепо, а крестьяне бы первыми это поняли и высмеяли: и он, и Пьер, и Николай Ростов смутно осознают, что богаты чем-то таким, чего нет у крестьян. Толстой объясняет образованному читателю, что крестьянин «нуждается в том, чем вас снабдила жизнь десяти поколений, не задавленных тяжким трудом. У вас был досуг, чтобы искать, думать, страдать – так отдайте его тому, ради кого вы страдали; он нуждается в этом… не зарывайте в землю таланта, данного вам историей…».

Досуг, в таком случае, не всегда вреден. Прогресс возможен; мы можем учиться на опыте прошлого, в отличие от тех, кто в этом прошлом жил. Да, общество неправильно устроено; и это накладывает на нас прямые обязанности. Те, кто принадлежит к цивилизованной элите, трагически оторванной от народа, обязаны по мере сил восстанавливать поруганную человечность, не прекращая эксплуатировать людей, давать им то, в чем они более всего нуждаются, – образование, знания, материальную помощь, возможность жить лучше. По словам Михайловского, Левин в «Анне Карениной» начинает там, где остановился Николай Ростов. Они не квиетисты, и все же то, что они делают, правильно. Отмена крепостного права была, по мнению Толстого, мерой половинчатой, и все-таки это действие, мало того – доброе действие правительства, а теперь надо научить крестьян писать, читать, считать, они ведь не могут научиться сами; надо дать им средства, без которых не воспользуешься свободой. Я не могу слиться с крестьянской массой; но я могу хотя бы употребить плоды неправедно приобретенного моими предками и мной самим досуга – мое образование, знания, навыки – на благо тех, чей труд сделал этот досуг возможным.

Вот этот талант я и не вправе хоронить. Я должен работать, чтобы приблизить справедливое общество в соответствии с теми объективными требованиями, которые осознают и принимают все люди, кроме безнадежно развращенных, независимо от того,

живут они в соответствии с этими требованиями или нет. Простой народ видит их отчетливее, утонченная публика – смутно, но каждый человек, если, конечно, он даст себе труд, вполне в состоянии их разглядеть; фактически способность видеть их отчасти определяет, человек ли ты. Когда совершается несправедливость, я обязан выступить против нее и воспрепятствовать ей; художник не более, чем кто-либо другой, имеет право сидеть сложа руки. Хорошего писателя отличает способность видеть правду – социальную и личную, материальную и духовную – и представлять ее так, чтобы от нее уже невозможно было отделаться. Толстой считает, к примеру, что Мопассан именно этим и занят, вопреки себе и своим эстетическим заблуждениям. Сам он достаточно развращен и может принять сторону зла, предпочитая никчемного парижского совратителя его жертвам. Однако, если он добирается до глубинных пластов истины – а талантливый человек непременно до них доберется, – он вольно или невольно ставит перед читателем фундаментальные нравственные проблемы, от которых читатель уже не сможет уйти и не сможет найти на них ответа, не пройдя через строгий и мучительный самоанализ.

Это, с точки зрения Толстого, открывает путь к возрождению, и в этом – истинное дело искусства. Призвание – талант – подчиняет нас внутренней потребности; выполнять ее волю – прямая цель и обязанность всякого художника. Ни в коем случае нельзя видеть в художнике поставщика развлечений или ремесленника, чье единственное дело – создать красивую вещь, как полагают Флобер, Ренан и Мопассан[344]. Существует лишь одна достойная человеческая цель, в равной мере обязательная для каждого из нас, для помещиков, врачей, баронов, профессоров, банкиров, крестьян: говорить правду и руководствоваться ею в своих действиях, то есть творить добро и склонять других к тому же. Что Бог есть, что «Илиада» прекрасна, что люди вправе быть свободными и равными – вечные и абсолютные истины. Поэтому мы обязаны склонять людей к чтению «Илиады», а не порнографических французских романов, трудиться на благо равноправного общества, а не теократической или политической иерархии. Насилие есть зло; люди всегда знали, что это именно так; значит, они должны создать такое общество, в котором не будет ни войн, ни тюрем, ни пыток ни при каких условиях, ни на каких основаниях; общество, в котором личная свобода существует в наибольшей степени. Своим собственным путем Толстой пришел к христианскому анархизму, имеющему много общего со взглядами русских народников, которые, если бы не их начетнический социализм, вера в науку и

приверженность к террористическим методам, весьма близки к его позиции. Теперь он вроде бы защищает программу, связанную с действием, а не с социальным квиетизмом; на этой программе основана образовательная реформа, которую он пытался претворить в жизнь. Он хотел обнаружить, собрать, растолковать вечные истины, пробудить у детей и у простого народа самопроизвольный интерес, воображение, любовь, любопытство; и прежде всего высвободить их «естественные» силы – нравственные, эмоциональные, интеллектуальные, – которые (он не сомневался в этом, как не сомневался Руссо) помогут достичь гармонии и в людях, и между людьми, если мы, конечно, устраним все то, что может их искалечить, сковать или убить.

Эта программа – сделать возможным свободное саморазвитие всех человеческих способностей – покоится на широком допущении: существует хотя бы один путь развития, на котором эти способности не вступят в конфликт друг с другом, не станут развиваться друг другу в ущерб – верный путь к совершенной гармонии, где всякая часть находится на своем месте и не противоречит целому. Отсюда можно вывести, что этот путь нам укажут познание человеческой природы, полученное через наблюдение, самоанализ, интуицию, или внимательное знакомство с жизнью и трудами самых лучших и самых мудрых людей, какие только были на свете. Здесь не место подробно рассуждать о том, насколько эта доктрина согласуется с древними религиозными учениями или с современной психологией. Я только хотел подчеркнуть, что программа эта направлена на активное действие, она бросает вызов всем социальным ценностям, всевластию государств, сообществ, церквей, жестокости, несправедливости, глупости, лицемерию, слабости, а прежде всего – тщеславию и нравственной слепоте. Человек, хорошенько повоевавший на этом фронте, искупит свой грех – то, что он жил ради наслаждений, помыкал людьми, был потомком и наследником разбойников и угнетателей.

Толстой действительно в это верил, проповедовал и применял на практике. «Обращение» изменило его взгляды на то, что хорошо и что плохо. Вера в необходимость действия ничуть не ослабла. Свои самые принципиальные позиции он не сдавал и не менял никогда. Враг проник через другую дверь: толстовское чувство реальности было слишком безжалостным, чтобы позволить ему уйти от мучительных сомнений в том, как эти принципы – верные или неверные – применять на практике. Даже если *я* верю, что те или иные вещи прекрасны и хороши, а такие-то вредны и уродливы, какое право *я* имею воспитывать других, когда я знаю, что не могу не любить Шопена и Мопассана, тогда

как гораздо лучшие люди – крестьяне и дети – их не любят? Имею ли я, стоящий в конце долгого развития – нескольких поколений цивилизованной, неестественной жизни, – имею ли я право касаться до *их* душ?

Пытаясь повлиять на кого-либо, мы ввязываемся в сомнительное с нравственной точки зрения предприятие. Это очевидно, когда один человек грубо помыкает другим. Однако в принципе так можно взглянуть и на образование. Всякий педагог стремится оформить умы и жизни своих учеников в соответствии с некой заранее заданной целью или моделью. Но если мы, изощренные представители глубоко развращенного сообщества, сами несчастливы, дисгармоничны и блуждаем впотьмах, на что мы способны, кроме как превращать здоровых от рождения детей в наше собственное недужное подобие, делая из них таких же калек, как мы сами? Мы то, чем мы стали, мы не можем не любить Пушкина и Шопена; и вдруг оказывается, что дети и крестьяне находят их непонятными либо скучными. Что же мы делаем? Мы упорствуем, мы «образовываем» их, пока они тоже не начинают получать от этих стихов или этой музыки хотя бы какое-то удовольствие или, по крайней мере, понимать, почему все это нравится нам. Что мы сделали? Моцарт и Шопен восхищают нас только потому, что они сами были детьми нашей упадочной культуры, и оттого язык их понятен нашему больному разуму; но какое право мы имеем заражать других, делать их такими же развращенными? Мы замечаем изъяны чужих систем. Мы прекрасно видим, как ломается человеческая личность под гнетом протестантского послушания, католического соревнования или той дикой смеси из своекорыстия и преклонения перед чином или социальным статусом, на которой, согласно Толстому, построена русская воспитательная система. Не будет ли чудовищной самонадеянностью или редкостной непоследовательностью вести себя так, как будто наши прославленные системы, выстроенные по Песталоцци или по ланкастерскому методу, то есть несущие на себе явственный отпечаток цивилизованных, а значит, искалеченных личностей, непременно лучше или хотя бы безвредней всего того, что мы столь охотно и справедливо осуждаем в поверхностных французах или в напыщенных немцах?

Как этого избежать? Толстой повторяет уроки «Эмиля». Природа, только природа может нас спасти. Постараемся понять, что «естественно», самопроизвольно, неиспорченно, цельно, в гармонии с собой и с другими, и будем расчищать пути в этом направлении, не пытаясь что бы то ни было изменить, подогнать под шаблон. Надо слушаться подсказок нашей собственной,

подавленной, но подлинной натуры, а не смотреть на нее как на сырой материал для нашей неповторимой личности и могучей воли. Бросая вызов, словно Прометей, ставя цели и строя миры, противореча истинам, которые наше же собственное нравственное чувство признает вечными, данными всем людям раз и навсегда; истинам, благодаря которым мы – люди, а не животные, только впадаешь в смертный грех гордыни, общий для всех реформаторов, всех революционеров – словом, всех тех, кого почитают великими и полезными. Свойствен он и чиновникам или помещикам, которые из либеральных убеждений, или со скуки, или просто из прихоти вмешиваются в жизнь крестьян[345]. Не учите; учитесь, в этом смысл написанной около ста лет назад статьи Толстого: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», а также всех его записей, опубликованных в 1860-х и 1870-х годах, написанных с обычной для него свежестью восприятия, вниманием к детали, с неподражаемой силой непосредственного видения, где он приводит в пример рассказы, написанные детьми из его деревни, и говорит о благоговении, которое он испытывал, присутствуя при акте чистого творчества, в котором, как он уверяет, не принимал ни малейшего участия. Эти рассказы только проиграли бы от его «исправлений»; они кажутся ему гораздо более глубокими, чем что бы то ни было у Гете; он объясняет, как устыдился он из-за них своего высокомерия, тщеславия, своей глупости, узости, нравственной и эстетической глухоты. Если мы чем-то и можем помочь детям и крестьянам, то разве что облегчив им возможность свободно двигаться по своему собственному, инстинктивно найденному пути. Направлять – значит портить. Люди добры и нуждаются только в свободе, чтобы реализовать свои хорошие качества.

«Образование, – пишет Толстой в 1862 году, – это действие одного человека на другого, имеющее в виду побудить этого другого человека приобрести определенные нравственные привычки (мы говорим: они воспитали его лицемером, разбойником или хорошим человеком. Спартанцы воспитывали смелых людей, французы воспитывают личности однобокие и самодовольные)». Но это значит, что мы привыкли воспринимать – и использовать – людей как сырой материал, из которого мы лепим; иначе понять «воспитание» по тому или иному образцу невозможно. Мы явно готовы изменить направление, которому сами по себе следуют душа и воля другого человека, готовы отрицать его свободу – но ради чего? Ради наших извращенных, ложных или, в лучшем случае, весьма сомнительных ценностей? Это подразумевает ту или иную

степень нравственного принуждения. Поддавшись на мгновенье панике, Толстой спрашивает, не движет ли учителем *зависть* – настаивая на своем, тот завидует «чистоте ребенка» и желает «сделать ребенка подобным себе, то есть развратить его». Чем была история образования? Все философы педагогики, от Платона до Канта, стремились к одной и той же цели: «освободить образование от гнета оков исторического прошлого». Они хотят «угадать нужды людей и затем построить свои новые школы на основании того, что им удалось более или менее правильно угадать». Они снимают одно ярмо только для того, чтобы надеть вместо другое. Некоторые схоласты настаивали на изучении греческого, потому что это язык Аристотеля, который знал правду. Но, продолжает Толстой, Лютер отрицал авторитет отцов церкви и настаивал на изучении древнееврейского, ибо он *знал*, что именно на этом языке Бог открыл людям вечные истины. Бэкон стремился к эмпирическому познанию природы, и его теории противоречили аристотелевским. Руссо провозгласил веру в жизнь, такую, как он ее понимал, в жизнь, а не в теорию.

Но в одном они все были согласны: нужно освободить молодых от слепого деспотизма стариков; и всякий тут же подставлял на освободившееся место свою собственную жесткую, не терпящую возражений догму. Если я уверен в том, что знаю правду, а все прочие ошибаются, получаю ли я в силу этого, одного-единственного обстоятельства право учить и воспитывать других людей? Достаточное ли это условие, независимо от того, вступает ли моя уверенность в согласие с уверенностью окружающих? По какому праву я строю стену вокруг ученика, исключаю все внешние влияния и пытаюсь сформировать его именно так, как мне нравится, по моему или чьему-то еще образу и подобию?

Ответить на этот вопрос, страстно бросает прогрессистам Толстой, нужно или «да» или «нет». «…Если “Да”, то еврейская синагога, церковная школа имеет такое же законное право на существование, как и все наши университеты». Он заявляет, что с нравственной точки зрения не видит никакой разницы, по крайней мере принципиальной, между непременной латынью в традиционных гимназиях и столь же непременным материализмом, которым радикальные профессора пичкают свою безответную аудиторию. Тогда найдется что сказать в пользу тех вещей, которые с такой охотою поносят либералы, – домашнего обучения, например; ведь желать, чтобы твои дети были похожи на тебя, вполне естественно для родителей. Можно оправдать и воспитание религиозное, ведь верующие хотят спасти всех остальных от того, что они считают вечной гибелью. Получает

право обучать людей и правительство, ведь общество не сможет выжить без той или иной формы правления, а правительство не сможет существовать, если ему не служат квалифицированные специалисты.

Что же лежит в основе «либерального образования» в школах и университетах, набитых людьми, которые даже не претендуют на уверенность в том, что они учат правде? Уроки опыта? Уроки истории? История учит нас только тому, что все предыдущие образовательные системы оказались насилием, покоящимся на лжи, и были совершенно забракованы. Не оглянется ли XXI век на наш XIX с такой же насмешкой и презрением, с какими мы смотрим на средневековые школы и университеты? Если история образования – всего лишь история угнетения и ошибок, какое мы имеем право длить этот отвратительный фарс? Если же нам говорят, что всегда так было, ничего нового в этом нет, тут уж ничего не поделаешь, просто работать как можно лучше – но с таким же успехом можно сказать, что убийства бывали всегда, так что и мы имеем на них право, хотя открыли причины, побуждающие совершать убийства?

Мы были бы просто мерзавцами, если бы не сказали, по крайней мере, так: поскольку мы, в отличие от папы с Лютером или современных позитивистов, не считаем, что наша педагогика (либо другие виды влияния на людей) основывается на знании абсолютной истины, мы не должны хотя бы мучить других во имя того, чего сами не знаем. Наверное мы можем знать только одно – чего действительно хотят люди. Что же, наберемся мужества хотя бы на то, чтобы признать свое невежество, свои сомнения и колебания. Попытаемся хотя бы понять, в чем дети или взрослые испытывают потребность, снимем очки традиции, предубеждения и догмы, чтобы познать людей такими, какие они есть, выслушать их внимательно и сочувственно, понять их самих, жизнь и нужды каждого. Попытаемся обеспечить их тем, о чем они просят, и не станем силой навязывать наших догм. Дайте им *Bildung*[346] (Толстой приводит точный русский эквивалент этого термина и с гордостью указывает, что его нет во французском или английском языке) – иначе говоря, старайтесь воздействовать на них через примеры и правила, взятые из их же собственной жизни. Не применяйте к ним «обучения», ведь это, в сущности, – один из способов насилия, которое уничтожает в человеке самое естественное и святое – способность самостоятельно мыслить и поступать в соответствии с тем, что он полагает благим и истинным, власть и право руководить собой.

Однако Толстой не может остановиться на этом, как делали многие либералы. И впрямь, тут же возникает вопрос: как же нам

так исхитриться и оставить школьника или студента свободным? Не давать никаких моральных оценок? Предлагать только «факты», а не этические, эстетические, социальные или религиозные доктрины? Позволять, чтобы он делал собственные выводы, не пытаясь подтолкнуть его ни в одном из возможных направлений, чтобы не заразить его нашим болезненным мировоззрением? Но возможно ли между людьми настолько нейтральное сообщение? Ведь, когда мы общаемся, мы сознательно или бессознательно запечатлеваем один характер, или способ жить, или систему ценностей – в других? Бывают ли в принципе люди настолько отделены друг от друга, чтобы, тщательно уклоняясь от всего, что превышает минимальный уровень отношений, оставаться стерильно чистыми, абсолютно свободными в различении правды и лжи, добра и зла, красоты и уродства? Не глупо ли думать, что человека можно уберечь от любого влияния со стороны общества, не глупо ли даже для того мира, в котором протекали зрелые годы Толстого, то есть, строго говоря, без всех тех сведений о нашей природе, которые мы теперь приобрели стараниями психологов, социологов и философов? Да, мы живем в вырождающемся обществе; только чистые могут нас спасти. Но кто будет учить обучающих? Кто чист настолько, чтобы достаточно знать, а уж тем более – суметь излечить наш мир или хоть кого-то одного?

Между этими двумя полюсами – невинностью и ученостью (на одном – факты, природа, то, как оно есть на самом деле; на другом – долг, справедливость, то, как оно должно быть), между требованием непосредственности и требованием подчиниться долгу, между несправедливостью насилия и несправедливостью небрежения – Толстой мучительно метался всю жизнь. Да что там, не только он, но и те русские народники, и социалисты, и идеалистические студенты, которые «пошли в народ», но не могли решить, идут они учить или учиться. Что такое «народное благо», ради которого они готовы пожертвовать жизнью, то, чего хочет «народ», то, чего хотят для него одни реформаторы; а он только должен хотеть, и хотел бы, будь он столь же образован и мудр, как его защитники, но в нынешнем своем блаженном состоянии часто не желает принимать и чему яростно сопротивляется.

Именно эти противоречия, а также непоколебимое признание своей неспособности примирить или смягчить их в каком-то смысле придают особое значение и жизни Толстого, и полным нравственного мучения, подчеркнуто дидактическим страницам его книг. Он гневно отвергал попытки своих либеральных современников найти компромисс, оправдать свою слабость как

пустые отговорки. Однако он верил, что в конце концов можно решить, как применять на практике заповеди Христа, даже если ни ему, ни кому-либо другому пока и не удалось его в полной мере открыть. Он отвергал саму возможность того, что некоторые из целей и задач, о которых он говорит, могут быть в буквальном смысле слова и реальны, и несовместимы. Историцизм против моральной ответственности; квиетизм против обязанности противостоять злу; телеология или строгая причинность против игры случая и непостижимых для разума сил; духовная гармония, простота, народ – и неотвратимая притягательность культуры избранного меньшинства; развращенность цивилизованной части общества – и ее прямая обязанность поднять народ до своего уровня; искажающее влияние страстной, простой, односторонней веры – и ясное ощущение сложности фактов и неизбежной слабости реальных действий, проистекающей из просвещенного скептицизма. В философии Толстого каждый из этих мотивов выступает во всей своей силе. Его приверженность к ним порождает целый ряд несообразностей – возможно, именно потому, что эти противоречия действительно есть и приводят к коллизиям в реальной жизни[347]. Когда Толстому является некая истина, он не способен ни подавить, ни исказить, ни попросту отбросить ее, обратившись к диалектическим или другим «глубинным» уровням мысли, независимо от того, что она повлечет за собой, куда приведет, какую часть его символа веры она способна уничтожить. Все знают, что Толстой ставил правду выше прочих добродетелей. Не он первый так говорил, не он первый воспел, но мало кто настолько заслужил это редкое право. Ведь Толстой возложил на ее алтарь все, что у него было, – счастье, дружбу, любовь, покой, нравственную и интеллектуальную уверенность и в конечном счете собственную жизнь. А истина дала ему взамен лишь сомнения, неуверенность, презрение к себе и неразрешимые противоречия.

В этом смысле (хотя он бы с негодованием это отверг) он истинный герой и мученик – может быть, самый одаренный – европейского Просвещения. Казалось бы, парадокс; но ведь вся его жизнь свидетельствует в пользу того, с чем он так боролся в свои последние годы: истина редко бывает простой или ясной или настолько очевидной, как иногда представляется глазу обычного наблюдателя.

Русское народничество

[348]

«Народничество» – термин, означающий не какую-то конкретную политическую партию или связанное с ней учение, но широкое радикальное движение в России середины XIX века. Оно зародилось в эпоху великих социальных перемен и брожения умов, последовавшую за смертью царя Николая I и унизительным поражением в Крымской войне 1856–1857 годов, приобретало все большее влияние в течение двух последующих десятилетий и достигло своего пика с убийством царя Александра II, после чего быстро пришло в упадок. Вождями его были люди разного происхождения, взглядов и способностей; ни на каком из этапов оно не выходило за рамки разрозненных групп заговорщиков и их единомышленников, иногда объединявшихся для совместных действий, но обычно работавших самостоятельно. Эти группы отличались друг от друга как целями, так и средствами их достижения. Однако их убеждения имели в основе своей много общего, а моральная и политическая солидарность дает право причислить их к единому движению. Как их предшественники, заговорщики-декабристы 20-х годов и кружки Герцена и Белинского 30–40-х, они считали правительство и социальное устройство своей страны нравственным и политическим уродством – устаревшим, варварским, тупым и одиозным – и посвятили жизнь полному его уничтожению. Их основные идеи были неоригинальны. Они разделяли демократические идеалы современных им европейских радикальных идеологов, а также верили в то, что борьба социально-экономических классов определяет все в политике. Теорию эту они исповедовали не в форме марксизма (который широко распространился в России не раньше 1870-х), а в той, которой учили Прудон и Герцен, до них же – Сен-Симон, Фурье и другие французские социалисты и радикалы, чьи труды, легально или нелегально, тонкой, но непрерывной струйкой десятилетиями вливались в Россию.

Теория классовой борьбы как доминирующего фактора в социальной истории, стержень которой – эксплуатация «неимущих» «имущими», родилась на Западе в ходе индустриальной революции; и самые характерные ее идеи относятся к капиталистической фазе экономического развития. Экономические классы, капитализм, беспощадная конкуренция, пролетарии и их эксплуататоры, губительность непродуктивной финансовой системы, неизбежность дальнейшей централизации и унификации всей человеческой деятельности, превращение

людей в товар, вытекающее отсюда отчуждение между людьми и группами людей и деградация человеческой жизни – все это неразрывно связано с индустриализацией. Россия, даже в конце 1850-х, была одной из наименее индустриализованных стран Европы. Несмотря на это, эксплуатация и нищета уже давно были привычными и общепризнанными чертами ее социальной жизни, в которой основными жертвами оказались крестьяне, свободные и крепостные, вместе составлявшие девять десятых населения. Рабочий пролетариат уже сформировался, но к середине века не превышал двух-трех процентов от общей численности. Поэтому под угнетенными массами подразумевали в основном земледельцев, составлявших низший слой общества, в подавляющем большинстве своем – государственных или помещичьих крестьян. Народники смотрели на них как на мучеников, чьи страдания они призваны отомстить, исправив причиненное им зло; как на воплощение простых, незапятнанных добродетелей. Крестьяне эти (сильно идеализированные) должны составить естественный фундамент для будущего устройства российского общества.

Главными целями народников были социальная справедливость и социальное равенство. Следуя Герцену, революционная пропаганда которого в 1850-х была для них самым влиятельным источником, они в большинстве своем верили, что основа для справедливого общества уже существует в виде русской крестьянской общины – *мира. Мир* был автономным сообществом крестьян, время от времени устраивавших переделы пахотной земли; его решения связывали всех членов; и на этом краеугольном камне, по мнению народников, можно было путем выборов возвести здание государства, состоящего из таких самоуправляемых общин. (Идею эту они почерпнули у французского социалиста Прудона.) Вожди народничества полагали, что такая форма общественной жизни создала бы в России свободный и демократичный строй, берущий начало в глубочайших нравственных установках и традиционных ценностях русского – да и любого – общества. Они верили, что работники (то есть все производители) и города и деревни смогут воплотить эту систему в жизнь с гораздо меньшей степенью жестокости и насилия, чем это случилось на индустриализованном Западе. Такая система, выросшая из насущных человеческих потребностей и представлений о правде и добре, заложенных в каждом, обеспечила бы справедливость, всеобщее равенство и широчайший простор для развития человеческих способностей. Поэтому народники полагали, что рост широкомасштабной централизованной промышленности не

был «естественным» и неизбежно вел всех, попавших в его когти, к деградации и обесчеловечиванию, ибо капитализм – страшное зло, калечащее тела и души. Но они не считали его неизбежным, так как социальный и экономический прогресс, по их мнению, отнюдь не связан с ростом индустриализации. Народники думали, что приложение научных истин и методов к проблемам общества и конкретных людей (в которое они страстно верили), хоть и может привести к развитию капитализма, все же достижимо без этой, казалось бы, неизбежной жертвы. Они верили в способность науки облегчить человеческую жизнь, не нарушая при этом «естественную» жизнь крестьянской деревни и не создавая огромного, нищего, безликого городского пролетариата. Капитализм кажется непобедимым лишь потому, что с ним никто не пытается адекватно бороться. И, как бы то ни было на Западе, в России проблема большой территории преодолима, а создание небольших объединений самоуправляемых трудовых общин по Фурье и Прудону – вполне осуществимо, если продуманно подойти к делу. Как и французские первопроходцы, их последователи в России ненавидели институт государства особой ненавистью, ибо для них государство было символом, результатом и источником несправедливости и неравенства, орудием господствующего класса для защиты его привилегий – а сам он, по мере сопротивления его жертв, становился все более жестоким и склонным к слепому разрушению.

Поражение либеральных и радикальных общественных движений на Западе в 1848–1849 годах укрепило народников в убеждении, что выход надо искать не в политике или политических партиях. Им казалось очевидным, что либеральные партии и их вожди не понимают, что нужно угнетенным их стран, и не пытаются по-настоящему стоять за их насущные интересы. Подавляющее большинство российских крестьян (или европейских рабочих) действительно нуждалось в еде и одежде, в физической безопасности, спасении от болезней, невежества, нищеты и унизительного неравенства, а не в политической деятельности, праве голоса, парламентах и республиканском строе, которые для неграмотных, грубых, полуголых и голодных людей представляют собой лишь пустой звук, издевательство над их положением. Народники, имея мало общего со славянофилами, разделяли их отвращение к строго разграничившей классы социальной пирамиде западных стран, услужливо принимаемой или пылко почитаемой конформистской буржуазией и государственной бюрократией, на которую эта буржуазия равнялась.

Сатирик Салтыков-Щедрин в своем знаменитом разговоре русского мальчика с немецким запечатлел этот народнический взгляд, провозгласив свою веру в русского мальчика, голодного, оборванного, копошащегося в грязи и убожестве проклятого рабовладельческого царского режима, потому что он, в отличие от аккуратного, послушного, приятного, упитанного и хорошо одетого немецкого мальчика, не продал свою душу за несколько монет, которые ему пообещал прусский чиновник, и потому способен когда-нибудь, если только ему позволят, подняться во весь свой человеческий рост, а немецкий мальчик не поднимется никогда. Россия лежала во мраке и в цепях, но ее дух не был покорен; прошлое было темным, но будущее обещало больше, чем прижизненная смерть цивилизованного среднего класса в Германии, во Франции или в Англии, давным-давно продавшегося за материальную обеспеченность и так закосневшего в своем позорном добровольном рабстве, что само желание свободы стало ему чуждым и непонятным.

Но, в отличие от славянофилов, народники не верили в то, что характер и судьбы русского народа уникальны. Они не были националистами-мистиками и думали только, что Россия – отсталая нация, не достигшая уровня социального и экономического развития, к которому, желая того или нет, подошли нации западные, вступив на путь ничем не сдерживаемого капитализма. В массе своей они не были историческими детерминистами; соответственно они верили, что нация, оказавшаяся в столь тяжелом положении, может избежать своей судьбы, упражняя волю и разум. Они не видели, почему бы России не воспользоваться западной наукой и технологией, не платя за это ту отвратительную цену, которую заплатил Запад. Они доказывали, что можно избежать деспотизма централизованной экономики и централизованного управления, если принять свободную федеральную структуру, основанную на самоуправлении и социальном единстве производителей и потребителей. Они придерживались мнения, что управлять нужно, но нельзя упускать из виду прочие ценности, так как управление само по себе – не цель; управлять следует, прежде всего исходя из нравственных и гуманистических соображений, а не только, как в муравейнике, из экономических и технологических. Они говорили, что защитить людей от эксплуатации, превратив их в индустриальную армию организованных роботов, – самоуничижение и самоубийство. Идеи народников часто были нечеткими, между ними существовали острые различия, но сходного достаточно, чтобы говорить о подлинном движении. Так, например, они принимали

в общих чертах просветительские и моральные уроки Руссо, но не его поклонение государству. Некоторые из народников (возможно, большинство) разделяли его веру в добродетель простых людей, его мысль, что причина морального разложения общественных институтов – их изношенность, его острое недоверие ко всем формам умствования, к интеллектуалам, специалистам, всем самоизолировавшимся кружкам и фракциям. Они принимали аполитические идеи Сен-Симона, но не его технократический централизм. Они разделяли веру в насилие и конспирацию, проповедуемые Бабефом и его учеником Буонаротти, но не их приверженность авторитаризму. Они противостояли (вместе с Сисмонди, Прудоном, Ламенне и всеми, кто создал идею «государства всеобщего благоденствия»), с одной стороны, эволюционистам (*laissez-faire*), а с другой стороны, центральной власти, будь она националистическая или социалистическая, временная или постоянная, проповедуемая Листом или Мадзини, Лассалем или Марксом. Иногда они близко подходили к позициям западных христианских социалистов, однако без их религиозной веры, так как, подобно французским энциклопедистам прошлого века, верили в «естественную» мораль и научную истину. Такие убеждения их объединили. Но разделяли их не менее глубокие различия.

Первой и самой большой их проблемой было отношение к крестьянам, во имя которых все и делалось. Кто должен указать крестьянам истинный путь к справедливости и равноправию? Индивидуальная свобода, конечно, не осуждалась народниками, но они были склонны относиться к ней как к либеральной фразе, отвлекающей внимание от социальных и экономических задач. Надо ли создавать воспитателей душ – специалистов по обучению невежественных младших братьев, и если да, нужно ли побуждать крестьян к сопротивлению властям, восстанию и разрушению старого порядка, пока они сами полностью не осознают значение и необходимость подобных действий? В 1840-е годы об этом рассуждали такие непохожие друг на друга люди, как Бакунин и Спешнев; в 50-е это же проповедовал Чернышевский, в 60-е – страстно отстаивали Заичневский и якобинцы «Молодой России»; в 70-е и 80-е этому учил Лавров, а также его оппоненты, приверженцы организованного профессионального терроризма Нечаев, Ткачев и их последователи, которые включали (объединяясь исключительно в этом) не только социалистов, но и самых фанатичных русских марксистов, в частности Ленина и Троцкого.

Некоторые из них задавались вопросом, не приведет ли обучение революционных групп к появлению заносчивой элиты

рвущихся к власти людей, которые в лучшем случае считали бы своим предназначением дать крестьянам не в точности то, о чем те просят, а то, что они сами, то есть их самонадеянные наставники, считают для них благом. Они шли дальше и спрашивали, не станет ли, таким образом, племя фанатиков, уделявших мало внимания действительным нуждам большинства населения, агитировать народ за то, что они (орден профессиональных революционеров, оторванный от народной жизни специальным обучением и необходимостью конспирации) для него избрали, не считаясь с его собственными стремлениями и надеждами. Нет ли здесь страшной опасности заменить старое ярмо новым, когда на место аристократии, бюрократии и царя придет деспотическая олигархия интеллектуалов? Есть ли гарантии, что новые хозяева будут меньше угнетать, чем старые?

Об этом спорили некоторые террористы 60-х годов, например Ишутин и Каракозов, и особенно молодые идеалисты 70-х, которые «пошли в народ» не столько учить других, сколько самим учиться жизни, вдохновленные скорее Руссо, Некрасовым и Толстым, чем более жесткими социальными теоретиками. Эти молодые люди, «раскаявшиеся дворяне», считали, что сами они развращены не только преступной социальной системой, но и самим либеральным образованием, которое способствует углублению неравенства и становится богатейшей почвой для несправедливости и классового угнетения, неизбежно возвышая ученых, писателей, профессоров, специалистов и вообще цивилизованных людей над массами. Все, что затрудняет понимание между индивидуумами, группами или нациями, что создает препоны человеческой солидарности и братству, по определению дурно; специализация и университетское образование воздвигают стены между людьми, мешают общим контактам, убивают любовь и дружбу и в числе прочих причин виновны в том феномене, который Гегель и его последователи назвали «отчуждением», царящим на уровне целых классов и культур.

Некоторым народникам удавалось обойти эту проблему. Бакунин, например, который не был народником, но глубоко повлиял на народничество, осуждал веру в интеллигенцию и специалистов, ведущую, возможно, к самой страшной тирании (правлению ученых и педантов), но не касался вопроса о том, должны ли революционеры учить других или учиться сами. Это оставили без ответа и террористы «Народной воли». Более чувствительные и морально добросовестные мыслители, например Чернышевский и Кропоткин, чувствовали важность этой проблемы и не пытались скрыть ее от себя; задаваясь

вопросом, по какому праву они предлагают крестьянской массе, выросшей в совершенно другой системе ценностей, ту или иную социальную организацию, которая, на их взгляд, воплотит более глубокие ценности, чем ее собственные, они не могли дать ясного ответа. Вопрос становился еще более острым, когда они спрашивали (в 60-е годы все чаще), что делать, если крестьяне станут сопротивляться планам их революционного освобождения? Нужно ли обманывать массы или, хуже того, принуждать? Никто не возражал против того, что в конце концов править должен именно народ, а не революционная элита, но как далеко можно зайти сейчас, не считаясь с желаниями большинства и принуждая народ стать на путь, который он прямо отвергает?

Это ни в коем случае не было просто академическим вопросом. Первых восторженных приверженцев радикального народничества (миссионеров, которые пошли «в народ» знаменитым летом 1874 года) встретили безразличие, подозрение, обида, а иногда активные ненависть и сопротивление части их потенциальных подопечных, которые снова и снова выдавали их полиции. Народники были вынуждены открыто выражать свои взгляды, так как страстно верили в необходимость оправдать свои действия с помощью разумных доводов. Сперва они не были единодушны. Активисты Ткачев, Нечаев и (не столько в политическом смысле) Писарев, чьи поклонники стали известны как «нигилисты», предвосхитили Ленина в его презрении к демократическим методам. Со времен Платона доказывали, что дух господствует над плотью и знающие должны управлять незнающими; образованные люди не могут слушаться безграмотных и невежественных; народ можно освободить, даже вопреки его неразумным желаниям, хитростью, любыми подходящими средствами, обманом и насилием, если надо. Такие представления и авторитаризм, который они влекли за собой, разделяло лишь меньшинство народников. Большинство же приводила в ужас открытая защита макиавеллиевской тактики; они считали, что любую цель, даже хорошую, обесценят чудовищные средства.

Такой же конфликт возник из-за отношения к государству. Все русские народники сходились на том, что государство олицетворяет систему принуждения и неравенства и, следовательно, в принципе своем дурно; никакое счастье или справедливость невозможны, пока оно не будет уничтожено. Но в то же время какова одна из первых задач революции? Ткачев достаточно ясно говорит, что, пока капиталисты полностью не уничтожены, орудие принуждения (пистолеты, изъятые у них революционерами) ни в коем случае нельзя отбросить, его нужно

обратить против врага. Иными словами, государственную машину надо не разрушить, а направить против неизбежной контрреволюции; она должна работать до тех пор, пока последний враг (по бессмертной фразе Прудона) не будет успешно ликвидирован и человечество, соответственно, не перестанет нуждаться в каком-либо орудии принуждения. В этой доктрине Ленин скорее следовал Ткачеву, чем амбивалентной марксистской формуле о требовании пролетарской диктатуры. Характерно, что Лавров, представляющий центральное крыло народничества, отражая все его колебания и затруднения, отстаивает не полное и не медленное уничтожение государства, но систематическую его редукцию до какого-то неопределенного минимума. Чернышевский, наименьший анархист среди народников, считает, что государство должно организовывать и защищать свободные сообщества крестьян и рабочих, причем умудряется видеть его одновременно централизованным и децентрализованным, гарантирующим не только порядок, действенность и равенство, но и личную свободу.

Все эти мыслители разделяли вполне апокалиптическое предположение: если царство зла (самодержавие, угнетение, неравенство) сгорит в огне революции, из пепла сам по себе поднимется естественный, гармоничный, справедливый порядок, который потребует для своего окончательного совершенствования только мягкого руководства просвещенных революционеров. Эту великую утопическую мечту, основанную на простой вере в перерождение человеческой природы, народники разделяли с Годвином и Бакуниным, Марксом и Лениным. Сутью ее была модель греха, смерти и воскресения – дороги к земному раю, ворота которого откроются только в том случае, если люди обнаружат единственно верный путь к нему и пойдут этим путем. Корни таких представлений лежат глубоко в религиозном сознании человечества, и нет ничего удивительного в том, что эта мирская версия имеет большое сходство с верой русских старообрядцев, для которых со времен великого раскола XVII века Российское государство и Петр Великий олицетворяли земное царство Сатаны. Эти религиозные изгои дали много потенциальных союзников, которых народники пытались привлечь на свою сторону.

Между народниками существовали глубокие противоречия. Их разделяло отношение к будущей роли интеллигенции по сравнению с ролью крестьянства и к историческому значению поднимающегося класса капиталистов; одни были постепеновцами, другие – сторонниками тайного заговора; одни склонялись к образованию и пропаганде, другие – к терроризму и

подготовке немедленного восстания. Все эти вопросы были взаимосвязаны и требовали решения. Но самые глубокие расхождения народников касались безотлагательного вопроса о том, может ли истинно демократическая революция осуществиться до того, как достаточное количество угнетенных станет полностью сознательными, то есть способными понимать и анализировать причины своего невыносимого положения. Умеренные доказывали, что никакую революцию нельзя назвать демократической, если она не исходит из принципов революционного большинства. Но в этом случае, наверное, остается только ждать, пока образование и пропаганда не создадут такого большинства, что и отстаивали почти все западные социалисты-марксисты и немарксисты во второй половине XIX века.

Русские якобинцы на это возражали, что такое ожидание, притом отвергающее все формы борьбы, организованной решительным меньшинством, как безответственный терроризм или, еще хуже, как замена одного деспотизма другим, привело бы к катастрофическим результатам: пока революционеры мешкают, капитализм быстро бы развивался; передышка заставила бы правящий класс развивать социальную и экономическую базу намного интенсивнее; рост процветающего, энергичного капитализма создал бы возможности работать для радикальной интеллигенции – врачи, инженеры, преподаватели, экономисты, техники и специалисты всех типов заняли бы высокооплачиваемые места и должности; их новые буржуазные хозяева были бы достаточно умны, чтобы не требовать от них, как теперь, политического подчинения; интеллигенция получила бы особые привилегии, статус и широкие возможности для самовыражения (безвредный радикализм и определенная доля свободы личности были бы разрешены), и, таким образом, революционное движение потеряло бы самых ценных участников. Те, чье ненадежное положение и недовольство объединило их с угнетенными, были бы частично удовлетворены, стимул к революционной деятельности ослабел бы, и перспективы радикального преобразования общества оказались бы весьма туманными. Радикальное крыло революционеров яростно доказывало, что развития капитализма, что бы ни говорил Маркс, избежать можно. Где-где, а в России его еще можно остановить революционным переворотом, пресечь в корне до того, как он окрепнет. Если, признав необходимость будить «политическое сознание» рабочих и крестьян (которых к этому времени, частично из-за неудачи интеллектуалов в 1848 году, марксисты и большинство народнических лидеров сочли абсолютно готовыми

к революционному крещению), мы примем программу постепеновцев, момент для решительных действий будет, конечно, упущен; и не поднимется ли вместо народнической или социалистической революции мощный, гибкий и хищный, преуспевающий капиталистический режим, который сменит российский полуфеодализм так же, как он сменил феодальный порядок в Западной Европе? Кто тогда может сказать, сколько десятилетий или столетий пройдет, пока грянет революция? И когда она все же грянет, кто может сказать, какой порядок она установит, на какую социальную базу она будет опираться?

Все народники соглашались с тем, что идеальный зародыш социалистических групп, на которые должно опираться будущее общество, – это деревенская община. Но не разрушит ли ее автоматически развитие капитализма? Если капитализм уже разрушает деревенский *мир* (хотя об этом, наверное, открыто не говорили до 1880-х годов) и классовая борьба, как доказал Маркс, разделяет деревню так же, как и город, тогда план действий ясен: вместо того чтобы сидеть сложа руки и спокойно наблюдать разрушение, мы должны решительно остановить этот процесс и спасти деревенскую общину. Социализм, как доказывали якобинцы, можно ввести, захватив власть, и на это надо направить всю энергию революционеров, даже отсрочив обучение крестьян моральным, социальным и политическим реалиям. Ведь такое обучение осуществится быстрее и эффективнее после того, как революция сломит сопротивление старого режима.

Такой образ мысли, чрезвычайно схожий если не с конкретными словами, то с политикой Ленина в 1917 году, существенно отличался от старого марксистского детерминизма. Его постоянный рефрен: нельзя терять времени. В деревне кулаки уничтожают беднейшее крестьянство, в городе становится все больше капиталистов. Если правительство обладает хоть каплей разума, оно пойдет на уступки, проведет реформы и отвлечет образованных людей, чья воля и разум нужны революции, на мирный путь служения реакционному государству; а несправедливый порядок, поддержанный такими либеральными мерами, продолжится и укрепится. Активисты доказывали, что революции не неизбежны, они – плод человеческой воли и человеческого разума. Если воли и разума недостает, революция может вообще не произойти. Только потребность в безопасности вынуждает людей к солидарности и общинной жизни; индивидуализм всегда был роскошью, идеалом социальной элиты. Новый класс технических специалистов (современных, блестящих и энергичных людей), появление которого приветствовали либералы Кавелин и Тургенев, а иногда даже

радикальный индивидуалист Писарев, для якобинца Ткачева был «хуже тифа и холеры», так как, применяя научные методы к социальной жизни, они играли на руку новым капиталистическим олигархам и, таким образом, закрывали путь к свободе. Полумеры фатальны, когда только операция может спасти пациента; они продлевают его болезнь и так ослабляют организм, что в конце концов не спасет даже операция. Нужно поднять восстание до того, как эти новые интеллектуалы, потенциальные конформисты, станут слишком сильны, слишком многочисленны и получат слишком много власти, иначе будет слишком поздно: элита сенсимонистов из высокооплачиваемых чиновников возглавит новый феодальный порядок – экономически эффективное, но аморальное общество, основанное на вечном неравенстве.

Неравенство – величайшее из зол. Когда другие идеалы вступали в конфликт с идеей равенства, русские якобинцы всегда готовы были принести их в жертву или изменить. Первый принцип, на котором покоится справедливость, – равенство; нет справедливого общества без максимальной степени равенства между людьми. Если революция успешно осуществится, нужно побороть и искоренить три основных заблуждения. Первое заблуждение: что прогресс создается только людьми культуры. Это ложь, наихудшее следствие которой – вера в элиту. Второе – противоположная иллюзия, что всему нужно учиться у простых людей. Это тоже ложь; в аркадских крестьянах Руссо слишком много идиллического вымысла. Массы невежественны, грубы, реакционны и не понимают собственных потребностей и выгод. Если революция зависела бы от их зрелости, способности к политическому суждению и организации, она бы, естественно, провалилась. Последнее заблуждение: только пролетарское большинство может успешно осуществить революцию. Без сомнения, пролетарское большинство могло бы это сделать, но если Россия должна ждать, когда это произойдет, возможность свергнуть коррумпированное и ненавистное правительство будет упущена и капитализм почувствует себя крепко в седле.

Что же делать? Нужно подготовить революцию, разрушить существующую систему и все, что препятствует равенству и самоуправлению. Когда это будет достигнуто, нужно созвать демократическое законодательное собрание, и если те, кто совершил революцию, сумеют объяснить ее причины, то есть социальную и экономическую ситуацию, сделавшую ее необходимой, то массы, хотя сегодня они, возможно, этого не понимают, непременно (по мнению якобинцев) осознáют свое положение и охотно позволят организовать себя в новую

свободную федерацию производительных ассоциаций.

Но предположим, что народные массы наутро после успешного *coup d'état*[349] все еще недостаточно зрелы, чтобы осознать это? Герцен снова и снова задавал этот нелегкий вопрос в конце 1860-х годов; тревожил он и народников. Активное крыло не сомневалось в ответе: сбросьте цепи с плененного героя – он встанет в полный рост и будет навеки свободен и счастлив. Взгляды этих людей были поразительно просты. Они верили, что терроризм, и только терроризм, поможет достигнуть полной, анархистской свободы. Целью революции для них было установление абсолютного равенства, не только экономического и социального, но «физического и физиологического». Они не видели противоречий между прокрустовым ложем насильственного равенства и абсолютной свободой, считая, что этот порядок нужно ввести силой и властью государства, после чего государство, выполнив свою задачу, быстро «ликвидировало» бы само себя.

Представители основной части народников на это возражали, что средства якобинцев должны соответствовать целям: если цель революции – освобождение, нельзя использовать оружие деспотии, которое может поработить тех, кого они задумали освободить; лекарство не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь. Использовав государство, чтобы уничтожить власть эксплуататоров, и навязав специфическую форму жизни людям, большинство из которых недостаточно образованно, чтобы понять, как это необходимо, мы заменим царский гнет на новый, не обязательно менее тяжелый, – гнет революционного меньшинства. Народники большей частью были истинными демократами; они верили, что любая власть склонна портиться, что любая концентрация власти ведет к стремлению властвовать вечно, что любая централизация – принуждение и зло и, следовательно, единственная надежда на справедливое и свободное общество – в добровольном (разумно доказанном) обращении людей к истинам социально-экономической справедливости и демократической свободы. Может быть, чтобы добиться возможности прививать людям эти взгляды, действительно надо уничтожить существующие препятствия для свободного разумного общения (полицейское государство, власть капиталистов и помещиков) и использовать силу, будь то восстание или индивидуальный террор. Но эти временные меры представлялись им вполне невинными (ведь власть врага уничтожалась) и совершенно отличными от передачи власти в руки какой-либо партии или группы. В течение последних двух столетий именно об этом спорили либертарианцы и федералисты

с якобинцами и сторонниками централизации – Вольтер с Гельвецием и Руссо, левое крыло Жиронды с «горой». Герцен использовал эти доводы против коммунистов-доктринеров предшествующего периода, Кабе и его ученика Бабефа. Бакунин осуждал марксистское требование диктатуры пролетариата, считая, что оно просто переведет власть от одних угнетателей к другим. Народники 80-х и 90-х использовали эти доводы в борьбе против всех тех, кого они подозревали в тайном намерении (вольном или невольном) разрушить самобытность личности и свободу, будь то либералы-эволюционисты, которые позволяли владельцам фабрик порабощать массы, или радикальные коллективисты, готовые сделать это сами; будь то капиталистические *entrepreneurs* (как писал Михайловский Достоевскому в известном критическом разборе «Бесов») или марксистские защитники централизованной власти. Он считал, что и те и другие намного опаснее патологических фанатиков – грубых, аморальных социальных дарвинистов, глубоко враждебных разнообразию индивидуальных характеров и свободе, – которых Достоевский обличил.

Это был главный политический вопрос, который в поворотный момент столетия отделил русских социалистов-революционеров от социал-демократов и по которому несколько лет спустя Плеханов и Мартов разошлись с Лениным. Действительно, раскол между большевиками и меньшевиками (что бы ни было его внешней причиной) произошел из-за этого. Сам Ленин, никогда не отходивший от центральной марксистской доктрины, через два или три года после Октябрьской революции бранил бюрократию и деспотический произвол партийных чиновников, хотя именно это предсказывали его оппоненты; Троцкий обвинял Сталина в том же самом преступлении. Дилемма методов и их последствий – самая глубокая и мучительная для революционных движений наших дней на всех континентах мира, не исключая Азии и Африки. То, что она так ясно и четко прозвучала у народников, делает ее исключительно близкой нашим собственным проблемам.

Все эти различия существовали в рамках общего революционного мировоззрения, так как, несмотря на многие разногласия, всех народников объединяла нерушимая вера в революцию. Проистекала она из многих источников. Она исходила из потребностей и взглядов преимущественно доиндустриального общества, жаждущего простоты и братства, из аграрного идеализма, восходящего в конечном счете к Руссо, – реальности, которую можно сегодня увидеть в Индии и Африке и которая непременно кажется утопической социальным

историкам, родившимся на индустриальном Западе. Это было следствием разочарования в парламентской демократии и либеральных взглядах, славной веры буржуазных интеллектуалов после поражения европейских революций 1848–1849 годов и специфического вывода, к которому пришел Герцен: Россия, не выстрадавшая эту революцию, возможно, найдет свое спасение в неистребимом естественном социализме крестьянского *мира*. На это глубоко повлияли страстные обличительные речи Бакунина против всех форм централизованной власти и, в частности, государства; его взгляд на человека как существо от природы мирное и созидательное, которое становится агрессивным только тогда, когда извращают его сущность, вынуждая быть жертвой или палачом. Это питалось и течениями иного направления – верой Ткачева в якобинскую элиту профессиональных революционеров как единственную силу, способную остановить развитие капитализма, который опирается в своем фатальном движении на невинных реформистов-гуманитариев и карьеристов-интеллигентов и скрывается за омерзительным лицемерием парламентской демократии; еще больше это питалось страстным утилитаризмом Писарева и его блестящей полемикой со всеми формами идеализма и дилетантизма – например, сентиментальной идеализацией красоты и простоты крестьянской жизни вообще и жизни русских крестьян в частности, осененной благодатью и удаленной от пагубного влияния загнивающего Запада. Это поддерживалось призывом «критических реалистов» к своим соотечественникам спасаться самодисциплиной и тренировкой ума – новый вид энциклопедизма, пропагандирующий естественные науки, навыки, профессионализм и направленный против гуманитарного знания, классического образования, истории и других форм «сибаритского» самолюбования. Более того, этот «реализм» контрастировал с литературной культурой, которая убаюкивала лучших людей в России в той ситуации, когда коррумпированная бюрократия, тупые и жестокие помещики, мракобесная церковь могли эксплуатировать их или позволять им разлагаться, в то время как эстеты и либералы думали о своем.

Но самой сутью, самым центром мировоззрения народников был индивидуализм и рационализм Лаврова и Михайловского. Вместе с Герценом они верили, что история не движется предопределенным путем, что у нее нет либретто, что ни сильнейшие столкновения между культурами, нациями или классами (в которых гегельянцы видели сущность человеческого прогресса), ни борьбу классов за власть (представленную марксистами как движущая сила истории) нельзя считать

неизбежными. Вера в человеческую свободу была краеугольным камнем народнического гуманизма. Они не уставали повторять, что цели выбираются людьми, а не навязываются им свыше и что человеческого стремления достаточно, чтобы построить счастливую, достойную жизнь, в которой примирятся интересы интеллигенции, крестьян, рабочих и людей свободных профессий; конечно, они не полностью совпадут, это недостижимый идеал, но приведут в живое равновесие, которое, находясь под постоянным контролем разума, может быть отрегулировано почти всегда, когда возникнут непредсказуемые последствия человеческих взаимодействий друг с другом и с природой. Возможно, свое влияние оказали и традиции православной церкви с ее примиренческими и общинными принципами, ее неприятием авторитарной католической иерархии и индивидуализма протестантов. Все эти доктрины, их пророки и их западные учителя (французские радикалы до и после Французской революции, Фихте и Наполеон, Фурье и Гегель, Милль и Прудон, Оуэн и Маркс) сыграли, конечно, свою роль. Но самая крупная фигура в народническом движении, человек, чей темперамент, идеи и деятельность от начала и до конца доминировали в нем, несомненно – Николай Гаврилович Чернышевский. Влияние его жизни и учения, несмотря на множество существующих монографий, еще ждет своего исследователя.

Чернышевский не был новатором. Он не обладал глубиной, воображением, блестящим интеллектом и литературным талантом Герцена; красноречием, смелостью, темпераментом, интеллектуальной силой Бакунина; моральной честностью и уникальной социальной интуицией Белинского. Но он был человеком нерушимой цельности, огромного трудолюбия и редкой среди русских способности сосредоточиваться на конкретных деталях. Его глубокая, твердая, вечная ненависть к рабству, несправедливости и неразумию не выразилась в больших теоретических обобщениях, создании социологической или метафизической системы или насильственных действиях против властей. Она приняла форму неторопливого, спокойного, терпеливого собирания идей и фактов – неизящного и скучного, но мощного сооружения, в котором можно найти детальную стратегию практических действий, соответствующих специфике русской среды, которую он хотел изменить. Чернышевский очень хорошо относился к конкретным, старательно разработанным, хотя и ошибочным, социалистическим планам группы Петрашевского (к которой принадлежал Достоевский), уничтоженной правительством в 1849 году, а потом – к

фантастическим построениям Герцена, Бакунина и их последователей.

Новое поколение выросло в годы реакции, наступившей после 1849 года. Эти молодые люди видели сомнения и предательства части либералов, приведшие к победе реакционных партий. Через двенадцать лет они наблюдали то же самое в собственной стране, когда освобождение крестьян в России оказалось циничной пародией на их планы и надежды. Такие люди оценили трудолюбивый гений Чернышевского – его попытки найти специфическое решение специфических проблем с точки зрения конкретных статистических данных, его постоянное обращение к фактам, его терпеливые усилия наметить достижимые, практические, непосредственные цели, а не те, к которым нет реального пути, его плоский, сухой, прозаический стиль, его монотонность и недостаток вдохновения были серьезнее и в конечном счете вдохновляли больше, чем благородные мечты романтических идеалистов 1840-х. Относительно низкое социальное происхождение (он был сыном приходского священника) давало ему естественную близость к простому народу, положение которого он анализировал, и постоянное недоверие, позже обернувшееся фанатической ненавистью ко всем либеральным теоретикам. Эти качества сделали Чернышевского естественным лидером разочарованного поколения, куда входили разные по рождению люди; поколения, озлобленного крушением их собственных ранних идеалов, правительственными репрессиями, унижением России в Крымской войне, слабостью, бессердечием, лицемерием и некомпетентностью правящего класса. Для этих грубоватых, социально неблагополучных, сердитых, подозрительных молодых людей Чернышевский был отцом и духовником, каким не мог бы никогда стать ни аристократичный, ироничный Герцен, ни своенравный и, в сущности, легкомысленный Бакунин.

Как все народники, Чернышевский верил, что необходимо сохранить крестьянскую общину и распространить ее принципы на промышленное производство. Он верил, что прямая выгода для России – перенять научные достижения Запада, не проходя сквозь агонию промышленной революции. «Человеческое развитие есть форма хронологической несправедливости, – подметил однажды Герцен, – так как потомки пользуются трудом своих предшественников, ничего не платя им за это». «История любит своих внуков, – повторил за ним Чернышевский, – потому что она предлагает им мозг тех косточек, раскалывая которые поранило руки предыдущее поколение». Для Чернышевского история двигалась по спирали, по гегелевским триадам, поэтому

каждое поколение повторяло опыт не отцов, а дедов, и «на более высоком уровне».

Но не этот историософский элемент очаровал народников. Более всего на них повлияло его острое недоверие к реформам сверху, его вера в то, что сущность истории – борьба классов, и в особенности его убеждение (которое исходит, как вы знаете, от Маркса, но опирается на социалистические источники, общие для них обоих), что государство – это орудие правящих классов, а потому не может, сознательно или бессознательно, провести те необходимые реформы, успех которых мог бы положить конец их правлению. Ни один строй не хочет своей собственной смерти. Поэтому все попытки переделать царя, все попытки избежать ужасов революции непременно останутся тщетными (писал он в начале 60-х). В конце 50-х был момент, когда он, как Герцен, надеялся на реформы сверху. Конечная форма освобождения крестьян и уступки, которые сделало правительство помещикам, избавили его от этой иллюзии. Он указывал, со значительной долей исторической правоты, что либералы, надеявшиеся повлиять на правительство тактикой Фабиана Кунктатора, предали и крестьян, и самих себя. Сначала они скомпрометировали себя в глазах крестьян отношениями с их хозяевами, а потом уже правящему классу, когда это было ему удобно, ничего не стоило представлять их ложными друзьями крестьян и позже отвернуться от них. Это же происходило во Франции и Германии в 1849 году. Даже если бы умеренные вовремя одумались и потребовали насильственных мер, незнание ситуации и слепота к насущным потребностям рабочих и крестьян вынудили бы их отстаивать утопические проекты, которые в конечном счете дорого стоили бы их последователям.

Чернышевский развивал простую форму исторического материализма, в соответствии с которой политические факторы определяются социальными, а не наоборот. Тем самым он считал (как Фурье и Прудон), что либеральные и парламентаристские представления просто обходят главные вопросы – потребность крестьян и рабочих в пище, жилье и одежде; что же касается либеральной конституции, права голосовать и гарантий личной свободы – это мало что значит для голодных, полураздетых людей. Социальная революция должна идти первой; за ней последуют соответствующие политические реформы. Для Чернышевского принципиальным уроком 1848 года было то, что западные либералы, смелые и малодушные одновременно, продемонстрировали свое политическое и моральное банкротство (это же относится к их русским ученикам – Герцену, Кавелину, Грановскому и остальным). Россия должна идти своим

собственным путем. В отличие от славянофилов и подобно русским марксистам следующего поколения, Чернышевский считал, что историческое развитие России, в особенности – крестьянский *мир* ни в каком отношении не уникальны, а подчиняются тем же социальным и экономическим законам, что и все человеческое общество. Как марксисты (и позитивисты-контианцы), он верил, что такие законы можно открыть и установить; но, в отличие от марксистов, он был убежден, что, переняв западные технологии и воспитав людей железной воли и рационалистических взглядов, Россия может «проскочить» капиталистическую стадию развития, превратив крестьянские общины и свободные кооперации ремесленников в сельскохозяйственные и промышленные ассоциации производителей, которые станут зародышем нового, социалистического общества. Технический прогресс, по его мнению, не разрушит автоматически крестьянскую общину: «дикарей можно научить пользоваться латинским шрифтом и безопасными спичками»; фабрики можно создать на базе рабочих артелей, не разрушив их; высокоорганизованное производство может уничтожить эксплуатацию и в то же время сохранить сельскохозяйственную природу российской экономики[350].

Чернышевский верил в решающую историческую роль внедрения науки в жизнь, но, в отличие от Писарева, не считал, что индивидуальное предпринимательство или тем более капитализм связаны с этим процессом. Он был верен своему увлечению фурьеризмом и рассматривал свободные ассоциации крестьянских общин и ремесленных артелей как основу свободы и прогресса. Но в то же самое время он был убежден, как сенсимонисты, что вряд ли можно достичь государственного социализма без коллективных действий. Эти две веры никогда не примирились; в работах его есть доводы и за, и против высокоразвитой индустрии. Он неоднозначно относится к тому, должно ли государство поощрять и контролировать промышленность и должен ли демократически избранный парламент быть независимым от государства, если оно осуществляет централизованное экономическое планирование и контроль.

Контуры социальной программы Чернышевского оставались неясными или противоречивыми, а иногда – и то и другое вместе. Его очень конкретная и основанная на реальном опыте программа прямо обращалась к представителям народных масс, наконец-то нашедших в нем своего оратора, толкователя своих чувств и потребностей. Самые глубокие эмоции и стремления Чернышевского вылились в роман «Что делать?» – гротескную

социальную утопию, сыгравшую поистине эпохальную роль в русском сознании. Этот дидактический роман описывал «новых людей» свободного, морально чистого, кооперативного социалистического общества; его трогательная искренность и нравственный пыл покоряли воображение идеалистичных, кающихся молодых людей из буржуазных семей и снабжали их идеальной моделью, в лучах которой выросло и окрепло целое поколение революционеров, готовых к открытому неповиновению существующим условностям и законам, к величественно равнодушному приятию ссылки и смерти.

Чернышевский проповедовал наивный утилитаризм. Как Джеймс Милль и, возможно, Бентам, он считал, что в основе человеческой природы лежит фиксированная, физиологическая, поддающаяся анализу система естественных процессов и склонностей и, следовательно, увеличение человеческого счастья можно спланировать и осуществить. Решив, что художественная литература и критика – единственное доступное средство для пропаганды радикальных идей в России, он под видом литературы, насколько это было возможно, наполнил «Современник» (журнал, который он редактировал вместе с Некрасовым) прямыми иллюстрациями социалистической доктрины. Тут ему помогал молодой критик Добролюбов (в отличие от самого Чернышевского, литературно одаренный), который порою шел еще дальше в своем страстном желании учить и проповедовать. Эстетические взгляды обоих фанатиков были сугубо практическими. Чернышевский полагал, что функция искусства – помочь человеку более разумно удовлетворять свои потребности, распространять знания, бороться с невежеством, предрассудками, антиобщественными страстями, улучшать жизнь в самом узком и буквальном смысле этих слов. Приходя к абсурдным выводам, он радостно принимал их. К примеру, он объяснял, что главная ценность морских пейзажей в том, что они показывают море тем, кто живет далеко от него, скажем, жителям Центральной России; что его друг и покровитель Некрасов – величайший русский поэт потому, что его стихи пробуждают больше симпатии к угнетенным, чем стихи всех других поэтов, живых и умерших. Его ранние соратники, такие цивилизованные и утонченные писатели, как Тургенев и Боткин, находили его мрачный фанатизм все более невыносимым. Тургенев не смог ужиться с этим ненавидящим искусство догматичным школьным учителем. Толстой презирал его занудный провинциализм, полное отсутствие эстетического чувства, его нетерпимость, рационализм, его бешеную самоуверенность. Но эти же самые качества, или, точнее, мировоззрение, которое они

характеризовали, помогли ему стать действительным вождем «суровых» молодых людей, пришедших на смену идеалистам 1840-х годов. Шероховатые, плоские, лишенные юмора, монотонные, режущие слух сентенции Чернышевского, его озабоченность конкретными деталями, его самодисциплина, его самоотверженное служение материальному и моральному благу своих друзей, его самоуничижение, его неустанное, страстное, увязающее в мелочах трудолюбие, ненависть к стилю и любым условностям этикета, безоговорочная искренность, полное невнимание к себе, грубая прямота, безразличие к притязаниям личной жизни, простодушие, доброта, педантичность, обезоруживающее моральное обаяние, способность к самопожертвованию создали образ, ставший позже прототипом русского революционного героя и мученика. Больше, чем какой-либо другой публицист, он несет ответственность за окончательное разделение на «них» и на «нас». Всю свою жизнь он учил, что компромисса с «ними» быть не должно, что война должна вестись на всех фронтах и до победного конца; что не может быть нейтральной позиции; что, пока война ведется, никакое дело не должно казаться революционеру слишком тривиальным, отталкивающим или утомительным. Его личность и мировоззрение наложили свой отпечаток на два поколения русских революционеров; и не в последнюю очередь на Ленина, который искренне им восхищался.

Несмотря на экономические и социологические акценты, основной тон Чернышевского и вообще народников был нравственным, а то и религиозным. Эти люди верили в социализм не потому, что он неизбежен или эффективен, и даже не потому, что он единственно разумен, а оттого, что он справедлив. Концентрация политической власти, капитализм, централизованное государство попирали права человека, калечили его нравственно и духовно. Народники были убежденными атеистами, но в их сознании социализм и христианские ценности уживались. Их отталкивала перспектива индустриализации в России непомерностью своей цены, и они не любили Запад за то, что тот безжалостно эту цену заплатил. Их ученики, экономисты-народники 1880-х и 1890-х годов, например Даниэльсон и Воронцов, при всей строгости экономических аргументов о возможности капитализма в России (некоторые из которых даже убедительнее, чем у их марксистских оппонентов), в последних работах отвернулись от него из нравственных соображений (очень уж много страданий он непременно принес бы), отказываясь, так сказать, платить эту страшную цену независимо от ценности результатов. Социалисты-революционеры

(их преемники в XX столетии) озвучили идею, которая проходит через всю народническую традицию в России: цель социального действия – не сила государства, а благосостояние народа; обогатить государство, обеспечить его военную и индустриальную мощь, разрушив при этом здоровье, нравственность и общий культурный уровень его граждан, возможно, но безнравственно. Они сравнивали прогресс в Соединенных Штатах, где первостепенно, по их словам, личное благосостояние, с прогрессом в Пруссии, где это не так; и приходили к выводу (который восходит, по крайней мере, к Сисмонди), что духовное и физическое состояние отдельного гражданина значит больше, чем мощь государства; если же, как часто случается, эти две категории противоречат друг другу, предпочтение надо отдать правам и благосостоянию личности. Они считали исторически неверным мнение, что только сильное государство может вырастить хороших и счастливых граждан, и морально неприемлемым, что, растворяясь в жизни общества, личность в высшей форме осуществляет себя.

Вера в первенство прав человека – основной принцип, который отделяет плюралистические общества от централизованных, государства благосостояния, смешанной экономики и политики «нового курса» – от однопартийных правительств, «закрытых» обществ «пятилетками» и вообще форм жизни, построенных на служении одной цели, превосходящей цели всех других разнообразных групп или людей. Чернышевский был фанатичнее, чем большинство его последователей 1870-х и 1880-х годов, и значительно больше верил в организацию, но он не затыкал уши, слыша со всех сторон просьбы о немедленной помощи, и не считал, что даже в интересах самой святой и великой цели непременно нужно подавлять желание личности сохранить себя. Иногда он проявлял узость, ему не хватало воображения, но он никогда не был равнодушным, высокомерным или бесчеловечным и постоянно напоминал своим читателям и себе, что в своем стремлении помочь «наставники» не должны обманывать народ. Крестьяне, возможно, не хотят того, что «мы», интеллектуалы, считаем для них благом, и нельзя совать «им» в глотку «наше» лекарство. Ни он, ни Лавров, ни даже самые безжалостные якобинцы, приверженцы террора и насилия, никогда не прикрывались предопределенностью хода истории, чтобы оправдать то, что было бы явно несправедливым и жестоким. Если насилие – единственное средство достигнуть цели, значит, могут быть обстоятельства, при которых разумно к нему прибегнуть; но в каждом случае это должно было быть оправдано моральной высотой цели (которая перевешивала бы

порочность средств – счастьем, солидарностью, справедливостью, миром и другими универсальными человеческими ценностями), а не рациональными требованиями и необходимостью шагать в ногу с историей, отбросив сомнения и «субъективные» нравственные принципы, которые будто бы условны, поскольку история преобразила все моральные системы и оправдала только те принципы, которые успешно выжили.

Настроение народников, особенно в 1870-е годы, справедливо можно назвать религиозным. Эта группа конспираторов и пропагандистов казалась себе и другим учредителями предписанного порядка. Чтобы в нее входить, нужно было прежде всего принести всю свою жизнь в жертву народническому движению и вообще делу революции. Но представление о диктатуре партии и ее лидеров не было частью этой доктрины и, собственно, противоречило ее общему духу. Поступки человека поверяла только его совесть. Если кто-то обещал подчиняться лидерам партии, такая присяга была тайной, да и распространялась она на специфически революционные цели, не дальше, и заканчивалась, в крайнем случае, с приходом революции, как только партия достигала своего. После революции каждый был свободен действовать в соответствии со своим образом мысли, поскольку дисциплина была временной мерой, а не целью. Народники действительно изобрели концепцию партии как группы профессиональных конспираторов, у которых нет личной жизни и все подчинено общей дисциплине, ядра «железных» революционеров, к которым примыкают сочувствующие и «перекатиполе»; но это исходило из особой ситуации, которая существовала в царской России, из необходимости и особенностей успешной конспирации, а отнюдь не из веры в иерархию как желательную или даже допустимую форму жизни. Конспираторы не оправдывали своих действий, апеллируя к всеобщим историческим процессам, определяющим их поступки, так как они верили в свободу человеческого выбора, а не в предопределенность. Позднейшая ленинская концепция революционной партии и ее диктатуры, многим обязанная этим добровольным мученикам, исходила из совершенно других принципов. Молодые люди, которые ринулись в деревню знаменитым летом 1874 года, чтобы встретить там непонимание, подозрение и даже открытую враждебность, очень удивились бы и возмутились, если бы им сказали, что они должны воспринимать себя как священное орудие истории и потому судить их должно по другому моральному кодексу, чем всех остальных людей.

Народническое движение было неудачей. «Социализм отскакивал от народа, как горох от стены», – писал известный

террорист Кравчинский своей соратнице революционерке Вере Засулич в 1876 году, через два года после того, как первая волна энтузиазма спала. «Они слушают наших людей, как священника» – с уважением, без понимания, без всякого эффекта.

В столице шум, гремят витии,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А там, во глубине России,
Что там? Бог знает… Не поймешь!

Эти строки Некрасова передают растерянность и уныние, которые последовали за провалом отдельных попыток, предпринятых идеалистами, мирными пропагандистами и единичными террористами в конце 60-х – начале 70-х, именно этих террористов с такой силой изобразил Достоевский в романе «Бесы». Правительство ловило их, ссылало, сажало в тюрьму, но их упорное нежелание поддерживать какие-либо меры, которые смягчили бы последствия дикой земельной реформы, обратило к ним сочувствие либералов. Они ощутили, что общественное мнение на их стороне, и окончательно склонились к организованному терроризму. Правда, их цели всегда оставались достаточно умеренными. Открытое письмо, с которым они обратились к новому императору в 1881 году, по тону было мягким и либеральным. «Террор, – много лет спустя сказала известная революционерка Вера Фигнер, – должен был создать возможности для развития человеческих способностей, которые бы послужили обществу». Общество, которому насилие прокладывало путь, должно было стать миролюбивым, терпимым, децентрализованным и гуманным. Принципиальным врагом все еще было государство.

Волна терроризма достигла своего пика в 1881 году, когда был убит Александр II. Желанная революция не разразилась. Революционные организации были уничтожены, и новый царь избрал политику жесточайших репрессий. В целом его поддерживало общественное мнение, ужаснувшееся убийству императора, который к тому же освободил крестьян и, как говорили, обдумывал другие либеральные реформы. Самых видных лидеров движения казнили или сослали; менее значительные бежали за границу, а Плеханов и Аксельрод, наиболее талантливые из тех, кто остался на свободе, постепенно сдвинулись в сторону марксизма. Их приводила в замешательство собственная оговорка Маркса, что Россия в принципе может избежать капиталистической стадии развития даже без помощи мировой коммунистической революции (Энгельс признавал это значительно неохотнее и с оговорками). По их мнению, Россия фактически уже вступила в стадию капитализма, а поскольку в

России, как в свое время на Западе, развитие капитализма неизбежно, нет смысла отворачиваться от «железной» логики истории. Поэтому социалисты не должны сопротивляться индустриализации, а должны поощрять ее, извлекая пользу из того, что она, и только она, может воспитать армию революционеров, которая способна свергнуть капитализм, – армию растущего городского пролетариата, организованную и дисциплинированную самими условиями своего труда.

Беглый взгляд на индустриальное развитие России в 1890-е годы вроде бы подтверждал марксистский тезис. Этот тезис привлекал революционную интеллигенцию по многим причинам: он претендовал на научный анализ законов истории, которые не обойти никакому обществу; он мог доказать, что, хотя на свете много насилия, страданий и несправедливости, историческая конструкция неумолимо обнаруживает себя и все-таки будет иметь счастливый конец. Те, кто чувствовал себя виновным, принимая эксплуатацию и бедность или, во всяком случае, не делая активных (т. е. насильственных) шагов, чтобы смягчить или предотвратить их, как требовала политика народников, успокаивали совесть «научной» гарантией того, что дорога, хотя и покрытая трупами невинных жертв, непременно приведет к вратам земного рая. В соответствии с этой точкой зрения экспроприаторы превращаются в экспроприированных просто по логике развития, хотя исторический путь можно сократить и облегчить угрызения совести сознанием, что ты принадлежишь к организации, а уж тем паче – что ты все больше знаешь о рабочих и их лидерах. Это особенно привлекало тех, кто, не желая продолжать бесполезный терроризм, который просто вел в Сибирь или на эшафот, теперь нашел теоретическое оправдание для мирных занятий и духовной жизни, значительно более близкой интеллектуалам, чем бросание бомб.

Героизм, бескорыстность, личное благородство народников часто отмечалось их марксистскими оппонентами. Их считали достойными предшественниками истинно революционной партии, а Чернышевский иногда получал даже более высокий статус и наделялся интуицией гения – эмпирической и ненаучной, но инстинктивно верной, обнаруживающей истины, которые могли доказать только Маркс и Энгельс, вооруженные научным инструментарием, а его и у Чернышевского, и у других русских мыслителей того времени еще не было. Маркс и Энгельс были очень снисходительны к русским: их хвалили за результаты, поистине поразительные, если учесть непрофессионализм, удаленность от Запада и доморощенные средства. Только русские из всей Европы к 1880 году создали в своей стране подлинно

революционную ситуацию; тем не менее Каутский, в частности, разъяснял, что нет замены профессиональным методам и использованию новых технологий, которые предполагает научный социализм. Народничество было списано; его признали смесью неорганизованного морального возмущения и утопических идей в сумбурном разуме крестьян-самоучек, благонамеренных университетских интеллектуалов и вообще тех, кто пал жертвой социальных бед переходного периода между концом отживающего феодализма и началом новой, капиталистической фазы в отсталой стране. Марксистские историки до сих пор склонны описывать его как движение, совмещающее неверную интерпретацию экономических фактов и социальной реальности, как благородный, но бесполезный индивидуальный терроризм и стихийные, неуправляемые крестьянские мятежи – необходимое, но жалкое начало реальной революционной деятельности, прелюдию к настоящей пьесе, шествие наивных идей и разочарований, сметенное новой революционной диалектической наукой, которую провозгласили Плеханов и Ленин.

Каковы были цели народничества? Серьезно спорили о средствах и методах, о выборе времени, но не о конечных целях. Анархизм, равенство, полноценная жизнь для всех – это признавали все. Пестрое разнообразие революционных типов, которые так хорошо и любовно описывает в своей книге Франко Вентури (якобинцы и умеренные, террористы и учителя, лавровцы и бакунинцы, «отшельники», «непокорные», «деревенщики», члены «Земли и воли» и народовольцы), – все движение как будто всецело поглощено одним мифом: что, как только монстр будет сражен, спящая царевна (русское крестьянство) очнется и без всяких дальнейших осложнений заживет долго и счастливо.

Именно об этом движении Франко Вентури написал очень полную, ясную историю, подробнейший из созданных на каком-либо языке отчет об определенной стадии русского революционного движения. Если движение не победило, если оно основывалось на ложных посылках и его легко пресекла царская полиция, стоит ли описывать жизнь и смерть партии, ее дел и идей, или все это имеет лишь исторический интерес? На этот вопрос Вентури осмотрительно, как подобает объективному историку, не дает прямого ответа. Он рассказывает историю в хронологической последовательности; объясняет, что было; описывает причины и следствия; освещает отношения различных групп народников друг с другом, а нравственные и политические суждения оставляет для других. Его работа – не апология народничества или его оппонентов. Он не осуждает и не хвалит, а только старается понять. Успешное решение этой задачи уже не

нуждается в дальнейших похвалах. Возможно, кто-то еще задумается, нужно ли было так легко списывать народничество, как сделали и коммунистические, и буржуазные историки. Так ли безнадежно ошибались народники? Полностью ли заблуждались Чернышевский и Лавров – и Маркс, который их слушал?

Был ли капитализм действительно неизбежен в России? Последствия растущей индустриализации, предсказанные народниками-экономистами в 1880 году (столько же социальных и экономических страданий, как во времена промышленной революции на Западе), стали очевидными до Октябрьской революции и в особенности после нее. Можно ли было их избежать? Некоторые историки считают такой вопрос абсурдным. Что случилось, то случилось. Если мы не отрицаем причинно-следственную связь в человеческих делах, мы должны считать, что то, что произошло, могло произойти только так и не иначе; спрашивать же, что могло бы произойти, если бы ситуация была другой, – пустая игра воображения, недостойная серьезных историков. И все же этот академический вопрос не лишен актуальности. Многие страны, например Турция, Индия, некоторые государства Ближнего Востока и Латинской Америки, пошли по пути замедленной индустриализации, чтобы уменьшить вероятность мгновенного разорения отсталых областей до того, как их можно будет реконструировать, то есть сознательно предпочли этот путь форсированному маршу коллективизации, к которому в наши дни прибегли русские, а за ними китайцы. Ставят ли эти немарксистские правительства свои страны на путь, ведущий к неотвратимой гибели? Ведь они продолжают именно народнические идеи, во многом составляющие основу социалистической экономической политики.

Когда Ленин в 1917 году осуществил большевистскую революцию, избранная им техника, по крайней мере prima facie, напоминала ту, которую рекомендовали русские якобинцы, Ткачев и его последователи (переняв ее у Бланки и Буонарроти). Именно она чаще других обнаруживается у Маркса и Энгельса, во всяком случае – после 1851 года. Капитализм, свергнутый в России в 1917 году, в конце концов, не был зрелым. Он возрастал, еще не придя к власти, он боролся с оковами, надетыми на него монархией и бюрократией, как было и во Франции XVIII века. Но Ленин действовал так, как будто капиталисты уже у власти. Он поступал и говорил, словно это так, но революция победила не столько благодаря тому, что большевики взяли финансовые и промышленные центры, сколько благодаря тому, что они захватили политическую власть решительными и обученными группами профессиональных революционеров, точно так, как

учил Ткачев. Если бы русский капитализм достиг той стадии, которой, в соответствии с марксистской исторической теорией, он должен был бы достичь, чтобы пролетарская революция была успешной, захват власти таким незначительным меньшинством, или просто путч, не смог бы *ex hypothesi* продержаться так долго. Именно это снова и снова повторял Плеханов, резко осуждая Ленина в 1917 году и не принимая его довода, что многое может быть позволено в отсталой стране, если только результаты в должное время поддержат ортодоксальные марксистские революции, успешно проведенные в индустриально развитых странах Запада.

Этого не произошло; ленинская гипотеза оказалась исторически несостоятельной; и все же большевистская революция парализована не была. Может быть, марксистская историческая теория ошибочна? Или меньшевики неверно ее поняли и скрыли сами от себя заложенные в ней антидемократические тенденции? В каком случае их выпады против Михайловского и его друзей полностью справедливы? К 1917 году на этом же был основан их собственный страх перед большевистской диктатурой. Более того, результаты Октябрьской революции оказались странно схожими с тем, что предсказывали оппоненты Ткачева как неминуемое следствие его методов: появилась элита, обладающая диктаторской властью, теоретически созданной для того, чтобы исчезнуть, когда исчезнет в ней необходимость, но, как снова и снова повторяли народники-демократы, на практике становящейся агрессивнее и сильнее и стремящейся властвовать вечно, этому диктатура сопротивляться не могла.

Народники были убеждены, что смерть крестьянской общины будет означать смерть или, во всяком случае, серьезное препятствие для свободы и равенства в России; левые социалисты-революционеры, бывшие их прямыми потомками, преобразили это в требование децентрализованного, демократического самоуправления крестьян, которое принял Ленин, когда пошел на альянс с ними в 1917 году. В определенный момент большевики отвергли эту программу и превратили ячейки обученных революционеров (возможно, самый самобытный дар народников революционной практики) в иерархическую централизованную политическую власть, которую народники твердо и горячо осуждали, пока их самих в конце концов не объявили вне закона и не истребили.

Практика коммунистического движения, как всегда с готовностью отмечал Ленин, многим обязана движению народников. Она заимствовала технику своих противников и с

заметным успехом применила ее именно к тому, чему они так сопротивлялись.

Молчание в русской культуре

[351]

I

Обостренное самосознание – одна из самых поразительных особенностей современной русской культуры. Никогда еще ни одно культурное сообщество не было столь всецело поглощено самим собой, мыслями о собственной природе и своем особом предназначении. С 1830-х годов и до наших дней русская литература (как художественная, так и научная) посвящена по преимуществу самой России. И великие романисты, и изрядное число менее известных писателей, равно как и подавляющее большинство героев русского романа, – все они обычно озабочены не просто решением личных, семейных, сословных, профессиональных проблем, но еще и национальной миссией страны, той перспективой, которая открывается перед Россией, тем уникальным положением, которое обеспечено их принадлежностью к единственному в своем роде сообществу с неповторимыми проблемами. Эта самопоглощенность нации объединяет прозаиков и драматургов, придерживающихся самых разных взглядов. Такой фанатичный религиозный проповедник, как Достоевский, такой назидательный моралист, как Толстой, такой эстет и психолог, занятый вечными вопросами, как Тургенев (такова, во всяком случае, его репутация на Западе), такой аполитичный писатель, избегавший проповедничества, как Чехов, – для каждого из них в течение всей жизни «русский вопрос» оставался ключевым. Русские публицисты, историки, литературные критики, философы, социологи, теологи, поэты – все без исключения, от первого до последнего, неустанно бились над вопросами: «что значит быть русским?», «каково предназначение русского человека и русского общества?», «в чем заключаются русские добродетели и пороки?». Но больше всего их волновала историческая миссия России, ее роль в мировой истории, в частности – проблема ее социальной структуры: строится ли русское общество (скажем, соотношение образованного слоя и основной части населения, индустрии и сельского хозяйства) по собственным законам, как явление sui generis, или, напротив, оно сходно со структурой других стран, а может быть, даже представляет собой аномальное, недоразвитое, мертворожденное воплощение прогрессивной западной модели?

Начиная с 1880-х годов Россию наводнил мощный поток книг, статей, памфлетов, невероятно скучных для современного читателя и посвященных в большинстве своем решению следующей дилеммы: суждено ли России жить по своим собственным законам (тогда опыт других стран практически ничему не может ее научить), или, напротив, все беды России проистекают от обособленности и беспечности, от пренебрежительного отношения к тем универсальным законам, которые управляют всяким обществом. Западные писатели (даже американцы, которым также присуще обостренное национальное самосознание, хотя и в более скромных размерах) далеко не всегда мучают себя вопросом о том, будет ли предмет, о котором они размышляют в художественных произведениях, научных трудах или повседневных заметках, правильно вписан в историческую, нравственную и метафизическую перспективу. В России, по крайней мере – со второй половины XIX века, существовала противоположная тенденция. Любой серьезный писатель задумывался над тем, как соотносится его замысел с вечными вопросами, с целью человеческого существования. Долг каждого, кто считал себя достаточно проницательным и мужественным для осмысления своего индивидуального, социального и национального опыта, сводился к одному и тому же: соотнести волнующие его проблемы с тем путем, которым идет общество, прежде всего русское, потом уже – все человечество (это в том случае, если мы имеем дело с детерминистом), или соотнести свои проблемы с тем путем, которым на определенном историческом, или моральном, или метафизическом этапе своего развития общество должно следовать, – тут мы имеем дело с человеком, исходящим из представления о свободе выбора.

Некоторую ответственность за это пронизывающее русскую культуру умонастроение, несомненно, несет романтизм, преобладавший в европейской литературе и журналистике 1830–1840-х годов, особенно немецкий романтизм, акцентировавший проблему уникальной исторической миссии разных сообществ, будь то немцы, промышленники или поэты. Однако лишь в России дело зашло так далеко. Частично это объясняется тем, что период мощного воздействия романтизма на русскую культуру совпал со стремительным продвижением России в центр Европы после Наполеоновских войн. Частично российская самопоглощенность национальными проблемами связана с тем чувством унижения за собственную культуру, которое побуждало образованные слои русского общества болезненно и нетерпеливо искать своей собственной достойной роли, соотносимой, помимо

всего прочего, с возраставшей политической мощью России. Ситуация обострялась тем, что европейский мир склонен был свысока смотреть на русских, побуждая их и самим смотреть на себя свысока как на грязную массу варваров, управляемых жестоким деспотом и годных только на то, чтобы уничтожать свободные и более цивилизованные народы. Определенную роль в развитии этих умонастроений могла сыграть, как считают некоторые исследователи, и та мощная потребность в телеологических и даже эсхатологических концепциях, которая свойственна всем культурам, испытавшим воздействие Византии и православия, – потребность, которую не могла удовлетворить русская церковная иерархия, страдавшая от недостатка интеллектуальных ресурсов. Умственным запросам образованных и критически настроенных молодых людей русская церковь, несомненно, не отвечала.

Каковы бы ни были, однако, истоки их умонастроений, подспудно они определялись уверенностью, что все проблемы взаимосвязаны и что должна существовать некая единая мировоззренческая система, в терминах которой эти проблемы можно описать и решить. Более того, почти все верили: отправная точка и конечная цель общественной жизни, образования, морали заключается в том, чтобы обнаружить такую систему. Отказываясь от ее поисков во имя каких-то иных задач (скажем, во имя науки или искусства, счастья или личной свободы), человек сознательно и эгоистично, руководствуясь только субъективными соображениями, совершает безответственный поступок. Столь радикальный подход характеризовал не только левое крыло русской интеллигенции, но и людей других политических взглядов: он был широко распространен как в религиозных, так и в светских, как в литературных, так и в академических кругах. Почти каждая философская система, претендовавшая на статус цельного знания и окончательные ответы, встречала пылкий прием среди всех этих жаждущих, то есть готовых к незамедлительному ответу, мыслителей, по преимуществу идеалистически настроенных, исключительно последовательных в своих логических построениях, но иногда слишком ригористичных.

Такие системы не замедлили появиться. Первой была немецкая философия, прежде всего – ее гегельянский извод, мысливший историю в качестве основной и единственной истинной науки. Правда, Гегель пренебрежительно считал славян племенами, пребывающими вне истории, и утверждал, что, подобно «вымершей» китайской цивилизации, те не играют роли в развитии мирового духа. Эту часть гегелевской философии в

России просто обошли, примыслив к его схеме всемирной истории представление об особой роли славян вообще и русских в частности, опирались при этом на авторитет Шеллинга, последовательного противника Гегеля. После бешеного увлечения Шиллером, Фихте, Гегелем и другими немецкими идеалистами в России столь же ревностно уверовали во французских пророков социализма – Сен-Симона и Фурье, а также их многочисленных последователей и толкователей, выдвигавших радикальные, «научно обоснованные» концепции революционного переустройства общества. Сила воздействия французских социалистов была так велика, что некоторые их русские ученики, воспринявшие эти концепции буквально, были готовы идти на заклание. Затем следовало множество других Lebensphilosophie, вдохновленных идеями Руссо, контианским позитивизмом, дарвинизмом, неомедиевизмом, анархизмом. Все эти учения Россия восприняла в куда более радикальном ключе, чем Западная Европа. В отличие от Запада, где философские системы зачастую слабели и постепенно выдыхались в атмосфере циничного безразличия, в Российской империи они становились символом веры, за которую сражались, веры, вскормленной ненавистью к консервативной идеологии – к мистическому монархизму, славянофильской ностальгии по старине, клерикализму и подобным направлениям мысли. Кроме того, надо учитывать, что в условиях абсолютистского государства, где отвлеченные идеи и мечты легко становятся заменой реальности, принимая самые фантастические формы, эти учения определяли судьбу своих приверженцев в такой мере, которая вряд ли известна в иных культурных сообществах. Превратить историю, или логику, или одну из естественных наук (например, биологию или социологию) в теодицею, искать и в конечном итоге суметь найти в рамках этих наук ответы на мучительные нравственные и религиозные сомнения, трансформировать эти науки в светскую теологию – все это, вообще говоря, не ново в истории человечества. Но русские довели этот процесс до острого и отчаянного героического наслаждения. Встав на этот путь, они привнесли в мировой опыт то, что теперь называют полной самоотдачей.

Больше века тому назад русские критики западной цивилизации объявили европейскую философию поверхностной. Чтобы показать ее ограниченность и нравственную сухость, ссылались на характерное для западной мысли убеждение, что разные сферы человеческой деятельности могут существовать независимо друг от друга, что творческая и гражданская жизнь не нуждаются в соотнесении, что хороший химик вполне может

оказаться семейным тираном и картежным шулером, а проникновенный композитор – закоснелым реакционером (это не должно, однако, волновать ни критику, ни публику). Русским людям самых разных убеждений западная философия представлялась искусственной, распадающейся на части и не выдерживающей критики в сравнении с глубиной того всеобъемлющего взгляда, согласно которому индивидуальная и социальная сферы жизни мыслились неотделимыми друг от друга и все составные части личности рассматривались в единстве – как элементы, находящиеся в постоянном взаимодействии. При оценке художника казалось невозможным отделить его творческую ипостась от гражданской. Научная честность математика автоматически ставилась под сомнение, если он изменял жене. Последовательное разграничение общественной и частной жизни не допускалось. Любая попытка оградить ту или иную сферу жизни от вторжения извне служила лишь доказательством того, как ошибочно думать, будто истинное предназначение человека не пронизывает собой все его поступки и отношения с людьми; не говоря уже об ошибочности того мнения, что у человека вообще нет особой роли и призвания. Отсюда вытекал важный вывод: в чем бы ни заключалась цель человечества – в Государстве (согласно гегелевской доктрине) или в создании ученой, артистической и деловой элиты, правящей обществом (согласно последователям Сен-Симона и Конта), в Церкви (если следовать сторонникам теократии) или в парламенте, реализующем волю нации (если принять точку зрения демократов и националистов), или, наконец, в том классе общества, который, по замыслу «истории», призван освободить себя и все человечество (позиция социалистов и коммунистов), – главная цель имела право подчинить себе абсолютно все. Сама идея самоценности человека или какой-то сферы его жизни казалась не чем иным, как попыткой ограничить, сузить, скрыть, изгнать истину, уклонившись от всемирного закона, потакая слабостям и порокам.

Вера в существование одной-единственной истинной цели, служению которой нужно подчинить всю свою жизнь, одного-единственного метода, позволяющего эту цель обнаружить, и лишь избранного круга людей, способных открыть и объяснить истину, – это древнее и хорошо известное убеждение может принимать разные формы. Но и в самом идеальном варианте оно, в сущности, тоталитарно. Даже его либеральные версии, допускающие некоторые сомнения относительно природы истины, метода ее обнаружения, статуса ее жрецов, не отменяют однажды установленной обязанности всех и каждого этой истине

подчиняться. Плюрализм и независимость не признаются ценностями. Напротив того, существует презумпция единственной истины и единой нормы жизни. Допускается лишь разнообразие пороков и ошибок. Неудивительно, что семена марксистской идеологии, проникшей в Россию в 1870–1880-е годы, пали здесь на почти идеальную почву.

II

Марксизм включал в себя, по сути, все, что искали молодые русские revoltés[352]. Опираясь на «научно обоснованную» модель истории, марксизм претендовал на открытие истинной цели жизни. Проповедуемые им нравственные и политические ценности преподносились как объективные: они вырастали не из произвольных, относительных и непредсказуемых мнений разных людей, классов или культур, но опирались на непререкаемые принципы, основанные на «объективном ходе вещей» и дарующие всем людям спасение и освобождение – в той мере, в какой люди способны эти цели осознать. Марксизм проповедовал нерасторжимое единство людей и социальных институтов. Подобно французским философам XVIII века, марксисты полагали, что все настоящие, поддающиеся решению проблемы в основном технологичны, что цели жизни – то, чего люди могли бы или хотели бы достичь, если бы знали свои истинные интересы, – определяются новой научной картиной мира. Единственная проблема в том, как достигнуть этих целей. Задача требовала не нравственных или политических, но технических решений, поисков правильных средств для достижения рационально обоснованной и универсальной цели. Иначе говоря, задача сводилась к проблеме социальной инженерии.

Известная фраза Сталина о писателях – «инженерах человеческих душ» уже своей образностью выдает марксистский источник, многое открывая по существу. Разъяснение правильных социальных задач, подкрепленное «научным» анализом общественного развития, входило в обязанности интеллектуалов. Затем через систему образования и посредством «формирования» правильных взглядов у сограждан им внушалось, что они вооружены единственно верным учением и действуют в рамках этого учения как хорошо подогнанные друг к другу части отрегулированного механизма. Показательно сравнение, использованное Лениным в книге «Государство и революция», одной из самых его известных политических деклараций: свободное общество, избавленное от классового угнетения,

уподоблено фабрике или мастерской, где рабочие почти механически выполняют свои обязанности. Истоки этого образа – в технократической картине мира. Марксисты оперировали понятиями «благополучие», «порядок», «безопасность», «свобода действий» – разумеется, для тех, кто этого заслуживает, поскольку для всех «посвященных» цель была общая. Последний лозунг не предполагал свободы выбора; «свобода» предоставлялась лишь в рамках единственно правильного пути, способного привести человечество к вечному блаженству. Мы имеем дело со старой якобинской доктриной, очень древней, восходящей к Платону. Однако в предыдущие эпохи никто, пожалуй, не принимал этого учения столь непосредственно и фанатично.

В первое десятилетие после Октябрьской революции все эти принципы, служившие моральным и метафизическим обоснованием тоталитаризма, были восприняты искренне, по крайней мере – коммунистическими вождями. На этом этапе, каковы бы ни были личные просчеты Троцкого и Зиновьева, Бухарина и Молотова, чекистов или даже самого Сталина, нет никаких оснований сомневаться в искренности и глубине их убеждений. Разумеется, между ними возникало много разногласий, но споры касались не целей, а средств. Только когда дискуссии зашли слишком далеко, их заклеймили как «уклонистов». Троцкий, например, опасался, что хорошо укрепившаяся и глубоко засевшая бюрократия будет тормозить революционное движение, нуждающееся в людях темпераментных, живых, тесно связанных с текущей жизнью, бесстрашных, преданных делу мировой революции, на полдороге к которой они не остановятся. У так называемой Рабочей оппозиции возражения вызывала концентрация власти в руках Центрального комитета коммунистической партии: они требовали равенства и демократического контроля, который осуществлялся бы рабочими организациями. Правые уклонисты полагали, что быстрые темпы коллективизации приведут к дисбалансу экономики, пауперизации и серьезным разрушениям, нанеся советской экономике более значительный вред, чем мучительный процесс постепенной ликвидации крестьянской собственности, а заодно и ее защитников, равно как и других так называемых пережитков капитализма. Они были сторонниками менее стремительных темпов и более мягких мер. Шли дискуссии и о том, в какой мере можно было использовать армию в ходе индустриализации.

Самые острые споры возникали, пожалуй, на культурном фронте. Одни полагали, что любая, как тогда говорили,

«пощечина» буржуазной культуре Запада, в какой угодно форме – будь то футуризм, модернизм или иного рода протест против традиционного искусства, служит ео ipso выражением большевизма, поскольку это бросает вызов западному истеблишменту, подрывая его нравственные и эстетические основы. В эти годы под флагом культурной войны с капиталистическим миром развивалось экспериментальное искусство, иногда очень смелое и интересное, иногда – лишь эксцентричное и менее ценное. На этот «культурный большевизм», получивший некоторую популярность и в Германии, коммунисты потом жестоко обрушились. Творчество талантливых писателей или художников мало привлекало членов партии, для которых коммунизм был связан с верой в особую пролетарскую культуру, творимую массами. Эксперименты авангардистов воспринимались ими лишь как чудачества или как декаданс, отражавший упадок той самой буржуазной цивилизации, которую революция и призвана уничтожить. Стоит заметить, что Ленин очень не любил все формы модернизма: его отношение к радикальным художественным экспериментам было предельно буржуазным. Но он не делал попыток навязать свои эстетические взгляды, и под опекой наркома образования Луначарского, драматурга-неудачника, писавшего в духе критического реализма, но сопротивлявшегося откровенной варваризации, острые споры об искусстве не прекращались. В партийных кружках царил разброд. Лидеры пролетарской культуры не могли прийти к соглашению: должно ли искусство создаваться отдельными талантливыми людьми, которые служат рупором пролетариата и в очищенном виде доносят до масс настроения рабочих, или, как утверждали экстремистски настроенные идеологи, творческие индивидуальности как таковые не нужны, поскольку искусство нового коллективистского сообщества должно стать коллективным. Некоторые даже полагали, что творить надо сообща, группами, а рецензии, статьи и художественные манифесты должны быть плодом совместных усилий, причем каждый автор мыслился анонимным участником общего дела, а все они несли коллективную ответственность. Словом, многие считали, что пролетарское искусство призвано рисовать обновленную жизнь, придав ей впечатляющий вид, приподняв ее над реальностью, если необходимо – создав особую социалистическую образность; другие полагали, что перед искусством стоит строго утилитарная задача – способствовать упрочению коммунистического общества, документально запечатлев создание основы социалистической экономики, уничтожение старого мира, строительство фабрик,

колхозов, электростанций, тракторов, комбайнов, единообразной одежды и пищи, однотипных домов массовой застройки, книг, и главное – счастливого, не обремененного сложными проблемами, стандартного человека.

Можно привести множество подобных примеров. Существенно, что эти «программные» споры были искренними: борющиеся стороны верили в то, что говорили, и разногласия между ними можно описать как разные истолкования марксистской доктрины. Более того, споры носили до известной степени публичный характер, и, самое главное, они касались не целей, а средств. Цели мыслились общими для всех, с тех пор как враги и сомневающиеся были уничтожены либо обречены на молчание. Непримиримое отношение Коминтерна к зарубежным коммунистам и еще в большей степени к социалистам, безжалостная охота на еретиков – все это объяснялось, по-видимому, искренней верой, что и те и другие могут пойти на компромиссы, поставив под удар истину, то есть учение, на котором зиждился фундамент нового общества, или могут избрать (если уже не избрали) путь, уводящий – пусть поначалу незаметно – от сакральных целей, уже не подлежащих обсуждению.

Большевизму свойственна специфическая особенность, резко отделяющая его от родителя – западного марксизма – и позволяющая рассматривать большевизм не просто как систему политических, экономических и социальных идей, но как жизненную модель, строго обязательную, пронизывающую все сферы жизни и настолько жестко контролируемую коммунистической партией и ее Центральным комитетом, что подтверждений тому не найдется даже в самых крайних декларациях Маркса и Энгельса. Это – «царизм наоборот», мрачно и точно предсказанный Герценом, писавшим о судьбе коммунизма в России еще в начале 1850-х годов. «Царизм наоборот» обязан своим появлением непосредственно Ленину. Особые обстоятельства российской жизни, наложившие отпечаток и на самого Ленина, и на русский коммунизм, порождали потребность в религиозном учении и в мессианской перспективе – потребность, которую марксизм вполне удовлетворял. Однако Ленин привнес в марксизм требование сурового подчинения: партия, в его интерпретации, больше всего похожа на секту, строго управляемую и требующую от ее членов, чтобы те принесли в жертву самое дорогое (материальные ценности, моральные принципы, личные отношения), причем эффект достигался тем успешнее, чем яснее демонстрировалось презрение к традиционной морали. Здесь чувствуется железный

фанатизм, приправленный сардоническим смехом и мстительным попранием либерального прошлого, который претил многим соратникам Ленина, но привлекал таких его учеников, как Сталин и Зиновьев.

Неотъемлемой частью этой хилиастической утопии, замаскированной под научную доктрину, стало умение игнорировать уже очевидную к началу XX века неспособность марксизма объяснить и предсказать социальные и экономические изменения; об этом слишком много и подробно написано, чтобы здесь повторяться. На Западе время от времени предпринимались и ортодоксальные и еретические попытки спасти марксизм от банкротства. В России, собственно говоря, в этом не было нужды. После Октябрьской революции марксизм стал там метафизикой, претендовавшей на исчерпывающее объяснение истории и упрямо пренебрегавшей всеми неудобными фактами. Чтобы согласовать их с марксистскими догмами, требовалась насильственная интерпретация прошлого, опиравшаяся на эзотерическую, не вполне внятную терминологию, на разработанную технику «диалектического» анализа и, наконец, на твердо постулированные представления о тех общественных целях людей и общества, которые должны быть достигнуты любой ценой.

В России, в отличие от Запада (это одна из самых поразительных ее особенностей), с первых дней существования нового режима, даже до официального объявления террора, те участники дискуссий, которые потерпели поражение, были обречены в лучшем случае на молчание, в худшем – на суровое наказание и уничтожение. Однако даже самые драконовские меры не прекратили дискуссий. Скорее, напротив: победа сулила огромное политическое влияние, поражение грозило смертью; само сознание, что ставки в этой борьбе так велики, воодушевляло антагонистов, обеспечивая неслыханный накал страстей. Я далек от утверждения, что все или хотя бы большинство участников опасных дискуссий были людьми исключительной честности, движимыми лишь высшими интересами; жестокие и отчаянные столкновения диктовались борьбой за выживание, за место и положение. Уже в 20-е годы стало совершенно ясно, что исповедуемые принципы отходят на второй план. Однако и отвлеченным вопросам воздавалось должное. Участники дискуссий чувствовали привычную необходимость в теоретическом оправдании своей позиции, и поскольку некоторые из них, по-видимому, искренне верили в то, что говорили, споры иной раз приобретали принципиальный характер.

Все это с очевидностью обнаружилось в борьбе на

«культурном фронте», который всегда служил моделью советской жизни в самых разных ее проявлениях. В дискуссиях об искусстве принимали участие люди замечательного дарования и темперамента, и их позиция – неважно, честная или уклончивая – была позицией людей исключительных. Луначарский, Воровский, Авербах не были первоклассными публицистами, но обладали подлинно революционным красноречием. Троцкий, Бухарин и Радек как мыслители не представляют собой ничего замечательного, но один из них был человеком гениального дарования, а двое других – по меньшей мере очень одаренные агитаторы. Среди писателей и художников – тех, кто не эмигрировал или вернулся в Россию, – тоже были фигуры первого ряда. Взлет искусства обеспечил 20-м годам репутацию не только интереснейшего периода русской истории, но и замечательного культурного явления.

Всему этому Сталин внезапно положил конец, открыв новую историческую эпоху.

III

Идеологическая политика сталинского режима – это захватывающая тема, заслуживающая специального исследования. До сих пор еще никто не изучал ее всерьез, и я позволю себе высказать лишь некоторые мысли.

С тех пор как Сталину и его подручным стало совершенно ясно, что мировая революция откладывается, что судьба капитализма не оправдывает оптимистических пророчеств отцов-основателей марксизма, что она может сложиться иначе, чем предполагалось поначалу, Сталин сосредоточился на трех взаимосвязанных задачах. Во-первых, важно было канонизировать большевистский режим и, главное, тех его вождей, которые признавали власть Сталина. Во-вторых, необходимо было поддержать международный авторитет Советского Союза, находившегося во враждебном окружении. Для этой цели мобилизовались все средства, за исключением, разумеется, тех, что подтачивали советскую систему. И в-третьих, объявлялись несуществующими – независимо от того, согласовывалось это с марксизмом, социализмом, а также любой другой идеологией или нет – все те события и факты, происходившие дома и за рубежом, которые могли поставить под удар одну из двух предыдущих задач.

Сталин до некоторой степени сопоставим с Наполеоном. В целом это сравнение нельзя считать вполне обоснованным.

Сталин не подавлял и не извращал революции, подобно Наполеону, ликвидировавшему якобинцев. У русской революции не было своего Термидора (и тем более своего Брюмера) ни в середине 20-х (как, по понятным причинам, казалось Троцкому), ни после убийства Кирова, ни после смерти Сталина. И тем не менее аналогия с Наполеоном способна кое-что прояснить. Задаться вопросом, был ли Сталин настоящим марксистом или даже верным ленинцем, это все равно что спросить, верил ли Наполеон в идеалы и идеи Французской революции. Наполеон противостоял дореволюционному режиму, и в этом смысле он был продуктом революции. Если он и примирялся с реликтами старого, то лишь из тактических соображений – на определенный период и ради конкретных выгод. Наполеон исходил из уверенности, что феодализм в Европе обречен и этот приговор истории окончателен, что династические принципы утратили обаяние и силу, что национализм – перспективная идеология, которой необходимо воспользоваться, что политика централизации и унификации наиболее приемлема на новом этапе истории. По аналогии можно сказать, что Сталин в той мере был марксистом и ленинцем, чтобы верить в обреченность капитализма, неизбежно гибнущего в силу «внутренних противоречий», хотя и вступающего то здесь, то там в смертельную борьбу за выживание, независимо от того, осознает ли он сам безнадежность этой борьбы. По-видимому, Сталин принял и другой тактический вывод марксизма: когда «противоречия» капитализма обостряются, необходимо форсировать кризисную ситуацию, если хочешь «наследовать землю». Если же «противоречия» еще не достигли критической точки, недальновидно добиваться преждевременного восстания, разумный путь для членов нового общества, то есть коммунистов, – подрывать режим изнутри, опереться на возмущение народа и разными способами использовать тактику «троянского коня». Без сомнений, Сталин верил, что общество неизбежно будет коллективистским, а не индивидуалистическим, верил в гибель религии и церкви, верил, что экономические рычаги управления играют более важную роль, чем, скажем, национальные чувства или политическая власть (поскольку экономика способна привести к самым значительным социальным изменениям или, напротив, может решительно их блокировать). В этом отношении он был, конечно, верным и даже необычайно твердым последователем Маркса. Если же спросить, был ли он марксистом в том смысле, в каком, несомненно, был им Ленин, то есть верил ли он, что после чудовищных родовых мук истории в самом деле появится новый мир, где человек получит больше

свободы, чем раньше, где ему будут предоставлены более широкие возможности развивать свои способности, где не будет войн, голода и угнетения, – если так поставить вопрос, то надо признать, что Сталин вряд ли вообще утруждал себя подобными размышлениями. Сомнительно, что он задумывался над этим больше, чем император Наполеон над судьбой идеалов Французской революции. И в похвалу его умственным способностям надо сказать, что присущий Ленину утопизм не заразил Сталина, по крайней мере судя по его высказываниям.

Есть еще одно основание для сравнения его с Наполеоном. Сталин твердо усвоил истину, которую первым среди светских правителей, по-видимому, ясно понял и использовал знаменитый император Франции. Наполеон осознал, что идеологические дискуссии – споры о проблемах, внешне удаленных от политики, таких, как метафизика, логика, эстетика, – гораздо опаснее для деспотического режима, поглощенного борьбой за власть, чем вера в любые формы авторитаризма, поскольку эти споры развивают критическое мышление. Хорошо известна откровенная неприязнь, которую Наполеон питал к ideologues[353] – эмпирикам и позитивистам его эпохи. Мягкому политику и сговорчивому либералу Дестют де Траси он явно предпочитал непреклонного легитимиста и ультрамонтана Бональда, оскорблявшего его самого и отказывавшегося иметь с ним дело. Сходным образом Сталин, набрав силу и почувствовав себя достаточно уверенно, положил конец всем идеологическим спорам как таковым. Осуществил он это, объявив победу одной школы над всеми другими – с исторической точки зрения даже не важно, какую школу он выбрал. Интеллигенции – писателям, художникам, ученым – теперь предписывали не интерпретировать, не обсуждать, не анализировать, тем более не распространять марксистское учение на новые сферы жизни, но упрощать его, усвоив общепринятую точку зрения, а затем повторяя и буквально вдалбливая одну и ту же санкционированную истину, любыми средствами и по любому поводу. Сталинские установки очень похожи на те, что провозгласил Муссолини: лояльность, работа, подчинение, дисциплина. Слишком много времени было потеряно в дискуссиях – времени, которое можно потратить на принудительную индустриализацию и на формирование нового советского человека. Сама по себе идея, что может быть какая-то сфера, где позволено спорить даже по безобидным вопросам, потенциально нарушала субординацию. Начавшись в далеких от политики областях – скажем, в музыкальной критике или в языкознании, – споры могли распространиться на области, теснее связанные с политикой, и таким образом ослабить энергию

экономического и военного строительства, во имя которых никакие жертвы не казались ни слишком огромными, ни чересчур безнравственными. Пресловутую марксистскую формулу – единство теории и практики – выхолостили и свели к набору цитат, призванных поддерживать официальную идеологию. Для искоренения даже самых слабых симптомов независимости среди преданных Сталину интеллектуалов (оставим сейчас в стороне уклонистов и людей дореволюционной эпохи) использовались методы, успех которых являет собой поразительный феномен, не знающий аналогов в истории подавления свободы.

В итоге мы имеем дело с пустой страницей в истории русской культуры. Если не брать в расчет естественные науки, не будет преувеличением сказать, что между 1932 годом и, скажем, 1945 или даже 1955-м в России едва ли появились оригинальная концепция или публицистическое произведение высокого уровня. То же касается и искусства; за эти годы в России не было опубликовано художественного произведения, которое заслуживало бы внимания само по себе – как эстетический феномен, а не документ эпохи или иллюстрация практиковавшегося тогда художественного метода.

Эта политика, по-видимому, объяснялась личными качествами Сталина. Полуграмотный представитель угнетенного национального меньшинства, познавший чувство унижения, исполненный ненависти ко всем, кто был умнее его, Сталин особенно ненавидел тех товарищей по партии, которые были наделены ораторским даром и любили теоретические дискуссии. Их искушенность в диалектике всегда – и до и после революции – вызывала у него чувство неполноценности. Троцкий был лишь самым высокомерным и блестящим представителем этого человеческого типа. Отношение Сталина к миру идей, к интеллектуалам и к интеллектуальной свободе представляло собой смесь страха, циничного пренебрежения и садистского юмора, свидетельствовавших о том, до какого низкого уровня он мог довести и советских и зарубежных членов своей постепенно уменьшавшейся конгрегации. После смерти Сталина эту политику защищали его наследники, утверждавшие, что когда старый мир будет разрушен и воцарится новый порядок, его создателям недосуг будет заниматься искусством, публицистикой, идеологией – все это обречено на безропотное молчание.

Стоит задуматься, каким образом, несмотря на тотальное подавление, русская интеллигенция могла сохраниться. Хотя она не одарила европейскую культуру ни одним новым словом, ей удалось сыграть выдающуюся и даже решающую роль в победе русской революции. Все революционное движение питалось

кровью ее мучеников. Неудивительно, что Ленин возлагал куда больше надежд на интеллигенцию, чем Маркс, отводя ей ведущую роль в дискредитации старого порядка и поддержании нового. Однако, когда интеллигенцию удушили, никто не пикнул. Лишь из-за границы послышались разъяренные голоса, но в Советском Союзе воцарилось молчание, свидетельство полной задавленности. Запугивания, пытки, казни не вполне объясняют ситуацию в стране, где подобные методы не были в новинку, но никогда не могли предотвратить революционного движения. Приходится признать, что Сталин добился этого результата, внеся нечто новое в искусство управления людьми – совершив открытия, заслуживающие внимания каждого историка и политика.

IV

Первое из этих открытий Атис назвал «искусственной диалектикой»[354]. Как известно, согласно философии Гегеля и Маркса, история развивается не как простая последовательность событий, но как результат конфликта двух противоборствующих сил – тезы и антитезы. Исходом конфликта оказывается столкновение и взаимоуничтожение этих сил, пиррова победа. Таким образом история поднимается на новый уровень развития, где «диалектический» процесс начинается вновь. Оставляя за скобками вопрос о том, как соотносится эта теория с разными сферами жизни, нельзя не заметить, что к революционным ситуациям она легко применима.

Хорошо известно, что главная практическая задача, встающая перед теми, кто успешно совершил крупномасштабную революцию, заключается в том, чтобы предотвратить одну из двух крайностей. Первая – назовем ее, вслед за Атисом, Сциллой – сводится к следующему: фанатики революции, видя, что создать новый мир не удается, начинают искать объяснений и козлов отпущения; обвиняют их в преступной слабости или в предательстве и возлагают ответственность на их агентов и союзников; объявляют, что революция находится в смертельной опасности, и начинают охоту на ведьм, вскоре перерастающую в террор, когда разные группы революционеров стараются уничтожить друг друга. В этой ситуации обществу грозит утрата даже того минимального социального единства, без которого оно не может существовать. Возникает угроза контрреволюции, вызванная отчаянными усилиями страдающего большинства выжить и достичь стабильности. Контрреволюционные попытки

представляют собой инстинктивную реакцию на катастрофу, которая кажется неминуемой. Все это известно из опыта Великой французской революции, отчасти – Коммуны 1871 года, а также из опыта некоторых стран Восточной Европы в 1918 году. Все это могло произойти и в ходе революционных событий 1848 года, когда крайне-левые партии начали одерживать верх. Подозрения в желании начать новый этап террора падали на Троцкого.

Другая крайность, Харибда, – это унылое безразличие. Когда революционный энтузиазм постепенно угасает и люди стараются избавиться от ужасного напряжения той неестественной жизни, в которую их ввергли, они стремятся к спокойствию, комфорту и нормальному существованию. Революция либо постепенно скатывается в праздность, *Schlamperei*[355], моральное убожество, финансовые интриги и всеобщую коррупцию (примером чему была французская Директория), либо перерождается в обыкновенную диктатуру или олигархию (что нередко происходило в Латинской Америке и в других странах). Поэтому перед отцами революции всегда встает одна и та же проблема: избежать как Сциллы утопического фанатизма, так и Харибды бесстыдного оппортунизма.

Надо отдать должное Сталину, открывшему и применившему метод, который в определенном смысле помог решить эту исключительную проблему. Теоретически история или природа (в интерпретации Гегеля и Маркса), следуя собственному диалектическому закону развития, доводят борьбу противоположностей до критической точки, обусловливая тем самым эволюцию, движение по спирали, а не угасание. Но, поскольку история и природа сами по себе могут клониться к деградации, человек должен время от времени приходить на помощь этим безличным силам. Как только правительство замечает в обществе признаки пагубных стремлений к сытому довольству, оно должно натянуть вожжи, усилить пропаганду, увещевать, запугивать и, если необходимо, примерно наказывать столько врагов, сколько потребуется. Симулянты, любители комфорта, сомневающиеся, еретики и другие «негативные элементы» подвергаются уничтожению. Такова «теза». Оставшаяся часть населения, должным образом запуганная, подвластная страху больше, нежели надежде, вере или стремлению к выгоде, бросается выполнять предписанную сверху работу, и экономика на время вырывается вперед. Но затем элита пуристов от революции, фанатичные террористы, пламенное сердце партии – те, кто искренно убежден в священной необходимости отрезать засохшие ветви от древа государства, неизбежно заходят слишком далеко. Если этого не происходит, если они могут остановиться

вовремя, значит, они не принадлежат к сорту людей, способных выполнять инквизиторские обязанности с отчаянным рвением и необходимой безжалостностью. Ханжи, полуверы, умеренные, оппортунисты, а также люди осмотрительные в суждениях или подверженные обычным человеческим чувствам, не подходят для этой цели, поскольку, как предупреждал еще Бакунин, они могут остановиться на полпути. Потом наступает момент, когда общество, слишком запуганное или истощенное, чтобы двигаться дальше, клонится к апатии, опускает руки – и производительность труда постепенно падает; в это время впору проявить милосердие. Фанатиков революции обвиняют в том, что они зашли слишком далеко, и – эта мера всегда популярна – их подвергают наказанию от имени всего народа. В зените правления Сталина это означало политические чистки и казни. Допускаются некоторые послабления в отдельных областях, например в литературной критике, поэзии или археологии, но ни в коем случае не в таких ключевых сферах, как экономика или политика. Это «антитеза». Снова легче дышится, слышны разговоры о мудрости правителей, о том, что наконец-то раскрылись их глаза на «произвол»; рождается надежда на расширение свобод; начинается оттепель. В производстве – резкий подъем, кругом восхваляют правительство за возвращение к раннему, более приемлемому идеалу, и наступает относительно счастливый период.

Все это неизбежно ведет к ослаблению напряжения: дисциплина смягчается, производительность труда снижается. Еще раз (новая теза) возникает необходимость вернуться к чистоте идеологии, упрочить фундаментальные законы, продемонстрировать приверженность власти, уничтожить паразитирующих саботажников, карьеристов, тунеядцев, иностранных агентов и врагов народа, каким-то образом сумевших проникнуть в общество. В результате – опять чистки, опять всплеск фанатизма, новый крестовый поход и опять возникает необходимость отсекать головы контрреволюционной гидре (новая антитеза).

Таким образом, общество удерживают в режиме постоянного движения, его развитие имеет зигзагообразный характер, а личная безопасность зависит от умения предугадать действия власти и вовремя приспособиться к новому курсу. Здесь все решает время. Неправильный расчет – следствие инертности, отсутствия политического чутья или, что хуже всего, наличия моральных или политических убеждений, заставляющих слишком долго оставаться на осужденной стезе, – почти всегда, а при упорстве особенно, чреват немилостью или гибелью.

Нет сомнения, что при помощи такой продуманной политики, с разной интенсивностью чередовавшей чистки с периодами послабления, ограничение свободы с ее расширением, Сталину удалось сохранить систему, отнюдь не вызывавшую одобрения тех, кто оказался в нее вовлечен. Он поддерживал ее жизнь дольше, чем это удавалось ранее, при любой другой революции. Метод Сталина подробно рассматривается в уже упомянутой статье Атиса. Хотя, как утверждает автор статьи, успех этого метода обеспечивается лишь рукой хозяина, поддерживающего порядок, сам метод пережил Сталина. Несмотря на то что разыгравшаяся между его преемниками борьба за власть нанесла системе огромный ущерб, несмотря на восстания на Западе, совершенно непредвиденные в Москве, «искусственная диалектика» продолжала работать. В течение последних пяти лет непрерывная последовательность «либеральных» и репрессивных шагов советских правителей строго сохраняется, хотя этот метод больше не поддерживается виртуозным мастерством (или личным садизмом) Сталина. Иначе говоря, гипотеза Атиса, объясняющая сталинские методы управления, прекрасно подходит и для его преемников.

Этот метод – оригинальное изобретение Сталина. Одним из его побочных последствий, тоже хорошо продуманным, была полная деморализация слоя, который в СССР до сих пор обозначают словом «интеллигенция», то есть людей, занимающихся искусством и наукой. В худшие годы царского режима все же сохранялись определенные сферы, где существовала возможность выразить себя совершенно свободно, мало того – существовала возможность промолчать. Сталин это изменил. Теперь ни одна сфера не исключена из области партийных директив; отказ говорить то, что предписано, означает неповиновение и ведет к наказанию. Для «внутренней эмиграции» необходимо, чтобы умственная деятельность и средства самовыражения оставались вне политики. Но если единственный шанс выжить определяется тем, поддерживает ли человек абсурдные политические принципы, если, более того, его умственные способности истощаются в борьбе со смертельной опасностью, поскольку он должен непрерывно маневрировать между разными позициями, если требуется признавать то одно, то другое божество, причем они непредсказуемо меняются, а малейшее невнимание, слабость или ошибка могут стоить человеку жизни – уже невозможно обдумывать собственные замыслы или скрываться в крепости своего внутреннего мира, оставаясь тайным еретиком. Сталин пошел еще дальше. Он допустил лишь минимум официальных контактов между

научными учреждениями, между лабораториями и институтами и тем самым успешно предотвратил возникновение влиятельных интеллектуальных центров, пусть даже смиренных и покорных, пусть даже шарлатанских и ретроградных. Среди жрецов диалектического материализма тоже не могло появиться влиятельных фигур, поскольку теоретические проблемы обсуждать не дозволили. В Академии наук, Институте красной профессуры или в Институте имени Маркса и Энгельса занимались тем, что цитировали Маркса в поддержку *деяний* Сталина. Нужду в *догматах* как Сталин, так и другие члены Политбюро (конечно, далекие от академических штудий), восполняли сами.

Там, где нет официальной церкви или коллегии авгуров с их привилегиями и тайнами, существует относительно защищенная территория, где процветают и ортодоксальная вера, и ереси. Сталин взялся за подавление идей как таковых, за что, надо сказать, пришлось дорого заплатить. Речь идет не только о системе образования советских граждан, не только о «чистой» науке и фундаментальных исследованиях; даже прикладные науки были задавлены недостатком свободы; их наводнили авантюристы, шарлатаны и профессиональные осведомители. Подавление всех форм интеллектуальной жизни имело более глубокие последствия, чем полагали самые враждебные и пессимистично настроенные западные наблюдатели и даже зарубежные коммунисты, находящиеся за пределами советского влияния. Создание такой системы – поразительное достижение Сталина, значение которого не следует приуменьшать. Ему удалось выхолостить русское общество, некогда одно из самых талантливых и продуктивных.

V

Еще одно последствие созданной Сталиным системы состоит в том, что основная часть тех пороков, которые так настойчиво приписывались марксистами капитализму, в чистом виде обнаруживаются только в самом Советском Союзе. Большинству читателей, вероятно, знакомы такие расхожие марксистские понятия, как капиталистическая эксплуатация, железный закон заработной платы, превращение человека в товар, присвоение прибавочной стоимости владельцами средств производства, зависимость идеологической надстройки от экономического базиса и тому подобная коммунистическая фразеология. Но что лучше всего иллюстрируют эти понятия?

Экономическая эксплуатация – феномен, хорошо известный на Западе; но и там нет такого общества, в котором людей «эксплуатировали» бы более жестко, систематично и откровенно, чем советских рабочих. Правда, прибыль от этого в Советском Союзе идет не в пользу частного предпринимателя или капиталиста. Эксплуататор – само государство или те, кто контролирует аппарат принуждения и власти. Эта контролирующая сила – будь то партийные деятели, или бюрократы, или и то и другое вместе – больше похожа на капиталистов из марксистской мифологии, чем реальные капиталисты современного Запада. Рабочие на самом деле получают лишь такой минимум пищи, крова, одежды, развлечений и образования, чтобы они могли производить максимальное количество товаров и услуг, предусмотренных государственным планом. Остальное присваивается в качестве прибавочной стоимости намного проще и аккуратнее, чем на Западе, где нет планирования. Заработная плата регулируется самым «железным» из всех возможных законов – потребностью в продуктах. Экономическая эксплуатация осуществляется здесь в чистом виде, в «лабораторных» условиях, не мыслимых в Западной Европе или в Америке[356]. Именно в Советском Союзе официальные постановления, лозунги, идеалы меньше всего соответствуют реальности. Именно здесь поддерживаемые властью интеллектуалы – это своего рода лакеи правящей элиты (некоторые из них пассивны и инертны, другие полны циничного удовлетворения и гордости за свою изобретательность). Именно в Советском Союзе куда явственнее, чем на Западе, идеология, литература и искусство служат дымовой завесой, скрывающей жестокости, средством ухода от реальности, в которой творятся преступления, или «опиумом для народа». Именно в Советском Союзе государственная религия (ею и стал закосневший «диалектический материализм» официальных советских философов) – не что иное, как сознательно используемое оружие в борьбе с внутренним и внешним врагом; философия, уже и не претендующая на статус «объективной истины».

Материалистическая философия учит, что экономика определяет общественную жизнь и диктует взаимоотношения людей в системе производства, тогда как культурные феномены – религия, политика и мораль, юридические и политические институты, литература, искусство, естественно-научные представления – принадлежат к различным уровням «надстройки», то есть обусловлены «базисом». Эта известная, широко признанная и влиятельная доктрина едва ли в точности описывает какое-либо из существующих обществ или

исторических периодов. Все попытки истолковать социальные явления, исходя из нее[357], наталкивались на огромное число исключений, объяснить которые можно было лишь с натяжками, что придает построениям аморфность и ограничивает возможности их применения. Однако в советском обществе марксистской теории беззаветно преданы. Там каждому ясно, что именно входит в базис, а что – в надстройку. Писатели и архитекторы могут не питать иллюзий по поводу того, какой уровень пирамиды они занимают. Экономические, военные и другие «кадры» должны полностью определять жизнь, поскольку таково их предназначение. Эта ситуация порождена не реальностью, а тщательной и искусной инженерией, с помощью которой Сталин и его чиновники преобразили Российскую империю.

Поразительная ирония истории: категории и понятия, придуманные для описания западного капитализма, оказались более всего пригодными для характеристики его заклятого врага. Вряд ли это лишь случайность, *lusus historiae*[358]. Каждому, кто изучал историю русской революции, известно, что самые глубокие разногласия большевиков и ортодоксальных марксистов – меньшевиков – сводились к вопросу о возможности немедленного перехода к социализму. Меньшевики считали, что согласно марксистской теории, как бы ее ни интерпретировали, подлинный социализм можно установить лишь в обществе, достигшем высшей ступени индустриализации, где организованный пролетариат составляет большинство и где нарастающие экономические «противоречия» толкают пролетариат на «экспроприацию экспроприаторов». В Российской империи этой стадии не достигли. Но большевики, главным образом под воздействием Троцкого, заявили, что надо не полупассивно ожидать, пока весь необходимый процесс будет завершен при капитализме (то есть буржуазной республике), оставляя рабочих не защищенными от свободной игры «истории», «природы» и т. д., а взять весь процесс под контроль пролетарской диктатуры. Тогда Россия сможет пройти через стадии, предполагаемые «диалектикой истории», в тепличных условиях, регулируемых коммунистической партией. Подразумевался знаменитый «переходный» период диктатуры пролетариата – искусственный и контролируемый эквивалент «естественного» развития капитализма на Западе. Обе дороги вели к развитому коммунизму, но русский путь казался менее болезненным, поскольку капризы «природы» исключались; люди, вооруженные марксистской теорией, могли контролировать собственную судьбу, облегчая тем самым «родовые муки» истории. Если,

подобно Ленину, фанатично верить в марксизм, не имеет значения тот факт, что марксистский анализ не слишком убедительно описывает даже западный капитализм, для объяснения которого он и был создан. Если модель не соответствует фактам, нужно добиться, чтобы факты соответствовали модели. В России 1917 года капитализм был развит недостаточно, а пролетариат слаб. Однако требовалась верность диалектике истории. Если не исходить из того, что марксистская теория основана на чудовищной ошибке, то спасение невозможно представить без капиталистической фазы развития. Поэтому ее нужно синтезировать искусственно.

Иногда аналогичные попытки осуществлялись удачно, например в Японии. Но японцы руководствовались разумом и опытом. Они совершили модернизацию приемлемыми методами, не сковывая себя той или иной догматической теорией; и быстро и успешно достигли цели, прибегая, правда, к достаточно жестким средствам. Этот путь был чужд Ленину и его последователям. Верность классикам марксизма вынуждала их подчинять практические выводы требованиям теории: социальное и экономическое развитие России должно проходить через определенные стадии, порядок которых изложен Марксом. Это создало фантастические препятствия, преодолевавшиеся ценой огромных человеческих жертв. Россия *должна* была пройти через фазы, которые западный капитализм, согласно марксизму, прошел во времена индустриальной революции и после нее. Русскую жизнь надлежало изменить, чтобы она обрела сходство с моделью, сконструированной – правда, не слишком компетентно – для объяснения эволюции того общества, которое от русского кардинально отличалось. Россия подверглась вивисекции, чтобы соответствовать теории, начавшей свое существование с объяснения социальной эволюции. Модель, призванная лишь описывать явление, превратилась в норматив; теория, стремившаяся объяснить логику западноевропейской истории XIX века, была скопирована в Восточной Европе в XX веке.

Практика, основанная на ошибочных выводах, не всегда ведет к катастрофе. Например, американский конституционализм был частично вдохновлен неверным анализом британской политической жизни, предпринятым Монтескье. Ошибка Ленина обошлась, как оказалось, куда дороже. Россию ввергли в неслыханный ужас индустриализации, поскольку Маркс, нарисовав мрачную картину западного капитализма, утверждал, что ни одно общество не сможет избежать аналогичной ситуации. Установление большевистской системы в экономически отсталой стране – уникальный и чудовищный памятник власти небольшой

группы энтузиастов и их неограниченного презрения к историческому опыту, памятник кровавого истолкования Единства Теории и Практики.

VI

Столкнувшись с кризисной ситуацией и угрозой катастрофы, Ленин пошел на частичное отступление. Его преемники под воздействием событий также прибегали к компромиссам, и место ленинского утопического плана заняла реалистическая политика. Тем не менее тот огромный разрыв между замыслом и реальностью, который составляет самую суть большевистской революции, нельзя устранить без распада режима. Во всяком случае, серьезных попыток к преодолению этого разрыва никогда не предпринималось. По этой причине советское общество нельзя считать цивилизованным в привычном смысле слова.

Цель нормального общества сводится прежде всего к выживанию, а затем к удовлетворению самых, как писал Милль, «глубоких интересов человеческого рода», то есть тех минимальных потребностей, которые возникают, когда естественные желания уже реализованы. Речь идет о стремлении к самовыражению, счастью, свободе и справедливости. Правительство, в достаточной мере озабоченное реализацией этих ценностей, выполняет свои функции. Но не таковы цели советского общества и советского правительства. Революционные корни обусловили особую его организацию; оно должно принимать вызов, преодолевать трудности, одерживать победы. Подобно школе, спортивной команде и в еще большей степени – продвигающейся вперед армии, оно призвано к выполнению особых задач, разъясняемых массам его вождями. Советская жизнь задумана как борьба за достижение целей. При этом не слишком важно, в чем заключается главная цель, – ставится ли военная задача или гражданская, надо ли ликвидировать внутреннего или внешнего врага или, наконец, объяснить решение индустриальных проблем. Чтобы советское общество продолжало существовать, цели должны быть провозглашены. Независимо от того, вправе ли мы считать советских вождей заложниками собственной системы, ясно одно: они понимают, что избежать крушения режима можно, только неустанно призывая сограждан к новым свершениям. Советские лидеры, как командиры на войне, сознают, что нельзя гарантировать ни дисциплины, ни кастового духа и продолжительного существования армии как единого целого, если войска не

понимают всей важности своей службы.

Возможно, лидеры Советского Союза после относительно спокойного периода втайне мечтают отказаться от бесконечных жестокостей и страданий, присущих режиму, и прийти к «нормальному» существованию. Даже если они вынашивают подобные планы, им совершенно ясно, что, по крайней мере, в ближайшем будущем все это недостижимо, поскольку советское общество создано не для счастья, не для благополучия и свободы, не для утверждения справедливости, не для сферы личных отношений, но для борьбы. Машинисты и контролеры этого огромного поезда не могут внезапно с него спрыгнуть или остановиться на полпути, ибо это чревато катастрофой. Если им суждено выжить и тем более сохранить свою мощь, они должны двигаться дальше. Смогут ли они на ходу перестроить состав и тем самым превратить поезд (да и самих себя) в нечто не столь дикое, не столь опасное для человечества и опять же для самих себя – покажет будущее. В любом случае, на это следует надеяться всем тем, кто не верит в неминуемость войны.

Между тем эта пародия на *дирижизм* дискредитировала традиции социального идеализма и уничтожила верную этим традициям интеллигенцию – уничтожила, возможно, более решительно, чем любые гонения. Ничто не действует на взгляды меньшинства так разрушительно, как официальное их признание самим государством, а затем неизбежное предательство и извращение. Мы имеем дело с таким случаем, когда нет ничего менее успешного, чем сам успех.

Генералиссимус Сталин и искусство властвовать

[359]

Мы живем в эпоху, когда социальные науки все с большим правом заявляют, что способны предсказывать поведение индивидуумов и социальных групп, правителей и подданных. В этом свете кажется странным, что для этих наук остается загадкой природа одного известного политического феномена, который при этом наблюдается не в каком-то неизведанном месте на планете, не в каких-то недоступных методам психологии пределах человеческой души, но в сфере, в которой, казалось бы, действуют железные законы разума и влияние на которую всякого рода случайностей, человеческих прихотей, непредсказуемых всплесков эмоций, спонтанных действий – иными словами, всего, что хоть в какой-то степени способно поколебать строгие логические связи, было раз навсегда безжалостно пресечено. Феномен, о котором я веду речь, есть так называемая генеральная линия Коммунистический партии Союза Советских Социалистических Республик. Ее резкие внезапные колебания ставят в тупик не только окружающий мир, но и граждан Советского Союза, и не только граждан Советского Союза, но и членов самой Коммунистической партии; и подчас эти колебания влекут для этих последних крайне неприятные, если не фатальные, последствия.

Коммунист, неспособный предсказывать колебания этой капризной линии, ходит по лезвию ножа. Если он не сумел предсказать, в какую сторону отклонится линия, ему в лучшем случае приходится менять все свое поведение; в худшем – он погиб. Примером может служить история нероссийских коммунистических партий, и в особенности немецкой, для которых неожиданные колебания «линии Москвы» оказывались подлинной катастрофой. Написаны целые полки книг, посвященных этому явлению, среди их авторов такие информированные экс-коммунисты, как *Бармин, Чилиджа, Росси* и *Рут Фишер*; добавим сюда и многочисленные «романы с ключом», написанные талантливыми людьми, отвернувшимися от коммунизма, такими, как *Артур Кестлер, Хамфри Слейтер* и *Виктор Серж*. Несомненно, в значительной степени эта «нестойкость» линии коммунистов как в сфере идеологии, так и в сфере конкретной экономической и внешней политики, может быть объяснена тем, что в умах этих коммунистов национальные

интересы России доминируют над интересами мирового коммунизма вообще и интересами коммунистических партий других государств в частности. К тому же, поскольку советские лидеры, очевидно, не являются инопланетянами, то мы не должны исключать, что они могут ошибаться в своих расчетах, быть некомпетентны и глупы, и, наконец, что им просто может не везти. Но даже принимая во внимание влияние таких факторов, как национализм, человеческая слабость и беспорядок в человеческих взаимоотношениях, мы не можем разрешить вопрос, почему на протяжении советской истории идеология СССР так резко и так часто менялась.

Здесь, вероятно, необходим известный экскурс в марксизм, ибо мы все согласимся, что советские лидеры не только декларируют, что смотрят на события с точки зрения того или иного варианта марксизма, но порой действительно так и делают. Несомненно, склад ума у членов Политбюро скорее практический, нежели теоретический, но тем не менее фундаментальные категории, в терминах которых они воспринимают окружающий мир, и, соответственно, формируют свою политику, происходят из группы теорий, разработанных Марксом и Гегелем и затем принятых Лениным, Троцким, Сталиным, Тито и даже, хотя и в искаженной форме, фашистскими диктаторами. Этот уже довольно развитой марксизм предлагает различать два периода исторического времени – пики и провалы, то есть периоды, в которые, соответственно, «история» или находится в состоянии кипения и движется к революционному скачку, или пребывает в другом состоянии, когда все спокойно и стабильно, или, по крайней мере, кажется таковым, и это второе состояние обычно длится дольше, чем первое. И хотя, конечно, теория утверждает, что под этой гладью идет непрерывная борьба противодействующих друг другу факторов, которая в итоге ведет к неизбежному взрыву (это и есть прогресс), все же эта борьба чаще всего незаметна и протекает подспудно – революция, как говорил, цитируя «Гамлета», Маркс (и Гегель), подобно кроту, роет землю проворно, хотя внешний наблюдатель и не может этого видеть. В такие времена революционные партии должны копить силы и сплачивать свои ряды, а не сражаться в битвах. Эта теория фаз, сменяющих друг друга, известная по меньшей мере со времен Сен-Симона, на мой взгляд, есть единственное средство, с помощью которого мы можем понять политику, которую проводил в 20-е и 30-е годы Сталин.

Лучший пример того, как был положен конец «активной» политике – это смена агрессивной линии Троцкого по отношению

к Китаю на более мягкую. Сталин и его помощники, судя по всему, пришли к выводу, что начался очередной «спокойный» период и что, вследствие этого, попытки вызвать или поддержать радикальную революцию «с необходимостью» обречены на провал. Напротив, наиболее яркий пример приказа «в атаку!» есть знаменитая директива 1932 года, предписывавшая немецким коммунистам обратить огонь на социал-демократов, поскольку те якобы были более опасными врагами, нежели Гитлер. Речи Сталина в этот период очень поучительны в этом смысле, из них очевидным образом следует, что, по его мнению, на смену долгому периоду спокойствия снова пришло время революции. В глазах Сталина экономический кризис 1929–1931 годов был самым ярким за всю историю человечества свидетельством того, что противоречия капиталистической системы скоро сыграют свою историческую роль и взорвут изнутри все ее прогнившее здание (кстати, ситуация того времени виделась в столь мрачном свете не одному только Сталину; весьма многочисленные интернациональные наблюдатели, относившиеся к самым различным частям политического спектра, высказывались о текущей ситуации в мире ничуть не менее красноречиво). Если же складывается «революционная ситуация», коммунистическая партия должна брать ход событий в свои руки и действовать. Закончен период, в течение которого она должна была вводить своих потенциальных противников и врагов в опасное заблуждение, что мир заключен навечно; теперь коммунистическая партия мгновенно сбрасывает с себя маску солидарности со всеми левыми и «прогрессивными» силами. Как только трещины в капиталистическом миропорядке становятся видны невооруженным глазом, это значит, что момент, когда нужно нанести удар, вот-вот настанет, и в такой ситуации надо срочно готовить выступление; образцовый пример здесь – Ленин и его подготовка Октябрьского переворота. Коммунистическая партия, смелая, сильная, единственная знающая, что́ ей нужно и как этого достичь, разрывает отношения (которые никогда и не были подлинными, хотя до поры были тактически необходимыми) с «аморфной» безмозглой массой случайных последователей, временных союзников и прочих «сочувствующих». Нужно совершить смелый прыжок через пропасть, чтобы захватить власть, которой одна лишь коммунистическая партия достойна – и способна – распоряжаться.

Приказ «в атаку!», отданный Сталиным в 1932 году своим немецким соратникам, был ими исполнен, что повлекло за собой их гибель и едва не повлекло за собой гибель самого Сталина, – в

самом деле, всем нам известно, что, воспоследовало, и мир до сих пор платит за это страшную цену. Но даже чудовищные страдания, последовавшие за исполнением сталинского приказа, не поколебали веру коммунистов в вышеупомянутую формулу. Она остается неизменной и повторяется снова и снова: при возникновении революционной ситуации ликвидируй своих союзников, которые больше тебе не нужны, затем выступай и наноси удар; пока же такая ситуация не возникла, копи свои силы и собирай вокруг себя каких найдешь союзников, создавай народные фронты, рядись в либеральные и правозащитные одежды, и повсеместно цитируй тех из древних, кто указывал на возможность, если не на желательность, мирного сосуществования и взаимного уважения. Последнее особенно сыграет тебе на руку, поскольку, с одной стороны, скомпрометирует твоих потенциальных конкурентов, ибо заставит их зайти дальше, чем они бы хотели, к тому же они этого не заметят, и, с другой стороны, поставит в неудобное положение деятелей из правого крыла, то есть силы реакции, поскольку заставит их восстать против всех самых искренних и лучших защитников прав человека, свободы, прогресса и справедливости.

Вполне вероятно также, что эта формула в известной степени объясняет и колебания советской пропаганды после 1946 года, когда советские идеологи вдруг неожиданно принялись ждать мирового экономического кризиса и, соответственно, стали исключительно жестки и агрессивны в своих высказываниях. За этим последовало постепенное и неохотное смягчение позиции, связанное с пониманием (раньше времени выраженным советским экономистом Варгой, которого – и поделом! – «пожурили» за многознание, проявленное в неподходящий момент) того, что ожидаемый кризис не наступит так уж скоро и может наступить не тогда, когда его ждут, и быть не таким глубоким, как предполагается. В этом можно видеть источник попыток заменить в течение последних двух лет прямолинейную пропаганду (по крайней мере, ту, что идет «на экспорт»), исполненную в допотопном, бескомпромиссном марксистском тоне, поддержкой некоммунистических ценностей, таких, как стремление к миру во всем мире, а также воззваниями к национальной гордости в противовес диктату США и напоминаниями о традиционных дружеских связях между, например, Россией и Францией или, напротив, о традиционной вражде между, например, Францией и Англией. Советская опора на эту схему смены исторических периодов активности и пассивности (у которой добрая и длинная родословная, уходящая в глубь веков) не может, вероятно, служить полным объяснением перипетий идеологической

политики СССР, но эту политику невозможно целиком объяснить без обращения к такой гипотезе, ибо иначе придется предполагать у теперешних правителей Советского Союза очевидно несвойственную им – при прочих равных – степень слепоты, глупости и, в конце концов, просто страсти выворачивать вещи наизнанку. И это само по себе есть довольно сильный довод в пользу истинности этой гипотезы.

II

Однако, каковы бы ни были теории исторического развития, определяющие политику Советского правительства по отношению к своим заграничным союзникам, едва ли они помогут нам объяснить зигзагообразные движения генеральной линии партии внутри Советского Союза. Эта особенность правительственной политики наводит на советских граждан священный ужас, особенно на представителей так называемых «общественных» профессий – писателей, художников, ученых, академиков и других интеллектуалов, – ведь их карьера и даже самая их жизнь зависят от их способности быстро и аккуратно приспосабливаться ко всем многообразным видам этого капризного создания, которое сродни разве что Протею. Принципы изменения линии не всегда, конечно, целиком остаются под покровом тайны. Разумеется, принятая в 20-е годы доктрина о построении социализма «в одной, отдельно взятой стране» не могла не изменить радикально всю политику партии. И ни один разумный наблюдатель не мог слишком сильно удивиться, когда последователи более ранней идеологии, так называемого троцкизма, а также и люди, лично связанные с изгнанным лидером, были подвергнуты чистке или в свою очередь изгнаны из страны. Точно так же не стоило удивляться тому, что после заключения пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году последовал запрет на антинемецкие и антифашистские демонстрации. И еще менее – подъему, официально поддерживаемому, националистских и патриотических настроений в период народно-освободительной войны против Германии.

С другой стороны, никто не ожидал и не мог предсказать такие курьезные случаи, как осуждение, которому подвергся главный идеолог партии Г. Александров за то, что назвал Карла Маркса лучшим из западных мыслителей, а не, как должен был бы, человеком, совершенно отличным от них и вообще превосходящим по масштабу интеллекта всех когда-либо живших

мыслителей. Высшие чины партии утверждали, что, назвав Маркса философом, Александров был непочтителен к нему, чуть ли не нанес ему оскорбление. Говорили, что назвать Маркса лучшим из философов – то же самое, что назвать Галилея наиболее мудрым из астрологов или человека – наиболее одаренной из обезьян. Точно так же никто не предсказывал и, вероятно, не мог предсказать взрыв ненависти по отношению к старшему поколению интеллектуалов, по большей части писателей и художников еврейского происхождения (и это после массовых убийств и пыток евреев нацистами), которых окрестили безродными космополитами и мелкими приспешниками сионизма, да и последовавший за этим роспуск Еврейского антифашистского комитета. И далее, никому из филологов, кто столько лет подписывался под вычурными (но официально признанными) доктринами академика Марра, нельзя поставить в вину неспособность предсказать его падение. Кому могло прийти в голову, что священному обряду жертвоприношения интеллекта и знания на алтарь долга по отношению к стране и партии уготована столь необычная судьба – личное вмешательство генералиссимуса, который ex cathedra возвестил миру истину о взаимоотношениях языков, диалектов и социального устройства?

Любой, кто имел дело с советскими писателями или журналистами, или даже просто с представителями Советского Союза за рубежом, знает необыкновенную чуткость уха этих людей по отношению к малейшим изменениям в тоне партийной политики. И однако же эта чуткость в итоге не приносит им никакой пользы, ибо ее неизменная спутница – беспомощное незнание того, куда в следующий момент пойдет «генеральная линия». Конечно, по поводу каждого конкретного «изгиба» строятся бесконечные гипотезы, иные фривольного свойства, иные серьезные; в советской России такие гипотезы обычно отдают черным юмором, типично советским юмором висельников, и выражаются в горьких, на весь мир знаменитых афоризмах. Но пока не выдвигалось ни одного общего положения, которое бы объяснило все наличные факты. Поскольку же, в конце концов, маловероятно, что такие холодные и расчетливые люди, как правители Советского Союза, оставляют определение центральной линии своей политики, от которой все зависит и от которой все отсчитывается, на волю случая или наития, мы едва ли скажем, что пытаться выдвинуть гипотезу, которая бы объяснила многое в этой загадочной ситуации, есть пустая трата времени.

III

Основой нашей теории служит соглашение о том, что существуют две опасности, угрожающие любому режиму, установленному в результате революции.

Первая опасность состоит в том, что процесс может зайти слишком далеко, то есть что революционеры в пылу борьбы уничтожат слишком многое, и в особенности тех индивидуумов, от таланта которых в конечном счете зависит успех самой революции и удержание ее достижений. Еще ни одна революция не достигала целей, которые ставили перед собой наиболее яростные ее сторонники, ибо самыми лучшими революционерами становятся люди, которые понимают историю чересчур упрощенно. После того как опьянение победой прошло, настроение людей меняется на мрачное, среди победителей начинает преобладать чувство несбывшихся надежд и презрения друг к другу, поскольку самые святые цели оказываются недостигнутыми, зло все еще бродит по земле, и кто-то должен за это ответить, кто-то должен понести наказание за недостаток рвения, за безразличие, за саботаж и даже, возможно, за предательство. И вот начинаются судебные процессы, людям выносят приговоры и потом казнят за то, что они были неспособны совершить нечто, что, по всей вероятности, никогда и никем не могло в реальности быть совершено; люди оказываются за решеткой и на эшафоте за то, что оказались вовлечены в события, за которые никто не несет ответа, которые невозможно было предотвратить, наступления которых наиболее ясно мыслящие и трезвые (как оказывается впоследствии) наблюдатели всегда до той или иной степени ожидали. Но процессы и казни не могут исправить положение. Презрение уступает место гневу, власти прибегают к террору, число казней увеличивается. Нет никаких причин, по которым этот процесс должен закончиться сам по себе, без вмешательства внешних сил, так как никакое число жертв не может искупить преступление, которое никто не совершал; можно пролить реки крови, но это не поможет вывести страну из кризиса, причины которого кроются в общей неспособности – вероятно, неизбежной – понимать ход событий. Но как только страна ступила на путь взаимных подозрений и обвинений, террора и контртеррора, пути назад уже нет – вся структура общества рушится, как карточный домик, в вихре бешеной охоты на ведьм, когда никто не может надеяться на спасение. Каждый школьник знает, как дважды два, чем закончилась Великая французская революция в 1794 году.

Вторая опасность – прямо противоположного свойства и часто является прямым следствием первой. Когда исчерпан изначальный революционный импульс, энтузиазм ослабевает, сил

становится меньше, мотивы становятся менее сильными и менее чистыми, появляется отвращение к героизму, мученичеству, уничтожению жизни и собственности, старые привычки возвращаются на свои места, и то, что начиналось как смелый и блестящий эксперимент, разваливается на части и погибает под грузом коррупции и междоусобных дрязг. Именно это и происходило во Франции в период Директории, и такое положение вещей означало конец революционного периода во многих других странах. Именно это положение вещей устанавливается, кажется, с неизбежностью во всех странах Латинской Америки после очередного романтического восстания.

Стало быть, избежать этих противоположных опасностей – то есть проплыть между Сциллой самоуничтожающего якобинского фанатизма и Харибдой постреволюционной апатии и цинизма – главная задача любого революционного лидера, который не хочет видеть ни то, как его режим сгорит в пламени, которое он сам разжег, ни то, как все вернется на круги своя, к привычному ходу событий, который на недолгое время был нарушен революцией. Но именно здесь марксисты оказываются в любопытном затруднительном положении. Ведь согласно той части марксистской доктрины, которая заимствована у Гегеля, мир – все живое и неживое – находится в состоянии перманентного внутреннего конфликта, который безжалостно ведет его от одного кризиса к другому, в результате чего борьба всякий раз переходит на новую, более высокую стадию, на которой имеются новые противоречия. Таким образом, сама диалектика – ибо именно так называется этот процесс – должна, казалось бы, гарантировать жизнеспособность любого истинно революционного движения. Ибо если диалектика «неизбежно присуща самой природе вещей» и нельзя ни остановить ее действие, ни как-то ее перехитрить, то, значит, дорога, которой идут постреволюционные режимы, должна – не может не – подчиняться ее, диалектики, законам. И раз Великая французская революция вспыхнула в силу этих законов, то и в пропасть и упадок Директории она пришла в силу этих же законов, и, что еще хуже, за ней, в соответствии, видимо, все с теми же законами, воспоследовали Империя и Реставрация. Но какая бы степень детерминизма ни содержалась бы, как полагают, в марксистской доктрине исторического материализма – а доктрина эта отнюдь не так прозрачна, как в трудах Гегеля, так и в трудах Маркса, а в последних работах Энгельса она и вовсе становится темной, – Сталин, кажется, решил, что он сумеет избежать мрачной судьбы, согласно теории уготованной его режиму, как она была уготована всем предыдущим революционным режимам. Хотя человек и не может

противостоять величественным принципам, на которых основан мир, или отрицать их, все же История (если судить по тому, что происходило) сама по себе не дает гарантии, что те особенности русской революции, в желательности которых более всего уверены Сталин и его партия, являются жизнеспособными. На законы природы, разумеется, в целом можно полагаться, но все же иногда и она неожиданно совершает какой-нибудь кульбит; и, таким образом, вероятно, будет небесполезно несколько подправить ее, чтобы ход событий стал еще более регулярным и предсказуемым. Человек приложит свои усилия, чтобы помочь Вселенной выполнять с еще большей точностью ее собственные «внутренние законы».

Соответственно Сталин использовал оригинальное средство, совершенно в духе нашего изобретательного века, и особенно в духе создания искусственных подобий природных явлений. Как одни производили искусственную резину, а другие – механический мозг, так он создал искусственную диалектику, последствия применения которой экспериментатор может сам в значительной степени предсказывать и контролировать. Вместо того чтобы позволять истории и далее по своей собственной воле накручивать один за другим витки диалектической спирали, Сталин решил взять этот процесс в свои руки. Проблема состояла в том, чтобы найти среднее между «диалектическими противоположностями» апатии и фанатизма[360]. Как только такое среднее найдено, остается только вести политику таким образом, чтобы очень аккуратно и вовремя и в нужной степени применить силу, чтобы передвинуть политический и общественный маятник в любое нужное в данный момент положение.

Давайте посмотрим, как с помощью этой гипотезы можно объяснить ряд особенностей советской политики времен начала Второй мировой войны. В 1941 году, когда судьба советской системы висела на волоске, была дана полная свобода развитию патриотических чувств. Власти как бы открыли предохранительный клапан, через который вырвались наружу подавляемые в течение двух предыдущих десятилетий чаяния. Лидеры партии ясно понимали, что этот национальный подъем есть наиболее сильный и, более того, единственный психологический фактор, способный стимулировать сопротивление врагу. Но этот процесс был, разумеется, несовместим с проведением коммунистической политики давления в том же масштабе, в каком она проводилась до войны; война была выиграна скорее в патриотическом, чем в идеологическом порыве. Стало ощущаться некоторое ослабление

политических пут. Писатели писали более свободно; отношение к иностранцам, по крайней мере представителям стран-союзников, стало на некоторое время чуть менее подозрительным. Старомодная, почти забытая великорусская риторика и поклонение национальным героям снова стали популярными. Но потом русские солдаты, вернувшиеся с победой из других стран и наполненные добрыми чувствами по отношению к иностранным обычаям и свободам (как это часто случалось после европейских кампаний), снова стали давать власти поводы для беспокойства, ведь, в конце концов, восстание декабристов в 1825 году произошло при сходных обстоятельствах. Властям стало ясно, что нужно срочно сделать нации мощную прививку коммунистической доктрины – единственного, по большому счету, средства, которое скрепляло воедино этнически разнородные народы СССР. Все вернувшиеся солдаты – как победители, так и освобожденные в Германии и других странах пленные, да и просто люди, которые контактировали с последними на родине, – нуждались в жестком контроле и присмотре, если власти не хотели, чтобы тут и там стали возникать центры сопротивления. Если быстро не произвести такую реиндоктринацию, то все устройство советской жизни, основанное, как во всех тоталитарных государствах, на железной дисциплине и постоянном напряжении, начнет вскоре трещать по швам, и это будет означать начало конца. И вот в конце 1945 года раздался призыв к порядку. Политика поощрения национализма была внезапно отставлена. Всем напомнили об их марксистском долге. О самых ярких представителях различных национальностей стали говорить, что они зашли слишком далеко в прославлении своего местного прошлого; сила, с которой им дали по рукам, развеяла все иллюзии. Создание местной истории было объявлено вне закона. Над страной снова простерла совиные крыла ортодоксальная марксистская идеология. Партии было приказано обличить и изгнать из своих рядов оппортунистов и прочую сволочь, которая прокралась в нее в смутное время войны. Охота на ведьм началась заново (хотя и не в ужасающих масштабах 1937–1938 годов).

Опасность этого хода состоит в том, что власть на время отдается в руки фанатиков, которые своей единственной целью видят неустанное очищение церкви путем отсечения всех противных ей ветвей – то есть на самом деле любых, которые подают какие бы то ни было признаки роста. Деятельность таких людей может быть эффективной лишь тогда, когда в их центре стоят искренние фанатики; но если это оказывается так, то они неизбежно заходят слишком далеко. Расправившись с великими и

малыми диссидентами, инквизиторы по необходимости продолжают свой священный поход, пока не вторгаются в конце концов в жизнь и деятельность самих лидеров партии. В этот момент их нужно мгновенно остановить, или вся система взорвется изнутри. Такой шаг, к тому же, еще и выгоден, ведь его поддержат широкие ряды как партийных функционеров, так и обычных бюрократов, не говоря уже о насмерть перепуганных простых гражданах. Могучая рука появляется из поднебесья и останавливает инквизиторов. Кремль услышал крик народа, мольбу своих чад и не позволит более своим чересчур резвым слугам разрывать их на мелкие части. Потенциальные жертвы вздохнут спокойно и будут выражать вполне искреннюю признательность. Вера в праведность, мудрость и всевидящее око лидера, пошатнувшаяся во время бойни, снова восстановится.

Нечто подобное произошло после великой чистки 1937–1939 годов и снова, но в более слабой форме, после 1947-го, когда идеологические преследования несколько ослабли и сменились периодом национального самолюбования и бешеной атакой на всякие проявления иностранного влияния, прошлого и настоящего. Каким бы гротескным этот ультрашовинизм ни виделся из-за границы и каким бы пагубным он ни был для людей с более широкими культурными горизонтами, которые все еще водились в Советском Союзе, народными массами он был принят вполне благосклонно (когда и где националистская пропаганда была непопулярна?); он остановил руку марксистов-инквизиторов и дал возможность дышать национальным традициям. В этом случае маятник качнули в сторону великорусской гордости и самолюбования. Но как прежние идеологические чистки зашли слишком далеко, так и эта реакция, в свою очередь, перешла отведенные ей границы.

Советское правительство всегда хотело сохранять хотя бы минимальную степень психического здоровья по крайней мере у элиты, на которую оно опирается; таким образом, любое резкое движение маятника должно рано или поздно подвергнуться коррекции. В нормальных обществах изменение мнения, спонтанное или специально простимулировнное, не происходит на пустом месте. Оно встречает сопротивление установившихся привычек и традиций и в известной мере проглатывается или выхолащивается в переплетении бесчисленных потоков, возникающих от взаимодействия институциональных воздействий и относительно неконтролируемых тенденций в мыслях и чувствах, которые обычны в свободном обществе. Но в Советском Союзе этот случайный фактор практически отсутствует, именно по той причине, что партия и государство заняты уничтожением

малейших проявлений свободомыслия. Таким образом, мы имеем своего рода вакуум, в котором любая искусственно стимулируемая тенденция (а в СССР практически не встречаются другие) доводится до логического конца, достигает абсурдных масштабов и делается в конце концов просто смешной – причем не только в глазах внешнего мира, но и внутри самого Советского Союза. Именно в этот момент маятник нужно качнуть обратно, но применяемые для этого средства оказываются ничуть не менее искусственными. Примером может служить ситуация, сложившаяся, когда националистско-ксенофобская кампания достигла пределов, практически идентичных тем, что были достигнуты еще в царские времена в продвижении политики «русификации». Последние обвинения в адрес «безродных космополитов» исполнены в стиле, практически неотличимом от стиля реакционных, антисемитских и антилиберальных изданий и полиции времен репрессий, последовавших после революции 1905 года. Было необходимо принять какие-то меры, чтобы восстановить единство советских граждан. Однако, партия, ex hypothesi, непогрешима; ошибки могут возникать лишь тогда, когда ее директивы были неверно поняты или неверно применены. И, разумеется, никакое серьезное изменение базиса марксистской теории невозможно в рамках системы, имеющей эту самую теорию в качестве своей главной догмы. Таким образом, в таких центральных и основополагающих областях, как политическая теория или даже философия, невозможна прямая попытка изменить – и тем более отменить – марксистские принципы, ибо слишком велика опасность, что в умах истинно верующих после стольких лет жизни в железном корсаже поселятся беспокойство и смятение. Система, на службе которой стоят несколько сотен тысяч профессиональных агитаторов и которая должна выражать свои положения на языке, доступном даже детям и неграмотным, не может позволить себе, чтобы имелись хоть малейшие сомнения или двусмысленности в интерпретации ее центральных истин. Даже сам Сталин не может поколебать идеологический фундамент без того, чтобы не поставить под удар всю систему в целом.

Это значит, что для идеологических маневров, необходимых в ситуациях, когда что-то выходит из-под контроля, должна выбираться более безопасная почва. Музыка, поэзия, история, даже право суть периферийные области, в рамках которых возможно провозглашать доктрины, изменяющие генеральную линию, не опасаясь того, что будут потревожены центральные, жизненно важные регионы. Тайный смысл этих публичных заявлений мгновенно ухватывается натренированными (сколько

уже раз такое было) ушами интеллектуалов, работающих в других, порой очень удаленных областях. Филология довольно-таки далека от центра, и, стало быть, выступать в ней довольно безопасно. Поэтому, вероятно, Сталин и выбрал теорию языка, чтобы объявить, что трубный глас, призывающий к идеологической непорочности, более не будет звучать. Лишь профанам такой выбор мог показаться причудливым. Едва только был отдан приказ об ослаблении линии в лингвистике, как сразу же и другие специалисты в относительно «неполитизированных» областях знания начали в надежде задаваться вопросом, а не может ли и в их беспросветный мир заглянуть ненадолго солнце – пусть хоть на мгновение, ну или хотя бы не станет ли и им в этом мире легче дышать. Индульгенция лингвистам означала, что и музыканты, и акробаты, и клоуны, и математики, и детские писатели, и даже физики и химики могут чуть-чуть расправить плечи. Даже историки подняли головы; некий автор писал летом 1951 года в одном советском историческом журнале, что, поскольку Сталин ничего не сказал об исторической науке, не может ли и она, подобно лингвистике, быть освобождена от марксистской «надстройки» и претендовать на свои собственные «объективность» и внутренние принципы, наличие которых у искусства и юриспруденции Сталин так твердо отрицал? Физики, химики и даже гонимые генетики, чьи изыскания проходят, к несчастью, столь близко от сердца исторической диалектики, могут в настоящее время позволить себе перевести дух; очевидно, объяснение капризного поведения «генеральной линии» их исследований лежит скорее во внутриполитической, чем в метафизической плоскости, и едва ли может быть отнесено на счет неизлечимой склонности к той или иной форме философского или научного «материализма», как склонны считать их наивные западные коллеги в своих бесплодных попытках понять, как устроена советская наука.

Звучащие сейчас мотивы «мирного сосуществования» безошибочно указывают на то, в какую сторону поворачивает идеологическая машина после провала в Корее; и отсюда – слабые патетические намеки ученых, чья любовь к предмету собственных занятий еще не совсем угасла, на «западные» ценности. И если эти исполненные страха выступления не получают резкого отпора, те, кто выступает, могут ожидать наступления периода относительной толерантности. Но более опытные знают, что этот период не может продлиться долго. Уже сейчас есть симптомы, говорящие о том, что вожжи отпустили слишком сильно – слишком сильно для системы, которая в принципе не может работать, если все гайки не закручены

намертво. И вот снова звучат призывы к единству, чистоте, ортодоксальности, начинается устранение подозрительных[361]; цикл снова повторяется.

Но все же кое-что зависит от того, с какой силой качают маятник: одно из последствий широкомасштабного террора (такого, какой был в конце 30-х при Ежове) то, что население оказывается настолько запугано, что мнений уже больше не высказывает. Никто ни с кем не желает говорить на темы, хотя бы отдаленно связанные с «опасными», иначе как в стереотипных лояльных по отношению к режиму клише, и даже в этом случае лишь изредка, так как никто не может быть уверен, что ему известен «сегодняшний пароль». Со страху все молчат, и эта тишина таит в себе свои опасности для власти. Во-первых, хотя крупномасштабный террор и приводит к тому, что устанавливается железная дисциплина и все приказы исполняются в точности, все же можно настолько перепугать народ, что, при дальнейшем продолжении репрессий, люди потеряют способность к действию, их разобьет паралич воли, своего рода истощающая депрессия, которая замедляет жизненные процессы и очевидным образом снижает экономическую продуктивность. Во-вторых, если люди молчат, огромная армия агентов внутренней разведки, стоящая на вооружении у правительства, теряет возможность докладывать, а что же собственно происходит у людей в головах и как они будут реагировать на те или иные действия власти. Когда поверхность воды спокойна и непрозрачна, это может означать, что на большой глубине течет мощный поток. Как говорится в известной русской пословице, «в тихом омуте черти водятся». Правительство не может обходиться без пусть скудных, но сведений о том, что думает народ. Хотя и нельзя говорить, что в Советском Союзе существует общественное мнение в обычном смысле слова, правители тем не менее должны знать о настроениях подданных, пусть в наиболее примитивном, бихевиористском смысле, подобно тому, как фермер, разводящий тех или иных животных, не может обойтись без способности предсказывать, в известных пределах, как будут себя вести его подопечные. Таким образом, необходимо делать что-то, что бы стимулировало население к выражению своих настроений; и вот снимаются запреты, начинают говорить о «коммунистической самокритике», «товарищеских дискуссиях», то есть о чем-то очень похожем на публичные диспуты. И вот индивидуумы и группы индивидуумов открывают свои карты – и некоторые неизбежно предают себя, – и тогда власть узнает, кто на чьей стороне и кого ей нужно устранить, если она не хочет столкнуться с ситуацией, когда

«генеральная линия» станет неуправляемой. И снова начинает работать гильотина, и те, кто вчера говорил, замолкают. Заключенных этой мрачной тюрьмы, заглядевшихся на мираж более легкой жизни, снова отправляют на каторжные работы и запрещают заниматься чем бы то ни было, что отвлекает их от главного – великих индустриальных подвигов, которые совершаются только при полной концентрации внимания и при полной, без малейшего остатка, самоотдаче. Общение с внешним миром практически прекращается. Прессе напоминают о ее первейшем долге – воспитании духа народа, бесконечном проповедовании ясных и четких способов мыслить и вести себя. Когда же такое положение вещей становится невыносимым даже для советских граждан, «генеральная линия» снова делает «шаг влево», и на очень короткое время (конец которого – самый опасный момент) жизнь снова становится несколько более разнообразной.

IV

Все вышеописанное и есть «искусственная диалектика», наиболее оригинальное изобретение генералиссимуса Сталина, его наибольшее достижение в искусстве властвовать, даже более значимое, чем доктрина «социализма в одной, отдельно взятой стране». Это инструмент, предоставляющий возможность «корректировать» случайности природы и истории и сохранять внутренний импульс – вечное напряжение – состояние постоянной мобилизации, как перед войной, – который только и делает возможным продолжение столь противоестественного существования. Инструмент обеспечивает это тем, что не позволяет системе ни стать слишком слабой и неэффективной, ни перейти дозволенные границы и разрушить саму себя. Это не что иное, как ироническая обработка идеи «перманентной революции» Троцкого или его же формулы «ни мира, ни войны», и именно это заставляет советскую систему двигаться вперед зигзагами и создавать для советских граждан условия постоянного напряжения, которое спасает их на резких поворотах, когда та или иная политика начинает давать недостаточно хорошие или вовсе не желательные результаты.

Естественно, необходимость управлять народом именно таким образом – не единственный фактор, отвечающий за вид, который в тот или иной момент принимает «генеральная линия». Ее определяют и внешнеполитическая ситуация, и вопросы национальной безопасности, и внутриэкономические и

социальные нужды, и т. д. – то есть все силы, которые играют важную роль в любом организованном в систему обществе и которые не могут, в частности, не влиять и на советскую политику, хотя и несколько особенным образом. Советский Союз не есть марксистская система, функционирующая в полном вакууме, и она не свободна от действия законов психологии и экономики. Напротив, советская система заявляет, что понимает эти законы яснее и точнее, и строит свою политику более осознанно и в большем соответствии с открытиями естественных наук, чем это делают «реакционные» политики, обреченные на то, чтобы пасть жертвами своих же собственных «внутренних противоречий». Что же в таком случае делает поведение Советского Союза столь загадочным и непредсказуемым для западных наблюдателей, будь это действующие политики или студенты-политологи? Возможно, в этом виновата известная неспособность Запада осознать ту важность следования этому зигзагообразному пути, которое, как полагают создатели Советского Союза, одно обеспечивает их внутреннюю безопасность и сохранение власти у них в руках. Эта техника определения «генеральной линии», лишь в соответствии с которой должны использоваться все средства, доступные Советскому государству и коммунистической партии внутри страны и за ее пределами, есть совершенно новое изобретение, крайне оригинальное и важное. Ее успешное применение невозможно без контроля над всеми природными и человеческими ресурсами и над общественным мнением, способности установить в масштабах всей страны ультражесткую дисциплину; и, в наибольшей степени, без чувства момента, развить которое под силу лишь исключительно умелым людям, возможно даже одним гениям, – и этим чувством в первую голову должен обладать сам верховный диктатор. И поскольку безо всего этого применение указанной техники невозможно – поскольку истинно правильная «генеральная линия» должна аккуратно уклоняться от неизбежных и взаимно противоположных крайностей левого и правого «уклона» (крайностей, из которых она, по правилу гегелевского синтеза, состоит и которые, воплощенные в индивидуумах и их точках зрения, она уничтожает), – то проведение такой политики не может быть механическим. Истинно правильная «генеральная линия» есть искусственная конструкция, и ее функционирование целиком зависит от решений человека, ею управляющего; и по этой причине ее будущее нельзя назвать полностью гарантированным. Пока у руля находится человек, владеющий искусством властвовать в той же мере, что и Сталин, изменения «линии»,

остающиеся не замеченными многими людьми как в Советском Союзе, так и за его пределами, отнюдь не являются совершенно непредсказуемыми. Можно лишь гадать, какова же будет судьба этой системы, когда Сталин уйдет (независимо от того, ввяжется Советский Союз в крупномасштабную войну или нет), можно смотреть на будущее этой системы со страхом или с надеждой, но предсказать его нельзя. Ибо очевидно, что эта система не самодвижущаяся, не саморегулирующаяся, она ни в каком смысле не может быть названа автоматической. Менее умелый, опытный и уверенный в себе правитель вполне может привести страну к катастрофе таких масштабов, с которыми при обычных формах правления человеческие общества сталкиваются крайне редко. Смогут ли наследники Сталина продемонстрировать, что обладают достаточными способностями пользоваться этим новым инструментом, требующим столь редкой комбинации в одном человеке воображения и практического склада ума? Или они целиком от этого инструмента откажутся, и если да, то сделают ли они это сразу или постепенно? Или они окажутся неспособны контролировать ситуацию и падут жертвами этого механизма, слишком сложно устроенного для не слишком способных людей, – механизма, сама эффективность которого в руках старшего, более способного поколения вырастила таких правителей и подданных, что катастрофа в случае смены руководителя оказывается неизбежной? Этого мы не можем сказать; ясно лишь то, что смерть генералиссимуса Сталина рано или поздно спровоцирует кризис в Советском Союзе – кризис, который может оказаться хуже, чем тот, что разразился после смерти Ленина, ибо к многочисленным проблемам приспособления к новой власти, которые особенно остро стоят при всякой диктатуре, добавятся еще и острейшие проблемы контроля над тонким механизмом управления, разработанным Сталиным, которым могут пользоваться лишь величайшие политические гении[362], но от которого слишком опасно отказываться и который ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Так же относительно ясно и следующее: те, кто полагают, что такая безжалостная система подавления слишком жестока, чтобы существовать долго, обманывают себя. Советская система, не являясь самовоспроизводящейся и вечной, не демонстрирует никаких признаков саморазрушительности. Власть может быть жестокой, циничной и совершенно развращенной; но лишь моральный оптимизм, основанный скорее на яростном отвращении и религиозной вере, чем на эмпирическом наблюдении и историческом опыте, может заставлять иных

советологов утверждать, что подобная жестокость скоро проест насквозь тех, кто за ней стоит, сделает их неспособными удерживать власть и тем самым разрушит самое себя. Подданные, пассивное, перепуганное стадо, могут быть также глубоко циничны на свой манер и могут позволять терзать себя все сильнее и сильнее, но пока «генеральная линия» продолжает свое зигзагообразное развитие и регулярно чередует периоды, в продолжение которых они могут перевести дух или должны работать как волы, люди будут способны, несмотря на все страдания, находить свою жизнь пусть почти невыносимой, но все же лишь почти, и поэтому продолжать существовать и даже получать от этого удовольствие. Жителям стран Запада трудно себе представить, в каких условиях люди в Восточной Европе и в Советском Союзе (и даже, если на то пошло, в Китае и в Индии) не просто выживают, но, наблюдая своих собратьев в столь же плачевном положении и не зная ничего о других возможных формах жизни, которые скрывает от них Железный Занавес, и тем самым не имея пищи для воображения, даже приспосабливаются к этим условиям, начинают считать их нормальными и строят планы на будущее, как солдаты во время войны, которой не видно конца, или тюремные узники, или моряки, оказавшиеся на необитаемом острове. Все это может казаться невыносимым среднему жителю цивилизованной страны, но по той причине, что общее страдание рождает если не свободу, то равенство и братство, люди могут жить своей жизнью – с моментами веселья и душевного подъема, и даже счастья – в самых ужасающих и тяжелых условиях.

Следует также помнить о том, что искусство управления «генеральной линией» в том и заключается, чтобы не допустить возникновения такой ситуации, когда смерть – через убийство или самоубийство – становится, вследствие постоянных лишений, предпочтительной в масштабах всей нации. Если гражданам Советского Союза и заказана та степень свободы или счастья, которая бы сделала их слишком своенравными личностями и неэффективными работниками, все же их нельзя доводить до состояния отчаяния, паники или безразличия, ибо в результате они бы мало чем отличались от паралитиков. Зигзагообразные движения «генеральной линии» задуманы с целью избежать этих самых крайностей. Поэтому, коль скоро правители Советского Союза сохранят искусство управления своей государственной машиной и свои источники информации о «настроении подданных» – тайную полицию, наступления внутреннего коллапса (или даже атрофии воли и интеллекта у самих правителей вследствие деморализующих эффектов деспотизма и

безжалостного манипулирования человеческими существами) едва ли следует ожидать. Немногие государства пали от одного лишь гниения изнутри, в большинстве случаев потребовалось также внешнее вмешательство. Поскольку же в данный момент правители Советского Союза явно находятся в своем уме, мы можем говорить, что эксперимент по созданию перманентно милитаризованной нации отнюдь еще не достиг своей высшей точки и не достигнет еще довольно много лет. Хотя на пути этой машины встречаются и трудности, и опасности, не стоит недооценивать ее способности к успехам и выживанию. Ее будущее может казаться туманным и даже шатким; она может совершать ошибки, ей могут угрожать катастрофы, она может постепенно или внезапно меняться; но пока лучшие человеческие качества не возобладали среди ее граждан, она не обречена. Физическое и нервное напряжение, какого требует от людей эта система – и все лишь ради одной поддержки существования режима, – и износ, которому люди в ней подвергаются, имеют поистине ужасающие масштабы; ни одно западное общество этого не потерпело бы. Но отметим, что те хрупкие и рафинированные существа, которыми Россия до 1917 года была не менее богата, чем Запад, давным-давно уничтожены. Чтобы они снова появились, потребуются десятилетия (хотя они, со всей очевидностью, появятся, но к тому времени этот долгий и темный тоннель будет лишь горьким воспоминанием).

Пока же это ужасное изобретение заслуживает пристальнейшего изучения, хотя бы потому, что это такой сильный и эффективный инструмент управления людьми – инструмент, позволяющий сломить человеческую волю и все же одновременно заставить людей работать на максимуме своих возможностей, – о каком самые жестокие и беспринципные эксплуататоры из капиталистического мира даже мечтать не могли. Ибо лишь душа, презирающая свободу и человеческие идеалы больше, чем сам Великий Инквизитор Достоевского, могла изобрести этот инструмент; и этот инструмент, держащий в подчинении и страхе восемьсот миллионов человек[363], остается по сию пору самым важным, самым бесчеловечным и самым малоизученным феноменом нашего времени.

Литература и искусство в России при Сталине

[364] [365]

Советский литературный пейзаж очень своеобразен, и аналогий с Западом, которые помогли бы понять его, найдется немного. По ряду причин Россия всю свою историю жила достаточно изолированно от остального мира и никогда по-настоящему не входила в западную традицию; и ее литература во все времена свидетельствала о своеобразной двойственности отношения к непростой связи между нею самою и Западом – то о страстном неудовлетворенном стремлении войти в европейскую жизнь, стать ее частью, то об обиженном («скифском») презрении к западным ценностям, ни в коей мере не ограничивающемся исповеданием «славянофильства»; но чаще всего то было нерешительное, робкое сочетание этих противоречивых чувств. Смешанное чувство любви и ненависти, пронизывающее творчество практически всякого известного русского автора, иногда достигает высокого накала в протесте против иностранного влияния, в той или иной форме окрашивающем шедевры Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Герцена, Чехова, Блока.

Октябрьская революция еще больше изолировала Россию, обращенность на себя и самолюбование поневоле усилились, в своем развитии она все меньше походила на своих соседей. Я не ставлю целью проследить всю историю этой ситуации, но настоящее [осень 1945] нельзя как следует понять без хотя бы краткого знакомства с предшествовавшими событиями; думаю, было бы удобно и не слишком ошибочно разделить ее недавнее прошлое на три основных этапа – а) 1900–1928; б) 1928–1937; в) 1937 – до настоящего времени; деление искусственное и приблизительное, хотя легко показать, что оно существует.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД: 1900–1928

Первая четверть нашего столетия была эпохой «бури и натиска», в течение которой русская литература, особенно поэзия, равно как театр и балет, главным образом под французским и до некоторой степени немецким влиянием (хотя сейчас об этом не принято говорить), достигла своей наивысшей точки со времен классиков – Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Октябрьская

революция с неистовой силой обрушилась на это влияние, но это не перекрыло основного течения. Самая поражающая черта русского искусства, да и мышления в целом, – всепоглощающая и неистощимая увлеченность социальными и нравственными проблемами; возможно, она в значительной мере сформировала революцию, а после ее победы привела к долгой жестокой борьбе между теми бунтарями в искусстве, которые надеялись, что революция осуществит их самые неистовые «антибуржуазные» позиции (и позы), и теми, кто, будучи первично политиками и людьми действия, хотел приспособить любую художественную и интеллектуальную деятельность к целям этой революции.

Жесткая цензура, сквозь которую могли пройти только тщательно отобранные авторы и идеи, и запрещение или подавление многих неполитических видов искусства (особенно таких расхожих жанров, как популярные любовные романы или детективы, равно как и все виды бульварной литературы и прочей литературной макулатуры) автоматически сосредоточили внимание читающей публики на новых и экспериментальных работах, наполненных, как это часто бывало в истории русской литературы, остро переживаемыми и часто причудливыми и фантастическими социальными идеями. Возможно, из-за того, что конфликты в очевидно более опасных водах политики и экономики казались чересчур рискованными, единственным подлинным полем битвы идей стали (как было в германских странах веком раньше при Меттернихе) литература и другие искусства; по этой самой причине даже и теперь литературная периодика представляет более живое чтение, чем однообразно конформистские ежедневные газеты и чисто политическая пресса.

В начале и середине 20-х годов основные бои шли между свободными литературными экспериментаторами несколько анархистского толка и большевистскими зелотами, которых безрезультатно пытались примирить такие фигуры, как Луначарский и Бубнов[366]. Кульминацией борьбы стала победа (1927–1928 гг.), а затем, когда власти сочли его слишком революционным и даже троцкистским, разгром и в 30-е годы – полное уничтожение знаменитого РАППа (революционной ассоциации пролетарских писателей), возглавляемого бескомпромиссным фанатиком коллективистской пролетарской культуры критиком Авербахом. Затем, в период «успокоения» и стабилизации, организованных Сталиным и его прагматичными сподвижниками, сложилась новая ортодоксия, принципиально направленная против любых идей, способных взбудоражить умы и таким образом отвлечь внимание от экономических задач. В результате установилось мертвенное единообразие, которому

единственный уцелевший классик великой эпохи Максим Горький дал в конце концов свое благословение – по свидетельству некоторых его друзей, крайне неохотно.

ВТОРОЙ ПЕРИОД: 1928–1937

Новая ортодоксия, окончательно утвердившаяся после падения Троцкого в 1928 году, решительно положила конец инкубационному периоду, в течение которого лучшие советские поэты, романисты и драматурги, да и композиторы и кинорежиссеры, создали свои самые оригинальные, памятные всем произведения. Это обозначило конец бурной второй половины 20-х годов, когда гостей с Запада изумляла, а иногда и шокировала вахтанговская сцена[367]; когда Эйзенштейн, тогда еще не работавший в кино, ставил забавные футуристические эксперименты в опустевших особняках московских купцов, а великий режиссер Мейерхольд, чья артистическая жизнь стала своего рода микрокосмом артистической жизни всей страны и чей гений все еще признан только потаенно, ставил свои смелые и незабываемые театральные эксперименты. До 1928 года мысль была в бурлении, все было неподдельно оживлено духом бунтарства, вызова западному искусству; казалось, что идет последний решительный бой с капитализмом, который вот-вот ниспровергнет – на художественном фронте, как и на всех остальных, – сильная, молодая, материалистическая, земная пролетарская культура, гордая своей брутальной простотой и новым жестоким и неистовым образом мира, который в муках рождал торжествующий Советский Союз.

Глашатаем и главной вдохновляющей силой этого нового якобинства был поэт Маяковский, который со своими сторонниками создал знаменитый ЛЕФ[368]. В нем немало претенциозного, фальшивого, грубого, эксгибиционистского, детского, да и просто глупого, но многое все же было по-настоящему полно жизни. Это движение не было ни дидактически коммунистическим, ни антилиберальным, и в этом оно имело много сходства с итальянским футуризмом до 1914 года. Именно тогда создал свои лучшие вещи «народный трибун» Маяковский, который был если и не великим поэтом, то радикальным новатором и эмансипатором в литературе, обладавшим огромной энергией, силой убеждения и прежде всего влиянием; это была эпоха Пастернака, Ахматовой (до 1923 года, когда она умолкла), Сельвинского, Асеева, Багрицкого, Мандельштама; таких писателей, как Алексей Толстой (вернувшийся в 20-е годы из

Парижа), Пришвин, Катаев, Зощенко, Пильняк, Бабель, Ильф и Петров; драматурга Булгакова; таких признанных литературных критиков и ученых, как Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский, Шкловский, Лернер, Чуковский, Жирмунский, Леонид Гроссман. Голоса писателей-эмигрантов – Бунина, Цветаевой, Ходасевича, Набокова – были едва слышны. Эмиграция и возвращение Горького – другая история.

Государственный контроль охватывал абсолютно все. Единственный период свободы, когда в российской истории не было цензуры, – это время с февраля по октябрь 1917 года. В 1937 году большевистский режим ужесточил старые методы, установив несколько этапов контроля; первым был Союз писателей, затем – назначаемый государством комиссар и, наконец, Центральный комитет Коммунистической партии. Литературный «курс» утверждала партия: сначала был введен пресловутый Пролеткульт, с его требованием советской тематики и коллективной работы пролетарских писателей; затем – поклонение советским или досоветским героям. Тем не менее яркие и оригинальные авторы не всегда были в полном повиновении у всемогущего государства; иногда, если они решались пойти на серьезный риск, им удавалось убедить власти в ценности неортодоксального подхода (как делал драматург Булгаков); иногда неортодоксальности, если только она не была непосредственно направлена против советской веры, давали некоторую свободу выражения – как вполне уместную, временами чрезвычайно острую приправу к монотонной и пресной повседневной советской диете (например, ранние, блестящие, злые сатиры Тынянова, Катаева и прежде всего Зощенко). Конечно, это допускалось до известных пределов и не слишком часто, но такая возможность всегда была; эта ситуация отчасти даже стимулировала писательский талант: чтобы выразить нестандартные идеи, не выходя за рамки ортодоксии или не навлекая на себя категорического осуждения и наказания, требовалась высокая степень мастерства.

Это продолжалось некоторое время после прихода Сталина к власти и воцарения новой ортодоксии. Горький умер только в 1936 году. Пока он был жив, его огромное личное влияние и авторитет до определенной степени защищали кого-то из крупных и интересных писателей от чрезмерного давления и травли со стороны режима; он сознательно играл роль «совести русского народа» и продолжал традицию Луначарского (а также Троцкого), защищая подающих надежды людей искусства от мертвящей руки официальной бюрократии. В официальном марксизме, несомненно, господствовал узкий и нетерпимый

«диалектический материализм», но внутрипартийные дискуссии вокруг этого учения все же допускались – например, между сторонниками Бухарина и последователями более педантичных Рязанова или Деборина; между различными толками философского материализма; между теми меньшевиками, которые считали Ленина непосредственным учеником Плеханова, и теми, кто делал акцент на различиях между ними.

Началась охота на ведьм; разоблачения ереси, как правой так и левой, следовали одно за другим; последствия для побежденных еретиков были ужасающими; но самая свирепость таких идеологических споров, невозможность предугадать, какая из сторон будет обречена на уничтожение, придавали какое-то мрачное оживление интеллектуальной атмосфере, в результате чего и творческие, и критические работы этого периода при всей односторонности и гиперболизации редко бывали скучными и свидетельствовали о продолжающемся бурлении во всех сферах мысли и искусства. Благожелательный наблюдатель вполне мог бы предпочесть все это медленному упадку старшего поколения таких русских писателей-эмигрантов во Франции, как Вячеслав Иванов, Бальмонт, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Куприн и другие, хотя своей литературной техникой, как иногда признавалось даже в Москве, они часто превосходили многих пионеров советской литературы.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД:

С 1937 – ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Затем произошел великий разгром, который для каждого советского писателя и художника стал чем-то вроде Варфоломеевской ночи – темной ночи, о которой, кажется, мало кто способен до конца забыть и о которой и сейчас почти никогда не говорят иначе, как взволнованным шепотом. Правительство, очевидно не чувствуя себя слишком устойчивым или боясь большой войны на Западе, а может быть, и с Западом, нанесло удар по всем предположительно «сомнительным» элементам, а кроме того и по бессчетному количеству невинных и лояльных людей, с жестокостью и основательностью, слабое подобие которых можно найти только в испанской инквизиции и Контрреформации.

Великие чистки и судебные процессы 1937 и 1938 годов изменили литературную и художественную арену до полной неузнаваемости. Тогда, особенно за время ежовского террора[369],

было сослано или уничтожено столько писателей и художников, что русскую литературу и мысль в 1939 году можно сравнить с местностью, по которой прошла война, – несколько великолепных зданий остались нетронутыми, но они стоят одиноко среди просторов разрушенной и разоренной страны. Люди гениальные, такие, как режиссер Мейерхольд или поэт Мандельштам, и талантливые, такие, как Бабель, Пильняк, Яшвили, Табидзе, вернувшийся к тому времени из Лондона эмигрант князь Д. Святополк-Мирский, критик Авербах (если брать только известные имена) были «репрессированы», то есть тем или иным способом убиты или удалены. Что было с ними после этого, сейчас, кажется, не знает никто. Никакие сведения о ком-либо из этих писателей и художников не проникают во внешний мир. Ходят слухи, что некоторые из них еще живы, например, Дора Каплан, которая в 1918 году стреляла в Ленина и ранила его, или Мейерхольд, который, как говорят, ставит спектакли в столице Казахстана Алма-Ате; но они, видимо, распространяются советским правительством и, совершенно определенно, от начала и до конца лживы[370]. Один из британских корреспондентов, чьи симпатии были вполне очевидны, пытался убедить меня, что Мирский живет и пишет в Москве инкогнито. Было ясно, что он на самом деле не верит этому. Не поверил и я.

Поэтесса Марина Цветаева, которая вернулась из Парижа в 1939 году и впала в немилость, покончила с собой, кажется, в начале сентября 1942 года[371]. Молодого и многообещающего композитора Шостаковича критиковали в 1937 году за «формализм» и «буржуазный декаданс»; критика была такой грубой и исходила из таких высоких сфер, что в течение двух лет его не исполняли и не упоминали, и затем, пройдя медленный и мучительный процесс покаяния, он усвоил новый стиль, более созвучный сегодняшним требованиям советского правительства. С тех пор его дважды призывали к порядку и к покаянию; то же было и с Прокофьевым. О горстке молодых неизвестных на Западе писателей, которые, как говорят, подавали в то время большие надежды, сейчас ничего не слышно; мало надежды, что они живы, хотя точно ничего нельзя сказать. Еще раньше покончили с собой поэты Есенин и Маяковский. Их разочарование в режиме все еще официально отрицают. Так это и продолжается.

Со смертью Горького интеллектуалы лишились своего единственного сильного защитника; оборвалась последняя связь с прежней традицией относительной свободы революционного искусства. Самые известные из уцелевших писателей этого периода сегодня сидят смирно, в постоянном волнении из-за страха совершить какой-нибудь роковой грех против линии

партии, которая никак не была ясной ни в критические годы перед войной, ни после нее. Хуже всего пришлось авторам, бывшим в тесном контакте с Западной Европой, то есть Францией и Англией: с тех пор как Советский Союз отказался от политики коллективной безопасности, проводившейся Литвиновым, и стал склоняться к изоляционизму, что символизировал русско-германский пакт, люди, в которых видели связующее звено со странами Запада, стали жертвой общего недоверия к прозападной политике.

Выражения покорности властям переходили все прежде известные границы. Иногда они были слишком запоздалыми, чтобы спасти еретика, намеченного к уничтожению; в любом случае это оставляло позади себя мучительные и унизительные воспоминания, от которых пережившие террор, похоже, никогда не смогут до конца избавиться. Ежовские обвинительные заключения, послали на смерть многие десятки тысяч интеллектуалов, к 1938 году даже для органов государственной безопасности это было более чем достаточно. Наконец была объявлена остановка – Сталин произнес речь и объявил, что процесс очищения завершен. Наступила передышка. Снова оказалась в почете старая государственная традиция; к классикам опять стали относиться с уважением и революционную номенклатуру кое-где заменили прежние названия улиц. Исповедание веры, начатое Конституцией 1936-го года, было завершено в «Кратком курсе истории Коммунистической партии» (1938 г.). С 1938 по 1940 год Коммунистическая партия добилась еще больших успехов в усилении и централизации своей силы и власти, и до того достаточно крепких; этот период постепенного залечивания ран оставался достаточно бесцветным в том, что касается художественного творчества и критики.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Затем разразилась война, и картина снова изменилась. Все было мобилизовано для войны. Известные писатели, сумевшие пережить «великую чистку» и сохранить свободу, не склоняясь слишком низко перед государством откликнулись на мощную волну подлинного патриотизма чуть ли не более глубоко, чем ортодоксальные советские писатели, но, очевидно, слишком многое испытали, чтобы сделать свое творчество средством прямого выражения национального чувства. Лучшие военные стихотворения Ахматовой и Пастернака, проникнутые самым глубоким чувством, но слишком безупречные в художественном отношении, чтобы обладать непосредственной пропагандистской ценностью, были холодно встречены литературными мандаринами Коммунистической партии, которые распоряжались

судьбами официального Союза писателей.

Это неодобрение, с оттенком сомнения в лояльности, в конце концов настолько вышибло Пастернака из колеи, что этот самый неподкупный из художников произвел на свет несколько стишков, граничащих с прямой военной пропагандой, слишком очевидно вымученных, звучащих настолько вяло и неубедительно, что партийные критики осудили их как слабые и не отвечающие требованиям. Такие *piéce d'occasion*[372], как «Пулковский меридиан» Веры Инбер и ее ленинградский блокадный дневник, и наиболее талантливые стихи Ольги Берггольц, были приняты лучше.

Но – возможно, к немалому удивлению и властей, и авторов – оказалось, что среди солдат на передовых необычайно выросла популярность наименее политических и наиболее личных стихотворений Пастернака (поэтический дар которого еще никто не решался отрицать); таких великолепных послереволюционных поэтов, как Ахматова, Блок, Белый и даже Брюсов, Сологуб, Цветаева и Маяковский. Рукописные копии неопубликованных сочинений ходили по рукам среди узкого круга друзей, солдаты на фронте передавали один другому переписанные от руки стихи с таким же трогательным рвением и глубоким чувством, как громкие передовицы Эренбурга из советских газет или популярные конформистские патриотические романы того времени. Уважаемые, но все еще немного подозрительные и одинокие писатели, особенно Пастернак и Ахматова, начали получать с фронта потоки писем с цитатами из своих опубликованных и неопубликованных стихов и просьбами об автографах. Их просили подтвердить подлинность текстов, некоторые из которых существовали только в рукописи, и выразить свое отношение к той или иной проблеме.

Это в конечном счете не могло не произвести впечатления на ответственных партийных руководителей, и официальное отношение к таким писателям стало несколько мягче. Казалось, бюрократы от литературы начали осознавать их значение как фигур, которыми государству когда-нибудь придется гордиться, и их общественное положение и личная безопасность начали укрепляться. Но не похоже, что это надолго: партия и ее литературные комиссары не любят Ахматову и Пастернака. Чтобы не быть пропагандистом и выжить, необходимо быть незаметным; Ахматова и Пастернак слишком популярны, чтобы избежать подозрений.

НАСТОЯЩЕЕ

Более благосклонное, то есть – менее бдительное, отношение официальных государственных цензоров позволило признанным

писателям занять некоторые ниши, которые они считали безопасными. Некоторые, с разной степенью убежденности, открыто встали на службу государству, и заявляют, что они преданно служат не за страх, а за совесть (так, Алексей Толстой коренным образом переработал свой знаменитый ранний роман «Хождение по мукам», в котором первоначально был герой англичанин, и пьесу об Иване Грозном, которая фактически оправдывает чистки). Другие высчитывают, сколько они могут уступить требованиям государственной пропаганды и сколько при этом останется личной честности. Третьи же пытаются держать дружественный нейтралитет по отношению к государству, не сталкиваясь с ним и надеясь, что их не втянут; тщательно стараясь не сделать никаких ошибок, они довольны, если им дозволяют жить и работать без наград и признания.

Генеральная линия партии претерпела немало изменений со времени ее основания, и Центральный комитет Коммунистической партии, ответственный за конечную редакцию, по различным каналам извещает поэтов и художников о последних требованиях. Основное идеологическое руководство сейчас официально принадлежит члену Политбюро Михаилу Суслову, который сменил на этом посту Георгия Александрова. Александрова сместили, как говорят, за то, что он написал книгу, в которой назвал Карла Маркса величайшим из философов, а не сказал, что это явление иного порядка, превосходящее по уровню всю философию вообще; по-видимому, это так же оскорбительно, как назвать Галилея величайшим из астрологов. Суслов отвечает перед партией за пропаганду и идеологию; приспосабливают все это к нуждам своих коллег глава и в особенности секретари Союза писателей, выдвигаемые на эту должность непосредственно Центральным исполнительным комитетом партии, которые, как правило, не писатели (так, покойный Щербаков, чисто политическая фигура, могущественный член Политбюро, к моменту своей смерти в 1945 году был и одним из секретарей Союза писателей).

Бывает, что обозреватели, рецензируя книгу, спектакль или другое «явление культуры», допускают ошибку, то есть отклоняются от генеральной линии партии; тогда исправление состоит не просто в том, что данному конкретному критику разъясняют, какие выводы можно сделать из его ошибочных суждений; выходит что-то вроде «контрстатьи», указывающей на его ошибки и разъясняющей официальную «линию» относительно критикуемого произведения. В некоторых случаях принимаются и более сильные меры. Последним главой Союза был старомодный и не особенно деятельный поэт Николай Тихонов. Он был

устранен за то, что допускал издание так называемой «чистой» литературы; его сменил политически ревностный Фадеев.

На писателей смотрят обычно как на людей, за которыми нужен основательный надзор, поскольку они торгуют опасным товаром идеи и, следовательно, их надо тщательней ограждать от личного контакта с иностранцами, чем представителей менее интеллектуальных профессий, например актеров, танцоров и музыкантов, которые считаются менее восприимчивыми к силе идей, а значит, более защищенными от разрушительного иностранного влияния. Это различие, проводимое органами безопасности, кажется по существу верным, поскольку только из разговоров с писателями и их друзьями иностранцы (например, автор этого доклада) могли получить сколько-нибудь связное представление (а не беглые и мимолетные впечатления) о том, как воздействует советская система на частную жизнь и на жизнь искусства. Другие художники, как правило, поставлены в такие условия, что им приходится невольно избегать интереса к этим опасным темам, не говоря уже об их обсуждении. Обнаруженный контакт с иностранцами не всегда приводит к немилости или преследованиям (хотя за ним обычно следует подробный допрос в НКВД), но более робкие из писателей, а особенно те, кто не обеспечил себе надежных тылов и не стал рупором партийной линии, избегают открытых личных встреч с иностранцами – даже если это коммунисты и сочувствующие, прибывающие с официальными визитами, финансируемыми Советским Союзом.

Защитив себя в достаточной мере от любых подозрений в желании поклоняться чужим богам, советский писатель или критик всегда должен точно знать, каковы правильные литературные установки в текущий момент. Советское правительство нельзя обвинить в том, что оно оставляет его в неизвестности на этот счет. Западные «ценности», которые, кроме откровенно антисоветских или признанных реакционными, одно время не считали компрометирующими и молча извиняли, теперь снова подверглись нападению. Политической критике не подлежат, кажется, только классики. На ранний период марксистской критики, когда Шекспира или Данте – так же, как Пушкина, Гоголя и, конечно, Достоевского – считали врагами народной культуры или борьбы за свободу, теперь смотрят как на детское заблуждение. Великих русских писателей и даже таких политических реакционеров, как Достоевский и Лесков, по крайней мере к 1945 году, возвратили на пьедесталы, их снова изучают и хвалят. Это в большой степени относится и к зарубежным классикам, хотя такие авторы, как Джек Лондон, Эптон Синклер и Дж. Б. Пристли (как и такие, на мой взгляд,

малоизвестные фигуры, как Джеймс Олдридж и Уолтер Гринвуд[373]), вошли в этот пантеон скорее за политические, чем за литературные достоинства.

Основные силы критики сейчас направлены на реабилитацию всего русского, особенно в области абстрактной мысли, которая представлена как почти ничем не обязанная Западу, и на прославление русских (а иногда нерусских) новаторов науки и искусства, чья деятельность протекала в исторических границах Российской империи. Однако, по некоторым признакам, в последнее время стали опасаться, что эгалитаристский марксистский подход просто сменится непомерным русским национализмом военного времени, который, распространившись на национализм региональный (как то, кажется, уже происходит), окажется разрушительной силой. В результате таким историкам, как Тарле, в особенности, принадлежащим к татарскому, башкирскому, казахскому и другим историческим меньшинствам, официально инкриминировался немарксистский уклон в национализм и регионализм.

Главной объединяющей силой Союза, не считая исторических связей, по-прежнему остается марксистская или, скорее, «ленинско-сталинская» ортодоксия, но в первую очередь – Коммунистическая партия, исцеляющая раны, нанесенные Россией своим нерусским вассалам в дни царизма. Отсюда настоятельная необходимость снова перенести акцент на эгалитаристское марксистское учение и бороться против любой тенденции к дешевому национализму. Острие атаки было направлено на все немецкое; происхождение Маркса и Энгельса трудно отрицать, но Гегель, к которому ранние марксисты, включая Ленина, естественно, относились с почтением, как своему общему предку, теперь вместе с другими немецкими мыслителями и историками эпохи романтизма подвергается резким нападкам как предтеча фашизма и пангерманист, у кого мало чему можно научиться и чье влияние на русскую мысль, которое едва ли можно совсем сбросить со счетов, либо бесполезно, либо вредно.

Французские и английские мыслители отделались сравнительно легко, и советские авторы – как историки, так и литераторы – все еще могут позволить себе робкое почтение к антиклерикальным и «антимистическим» эмпирикам, материалистам и рационалистам англо-французской философской и научной традиции.

После того, как приняты все меры предосторожности, сделано все возможное, чтобы оградить себя от недовольства властей, самые маститые из старейших писателей все же

оказываются в своеобразном положении. Читатели льстят им, власти – терпят, полувосхищенно, полуподозрительно; младшее поколение писателей смотрит на них снизу вверх, но совершенно их не понимает. Маленький и обреченный, но все еще почетный Парнас, странно изолированный, живет памятью о Европе, в особенности – о Франции и Германии, гордится победой над фашизмом, которую одержали победоносные войска его страны, и находит утешение во все большем восхищении и внимании молодежи. Поэт Борис Пастернак говорил мне, что когда он читает стихи перед аудиторией и иногда останавливается, вспоминая слово, всегда находится по меньшей мере дюжина слушателей, которые сразу по памяти подсказывают ему и явно могут продолжать столько, сколько потребуется.

Действительно, нет сомнения в том, что, по какой бы то ни было причине – по врожденной чистоте вкуса или из-за отсутствия дешевых или банальных произведений, которые могли бы его испортить, – пожалуй, нет другой страны, где стихи, старые и новые, хорошие и посредственные, продаются в таких количествах и читаются с такой жадностью, как в Советском Союзе. Это, естественно, служит мощным стимулом и для поэтов, и для критиков. Только в Советском Союзе поэзия реально приносит доход; преуспевающий поэт обеспечивается государством, и часто лучше, чем, например, средний государственный чиновник. Драматурги, как правило, весьма преуспевают. Если количество, как учил Гегель, переходит в качество, литературное будущее Советского Союза обещает стать более ярким, чем в любой другой стране. Для этого предположения есть более веские основания, чем априорное правило немецкого метафизика, потерявшего доверие даже в России, на мысль которой он так разрушительно повлиял.

Политическая неопределенность, конечно, неблагоприятна для творчества старших писателей. Некоторые нарушают изредка молчание ради запоздалой лирики или критической статьи, вообще же прозябают на пенсии, в городских или деревенских домах, которыми государство обеспечивает тех, кто достаточно известен. Некоторые заняли политически безопасную середину, скажем – пишут детские [или абсурдные] стихи; например, детские стихи Чуковского – превосходная поэзия абсурда, выдерживающая сравнение с Эдвардом Лиром. Пришвин продолжает писать великолепные, на мой взгляд, рассказы о животных. Другой путь ухода – перевод, куда сейчас перетекают многие блестящие российские таланты, как всегда и бывало. Странно осознавать, что ни в одной стране эти невинные и аполитичные виды искусства не достигают большего

совершенства. В последнее время на них тоже началась охота.

Высокий уровень перевода вызван, конечно, не только тем, что это – почтенный способ уклониться от политически опасных высказываний; традицию переложения с чужих языков Россия, страна, долгое время интеллектуально зависевшая от иностранной литературы, развила еще в XIX веке. В результате люди исключительной чуткости и литературных достоинств перевели великие классические произведения Запада и халтурных переводов (как большинство версий русской литературы на английском) в России практически нет. Такая сосредоточенность на переводе – отчасти следствие повышенного внимания, уделяемого сейчас жизни окраинных регионов Советского Союза; поэтому политически выгодны переводы с таких модных языков, как украинский, грузинский, армянский, узбекский, таджикский. Некоторые из самых одаренных русских писателей делают это блестяще, улучшая тем самым добрососедские отношения между регионами. Возможно, это окажется значительным вкладом Сталина в развитие русской словесности.

Что касается художественной литературы, наиболее общий путь – тот, который выбрали такие устойчивые, безнадежно второсортные беллетристы, как Федин, Катаев, Гладков, Леонов, Сергеев-Ценский, Фадеев, и такие драматурги, как Погодин и ныне покойный Тренев; некоторые из них оглядываются на свое пестрое революционное прошлое[374]. Все они сейчас почтительно кланяются, как предписано их политическими руководителями, и выпускают книги в высшей степени посредственные, построенные по моделям конца девятнадцатого века, написанные профессионально, длинно, серьезно, компетентно, политически *bien pensant*[375], иногда читабельные, но в целом – ничем не примечательные. Чистки 1937 и 1938 годов затоптали тот яркий огонь современного русского искусства, в который подлила масла революция 1918 года и который недавняя война едва ли смогла бы так быстро угасить, если бы политические судебные процессы не начали делать это раньше.

Над всем пространством русской литературы воздух странно неподвижен, ни одно дуновение ветерка не рябит водной глади. Возможно, это – спокойствие перед новым приливом, но признаков зарождения чего-то нового или оригинального в Советском Союзе пока мало. Нет пресыщенности старым и потребности в новом опыте, которая стимулировала бы угасший интерес. Русская публика менее blasé[376], чем любая другая в Европе, а знатоки, если они только там есть, слишком довольны, когда на горизонте нет тревожных политических туч и их оставляют в покое. Эта атмосфера не благоприятствует

интеллектуальной или художественной инициативе; власти, которые живо поощрили бы изобретения и открытия в технической области, кажется, совсем не думают о свободе творческой мысли, которую нельзя удерживать в заданных границах. Ее сейчас, видимо, принесли в жертву безопасности; пока это не изменится, Россия едва ли сможет сделать что-то значительное, во всяком случае – в области искусства и гуманитарных наук

.

А что же, спросим мы, младшее поколение писателей? Всякого иностранца, взирающего на русскую литературную сцену, непременно поразит разрыв между старшими писателями, лояльными, но меланхоличными, уже не представляющими опасности для этого, по всей видимости, глубоко стабильного режима, и невероятно плодовитыми младшими, у которых, кажется, перо быстрее мыслей (возможно, за отсутствием таковых). Они повторяют одни и те же схемы и формулы так неустанно и с таким рвением, что трудно предположить, что они когда-нибудь могли терзаться сомнениями – как художники или просто как люди.

Возможно, это объясняется недавним прошлым. Чистки опустошили литературную почву, а война предоставила новую тематику и новое настроение. Появилась новая разновидность писателей – поверхностных, наивных и плодовитых, от прямолинейных и топорных ортодоксов до обладающих немалым техническим мастерством, способных иногда на хорошие, по-настоящему эффектные, а то и вполне живые журналистские репортажи. Это относится к прозе и стихам, романам и пьесам. Самая преуспевающая и представительная фигура такого рода – журналист, драматург и поэт Константин Симонов, из которого хлещет поток произведений невысокого качества, но безупречно ортодоксального чувства, провозглашающих новый тип советского героя, храброго, пуританского, простого, благородного, самоотверженного, безусловно преданного своей стране.

Вслед за Симоновым идут другие сочинители того же рода – авторы романов, повествующих о подвигах в колхозах, на фабриках или на фронте; авторы патриотических виршей или пьес, высмеивающих капиталистический мир или старую и дискредитированную либеральную культуру самой России, которой противопоставлены примитивные, стандартные люди – молодой, искренний, здоровый, энергичный, способный, решительный, бесхитростный инженер, или политический комиссар («инженер человеческих душ»), или военачальник;

словом, застенчивые и мужественные, скупые на слова, совершители великих деяний, «сталинские соколы», идущие плечом к плечу с пламенно патриотичными, совершенно бесстрашными, морально чистыми, героическими молодыми женщинами. От них, разумеется, зависит успех всех пятилетних планов.

Старшие писатели не скрывают своего мнения об этой добросовестной, но банальной массовой продукции, имеющей такое же отношение к литературе, как плакат к серьезному искусству. Они не были бы так требовательны, если бы помимо неумолимо размножающегося чтива, вдохновляемого государственными нуждами и подчиненного им, среди произведений младших писателей, скажем – тех, кому меньше сорока, было что-то более глубокое и оригинальное. Почему, говорят они, современная советская жизнь не могла бы породить подлинный и серьезный «социалистический реализм» – как-никак, «Тихий Дон» Шолохова, рассказывающий о казаках и крестьянах времен гражданской войны, все признали пусть иногда и скучным, тяжеловесным, но все же подлинным художественным произведением. Старшие писатели твердят (такую «самокритику» дозволено печатать), что примитивный культ стандартного героя никогда не родит подлинного творения; что герои войны заслужили право на более тонкий и менее банальный анализ; что опыт войны – это глубокий национальный опыт, который может адекватно выразить только сильное, умное и добросовестное искусство, а большинство публикуемых военных романов – грубая карикатура и страшное оскорбление для солдат и гражданских людей, чьи суровые испытания они стремятся описывать; наконец (вот об этом никогда не говорят в печати); что внутренний конфликт, который один только создает художника, разрешается слишком легко, упрощенными правилами искусственно приглаженной политической схемы, которая не допускает ни сомнений о конечной цели, ни большого разногласия касательно средств; и что на основании этой схемы – возможно, из-за чисток и их моральных и физических последствий – пока не удалось создать художественных канонов, по которым в сегодняшней России могло бы развиться что-то пусть строго конформистское, но все же не менее искреннее и глубокое, чем религиозное искусство Средневековья. Я тоже не вижу сейчас большой надежды на это. Плач Сельвинского по социалистическому романтизму[377] (если есть социалистический реализм, почему бы не быть и социалистическому романтизму?) был грубо подавлен.

Между тем финансовое вознаграждение преуспевающих младших писателей, на которое не влияют суждения строгих

критиков, позволяет приравнять их к авторам бестселлеров в западных странах. Точного эквивалента нет, поскольку проза и поэзия, хорошая и плохая, продается и расходится сразу – так велик голод публики и так недостаточно предложение. С тех пор как *romans de moeurs*[378] стали небезопасны, содержанием исторических романов все чаще становятся (помимо военной и послевоенной пропаганды) жизнеописания таких официально утвержденных героев российского прошлого, как цари Иван IV и Петр I, воины и моряки (скажем, Суворов, Кутузов, Нахимов и Макаров), честные патриоты и истинные русские, против которых непрестанно интригуют и строят им козни придворные льстецы и изменники-дворяне. Характер и деяния этих героев дают возможность сочетать приятный романтический и патриотический фон с политической или социальной проповедью, слишком явно пригнанной к современным нуждам.

Этой моде немало способствовал, хотя и не он изобрел ее, покойный Алексей Толстой (он скончался в этом году). Он был единственным, кто хотел и по праву мог претендовать на роль Вергилия новой империи, которая вдохновляла его богатое воображение и использовала его замечательный литературный талант.

Такой же разрыв между старшим и младшим поколением можно заметить и в других видах искусства – театре, музыке, балете. Все, что развивалось, не порывая с богатым прошлым, и основывалось на дореволюционной традиции, продолжает, благодаря верности старым и испытанным основам, удовлетворять высоким требованиям и в настоящем. Так, Московский Художественный театр, несмотря на признаваемый всеми упадок по сравнению с «золотым веком», когда для него писали Чехов и Горький, все же сохраняет высокий уровень индивидуального актерского мастерства и вдохновенную игру ансамбля, которым мог бы позавидовать любой театр в мире. Его репертуар начиная с 1937 года ограничивается либо старыми пьесами, либо пресными и конформистскими новыми, написанными на заказ, которые сами по себе ничем не выделяются и просто дают возможность талантливым актерам натуралистической школы выказать свою превосходную старомодную игру; публика запоминает по большей части именно ее, а не саму пьесу. Малый театр тоже продолжает великолепно ставить комедии Островского, которые были основой его репертуара в XIX в.; вообще же постановка пьес после революции, классических или современных, слишком часто опускается до уровня репертуарных групп Бена Грита или Фрэнка Бенсона. Один или два менее крупных московских театра хорошо ставят

классические пьесы, например, Театр Ермоловой и Театр железнодорожников в Москве и не один-два маленьких театра в Ленинграде. Лучшие постановки в этих театрах – классические пьесы, например Гольдони, Шеридан, Скриб; современные пьесы получаются хуже, не столько из-за старомодной игры, сколько из-за неизбежной серости самого материала.

Что касается оперы и балета, то там, где есть возможность следовать прежней традиции, театр исполняет свой долг с достоинством, хотя и скучновато. Если ставится что-то новое, например балет армянского композитора Хачатуряна «Гаянэ», который идет в этом году в Ленинграде, театр может блеснуть размахом и темпераментом, великолепным искусством танцовщиков, обезоруживающим зрителя и доставляющим ему подлинное наслаждение. Но может он, например, в Москве, и опуститься до такой вульгарности декораций и постановки (да и музыки), какой, пожалуй, не бывало и в Париже времен Второй империи. Нарочитая и громоздкая роскошь, которой так злоупотребляет Большой театр, восходит и к безвкусной пышности Голливуда 10–20-летней давности, и к постановкам времен Оффенбаха; это примитивное зрелище становится еще более нелепым и гротескным, когда танцуют такие поистине блистательные драматические и лирические балерины, как Уланова, или такие безупречные новые виртуозы, как Дудинская, Лепешинская, стареющая Семенова, Преображенский, Сергеев, Ермолаев. В обоих случаях заметно отсутствие отточенной техники, соединенной с творческим своеобразием и того сочетания глубины, лиризма и изящества, которые когда-то подняли русский балет на недостижимую высоту.

Еще меньше признаков новой жизни в двух крупных оперных театрах, Московском и Ленинградском; они ограничиваются в высшей степени стереотипным репертуаром хорошо известных русских и итальянских опер и отличаются друг от друга разве что разной постановкой «Кармен». Театры поменьше, в поисках политически невинного развлечения, предлагают зрителям оперетты Оффенбаха, Лекока и Эрве, поставленные скорее лихо, чем умело, но успех они имеют, поскольку не похожи на тусклую монотонность советской жизни. Здесь тоже заметен резкий контраст между старшим поколением и молодежью; в балете он меньше (тот просто не мог бы существовать, не пополняясь молодыми танцорами), а уж на драматической сцене мало кто – или просто никто – из выдающихся актеров (если они вообще есть) смог выдвинуться на сцене за последнее десятилетие. Зрители это, видимо, понимают; вероятно, это стало общим местом – когда бы я ни говорил об этом моим случайным

собеседникам в московских театрах, они мгновенно соглашались. Почти всегда они начинали сетовать на то, что у молодых нет драматического таланта и подлинного чувства, которыми так щедро одарены старые актеры (некоторые из них играют еще с начала века). Пару раз меня спросили, лучше ли молодые актеры в западных театрах, чем в Советском Союзе; может быть, «там традиция не требует такого жесткого себе подчинения?». Даже Художественный театр, кажется, застыл на мертвой точке и технически, и эмоционально – или его заставили вернуться к уровню, достигнутому еще перед Первой мировой войной.

Подавляют все новаторское – имя репрессированного Мейерхольда почти не упоминается вслух – при этом поощряют театр как таковой. Если что-то не прервет этот процесс, в сравнительно близком будущем возникнет пропасть между изысканным, но старомодным стилем игры – и современным, но банальным и провинциальным. С другой стороны, нужно сказать, что детское усердие и пыл советских читателей и зрителей, судя по всему, не имеют себе подобных в мире. Существование финансируемых государством театров, как и региональных издательств, по всему Советскому Союзу – не просто часть бюрократического плана, это соответствует самой подлинной и неудовлетворенной потребности народа.

Значительный подъем тех ранних лет, когда марксизм был в бурном развитии, вместе с широким круговоротом русских и некоторых зарубежных классиков (особенно – в переводе на языки «народов СССР»), создали публику, отзывчивости которой позавидовали бы западные писатели и драматурги. Переполненные книжные магазины с полупустыми полками, острый интерес правительственных чиновников, которые их курируют; то, что даже такие газеты, как «Правда» и «Известия», расходятся за несколько минут в те редкие моменты, когда они появляются в киосках, – еще одно свидетельство этого голода.

Значит, если бы политический контроль сверху стал слабее и деятелям искусства дали бы больше свободы, в обществе, так изголодавшемся по продуктивной деятельности, и в народе, так страстно жаждущем впечатлений, все еще таком молодом, приходящем в такой восторг от всего, что кажется новым или даже просто правдивым, а прежде всего – наделенном жизненной силой, позволяющей ему вынести катастрофы и ошибки, которые стали бы роковыми для более скудной культуры; в таком обществе вполне может возродиться великолепное созидательное искусство.

Западному человеку реакция советских зрителей на классические пьесы может показаться до смешного наивной.

Например, на представлении Шекспира или Грибоедова зритель иногда реагирует на все так, словно речь идет о современной жизни; строчки, произносимые актерами, встречают одобрительным или неодобрительным гулом, откликаясь живо и непосредственно. Должно быть, они недалеко ушли от публики, для которой писали Еврипид и Шекспир. Солдаты на фронте часто сравнивали своих командиров с типичными героями советских патриотических романов; художественная литература для них нередко просто входит в повседневную жизнь, и это, видимо, показывает, что они до сих пор смотрят на мир как неглупый ребенок с богатым воображением. Что ж, это идеальная публика для романиста, драматурга и поэта. Плодородная почва, пока что так мало вспаханная, в которой самое бедное семя должно бы взойти быстро и обильно, непременно вдохновит творца. Может быть, искусство Англии и Франции часто кажется вычурным, анемичным и искусственным именно потому, что там нет этой народной потребности.

Как бы то ни было, контраст между исключительной свежестью и ненасытностью аппетита (критической или некритической) и скверным качеством предлагаемой пищи – самое поразительное в современной советской культуре.

Советские писатели любят в статьях и литературных обозрениях подчеркивать необычайный энтузиазм, с каким публика приняла ту или иную книгу, тот или иной фильм или спектакль. То, что они говорят, в значительной степени верно, но двух сторон вопроса – что вполне естественно – они никогда не касаются. Во-первых, несмотря на всю официальную пропаганду, острое и, может быть, почти инстинктивное умение отличить плохое искусство от хорошего – например, классику XIX века и произведения очень немногих уцелевших настоящих писателей от рутинной патриотической литературы – не исчезло полностью, и стандартизация вкуса, по крайней мере – пока, не дошла до той степени, которой можно было ожидать и которой лучшие представители советской интеллигенции (те, кто выжил) до сих пор боятся.

Во-вторых, еще существует – хотя им очень трудно и их все меньше – круг стареющих, но четко выражающих свою мысль интеллектуалов, высоко культурных, тонко чувствующих, взыскательных, не поддающихся на обман и сохранивших в чистоте критические принципы русской дореволюционной интеллигенции – принципы, в определенном смысле самые строгие и бескомпромиссные из всех возможных. Этих людей можно найти на каких-нибудь политически незначительных государственных должностях, в университетах, в издательствах;

государство не удовлетворяет их нужды в должной мере, но все-таки не доводит до полной нищеты. Чаще всего они мрачны или саркастичны, потому что видят мало преемников в следующем поколении; ведь если молодые люди проявляют признаки независимости и оригинальности, их беспощадно высылают на Север или в Среднюю Азию, как «вредные элементы».

Говорят, что молодых писателей, художников, критиков, которые выказали талант и независимость, просто вымели в 1937–1938 («как метлой», сказал мне один молодой россиянин на железнодорожной станции, где мы почувствовали, что за нами не следят). Тем не менее, некоторое количество таких людей можно найти в университетах, среди переводчиков или балетных либреттистов (на которых здесь большой спрос), но трудно установить, достаточно ли их, чтобы продолжать активную интеллектуальную жизнь, которой, скажем, Троцкий и Луначарский придавали такое значение и о которой их наследники так мало заботятся. В откровенных разговорах старшие интеллектуалы не обинуясь говорят о той атмосфере, в которой они живут; большинство из них до сих пор принадлежит к тем, кого называют «пуганными», то есть – к тем, кто еще не пришел в себя после великих чисток; но некоторые выказывают признаки того, что снова выйдут на поверхность. По их словам, официальный контроль, пусть не настолько свирепый в подавлении ересей, как раньше, все же абсолютен во всех областях жизни и искусства, а осторожность трусливых и, как правило, невежественных бюрократов, надзирающих за искусством и литературой, так непомерна, что вся талантливая и оригинально мыслящая молодежь стремится уйти в другие области – в естественные науки или технологические дисциплины, – где больше поощряют прогресс и меньше боятся необычного. Что до других искусств, о русской живописи – или в ее защиту – всегда можно было сказать немного. То, что выставляется сейчас, кажется мне ниже уровня худших образцов русского импрессионизма или реализма XIX века, который хотя бы умел довольно достоверно иллюстрировать социальные и политические конфликты и основные идеи своего времени. Что касается модернизма, который продолжал существовать и процветал в раннесоветский период, о нем, насколько я могу судить, не говорят даже шепотом.

Приблизительно такое же положение дел и в музыке. С Прокофьевым и Шостаковичем все довольно сложно (политическое давление на Шостаковича едва ли улучшило его стиль, но тут можно и поспорить, да и вообще он еще молод). Композиторы либо представляют скучную репродукцию

традиционных «Слав» или чайковско-рахманиновских образцов, ныне очень износившихся (как в случае бесконечно плодовитого Мясковского и академика Глиэра), либо посвящают себя бодрым, легким, порою мастерски сделанным, а временами даже блестящим обработкам народных песен республик СССР, следуя простейшему среди возможных направлений – возможно, ориентируясь на исполнение оркестром народных инструментов. Даже такие умеренно компетентные композиторы, как Шебалин и Кабалевский, приняли эту линию наименьшего сопротивления и вместе со своими подражателями неутомимо поставляют монотонную и рутинную музыки.

Архитекторы, в свою очередь, либо великолепно реставрируют старые дома, иногда пополняя их вполне профессиональной стилизацией, либо возводят огромные, темные, унылые здания, отвратительные даже по худшим западным стандартам. Один кинематограф проявляет признаки жизни, хотя золотой век советского фильма, когда он был действительно революционным в своем вдохновенном и смелом новаторстве, за некоторым исключением (например, Эйзенштейн и его ученики еще работают), кажется, уступил место чему-то примитивному и банальному.

В целом, у интеллектуалов еще слишком свежи воспоминания о временах чисток, за которыми последовали слухи о войне, а за ними война, голод и разруха; и хотя они и сетуют порой на однообразие и монотонность жизни, люди, прошедшие через нравственные и физические страдания, невыносимые даже по российским меркам, едва ли станут приветствовать возникновение новой «революционной ситуации», как бы она ни стимулировала искусство. Поэтому большинство интеллектуалов спокойно и несколько пораженчески принимает то, что есть. Даже в самых бунтарских и индивидуалистичных из них осталось мало боевого духа; советская реальность слишком мучительна, политические обязательства слишком подавляют, моральные вопросы слишком неопределенны, а материальные и моральные компенсации за конформизм слишком привлекательны.

Признанный интеллектуал материально защищен; он занимает достойное положение; ему обеспечены любовь и верность широкой публики. Большинство из них с невероятной силой стремится побывать на Западе (умственную и духовную жизнь которого они немыслимо переоценивают) и жалуется, что «у нас тут все слишком туго закручено», но от некоторых, отнюдь не менее признанных, можно услышать, что государственный контроль имеет и положительные стороны. Да, он стесняет

творческих людей до пределов, не имеющих прецедентов даже в русской истории, но, как сказал мне один известный детский писатель, он же дает почувствовать, что государство и вообще общество очень заинтересовано в твоей работе, что на тебя смотрят как на значительное лицо, чье поведение много значит, что твое развитие в правильном направлении исключительно важно для твоих идейных руководителей, а это – несмотря на весь террор, рабство и унижение – стимулирует больше, чем пренебрежение к твоим собратьям в буржуазных странах.

В этом, несомненно, что-то есть, действительно, исторически искусство при деспотизме процветало. Возможно, поскольку слава и положение – награда за успех, наши нравственные критерии нереальны и мы заблуждаемся, считая, что интеллектуальный или художественный дар не может существовать в заточении. Но факты в этом случае говорят громче, чем теория. Современная советская культура уже не движется прежним твердым, уверенным или даже оптимистическим шагом; чувствуется пустота, полное отсутствие тенденций или течений, и один из симптомов этого – то, что талант легко расходуется на популяризацию и изучение, иногда эрудированное и творческое, «национальной» культуры отдельных республик, особенно Средней Азии. Может быть, это просто пропасть между двумя вершинами, временная усталость после слишком больших усилий, связанных с сокрушением внутренних и внешних врагов режима. Да, может быть. Сейчас не видно ни малейшей ряби на глади идеологической поверхности. Людей призывают не читать немцев, культивировать советскую (а не местную или региональную) гордость, не раскрывать (или скрывать) иноземное происхождение русских институций или иностранные источники русской мысли; вернуться к ортодоксальному ленинизму-сталинизму и отказаться от немарксистского патриотизма, который пышным цветом расцвел во время войны; но нет ничего, хоть отдаленно напоминающего борьбу, – те грубые, но все же иногда глубокие и страстные споры о марксизме, какие были, скажем, при Бухарине.

Этот отчет был бы неполным, если бы мы не отметили, что, несмотря на трудную и даже отчаянную ситуацию, в которой нередко оказываются в России образованные и независимые люди, они не утратили некоторую степень интеллектуальной и социальной веселости, восторженного интереса к внутренним и внешним событиям, соединенного со своеобразным и часто тонким чувством юмора, который делает их жизнь не просто терпимой, но и достойной, а манеры их и разговор – поистине очаровательными для зарубежного гостя.

Несомненно, вся картина сегодняшней советской художественной и интеллектуальной жизни говорит о том, что мощный начальный импульс иссяк и должно пройти значительное время, прежде чем в области идей сможет возникнуть что-нибудь новое, достойное внимания и способное противопоставить себя материальному положению и успеху, которые власти сейчас прочно связывают с установившейся традицией. Старая Россия, судьбы которой так занимали и даже полностью поглощали людей искусства, была в некотором смысле похожа на афинское общество: небольшую элиту, наделенную сочетанием замечательных интеллектуальных и нравственных качеств, редкостного вкуса и неподражаемого воображения, кормила темная масса ленивых, неграмотных, полудиких илотов, о которых много говорили, но, по справедливому наблюдению марксистов и других диссидентов, исключительно мало знали, и меньше всего как раз те благожелательные люди, которые больше всех говорили о них и верили, что говорят с ними и ради их блага.

Если в ленинской политике есть хоть один постоянный элемент, то это желание сделать из темного люда полноценных людей, способных стоять на собственных ногах, которых высокомерные западные соседи признали бы равными и даже высшими. Для этого ничего не жалко. Организованный материальный прогресс все еще рассматривается как фундамент, на котором держится все остальное; и если принять, что интеллектуальная, да и гражданская свобода тормозят или задерживают превращение советских холопов в народ, достаточно развитый, чтобы понимать технологически новый постгуманитарный мир и противостоять ему, то такие «предметы роскоши» надо принести в жертву; или, по крайней мере, временно отложить.

Каждого гражданина Советского Союза с разной степенью убедительности заставляют верить в это, а если кто-нибудь про себя и протестует, протест остается невысказанным и бесплодным. Но можно ли будет так же ригористично продолжать этот беспощадный курс, когда уйдет из жизни фанатичное и прямолинейное поколение, которое помнит революцию? Надежду на новый расцвет либерального русского гения дает нам неистощимая жизненная сила, всепоглощающая любознательность и поразительным образом сохранившийся моральный и интеллектуальный голод этого самого творческого и широкого из всех народов, который в долгом, может быть – очень долгом пути, несмотря на страшный ущерб, нанесенный ему цепями, до сих пор опутывающими его, все еще обещает

достигнуть больших успехов в использовании своих огромных материальных ресурсов и, равным образом, в искусствах и науках, чем любое современное общество.

Встречи с русскими писателями [379] (1945 и 1956) [380] [381]

Всякая попытка связных мемуаров – это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками.

Анна Ахматова [382]

I

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщили, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение нашего посольства в Москве. Там не хватало людей, и было решено, что, поскольку я владею русским языком и у меня была возможность на Сан-Францисской конференции (и еще задолго до нее) кое-что узнать об официальном и неофициальном отношении американцев к Советскому Союзу, я смогу оказать помощь в работе посольства. Предполагалось, что я пробуду в таком качестве до Нового года, а там высвободится для работы в Москве какой-нибудь более профессиональный дипломат.

Война окончилась. Потсдамская конференция не привела к открытому разрыву между победоносными союзниками. Несмотря на мрачные предчувствия в некоторых кругах на Западе, общее настроение в официальных сферах Вашингтона и Лондона было осторожно оптимистическое, а широкая публика и пресса и вовсе полны были надежд и даже энтузиазма. Так исключительна была храбрость, проявленная советскими людьми на войне с Гитлером, столь ужасающи принесенные ими жертвы, что колоссальная волна симпатии к России, поднявшаяся в середине 1945 года, заставила замолчать многих критиков советской системы и ее методов. Повсюду было заметно горячее стремление к взаимному пониманию и сотрудничеству во всем. Я выехал в Москву как раз в разгар этого периода добрых чувств, которые, если верить рассказам, равно царили в Советском Союзе и в Англии.

Не был я в России с 1919 года, когда наша семья уехала оттуда. Мне было тогда 10 лет. Москвы я не видел никогда. Я

приехал в Москву ранней осенью, получил в свое веденье стол в посольской канцелярии и окунулся в текущие мелочи. Хотя я и являлся в посольство на работу каждое утро, мои обязанности (единственные, кстати, возложенные на меня) – чтение, резюмирование и комментирование советской прессы – были, по правде сказать, не слишком обременительными. По сравнению с западной, содержание советской периодики было до крайности одноцветным, повторяющимся, наперед предсказуемым – везде, во всех газетах, одно и то же: и факты те же, и пропаганда та же. В результате у меня оставалось много свободного времени. Я ходил в музеи и театры, посещал исторические достопримечательности и архитектурные памятники, заходил в книжные лавки, праздно бродил по улицам. Но только, в отличие от других иностранцев, во всяком случае тех из них, кто, как и я, приехал с Запада и не был коммунистом, я мог считать, что мне необычайно повезло: я познакомился с целым рядом советских писателей, среди которых были, по крайней мере, двое, отмеченных печатью исключительной гениальности[383].

Прежде чем приступить к рассказу о моих встречах с ними, я хочу вкратце описать исторический фон литературной и художественной обстановки в Москве и Ленинграде, как она предстала передо мной за те пятнадцать недель, что я провел в Советском Союзе.

Великолепное цветение русской поэзии, начавшееся в 90-е годы прошлого века; смелые, исполненные творческого духа, многочисленные, оказавшие огромное влияние художественные эксперименты начала XX века, главные течения внутри новых движений – символизма, постимпрессионизма, кубизма, беспредметности, экспрессионизма, футуризма, супрематизма и конструктивизма в живописи и скульптуре, их всевозможные разветвления и слияния в области литературы, равно как и акмеизм, эго– и кубофутуризм, имажинизм и «заумь» в поэзии, реализм и антиреализм в театре и балете – вся эта гигантская амальгама не только не потускнела за годы войны и революции, но продолжала черпать жизненные силы и вдохновение в видениях нового мира.

Несмотря на консервативные художественные вкусы большинства коммунистических вождей, вначале все, что могло быть истолковано как «пощечина общественному вкусу» буржуазии, в принципе одобрялось и поощрялось. Это открыло дорогу потоку взволнованных манифестов и вызвало к жизни множество дерзких, спорных и часто очень талантливых экспериментов во всех областях искусства и критики, что впоследствии оказало мощное воздействие на Запад. На Западе

стали широко известны имена наиболее оригинальных среди тех поэтов, чье творчество пережило революцию: Александр Блок, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Валерий Брюсов, и более молодых – Маяковский, Пастернак, Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Анна Ахматова; среди художников – Бенуа, Рерих, Сомов, Бакст, Ларионов, Гончарова, Кандинский, Шагал, Сутин, Клюн, Малевич, Татлин, Лисицкий, среди скульпторов – Архипенко, Габо, Певзнер, Липшиц, Цадкин; среди режиссеров – Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Эйзенштейн, Пудовкин; среди беллетристов – Алексей Толстой, Бабель, Пильняк. Это не были отдельные, изолированные горные вершины – их окружали предгорья.

В 20-е годы в России шло настоящее художественное возрождение, отличное по своей сути от всего, что было в художественной жизни других стран. Происходил интенсивный духовный обмен между прозаиками, поэтами, художниками, литературоведами, историками, учеными. В результате была создана необыкновенно живая и плодотворная культура – необычайный взлет в европейской цивилизации.

Говоря попросту, все это было слишком хорошо, чтобы долго длиться. Разрушения, вызванные мировой войной и последовавшей за ней гражданской, – голод, систематическое уничтожение людей и учреждений, предпринятое диктатурой, – все это имело свои политические последствия и привело к созданию такого климата, в котором поэты и художники уже не могли творить свободно. После периода относительного послабления в годы НЭПа марксистская ортодоксия усилилась настолько, что смогла бросить вызов этой революционной деятельности, а в конце 20-х годов и окончательно подавить ее малейшие проявления. Было провозглашено коллективистское пролетарское искусство; литературный критик Авербах возглавил группу марксистских зелотов, которая резко выступила против всего, что могло подходить под ярлыки индивидуалистической распущенности, или формализма, или декадентского эстетства, или преклонения перед Западом, или сопротивления социалистическому коллективизму. Начались преследования и чистки; однако, поскольку далеко не всегда можно было предсказать, какая именно из борющихся сторон одержит победу, в литературной жизни какое-то время царила взволнованная атмосфера некоего жуткого ажиотажа. В конце концов в начале 30-х годов Сталин решил покончить со всеми этими политико-литературными распрями, которые он, по всей вероятности, считал чистой тратой сил и времени. Левых зелотов ликвидировали. Не слыхать больше было ни о пролетарской

культуре, ни о коллективном творчестве и критике, ни, тем более, о неконформистской оппозиции им.

В 1934 году партия через посредство только что созданного Союза советских писателей взяла в свои руки непосредственное управление литературой. Все застыло на мертвой точке: повсюду воцарилась официальная линия, насаждаемая государством; больше не было споров; ничто более не смущало умы. Задачи теперь были технические, воспитательные. Нужно было догнать врага – капиталистический мир – по производственным достижениям и перегнать его. Если из темной массы неграмотных рабочих и крестьян предстояло выковать непобедимое в военном и техническом смысле современное государство, то нельзя было медлить ни минуты; новый революционный порядок был окружен врагами, твердо решившими его уничтожить; бдительность на политическом фронте поглощала все время: его не оставалось ни для высокой культуры, ни для споров, ни для заботы о гражданских свободах и основных правах человека. Музыку заказывала учрежденная власть: писатели и художники, важность которых никогда не оспаривалась и не отрицалась, были обязаны плясать под эту музыку. Некоторые смирились, некоторые не подчинились – в той или иной степени; для одних государственная опека была в тягость, другие приняли и даже приветствовали ее, убеждая друг друга и самих себя, что тем самым они приобретают положение, которого лишены их собратья на мещанском и индифферентном Западе.

В 1932 году появились кое-какие симптомы послабления, которое, однако, не наступило. А еще через несколько лет наступил последний ужас: репрессии, последовавшие за убийством Кирова в 1934 году, и пресловутые показательные политические процессы возвестили о начале Великой Чистки; кульминацией ее была ежовщина – террор 1937–1938 годов, остервенелое уничтожение, без смысла и без разбора, отдельных людей, социальных слоев, а потом и целых народов. До тех пор пока был жив Горький, чей престиж в партии и народе был огромен, само его существование, по-видимому, оказывало некоторое смягчающее влияние. Маяковский, чья известность и репутация глашатая Революции почти равнялись горьковским, покончил самоубийством в 1930 году, Горький умер шесть лет спустя. Вскоре после этого были арестованы и умерщвлены Мейерхольд, Мандельштам, Бабель, Пильняк, Клюев, критик Д. Святополк-Мирский, грузинские поэты Яшвили и Табидзе, – я упомянул только самых известных. Несколько лет спустя, в 1941 году, покончила самоубийством Марина Цветаева, незадолго до этого вернувшаяся из Парижа. Доносительство и

лжесвидетельство превзошли все прежние самооговоры и признания, пресмыкательство и явное сотрудничество с властью обычно не спасали намеченных к уничтожению. У всех остальных это время оставило о себе мучительные, унизительные воспоминания, от которых многим пережившим террор никогда не суждено было полностью освободиться.

Самыми аутентичными и беспощадными свидетельствами о жизни интеллигенции в эту кровавую эпоху, не первую и, возможно, не последнюю в истории России, являются мемуары Н.Я. Мандельштам и Л.К. Чуковской и в другом жанре поэтический цикл Ахматовой «Реквием». Число уничтоженных и сосланных писателей и художников было так велико, что русская литература, искусство и мысль в 1939 году напоминали город после бомбежки, где два-три почти нетронутых великолепных дворца одиноко возвышаются над разрушенными, покинутыми кварталами. В конце концов Сталин приостановил страшные проскрипции; наступила передышка; снова оказались в почете классики XIX века; улицам были возвращены их прежние названия вместо революционных переименований. Этот период был как бы началом выздоровления тяжелобольного: ничем заметным в области художественного творчества и критики он не был отмечен.

Началось немецкое вторжение в Россию, и картина вновь изменилась. Те немногие крупные писатели, которые пережили Великую Чистку и не потеряли человеческого облика, со всей страстью откликнулись на всеобщий прилив патриотизма. В какой-то мере в литературу вернулась правда: военные стихи рождались из глубокого чувства, и не только у Пастернака и Ахматовой. В те дни все русские люди были захвачены волной народного единения, кошмар чисток отступил на задний план перед трагическим и одновременно вдохновляющим и освобождающим чувством патриотического сопротивления врагу и готовности к героическому самопожертвованию. Писатели, старые и молодые, которые смогли выразить это всенародное чувство, а в особенности те из них, в ком билась жилка подлинной поэзии, стали предметом поклонения, как никогда прежде. Наблюдалось поразительное явление: поэты, бывшие в опале у властей и поэтому печатавшиеся редко и малыми тиражами, начали получать солдатские письма с фронта, в которых зачастую цитировались их наименее политические, наиболее личные стихи. Я слышал, что стихи Блока, Брюсова, Сологуба, Есенина, Цветаевой, Маяковского широко читали, учили наизусть и цитировали солдаты и офицеры, и даже политруки. Ахматова и Пастернак, много лет прожившие в своего

рода внутренней эмиграции, получали множество этих фронтовых писем с цитатами не только из опубликованных стихов, но и из неопубликованных, ходивших по рукам в списках. Многие просили автографы, подтверждения подлинности текстов, мнения автора по тому или иному вопросу.

В конце концов это произвело впечатление на некоторых партийных вождей. Бюрократы от литературы сообразили, что такие писатели ценны как патриотические голоса, и, может статься, государству придется когда-нибудь ими гордиться. Как следствие этого укрепились престиж и общественное положение поэтов.

В первые послевоенные годы (и, в сущности, вплоть до последних дней своей жизни) наиболее уважаемые представители старого поколения писателей очутились в довольно странном положении: читатели их обожали, а власти относились к ним с полупочтительной, полунедоверчивой терпимостью. Это был маленький, все уменьшавшийся Парнас, поддерживавшийся лишь любовью и обожанием молодежи. Публичные чтения поэтами своих стихов, восторженное декламирование поэзии наизусть на всевозможных вечеринках и встречах – все это было достаточно распространено в России еще до революции. Новым было то, о чем мне рассказывали и Пастернак и Ахматова: им приходилось читать свои стихи перед огромными аудиториями в до отказа набитых залах, и всякий раз, когда то или иное слово ускользало из памяти и происходила запинка, десятки слушателей мгновенно подсказывали забытое, будь то из уже опубликованного или из еще не опубликованного, то есть недоступного широкой публике. Конечно, нет такого поэта, которого бы не тронула и не укрепила эта неподдельнейшая дань признания; они знали, что их положение поистине уникально, что поэты на Западе могут, пожалуй, завидовать такому всепоглощающему вниманию. И все-таки, несмотря на постоянно ощущаемый всеми русскими контраст между их собственным национальным характером, который они сами считают открытым, страстным, непосредственным, – одним словом, между «широкой русской натурой» и сухим, расчетливым, цивилизованным, сдержанным и замысловатым подходом, приписываемым обычно Западу (все это было страшно преувеличено славянофилами и народниками), многие из них искренне верили в существование неисчерпаемой западной культуры, полной разнообразия и свободной творческой индивидуальности, в противоположность монотонной серости повседневной жизни в Советском Союзе, прерываемой лишь внезапными репрессиями. И что бы я ни говорил тогда – более тридцати лет назад, – ничто не могло

поколебать этого совершенно незыблемого убеждения.

Так или иначе, в то время знаменитые поэты были в Советском Союзе настоящими героями. Возможно, так обстоит дело и сейчас. Ясно, однако, что громадный рост грамотности заодно с широким распространением книг на многочисленных национальных языках Советского Союза создали настолько восприимчивую к литературе публику, какой, по всей видимости, не было и нет во всем мире. Имеется множество свидетельств тому, что в описываемые годы большинство тех, кто с жадностью читал иностранные шедевры, были склонны считать, что современная жизнь Англии и Франции похожа на жизнь, показанную в романах Диккенса и Бальзака; однако яркость, с которой они представляли себе мир, описанный этими романистами, сила эмоционального и нравственного сопереживания, зачастую детская увлеченность судьбами литературных персонажей казались мне более непосредственными, свежими, неизбитыми и гораздо более образными, чем отклики такого же среднего читателя беллетристики, например, в Англии, Франции или Соединенных Штатах. Русский культ писателя-героя, возникший в начале XIX века, тесно с этим связан. Не знаю, как обстоит дело сейчас – может быть, все совсем иначе, могу лишь свидетельствовать, что осенью 1945 года толпы в книжных магазинах с полупустыми полками, живой интерес и даже энтузиазм к литературе, заметный и у продавцов и служащих этих магазинов, тот факт, что даже «Правда» и «Известия» распродавались в несколько минут после того, как появлялись в киосках, – все это говорило о таком интеллектуальном голоде, подобного которому не найти было нигде. Жесткая цензура, которая, наряду с массой всего остального, запрещала порнографию, макулатуру и низкопробные детективы того пошиба, что заполняют вокзальные прилавки на Западе, способствовала тому, что восприятие советских читателей и зрителей стало чище, непосредственнее и наивнее, чем наше; я замечал, как на представлениях пьес Шекспира, или Шеридана, или Грибоедова зрители, многие из которых были явно из деревни, склонны были реагировать на действия актеров на сцене или на строки, произносимые ими – например, рифмованные двустишия в «Горе от ума» Грибоедова, – громкими выражениями одобрения или неодобрения; возбуждение в зале было иногда очень сильным, оно казалось, на взгляд западного туриста, и необычным, и трогательным. Эта аудитория, может быть, не очень сильно отличалась от той, для которой писали Еврипид и Шекспир; когда мои соседи по театральным креслам обращались ко мне, казалось, что они воспринимали действие драмы острым

и неиспорченным взглядом чутких подростков, этой идеальной публики классиков – драматургов, прозаиков и поэтов. Может быть, именно из-за отсутствия подобного широкого отклика некоторые авангардистские произведения на Западе выглядят порой манерными, искусственными и непонятными. Это же делает менее непонятным тот приговор большей части современной литературы и искусства, который был вынесен Толстым, каким бы ни был он огульным, догматичным и произвольным. Меня поражал этот контраст между необычайной восприимчивостью советского читателя, его интересом, критическим или некритичным, ко всему, что кажется подлинным, новым или просто правдивым, и той жвачкой, которой его снабжали государственно-централизованным образом. Я ожидал найти гораздо больше бесцветного, унылого конформизма на всех уровнях. На уровне официальном, среди критиков и рецензентов, это так и было, но не среди тех, с кем я говорил в театрах и кино, на лекциях, футбольных матчах, в поездах, трамваях и книжных лавках.

Перед отъездом в Москву в числе прочих советов и напутствий от английских дипломатов, служивших там, мне было сказано, что встреч с советскими людьми трудно добиться. Мне рассказали, что на официальных дипломатических приемах можно встретить некоторое количество тщательно отобранных высших чиновников, и они в основном повторяют партийную линию и избегают реальных контактов с иностранцами, по крайней мере из стран Запада; на таких приемах иногда разрешают присутствовать артистам балета и актерам, потому что они считаются самыми простодушными и наименее интеллектуальными среди людей искусства, а потому наименее подверженными опасности воспринять еретические идеи или выболтать какие-то тайны.

Короче, у меня заранее создалось впечатление, что независимо от языкового барьера, из-за всеобщего страха перед контактами с иностранцами, особенно гражданами капиталистических стран, и из-за специальных инструкций для членов Коммунистической партии, обязывающих их воздерживаться от таких контактов, все западные посольства находятся в культурной изоляции. Дипломаты и большинство журналистов и других иностранцев обитают как бы в зверинце с сообщающимися между собой клетками, однако отгороженном от всего остального мира высоким забором.

Я нашел это предварительное свое впечатление по большей части верным, но не в такой степени, как мне заранее казалось. За мое краткое пребывание в России я встречался не только с

тщательно вымуштрованным штатом балетных танцоров и литературных чиновников, которые присутствовали на всех приемах, но и с подлинно талантливыми писателями, музыкантами и режиссерами, и среди них – с двумя великими поэтами. Один из них был тот человек, которого я хотел увидеть больше всех, – Борис Леонидович Пастернак, стихи и проза которого меня глубоко восхищали.

Я не мог заставить себя искать знакомства с ним без предлога, хотя бы самого прозрачного. К счастью, я был знаком с его сестрами, которые жили тогда и, я счастлив сообщить, поныне живут в Оксфорде, и одна из них попросила меня взять с собой пару башмаков для ее брата-поэта. Теперь у меня появился повод, и я был очень за него благодарен.

Я приехал в Москву как раз вовремя, чтобы присутствовать на обеде, устроенном британским посольством в честь годовщины своего русскоязычного издания «Британский союзник». На обед были приглашены и советские литераторы. Почетным гостем был Дж. Б. Пристли, тогда считавшийся у советских властей верным другом; его книги широко переводились, и, насколько я помню, в Москве тогда шли две его пьесы. В тот вечер Пристли был явно не в духе; я думаю, что его затаскали по колхозам и фабрикам, – он говорил мне, что, хотя его принимали очень хорошо, он находил эти официальные поездки по большей части невообразимо скучными; вдобавок его гонорары задерживались, разговоры через переводчика выходили ужасно натянутыми – короче, он был недоволен, страшно устал и хотел спать – так, по крайней мере, думал его гид, переводчик из британского посольства, который сообщил мне все это шепотом; он вызвался проводить почетного гостя в гостиницу и попросил, не смог ли бы я постараться заполнить брешь в разговоре, образовавшуюся в результате ухода мистера Пристли.

Я с готовностью согласился и очутился между знаменитым режиссером Александром Яковлевичем Таировым и не менее известным историком литературы, критиком, переводчиком и талантливым детским поэтом Корнеем Ивановичем Чуковским. Напротив меня сидел самый прославленный из всех советских кинорежиссеров Сергей Эйзенштейн. Он казался несколько подавленным; причину этого, как я позднее узнал, не нужно было далеко искать[384]. Я спросил его, какие годы в своей жизни он больше всего любит вспоминать. Он ответил, что, без сомнения, в его жизни как художника и в жизни многих других самым лучшим временем были первые послереволюционные годы. То было время, сказал он с легким оттенком грусти, когда можно было безнаказанно творить вещи чудесно-дикие. С особенным

удовольствием он вспоминал, как в начале 1920-х годов в одном московском театре в зрительный зал выпустили поросят, намазанных жиром; зрители в ужасе вскочили на кресла, люди кричали, поросята визжали. «Это было именно то, чего требовал наш сюрреалистический спектакль. Большинство из нас, кто работал в те годы, были счастливы, что мы живем и работаем именно тогда. Мы были молоды, дерзки и полны идей; неважно было, кто ты – марксист, формалист, футурист, писатель, живописец, музыкант, – все мы сходились и расходились, иногда очень резко, и стимулировали друг друга; мы в самом деле дико забавлялись и к тому же кое-что создавали». Таиров говорил то же самое. И он с ностальгией рассказывал об экспериментальном театре 20-х годов, о том, какими гениями были и Вахтангов, и Мейерхольд, каким смелым и ярким было рано оборвавшееся русское модернистское движение, которое, на его взгляд, было гораздо интереснее всего достигнутого на сцене Пискатором, Брехтом и Гордоном Крэгом. Я спросил его, почему движение прекратилось. «Все меняется, – сказал он, – но это было замечательное время; не по вкусу Станиславскому или Немировичу, но совершенно замечательное». Он считал, что теперешним артистам МХАТа не хватает образованности, чтобы понять, какими должны быть на самом деле чеховские персонажи: их общественное положение, отношение к вещам, манеры, произношение, вся их культура, взгляды, привычки – все это закрытая книга для подрастающих сегодня молодых актеров. Никто не понимал этого лучше вдовы Чехова, Ольги Книппер, и, конечно, самого Станиславского. Крупнейший актер, оставшийся от той эпохи и доживший до наших дней, это несравненный, но быстро стареющий Качалов. Скоро он уйдет со сцены – что будет тогда, возможно ли, чтоб появилось нечто новое – сейчас, когда модернизма больше не существует, а натурализм разлагается? Он сомневался. «Несколько минут назад я сказал вам: «Все меняется», но в то же время все остается по-старому, а это еще хуже», – и он впал в мрачное молчание. Таиров оказался прав в обоих случаях. Качалов действительно был лучшим актером, какого я видел в своей жизни. Когда он выходил на сцену в роли Гаева в чеховской пьесе «Вишневый сад» (в первоначальной постановке он играл студента), то буквально зачаровывал публику, да и другие актеры глаз не могли от него отвести; красота его голоса, обаяние и выразительность движений были таковы, что хотелось смотреть на него и слушать его без конца; это, может быть, нарушало равновесие спектакля, но игра Качалова в тот вечер – как танец Улановой в «Золушке» Прокофьева, которую я смотрел месяц спустя, как за много лет до

того пение Шаляпина в «Борисе Годунове» – осталась у меня в памяти как предел совершенства, как мерка, которой я мерил все виденное с тех пор. Мне и сейчас кажется, что по силе сценической выразительности эти русские артисты не имели себе равных в XX веке.

Мой сосед справа, Корней Чуковский, с редким остроумием и обаянием рассказывал о писателях, русских и английских. Он сказал, что почетный гость был с ним очень сух и краток, и это напомнило ему приезд в Россию американской журналистки Дороти Томпсон. Она приехала с мужем, писателем Синклером Льюисом, чья известность в России в 30-е годы была очень велика. «Несколько нас пришли к нему в гостиницу – мы хотели сказать ему, что означали для нас его замечательные романы. Он сидел к нам спиной, печатал себе на машинке и ни разу не обернулся, чтобы посмотреть на нас, и не произнес ни единого слова. В этом было даже известное величие». Я постарался уверить его, что его собственные произведения читаются и вызывают восхищение знатоков русской литературы в англоязычных странах – в частности, Мориса Бауры (который в своих мемуарах рассказывает о том, как он встречался с Чуковским во время Первой мировой войны) или Оливера Эльтона – единственных в то время знакомых мне лично английских писателей, интересовавшихся русской литературой.

Чуковский рассказал мне о своих двух поездках в Англию – первый раз в начале века, когда он был очень беден и за пару шиллингов брался за случайные заработки. Он выучил английский язык, читая «Прошлое и настоящее» и «Sartor Resartus» Карлейля. Последнюю книгу он купил за один пенни, и тут же при мне извлек ее у себя из жилетного кармана. В те дни, по его словам, он был завсегдатаем Лавки стихов, чей знаменитый хозяин, поэт Гарольд Монро, подружился с ним и познакомил его с разными английскими литераторами – в их числе с другом Оскара Уайльда Робертом Россом, о котором Чуковский сохранил добрую память. Он сказал, что в Англии чувствовал себя свободно только в Лавке стихов – и нигде больше. Как Герцена, его восхищали и забавляли общественное устройство и манеры англичан, но, как и Герцен, он не приобрел себе среди них друзей. Он любил Троллопа: «Какие чудесные попы, очаровательные, чудаковатые – здесь, в старой России, не было ничего подобного, здесь они погрязли в лени, глупости и жадности. Это были жалкие люди. Теперешние – после революции у них была тяжелая жизнь – гораздо лучше, они, по крайней мере, умеют писать и читать, среди них есть очень честные и порядочные люди. Но вы никогда не встретитесь с нашими

попами – зачем вам? Я уверен, что английские священники все еще прелестнейшие люди в мире». Потом он рассказал мне о своем втором посещении Англии, во время Первой мировой войны, когда он приезжал с группой русских журналистов, чтобы подготовить отчет об участии Англии в войне. Их принимал лорд Дарби, с которым у него было мало общего. Он пригласил их к себе в Ноуэли на уикенд. Чуковский рассказал об этом чрезвычайно забавно и без излишней почтительности.

Чуковский был выдающимся, очень известным писателем, составившим себе имя еще до революции. Он был левым и приветствовал революцию. Как все сколько-нибудь независимо мыслящие интеллигенты, он вынес свою долю гонений со стороны советской власти. Существует целый ряд способов не сойти с ума в условиях деспотизма. Он достиг этого своего рода ироническим отстранением от общественной жизни, осторожным поведением и незаурядным стоицизмом. Решение ограничить себя относительно тихой заводью русской и английской литературы XIX века, детскими стихами и переводами, быть может, спасло его и его родных от страшной судьбы, постигнувшей некоторых самых близких его друзей. Он сообщил мне, что у него есть одно всепоглощающее желание; если бы я удовлетворил его, он в ответ сделал бы для меня все что угодно – или почти все: он мечтал прочесть автобиографию Троллопа. Его приятельница Айви Литвинова (жена Максима Литвинова, бывшего министра иностранных дел и посла в Соединенных Штатах, который теперь жил в Москве) не могла найти свой экземпляр и считала, что заказать книгу в Англии может быть небезопасно, потому что на любые контакты с заграницей смотрели крайне подозрительно. Не мог бы я достать ему эту книгу? Через несколько месяцев я смог исполнить его просьбу, и он был в восторге. Я сказал, что я, в свою очередь, больше всего в жизни хочу познакомиться с Борисом Пастернаком, – он жил в писательском поселке Переделкино, где у Чуковского тоже была дача. Чуковский сказал, что он глубоко восхищается стихами Пастернака, однако в личном плане, хотя он его и любил, в их отношениях были подъемы и спады: его интерес к гражданской поэзии – Некрасову и писателям-народникам конца XIX века – всегда раздражал Пастернака, чистого поэта, внутренне несозвучного советскому режиму и в особенности брезгливо относившегося к современной, идеологически «ангажированной» литературе. Тем не менее в то время он был с ним в хороших отношениях, обещал устроить встречу и дружески пригласил меня в тот же день посетить и его.

Это был, как я скоро понял, поступок смелый, чтоб не сказать

безрассудный, – связи с иностранцами, особенно сотрудниками посольств западных стран, которых советские власти и сам Сталин рассматривали всех без исключения как шпионов, ни в малейшей мере не поощрялись. Зная это, я впоследствии (в некоторых случаях слишком поздно) старался быть как можно осторожнее и как можно меньше встречаться с советскими гражданами неофициально: они подвергались огромной опасности; но похоже было, что не все, кто желал познакомиться со мной, представляли себе степень этой опасности. Некоторые понимали, на какой риск они идут, встречаясь со мной, но шли на него, потому что их желание прикоснуться к жизни Запада побеждало все остальное. Другие были менее безрассудны, и, уважая эти обоснованные опасения, я встречался с советскими гражданами меньше, чем хотелось бы, особенно с теми, кто не был в какой-то степени защищен своей известностью на Западе, – я боялся их скомпрометировать. Даже и так, наверное, я невольно повредил невинным людям, с которыми встретился или случайно, или потому, что они уверяли меня, иногда, как выяснилось, ошибочно, что не подвергаются никакой опасности. Когда мне сообщают, какая судьба постигла некоторых из них впоследствии, я чувствую угрызения совести и виню себя, что не противостоял искушению познакомиться с ними – самыми чистосердечными, восхитительными, отзывчивыми, трогательными людьми, которые встретились мне в жизни. Обладающие живостью ума, поразительной в тех условиях, снедаемые ненасытным любопытством к жизни за пределами их страны, они стремились установить чисто человеческие отношения с гостем из внешнего мира, который говорил на их языке и, как им казалось, понимал их и был ими понят. Мне не известно ни одного случая тюремного заключения или чего-нибудь худшего, но я знаю о случаях травли и преследований, которые могли быть отчасти результатом встреч со мной. Трудно сказать, потому что часто жертвы так никогда и не узнали, за что их наказывали. Можно только надеяться, что у переживших эту эпоху не осталось горького чувства к заграничным гостям, которые по незнанию или, быть может, по невниманию могли нанести им вред.

Посещение Переделкина было назначено через неделю после обеда, на котором я познакомился с Корнеем Чуковским. Покамест, на другом приеме в честь Пристли (я до сих пор благодарен за его присутствие, открывшее мне все двери) я познакомился с г-жой Афиногеновой, венгерско-американской танцовщицей, вдовой драматурга, «погибшего смертью храбрых» во время воздушного налета в Москве в 1941 году. Ей было позволено – а может быть, вменено в обязанность – организовать

салон для иностранцев с культурными запросами. Как бы то ни было, она пригласила меня к себе, и у нее я познакомился с целым рядом писателей. Из них самым известным был поэт Илья Сельвинский («У Сельвинского был свой момент, но он, слава Богу, давно прошел», – сказал мне позже Пастернак), который имел смелость предположить, что хотя социалистический реализм и есть наиболее верный род художественной литературы, но не будет ли столь же целесообразно, если коммунистическая идеология создаст литературу социалистического романтизма, более свободно обращающуюся с воображением, но в такой же степени проникнутую полной преданностью советской системе. Его незадолго до того резко критиковали за эту идею, и когда я познакомился с ним, он был явно в нервном состоянии. Он спросил, согласен ли я, что пять самых крупных английских писателей – это Шекспир, Байрон, Диккенс, Уайльд и Шоу, с Мильтоном и Бернсом в резерве. Я сказал, что не сомневаюсь насчет Шекспира и Диккенса, но прежде чем я смог что-нибудь добавить, он сказал, что их интересуют главным образом наши новые писатели, – как насчет Гринвуда и Олдриджа? Что я мог сказать о них? Я понял, что речь идет о современных писателях, но признался, что я никогда ничего о них не слышал, – может быть, потому, что я не был в Англии во время войны. Что они написали? Никто этому, конечно, не поверил. Позднее я узнал, что Олдридж – это писатель-коммунист из Австралии, а Гринвуд – автор популярного романа «Любовь в нищете». Их книги были переведены на русский язык и выходили большими тиражами. Простые советские читатели не имеют ни малейшего представления о соотношении ценностей, которыми живут другие, отличные от их, общества или группы людей. Решения о том, что надо или не надо переводить, каким тиражом издавать и проч., принимаются разными официальными литературными органами, находящимися под руководством отдела культуры Центрального комитета партии. Соответственно, современная английская литература была представлена в это время в основном «Замком Броуди» Кронина, двумя-тремя пьесами Сомерсета Моэма и Пристли и – как оказалось – романами Гринвуда и Олдриджа (эпоха Грэма Грина, Ч.П. Сноу, Айрис Мердок и «сердитых молодых людей» еще не наступила – всех их позднее довольно много переводили). У меня создалось впечатление, что мои хозяева решили, что я явно лукавил, когда говорил, что ничего не слышал об этих двух авторах, – ведь я был агентом капиталистического государства и поэтому никак не мог честно признать всех неоспоримых достоинств писателей левого направления – в той же самой мере, в какой они сами обязаны

были ничего не знать (или притворяться, что ничего не знают) о большинстве русских эмигрантских писателей и композиторов.

«Я знаю, – сказал Сельвинский громко и с ораторским пафосом, как будто обращаясь к гораздо большей аудитории, – я знаю, что на Западе нас считают конформистами. Да, мы – конформисты! Мы конформисты, потому что мы видим, что, стоит нам отклониться от линии партии, всегда оказывается, что партия была права, а мы ошибались. Так было всегда. Они не просто говорят, что знают лучше нас, – они действительно знают лучше нас, они дальше видят, их взор острее, их горизонты шире, чем у нас». Остальным гостям от этого стало неловко: эти слова явно предназначались для скрытых микрофонов. Вряд ли нам бы разрешили встретиться в комнате, которая не прослушивалась. В условиях диктатуры человек может выражать одно мнение публично, другое про себя, но тирада Сельвинского была, может быть из-за шаткости его собственного положения, столь неуклюжей и преувеличенной, что за ней последовало смущенное молчание. В тот момент я ничего этого не понимал и возразил, что свободная дискуссия, даже на политические темы, не представляет опасности для демократических учреждений. «Мы – научно управляемое общество, – сказала красивая дама, которая в свое время была секретаршей Ленина и была замужем за известным советским писателем. – В физике нет места свободе мнений. Если человек подвергает сомнению законы движения, то, очевидно, он или невежда, или сумасшедший, – так почему же мы, марксисты, открывшие законы истории и общества, должны позволить свободу мнений в общественной сфере? Свобода заблуждаться – не свобода; вот вы, кажется, думаете, что мы лишены права свободно рассуждать о политических вопросах, а я просто не понимаю, что вы имеете в виду. Правда освобождает. Мы свободнее, чем вы у себя на Западе». Последовали цитаты из Ленина и Луначарского. Я сказал, что, как помнится, идеи такого рода встречаются в работах Огюста Конта, что это тезис французских позитивистов XIX века, чьи взгляды, конечно, отвергались Марксом и Энгельсом. По комнате пробежал холодок, и мы перешли к невинной литературной болтовне. Я усвоил этот урок. Спорить об идеях, когда у власти Сталин, означало получать предсказуемые ответы от одних людей и подвергать опасности других – тех, кто молчит.

Я никогда больше не встречал г-жу Афиногенову и ее гостей. Как видно, я вел себя чрезвычайно бестактно, и их реакцию вполне можно было понять.

II

Через несколько дней, в сопровождении Лины Ивановны Прокофьевой, бывшей жены композитора, я поехал на поезде в Переделкино. Мне рассказали, что Горький организовал эту писательскую колонию, чтобы дать признанным писателям возможность писать в спокойной обстановке.

Горький был полон добрых намерений, но не принял в расчет особенностей творческого темперамента писателей, и в результате его план не всегда обеспечивал гармоническое сосуществование. О наличии расколов, личных и политических, мог догадаться даже несведущий иностранец вроде меня.

Я вышел на обсаженную деревьями дорогу, ведущую к писательским домам. По дороге нас остановил человек, который копал канаву; он выбрался из нее, объявил, что его зовут Язвицкий, спросил, как зовут нас, и довольно долго рассказывал нам о замечательном романе, который он написал, под названием «Костры инквизиции»[385]. Он от всей души нам рекомендовал прочесть его, а также еще лучший новый роман, над которым он тогда работал, об Иване III и средневековой России. Он пожелал нам счастливого пути и вернулся к своей канаве. Моя спутница нашла все это несколько неуместным, но я был очарован этим неожиданным, прямым, чистосердечным и совершенно обезоруживающим монологом. Эта простота и непосредственность, пусть даже наивные, это отсутствие обязательных светских любезностей встречались вне официальных кругов повсюду и казались мне, и сейчас кажутся, на редкость привлекательными.

Стоял теплый солнечный день, какие бывают ранней осенью. Пастернак, его жена и Леонид, их сын, сидели за простым деревянным столом в маленьком садике на задворках дачи. Поэт радушно приветствовал нас. Марина Цветаева, с которой Пастернак дружил, сказала как-то, что он выглядит как араб и его конь: у него было смуглое, меланхолическое, выразительное и очень *породистое* лицо, теперь знакомое всем по многочисленным фотографиям и портретам кисти его отца. Пастернак говорил медленно, своего рода монотонным низким тенором. Интонация его речи была плавной, ровной – нечто среднее между гудением и мычанием, – и все, кто знали его, безошибочно отмечали эту манеру. Каждая гласная произносилась им протяжно, как будто на манер заунывных лирических арий из опер Чайковского, но с более концентрированной силой и напряжением. Я неловко

протянул ему пакет, который держал при себе, объяснив, что это подарок от его сестры Лидии – пара башмаков. «Ну нет, нет, что же это, что это вы! – сказал Пастернак, явно смущенный, как будто я предлагал ему благотворительное подношение. – Это какая-то ошибка, недоразумение. Это, должно быть, для моего брата». Мне тоже стало страшно неловко. Зинаида Николаевна попыталась исправить положение и спросила меня, оправляется ли Англия от последствий войны. Но прежде чем я смог ответить, Пастернак перебил меня: «Я был в Лондоне в тридцатых годах – в 1935 году – на обратном пути с Антифашистского конгресса в Париже. Давайте я вам расскажу, как это было. Это было летом, и я был на даче. Вдруг приезжают ко мне двое, наверное из НКВД, нет, пожалуй, мне помнится, из Союза писателей – тогда мы, должно быть, не так боялись таких визитов – и один из них говорит: “Борис Леонидович, в Париже происходит антифашистский конгресс. Вы приглашены в нем участвовать. Мы просим вас выехать завтра. Вы поедете через Берлин. Вы можете там пробыть несколько часов и встретиться с кем вам будет угодно. На следующий день вы приедете в Париж и вечером будете выступать на конгрессе”. Я ответил, что у меня нет подходящего костюма для такой поездки. Они сказали, что позаботятся об этом. Они предложили мне визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и стоячим воротничком – и ко всему этому великолепную пару черных лакированных башмаков, которые оказались мне прямо по ноге. Но я как-то ухитрился все-таки поехать в моей обычной одежде. Потом мне рассказали, что в самую последнюю минуту Андре Мальро, один из главных организаторов конгресса, настоял на том, чтобы меня пригласили. Он объяснил советским властям, что если меня и Бабеля не будет, то пойдут лишние толки и пересуды, так как мы были признаны на Западе, а в то время не было уж так много советских писателей, которых готовы были бы слушать европейские и американские либералы. И вот, хоть меня и не было в первоначальном списке советских делегатов – да и как я мог там быть, – они согласились».

Как и было договорено, он поехал через Берлин, где встретился с сестрой Жозефиной и ее мужем. Он сказал, что, когда приехал на конгресс, там было много знаменитых и важных людей – Драйзер, Жид, Мальро, Форстер, Арагон, Оден, Спендер, Розамонд Леман и другие знаменитости. «Я выступил. Я сказал: “Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789,

1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас – не организовывайтесь!”

Мне показалось, что они страшно удивились. Но что еще мог я сказать? Я думал, что у меня будут неприятности дома после этого, но никто никогда не упомянул об этом – ни тогда, ни теперь[386]. Из Парижа я поехал в Лондон, где встретился с моим приятелем Ломоносовым, – совершенно замечательный человек. Он, как и его тезка, – что-то вроде ученого – инженер. После этого я на одном из наших пароходов отправился в Ленинград. У меня общая каюта с Щербаковым, который тогда был секретарем Союза писателей и был невероятно влиятелен[387]. Я говорил без умолку – день и ночь. Он умолял меня перестать и дать ему поспать. Но я говорил, как заведенный. Париж и Лондон разбудили во мне что-то, и я не мог остановиться. Он умолял пощадить его, но я был безжалостен. Наверное, он думал, что я сошел с ума. Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния». Сам Пастернак не сказал этого так прямо: иметь репутацию сумасшедшего или, по крайней мере, чудака было полезным, и, может быть, именно это спасло его во время страшных чисток, но другие присутствующие сказали мне, что они прекрасно поняли, что имелось в виду. Позднее они мне это объяснили.

Пастернак спросил меня, читал ли я его прозу – и в особенности «Детство Люверс» – произведение, которое я очень любил. Я ответил, что читал. «Я вижу по выражению вашего лица, – сказал он без всякого основания, – что вы считаете эти вещи искусственными, вымученными, натянутыми, ужасным модернизмом, – нет, нет, не отрицайте этого, пожалуйста; вы так действительно считаете – и вы совершенно правы. Я сам стыжусь этих вещей – не стихов, а прозы. Она несет на себе отпечаток всего самого слабого и путаного, что было в модном тогда символизме с его мистическим хаосом – конечно, Андрей Белый был гений – в «Петербурге» и «Котике Летаеве» много замечательного, – я сам это знаю, можете мне об этом не говорить, – но его влияние было фатальным; Джойс – другое дело. Все, что я тогда написал, написано через силу, одержимо, изломанно, искусственно, *негодно*; но сейчас я пишу совершенно по-другому: нечто новое, совсем новое, светлое, изящное, гармоничное, стройное, классически чистое и простое – как хотел Винкельман, да-да, и Гете; и это будет мое последнее слово, мое самое важное слово миру. Это – то, да, это именно то, что я хочу, чтобы запомнилось, осталось после меня; я посвящу этому весь остаток моей жизни».

Я не могу поручиться за точность всего этого разговора, но именно так мне запомнились и сами его слова, и его манера говорить. Этот замысел впоследствии вылился в «Доктора Живаго». В 1945 году он вчерне закончил несколько начальных глав, которые попросил меня прочесть и передать его сестрам в Оксфорде; я так и сделал, но о плане всего романа узнал только много позже. После этого он некоторое время молчал; никто из нас не проронил ни слова. Затем он рассказал нам, как полюбил Грузию, грузинских писателей Яшвили и Табидзе, грузинское вино, как хорошо его принимали каждый раз, когда он туда приезжал. После этого он учтиво спросил меня о том, что слышно на Западе; знаком ли я с Гербертом Ридом и его доктриной персонализма? Тут он объяснил, что доктрина персонализма исходит из нравственной философии (а в особенности из идеи личной свободы) Канта и его истолкователя Германа Когена, которого он хорошо знал и которым восхищался, еще будучи его студентом в Марбурге до Первой мировой войны. Кантовский индивидуализм – Блок совершенно не понял Канта, сделал его в стихотворении «Кант» мистиком – слыхал ли я об этом? Знаю ли я Стефана Шиманского, персоналиста, который издал некоторые его, Пастернака, вещи в переводе? Нет, в России не происходит ничего, рассказывать не о чем. Я должен понять, что в России (я заметил, что ни он, ни другие писатели, с которыми я встречался, никогда не употребляли выражения «Советский Союз») часы остановились в 1928 году или где-то около того, когда были по существу прерваны связи с внешним миром; к примеру, статья о нем и его произведениях в Советской Энциклопедии не упоминает о его жизни и творчестве в позднейший период. Тут вмешалась Лидия Сейфуллина, пожилая известная писательница, вошедшая как раз в середине этой тирады. «Моя судьба точно такая же, – сказала она, – статья обо мне в Энциклопедии заканчивается словами: “В настоящее время С. находится в состоянии психологического и творческого кризиса”. И эта характеристика не меняется уже двадцать лет. Для советского читателя я все еще нахожусь в состоянии кризиса, в своего рода оцепенении. Мы с вами, Борис Леонидович, как жители Помпеи, которых засыпал пепел, не дав им закончить предложение. А как мало мы знаем! Ну вот, я знаю, что Метерлинк и Киплинг умерли, а Уэллс, Синклер Льюис, Джойс, Бунин, Ходасевич – живы?» Пастернаку стало явно неловко, и он переменил тему, заговорив о французских писателях вообще. Он как раз читал Пруста, его французские друзья-коммунисты прислали ему все тома прустовского шедевра – он, конечно, его прекрасно знал и сейчас лишь перечитывал. В то время он еще ничего не слыхал ни о

Сартре, ни о Камю[388], а о Хемингуэе был довольно низкого мнения («Не могу понять, что находит в нем Анна Андреевна» (Ахматова), – сказал он). Он очень радушно пригласил меня зайти к нему в его московскую квартиру, он там будет в октябре.

Пастернак говорил великолепными медлительными периодами, которые время от времени перебивались внезапным потоком нахлынувших слов; его речь зачастую перехлестывала берега грамматической правильности – ясные и строгие пассажи перемежались причудливыми, но всегда замечательно яркими и конкретными образами, которые могли переходить в речь по-настоящему темную, когда понять его уже становилось трудно, – и вдруг он внезапно снова вырывался на простор ясности; иногда его разговор был настоящей речью поэта, как и его произведения. Кто-то сказал однажды, что есть поэты, которые поэты только тогда, когда пишут стихи, а когда пишут прозу, становятся прозаиками, а есть поэты, остающиеся поэтами всегда, что бы они ни писали. Пастернак был гениальным поэтом во всем, что он делал и чем он был. Это было совершенно очевидно и из его произведений, и из его обыкновенных разговоров. Я даже отдаленно не могу передать это особое пастернаковское качество. Пожалуй, был еще только один человек, который разговаривал, как Пастернак: Вирджиния Вулф. Если судить по моим немногим встречам с ней, то она, так же как Пастернак, заставляла мысли собеседника гнаться одна за другой; так же вдохновенно – а иногда пугающе – стирала без следа ваше привычное представление о реальности. Я употребляю слово «гений» вполне сознательно. Меня иногда спрашивают, что, собственно, я имею в виду под этим столь богатым ассоциациями, но неточным словом. На это я могу ответить только следующее: Нижинского как-то спросили, как ему удается прыгать так высоко. Его ответ, кажется, сводился к тому, что он не видит в этом особой проблемы. Большинство людей падают вниз сразу же после прыжка. «Но зачем опускаться сразу же? Почему бы не остаться в воздухе немного, прежде чем опуститься!» – говорят, ответил Нижинский. Мне кажется, что один из признаков гениальности – это способность делать нечто совершенно простое и вполне очевидное, что нормальные люди не могут и знают, что не могут сделать, – то, про что нормальный человек не понимает, как это может быть сделано и почему он этого сделать не сможет. Пастернак иногда говорил огромными прыжками, без видимой связи; его слова были более образны, чем я когда-либо встречал. Его речь витала дико и в то же время трогала до крайности. Что говорить, литературная гениальность знает много проявлений: насколько я помню, Элиот, Джойс, Йетс, Оден и Рассел

разговаривали не так.

Я не хотел злоупотреблять гостеприимством хозяев и попрощался с поэтом. Его слова и вся его личность глубоко взволновали, даже потрясли меня. Выйдя от Пастернака, я направился на соседнюю дачу Корнея Чуковского, и хотя это был очаровательный собеседник, доброжелательный, интересный, в высшей степени проницательный и крайне забавный, я не мог оторваться мыслями от поэта, которого покинул час назад. На даче у Чуковского я познакомился с Самуилом Маршаком, переводчиком Бернса и сочинителем детских стихов. Маршак стремился держаться подальше от генеральной идеологической линии и политических бурь. Скорее всего этому, а также покровительству Горького, он был обязан тем, что выжил в самые страшные дни. Он был одним из немногих писателей, кому разрешалось встречаться с иностранцами. Во время моего пребывания в Москве он был чрезвычайно радушен и добр ко мне. Маршак был, без сомнения, одним из самых приятных и милых московских интеллигентов, с которыми мне посчастливилось встретиться. Он вполне свободно и с глубокой болью говорил об ужасах прошлого, он не высказывал особой веры в будущее, предпочитал обсуждать любимые им английскую и шотландскую литературы, с которыми он был хорошо знаком. Но как раз по этому поводу его суждения, как мне казалось, не были особенно интересными. Кроме Маршака на даче были и другие гости, и среди них один писатель, чье имя если и было упомянуто, то не удержалось у меня в голове. Я спросил его о современном советском литературном пейзаже: какие писатели, по его мнению, наиболее интересны? Он назвал мне несколько имен и среди них Льва Кассиля. «Автор “Швамбрании?”» (фантазия для подростков), – спросил я. «Да, – сказал он, – автор “Швамбрании”». – «Но ведь это слабая книга, – сказал я, – я читал ее несколько лет тому назад, и она показалась мне абсолютно лишенной воображения, наивной и скучной. А вам она нравится?» – «Да, – ответил он, – пожалуй, нравится. Искренняя книга и неплохо написана». Я не согласился с моим собеседником. Через несколько часов, когда стало уже темно и я сказал, что очень плохо ориентируюсь, он предложил проводить меня до станции. Прощаясь, я сказал моему спутнику: «Вы были исключительно любезны по отношению ко мне, но, простите, я, к моему большому сожалению, не уловил вашего имени». – «Лев Кассиль», – ответил он. Я застыл на месте, сгорая от стыда и раскаяния, совершенно подавленный своею оплошностью. «Почему же вы мне ничего не сказали? – сказал я. – “Швамбрания”…» – «Я уважаю вас за то, что вы сказали то, что на

самом деле думали, – нам, писателям, не часто приходится наталкиваться на правду». Я продолжал извиняться до тех пор, пока не подошел поезд. Ни разу я не встречал человека, который вел бы себя так прекрасно. Ни до того, ни после того я не встречал автора, который был бы настолько свободен от всякого тщеславия и самолюбия.

Покамест я ждал поезда, начал накрапывать дождь. На платформе кроме меня были еще двое – молодая на вид пара. Втроем мы пытались укрыться от дождя, притулившись под единственным убежищем, которое нашли, – какими-то досками, нависшими над старым разваливающимся забором. Мало-помалу завязался разговор. Молодые люди оказались студентами. Юноша назвался химиком, а девушка изучала историю России XIX века, в частности революционное движение. Кругом был полный мрак – станция не была освещена, – мы почти не различали лиц друг друга в темноте. Может быть, поэтому молодые люди чувствовали себя довольно безопасно в присутствии полного незнакомца и говорили свободно. Девушка сказала, что в институте их учат тому, что в прошлом веке русская империя была огромной тюрьмой – никакой свободы мысли или слова; однако, хотя, в общем, это представление и кажется правильным, радикалы могли себе позволить достаточно много. В то время инакомыслие, если только оно не сопровождалось прямым террором, как правило, не вело за собой ни пыток, ни смерти. Террористам даже удавалось ускользнуть. «А что, – спросил я, честно говоря, не будучи столь наивным, как мой вопрос, – разве сейчас люди не могут свободно высказываться на волнующие общественные темы?» – «Если кто-нибудь попытается это сделать, то его выметают, как метлой. Никто никогда не узнает, что с ним произошло. Никто его больше никогда не увидит и не услышит», – сказал молодой человек. Мы переменили тему, и молодые люди рассказали мне, что среди русской молодежи нарасхват романы и повести XIX века. Как оказалось, не Чехов и не Тургенев, которые им кажутся устарелыми и занятыми проблемами, не интересующими сейчас никого, и не Толстой, может быть (как они сами объяснили), потому, что их слишком пичкали во время войны «Войной и миром» как великой народной патриотической эпопеей. Нет, они читали, если удавалось достать, Достоевского, Лескова, Гаршина и тех зарубежных мастеров, которые были доступнее других, – Стендаля, Флобера (не Бальзака и не Диккенса), Хемингуэя и, несколько неожиданным образом, О'Генри. «А советских писателей? Как насчет Шолохова, Федина, Фадеева, Гладкова, Фурманова?» – спросил я, перечисляя первые пришедшие мне на ум фамилии

современных советских писателей. «А вам они нравятся?» – спросила девушка. «Горький иногда хорош, – сказал молодой человек, – мне раньше нравился Ромен Роллан. В вашей стране, наверное, много чудных, великих писателей!» – «Чудных? Нет, таких, пожалуй, нет», – ответил я. Они никак не могли этому поверить. Наверное, они подумали, что я как-то особенно настроен против английских писателей или что я, должно быть, коммунист, которому претит любое буржуазное искусство. Подъехал поезд, и мы разошлись по разным вагонам – беседу нельзя было продолжать на людях.

Подобно этим студентам, многие русские (во всяком случае, в то время) были уверены в том, что на Западе – в Англии, Франции, Италии – искусство и литература переживают великолепный расцвет, недоступный для них. Когда я пытался выразить по этому поводу сомнение, никто мне не верил: в самом лучшем случае это относили за счет моей вежливости или пресыщенной буржуазной скуки. Даже Пастернак и его друзья были абсолютно убеждены в том, что существует золотой Запад, где гениальные писатели и критики создавали и создают шедевры, скрываемые от русской публики. Эта точка зрения была широко распространена. Ее разделяло большинство писателей, с которыми я столкнулся в 1945 и 1956 годах, – Зощенко, Маршак, Сейфуллина, Чуковский, Вера Инбер, Сельвинский, Кассиль и еще десяток других, и не только писатели, но и музыканты Прокофьев, Нейгауз, Самосуд, режиссеры Эйзенштейн и Таиров, художники и критики, которых я встречал в общественных местах, на официальных приемах, устраиваемых ВОКСом (Всесоюзное общество по культурным связям с заграницей), и изредка у них дома в гостях, философы, с которыми я беседовал на сессии Академии наук, на которой я был приглашен выступить с докладом по инициативе не кого иного, как Лазаря Кагановича, незадолго до того, как он попал в немилость и лишился власти. Все эти люди не только жаждали узнать хоть что-нибудь о расцвете искусства и литературы в Европе (в меньшей степени в Америке), проявляя удивительную любознательность и прямо-таки ненасытность, но и были непоколебимы в своем твердом убеждении, что на Западе безостановочно выходят в свет замечательные творения искусства, литературы и мысли, которые неумолимые советские цензоры ревностно держат под запретом. *Omne ignotum pro magnifico.*

Вовсе не желая умалить уровень западных достижений, я все же пытался намекнуть на то, что развитие нашей культуры вовсе не было столь неудержимо триумфальным, как они его себе представляли. Возможно, что некоторые из тех, кто эмигрировал

на Запад, до сих пор пытаются обнаружить эту богатую культурную жизнь и, не найдя ее, чувствуют страшное разочарование. Кажется вполне правдоподобным, что кампания против «безродных космополитов», по крайней мере частично, объяснялась стремлением подавить этот бурный прозападный энтузиазм, который вполне мог питаться слухами о роскошной жизни на Западе, слухами, которые приносили возвращающиеся оттуда советские солдаты: бывшие военнопленные и сами победоносные войска. В какой-то своей части прозападные чувства являлись неизбежной реакцией на непрерывное грубое и лживое охаивание западной культуры в советской печати и радио. В качестве противоядия такому нездоровому интересу ко всему западному со стороны, по крайней мере, образованной части населения начальство широко использовало русский национализм, подогревавшийся яростной антисемитской пропагандой самого грубого пошиба. Это, однако, в свою очередь вызывало в среде интеллигенции прозападные и филосемитские симпатии, которые казались мне глубоко укоренившимися. В 1956 году я обнаружил меньше неосведомленности о Западе и, соответственно, меньше энтузиазма, но все-таки гораздо больше, чем было бы оправдано реальным положением вещей.

После возвращения Пастернака в Москву я навещал его почти каждую неделю и в конце концов узнал его достаточно близко. Он всегда говорил с каким-то особым, лишь ему присущим колоритом, составленным из смеси жизненной силы и полета гениального воображения. Никому не удалось описать это. Не могу и я надеяться описать преображающий эффект его присутствия, его голоса, его жестов. Пастернак говорил о книгах и писателях. К сожалению, в то время я не вел никаких записей, и через призму многих лет я могу лишь припомнить, что из современных писателей он более всего любил Пруста и был весь погружен в «Улисса» (позднейших вещей Джойса он не читал). Когда через несколько лет я привез в Москву несколько томиков Кафки по-английски, он не проявил к ним никакого интереса. Как сам он мне потом рассказал, он подарил их Ахматовой, которая была ими глубоко тронута; читала их и перечитывала до самого конца своей жизни. Он говорил о французских символистах, о Верхарне и Рильке, с которыми в свое время встречался. Рильке он просто боготворил как человека и поэта. Он был целиком погружен в Шекспира. Собственные переводы Шекспира его не удовлетворяли. Особенно он был недоволен «Гамлетом» и «Ромео и Джульеттой»: «Я попробовал заставить Шекспира работать на меня, – сказал он в начале разговора, – но не вышло». Затем последовали примеры того, что он считал своими неудачами в

переводе, но, к сожалению, я их не запомнил. Между прочим, он рассказал мне, что как-то вечером во время войны он слушал Би-би-си и услышал чтение поэзии. Пастернак с трудом понимал английский язык со слуха, но эти стихи показались ему прекрасными. «Чье это?» – спросил он сам себя, стихи показались ему знакомыми. «Да ведь это мое», – сказал он себе, но на самом деле это был отрывок из «Освобожденного Прометея» Шелли. Пастернак рассказывал, что вырос в тени Толстого, с которым хорошо был знаком его отец. Поэт считал Толстого несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоевский, – писателем ранга Шекспира, Гете и Пушкина. Отец, художник, взял его с собой в Астахово в 1910 году, чтобы взглянуть на Толстого на смертном одре. Сам он не мог критически относиться к Толстому – Россия и Толстой были нераздельны. Что до русских поэтов, то гений Блока, несомненно, преобладал в свою эпоху, но блоковское лирическое чувство оставалось ему чуждо. Подробнее об этом он говорить не хотел. Белый был ему ближе – человек, способный к удивительным, неслыханным прозрениям, чудотворец и юродивый в традициях русского православия. Брюсова Пастернак считал своего рода самозаводящейся хитроумной механической boite à musique[389] – не поэт вовсе, а умный и расчетливый ремесленник. О Мандельштаме он не упоминал совсем. К Марине Цветаевой, с которой он был связан многими годами дружбы, Пастернак относился с большой нежностью. Гораздо более амбивалентными были его чувства по отношению к Маяковскому: он знал его очень хорошо, они были близкими друзьями, и он многому научился от него. Маяковский был, конечно, титаном – разрушителем старых форм, и к тому же, добавлял он, в отличие от других коммунистов, он всегда и повсюду оставался человеком, – но нет, он не был крупным поэтом, ни в коем случае не был он бессмертным божеством вроде Тютчева или Блока, ни даже полубогом, как Фет или Белый; он уменьшился со временем; в свое время он был нужен, необходим – время породило его, бывали поэты, сказал он, у которых есть их час: Асеев, несчастный Клюев – репрессированный, – Сельвинский, даже Сергей Есенин – такие, как они, бывают нужны в любой момент, они, их талант, их творчество играют решающую роль в развитии национальной поэзии, а потом они уходят в небытие. Из всех таких фигур Маяковский был, несомненно, наиболее крупной. «Облако в штанах» было вещью центрального исторического значения, он совершенно непереносим, этот крик: он раздувал свой талант, мучил и тискал его, как только мог, пока он, наконец, не лопнул: грустные обрывки этого цветного воздушного шарика до сих пор

валяются под ногами у каждого русского человека. Он был даровит и сыграл важную роль, но, грубый и как бы недоросль, кончил он сочинителем плакатных агиток. Любовные дела Маяковского имели катастрофические последствия для него как человека и поэта; Пастернак же всегда любил Маяковского как человека, и его самоубийство было одним из самых страшных дней в его жизни.

Его художественные вкусы сформировались еще в ранней молодости, и он навсегда остался верным властителям дум той эпохи. Память о Скрябине (одно время Пастернак сам хотел быть композитором) была для него священной. Я никогда не забуду дифирамб Скрябину, услышанный мною как-то раз из уст Пастернака и Нейгауза (известный музыкант, бывший муж Зинаиды Николаевны, жены Пастернака). Скрябинская музыка сильно повлияла на них обоих. Подобное же отношение было и к художнику-символисту Врубелю, которого, наряду с Николаем Рерихом, они ценили больше всех современных им художников. Пикассо и Матисс, Брак и Боннар, Клее и Мондриан значили для них столь же мало, как Кандинский или Малевич. В некотором смысле Ахматову, Гумилева и Марину Цветаеву можно считать последними крупными голосами поэзии XIX века, последними представителями второго русского возрождения (Пастернак и, совсем иначе, Мандельштам принадлежат к какому-то промежутку между двумя столетиями), при всем том, что акмеисты хотели причислить к XIX веку символизм, а сами себя считали поэтами нового века. Модернизм, кажется, совершенно не затронул Пастернака и его друзей – речь идет об их современниках: Пикассо, Стравинском, Элиоте, Джойсе. Ими могли восхищаться, но влияния они не оказали никакого. Как и многие другие течения, модернистское движение в России было насильственно прервано по политическим причинам. Пастернак любил все русское и был готов простить своей стране все ее недостатки – все, за исключением варварства сталинского периода. Но даже это казалось ему в 1945 году тьмой, предвещавшей наступление рассвета; и он изо всей силы напрягал свой взор, стремясь различить его лучи. Эта надежда нашла свое выражение в последних главах «Доктора Живаго». Пастернак верил в то, что он был непосредственно причастен к внутренней жизни русского народа, и разделял его надежды, страхи и мечты. Пастернак считал себя голосом русского народа, как по-своему были Тютчев, Толстой, Достоевский, Чехов и Блок (к тому времени, когда мы познакомились, он не признавал никаких достоинств у Некрасова). Во время наших московских разговоров, когда я приходил к нему в гости и мы сидели одни

перед полированным письменным столом, на котором не было ни книги, ни даже клочка бумаги, он постоянно возвращался к одной и той же теме – он был убежден, что близок к самому сердцу России. В то же время он настойчиво и гневно отрицал, что это можно было бы сказать и о Горьком, и о Маяковском (особенно о первом). Пастернак чувствовал, что у него есть нечто, что он должен сказать властителям России, – нечто бесконечно важное, что может сказать лишь он, и он один, хотя что именно – а он часто говорил об этом, – оставалось для меня темным и невнятным. Может быть, в этом недопонимании был виноват я – впрочем, Анна Ахматова как-то сказала мне, что она тоже не понимала Пастернака, когда на него находил этот пророческий порыв.

Именно будучи в одном из таких приподнятых настроений, он и рассказал мне о своем телефонном разговоре со Сталиным относительно ареста Мандельштама. Этот разговор стал впоследствии знаменитым, и ходило и до сих пор ходит много разных версий о нем. Я могу лишь воспроизвести эту историю в том виде, как она мне запомнилась после того, как Пастернак мне ее рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него, его жены и сына, не было никого. Он снял трубку, и голос сказал ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак предположил, что это какая-то идиотская шутка, и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова, и голос в трубке как-то убедил его, что звонок – настоящий. Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидовичем Пастернаком; Пастернак ответил утвердительно. Сталин спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам читал стихотворный пасквиль о нем, Сталине[390]. Пастернак ответил, что ему представляется неважным, присутствовал он или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с ней, но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказывая мне этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные метафизические рассуждения о космических поворотных пунктах в истории, о которых он хотел поговорить со Сталиным, – такая беседа должна была явиться событием огромного исторического значения. Я вполне могу себе представить, как он в таком духе говорил и со Сталиным. Так или иначе, Сталин снова спросил

его, присутствовал он или нет при том, как Мандельштам читал свои стихи. Пастернак снова ответил, что самое главное – это то, что ему надо обязательно встретиться со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя откладывать и что от нее зависит все, так как они должны поговорить о самых главных вопросах – о жизни и смерти. «Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить», – сказал Сталин и положил трубку. Пастернак попытался перезвонить Сталину, но, совершенно естественно, не смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему, видно, глубокое мученье: в том виде, в каком она изложена здесь, он рассказывал ее мне, по крайней мере, дважды. Другие посетители также слышали этот рассказ из его уст, хотя, по-видимому, в несколько других версиях. Возможно, что именно попытки спасти Мандельштама, предпринятые в то время Пастернаком, и в особенности его обращение к Бухарину, сыграли свою роль в том, что Мандельштама удалось, по крайней мере на некоторое время, отстоять, – он был уничтожен не сразу, а через несколько лет, – однако Пастернак явно считал, возможно безо всякого на то основания, но, как, впрочем, считал бы на его месте любой человек, не ослепленный самодовольством или глупостью, что другой ответ, может быть, более помог бы обреченному поэту[391].

За этой историей последовали рассказы о других жертвах: Пильняк, испуганно ждавший («он постоянно выглядывал из окошка») человека, который должен был принести ему на подпись заявление об осуждении и обличении одного из людей, обвиненных в 1936 году в измене. Когда никто в конце концов не пришел, Пильняк понял, что он тоже обречен. Пастернак рассказывал об обстоятельствах самоубийства Цветаевой в 1941 году. Он считал, что эту трагедию можно было предотвратить, если бы только «литературные тузы» не отнеслись к ней с такой возмутительной бессердечностью. Он рассказал о человеке, который просил его подписать открытое письмо с осуждением маршала Тухачевского. Когда Пастернак отказался и объяснил пришедшему причины своего отказа, тот заплакал, сказал, что он самый благородный и святой человек из всех, кого ему доводилось когда-нибудь видеть, горячо обнял его и побежал с доносом прямо в НКВД. Затем Пастернак сказал, что, хотя Коммунистическая партия и сыграла во время войны положительную роль, и не только в России, одна мысль о возможности какого-либо соприкосновения с партией наполняла его все большим отвращением: Россия – это галера, каторжное судно, а партия – это надсмотрщики, бичующие гребцов. Хотел бы он знать, почему один дипломат из далекой английской

«территории», аккредитованный тогда в Москве, которого я наверняка знаю, человек, который немного владеет русским языком, представляется как поэт и иногда заходит к нему, – почему этот господин твердит при любой подходящей или неподходящей оказии, что он, Пастернак, должен сблизиться с партией? Он совсем не нуждается в том, чтобы господа с другого конца планеты советовали ему, что делать, – могу я сказать этому субъекту, что его визиты нежелательны? Я пообещал, что скажу, но не сказал отчасти из страха повредить положению Пастернака, и без того шаткому. Этот дипломат из одной из стран британского Содружества вскоре покинул Советский Союз и, как мне рассказали его друзья, впоследствии немного изменил свои взгляды.

Пастернак упрекнул и меня: не за то, что я пытался навязать ему мои мнения по политическим или иным вопросам, но за нечто, казавшееся ему почти столь же дурным: вот мы оба в России; куда ни кинешь взгляд, повсюду отвратительно, жутко и мерзостно, – везде свинство; а между тем я кажусь положительно в экстазе ото всего этого, я брожу и гляжу на все, заявил Пастернак, зачарованными глазами. Я ничуть не лучше других иностранных гостей, ничего не желающих замечать и страдающих от абсурдных, ложных представлений, которые для несчастных туземцев просто непереносимы.

Пастернак был очень чувствителен к возможным обвинениям в том, что он старается приспособиться к партии и государству и подлаживается к их требованиям. Даже то, что он остался в живых, не давало ему покоя: он все боялся, что люди подумают, что он старался ублаготворить власти и пошел на какой-то низкий компромисс со своей совестью, чтоб его не трогали. Пастернак все время возвращался к этой теме и доходил до абсурда, пытаясь доказать, что он никак не способен на такие компромиссы, в которых ни один из людей, хоть мало-мальски знавших его, и не думал его подозревать. Как-то раз он спросил меня, читал ли я его сборник военного времени «На ранних поездах». Слышал ли я, чтобы кто-нибудь говорил об этих стихах как о попытке примириться и сблизиться с господствующим режимом? Я совершенно честно ответил ему, что никогда ничего подобного не слышал и что само предположение кажется мне полнейшим абсурдом. Анна Ахматова, связанная с Пастернаком узами самой теплой дружбы и уважения, рассказывала мне, что когда она возвращалась в Ленинград из Ташкента, куда ее в 1941 году эвакуировали, она остановилась в Москве и заехала в Переделкино. Через несколько часов после приезда она получила известие от Пастернака, что он не может видеть ее – у него

температура, он в постели, это невозможно. На следующий день ей было передано то же самое. На третий же день Пастернак сам заявился к ней – выглядел он на редкость хорошо – ни малейших следов недомогания. Первое, что он спросил ее, было – читала ли она его последний сборник стихов. При этом выражение лица его было столь страдальческим, что она тактично ответила, что нет, еще не читала. У Пастернака просветлело лицо: он явно испытывал огромное облегчение, и все пошло как нельзя лучше. По-видимому, он стыдился их, и совершенно зря, потому что они встретили холодный прием у официальной критики. Наверное, эти стихи представлялись ему чем-то вроде нерешительной попытки написать гражданские стихи – жанр, к которому он питал полнейшее отвращение; тем не менее в 1945 году он продолжал надеяться на великое обновление русской жизни в результате очистительной бури, которой, в его представлении, явилась война, война, столь же страшно и ужасающе преобразительная, как и Революция, – чудовищный катаклизм, лежащий вне наших обывательски узких моральных категорий. Он полагал, что подобные гигантские перемены не подлежат нашему суду; надо постоянно думать о них, думать неустанно и непрерывно, всю жизнь, пытаясь понять и постичь их в меру наших возможностей. Они лежат по ту сторону добра и зла, приятия или неприятия, сомнения или согласия. К ним следует относиться как к стихийным переворотам, землетрясениям, внезапным приливным волнам. Это – преобразующие события, находящиеся за пределами любых исторических и моральных мерок и понятий. Подобным же образом мрачный кошмар доносов, чисток, убийств ни в чем не повинных людей, после которых разразилась ужасающая война, казался ему необходимой прелюдией к какой-то будущей неизбежной неслыханной победе духа.

После этой первой встречи я не видел Пастернака 11 лет. В 1956 году его отчуждение от политического режима, господствовавшего в его стране, было полным и бескомпромиссным. Он не мог без содрогания говорить о режиме или его представителях. К тому времени его друг Ольга Ивинская, по его словам, уже подверглась аресту, допросам, издевательствам и мучениям. Целых пять лет она уже провела в лагере. Министр государственной безопасности Абакумов сказал ей во время допроса: «А твой Борис, наверное, презирает и ненавидит нас?» – «Они были правы, – сказал мне Пастернак. – Она и не отрицала этого». Я ехал в Переделкино вместе с Нейгаузом и одним из его сыновей от Зинаиды Николаевны, его первой жены, которая потом вышла замуж за Пастернака. Нейгауз

все повторял, что Пастернак – святой, человек не от мира сего; надеяться, что советские власти решатся опубликовать «Доктора Живаго», было настоящим безумием. Более вероятно, что они замучат автора романа; Пастернак – величайший писатель, которого знала Россия в течение последних десятилетий, и вот теперь власть его уничтожит, как были уничтожены многие другие; это – наследие царского режима; какие бы различия ни были между Россией старой и новой, они едины в том, что касается недоверия к писателям и их преследования. Зинаида Николаевна говорила ему, что Пастернак твердо решил где-нибудь напечатать свой роман. Он пытался его разубедить, но безуспешно. Если Пастернак будет об этом говорить со мной, смогу ли я – это страшно важно, более чем важно – это вопрос жизни и смерти, да, даже теперь кто может быть в чем-либо уверен? – так смогу ли я убедить его, чтобы он воздержался от своего предприятия? Мне показалось, что Нейгауз прав: возможно, действительно Пастернака надо было физически спасать от самого себя.

Мы прибыли к домику Пастернака. Он поджидал меня у ворот и, впустив Нейгауза внутрь, сердечно обнял меня и сказал, что многое произошло за те одиннадцать лет, что мы не виделись, – в основном ужасное. Он остановился и спросил меня: «Вы, наверное, хотите мне что-то сказать?» И я выпалил с невероятной бестактностью (если не сказать идиотством): «Борис Леонидович, я очень рад видеть вас в полном здравии. Самое замечательное – это то, что вы выжили; некоторым из нас это кажется просто чудом» (я имел в виду антисемитские преследования периода последних лет жизни Сталина). Тут его лицо помрачнело, и он посмотрел на меня с нескрываемым гневом. «Я все знаю, что вы думаете», – сказал он. «Что, Борис Леонидович?» – «Я знаю, все знаю, что у вас на уме, – ответил он срывающимся голосом (слушать его было страшно), – не виляйте, я читаю ваши мысли яснее, чем свои собственные». – «Что же у меня на уме?» – спросил я снова, огорченный и расстроенный его словами. «Вы думаете – я знаю, что вы думаете, – что я сделал что-то для них». – «Я уверяю вас, Борис Леонидович, я никогда ничего подобного не имел в виду – я не слышал, чтобы кто-либо – даже в шутку – хотя бы намекнул на это!» В конце концов он, кажется, поверил мне. Вид у него, впрочем, был самый расстроенный. Только после того, как я уверил его, что культурные люди во всем мире уважают его не только как писателя, но и как свободную и независимую личность, он начал возвращаться в свое нормальное состояние. «Во всяком случае, – сказал он, – я могу повторить вслед за Гейне, что даже если я не

заслужил, чтобы меня помнили как поэта, меня, по крайней мере, будут помнить как простого солдата в рядах армии человеческой свободы».

Он повел меня в свой кабинет. Там он вручил мне толстый конверт. «Вот – моя книга, – сказал он. – В ней все. Это мое последнее слово. Пожалуйста, прочтите ее!» Я принялся читать «Доктора Живаго» сразу же после того, как вернулся от Пастернака, и закончил его уже на следующий день. В отличие от некоторых читателей романа в Советском Союзе и на Западе, книга эта показалась мне произведением гениальным. Я считал – и считаю и сейчас, – что роман передает полный спектр человеческого опыта, автор творит целый мир, пусть даже его населяет всего лишь один подлинный обитатель. Язык романа беспримерен по своей творческой силе. Встретившись с Пастернаком по прочтении романа, я почувствовал, что мне трудно сказать ему все это. Я просто спросил его, что собирается он делать с романом. Он сказал мне, что дал экземпляр книги итальянскому коммунисту, который работал в итальянской редакции советского радиовещания и в то же время состоял агентом миланского коммунистического издателя Фельтринелли. Он передал Фельтринелли всемирные авторские права на свой роман. Он хотел, чтобы роман, его завещание, это самое настоящее, самое целостное из всех его произведений, – по сравнению с романом, его поэзия – это ничто (хотя, по его мнению, стихи из романа – лучшие из всех стихов, когда-либо написанных им), – чтобы его труд распространился по всему миру и стал «глаголом жечь сердца людей».

Улучив момент, когда знаменитый рассказчик Ираклий Андроников стал развлекать общество длинным и сложным рассказом об итальянском актере Сальвини, Зинаида Николаевна увлекла меня в сторону и стала со слезами на глазах умолять, чтобы я отговорил Пастернака от его намерения напечатать «Доктора Живаго» за границей без официального разрешения. Она не хотела, чтобы пострадали дети, – я ведь могу себе представить, на что «они» способны. Эта просьба глубоко тронула меня, и при первой же возможности я заговорил с поэтом. Я сказал, что закажу микрофильмы с рукописи и попрошу, чтобы их спрятали во всех концах света – в Оксфорде, в Вальпараисо, в Тасмании, на Гаити, в Ванкувере, в Кейптауне и Японии так, что текст сможет сохраниться, даже если разразится ядерная война. Готов ли он бросить вызов советским властям, подумал ли он о последствиях?

И тут – второй раз в течение одной недели – я услышал настоящий гнев в его словах, обращенных ко мне. Он ответил

мне, что мои слова, несомненно, были продиктованы самыми лучшими намерениями, что он тронут моей заботой о его безопасности и о безопасности его семьи (последнее было сказано не без иронии), но он прекрасно знает, что делает. Нет, я еще хуже, чем тот заморский дипломат, который одиннадцать лет назад пытался обратить его в коммунистическую веру. Он уже поговорил со своими сыновьями, и они готовы пострадать. Я не должен был более упоминать об этом деле – я ведь прочел книгу и, несомненно, должен понимать, что́ она – и в особенности ее широкое распространение – значит для него. Мне стало стыдно, и я ничего не возразил.

Через некоторое время, возможно, для того, чтобы разрядить атмосферу, он сказал: «Знаете, ведь мое нынешнее положение не столь уж шаткое, как можно подумать. Например, мои шекспировские переводы с успехом идут на сцене. Хотите, я расскажу занятную историю?» После этого он напомнил мне, что однажды познакомил меня с одним из самых знаменитых советских актеров – Ливановым (которого на самом деле звали, добавил он, Поливанов). Так вот, Ливанов был в восторге от пастернаковского перевода «Гамлета» Шекспира и несколько лет назад захотел его поставить и самому играть в нем. Он получил на это официальное разрешение, начались репетиции. Как-то раз его пригласили на один из обычных банкетов в Кремле, где должен был присутствовать сам Сталин. Во время банкета Сталин имел обыкновение выходить из-за стола и обходить всех гостей, приветствуя их и чокаясь бокалами. Когда он приблизился к столу, за которым сидел Ливанов, актер спросил его: «Иосиф Виссарионович, как нужно играть “Гамлета”?» Он хотел, чтобы Сталин сказал хоть что-нибудь, пусть даже самое незначительное, чтобы это можно было унести с собой под мышкой и козырять этим потом повсюду. Как выразился Пастернак, если бы Сталин сказал: «Сыграйте его лилово», Ливанов бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая, что Вождь дал насчет этого совершенно ясные указания – надо играть лилово. Лишь он один, Ливанов, был бы в состоянии точно понять, что имел в виду Вождь, так что и режиссеру и всем остальным останется лишь повиноваться. Сталин остановился и сказал: «Вы артист? Артист МХАТа? Тогда обратитесь с вашим вопросом к художественному руководителю театра. Я не специалист по театральным делам». Затем, помолчав, добавил: «Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко мне, я отвечу вам: “Гамлет” – упадочная пьеса, и ее не следует ставить вообще». На следующий же день репетиции были прерваны. «Гамлета» не ставили до самой смерти Сталина. «Вот видите, – сказал Пастернак, – есть перемены. Все

время происходят какие-то перемены». Снова воцарилось молчание.

После этого, как часто бывало раньше, он заговорил о французской литературе. Со времени нашей последней встречи он достал сартровскую «Тошноту» и нашел, что ее невозможно читать, ее непристойность возмутила его. Как же это может быть, чтобы после четырех столетий гениального творчества этот великий народ совсем перестал создавать литературу? Арагон – приспособленец, Дюамель и Гезино невыносимо скучны. А что, пишет ли еще Мальро? Прежде чем я собрался ответить, одна из присутствовавших на обеде – женщина с невинным, трогательным и милым лицом, такие лица гораздо чаще встречаются в России, чем на Западе, – учительница, которая совсем недавно освободилась из концлагеря, где провела пятнадцать лет только за то, что преподавала английский, застенчиво спросила, написал ли что-нибудь Олдос Хаксли после «Контрапункта» и пишет ли еще Вирджиния Вулф? Она ни разу не видела ни одной ее книги, но из заметки в одной старой французской газете, которая каким-то неизъяснимым образом попала в лагерь, она поняла, что ей может понравиться проза Вирджинии Вулф.

Трудно передать все то удовольствие, которое я испытал, когда начал делиться новостями о литературе и искусстве большого мира с этими людьми, так страстно тосковавшими по всему новому, новостями, которые они не могли тогда получить ни из какого другого источника. Я рассказал ей и всем присутствующим все, что я знал об английской, американской и французской литературах: это было похоже на разговор с людьми, потерпевшими кораблекрушение, заброшенными на необитаемый остров и отрезанными от всякой цивилизации. Все, что они слышали, казалось им новым, волнующим и прекрасным. Грузинский поэт Тициан Табидзе, большой друг Пастернака, погиб во время чисток; его вдова Нина Табидзе была среди гостей. Она хотела знать, считаются ли до сих пор на Западе великими драматургами Шекспир, Ибсен и Шоу. Я ответил, что интерес к Шоу сильно упал, но что повсюду любят Чехова, пьесы которого часто ставятся на сцене. Я добавил, что Ахматова как-то сказала мне, что она не могла понять, в чем причина этого культа Чехова: его мир бесцветен и уныл, в нем никогда не светит солнце, не сверкают мечи, все покрыто отвратительным серым туманом, мир Чехова – это море грязи, в котором беспомощно барахтаются жалкие человеческие существа, это искажение жизни (я слышал однажды, как У.Б. Йейтс высказывался в подобном же духе: «Чехов не знает ничего о жизни и смерти, – сказал он, – он не знает, что подножие небес полно лязгом скрещивающихся

мечей»). Пастернак ответил, что Ахматова глубоко ошибается: «Скажите ей, когда увидите ее, – мы не можем свободно поехать в Ленинград, как, наверное, можете вы, – скажите ей от имени всех нас здесь, что все русские писатели обращаются к читателям с проповедью, даже Тургенев говорит нам, что время – великий целитель, и так далее в том же духе. Лишь один Чехов свободен от этого. Он – чистый художник, все растворено в искусстве. Он – наш ответ Флоберу». Он заметил далее, что Ахматова обязательно заговорит со мной о Достоевском и будет нападать на Толстого. Но на самом деле Толстой прав в оценке Достоевского: «Его романы – это ужасная белиберда, невыносимая смесь шовинизма и истерической церковности, а Чехов… – скажите это Анне Андреевне от моего имени! Я очень ее люблю, но никогда не мог ни в чем ее убедить». Когда я снова встретился с Ахматовой – уже в 1965 году, в Оксфорде, я почел за благо не передавать ей эти слова Пастернака: может быть, ей бы захотелось ему что-то возразить, ответить… но Пастернак уже был в могиле. А о Достоевском она действительно говорила мне со страстным восхищением.

Но здесь я хочу вернуться в 1945 год и описать мои встречи с поэтом (она ненавидела слово «поэтесса») в Ленинграде. Это произошло так: я прослышал, что книги в Ленинграде в магазинах, называемых в Советском Союзе «антикварными», стоят гораздо дешевле, чем в Москве. Чрезвычайно высокая смертность и возможность обменять книги на еду во время блокады города привели к тому, что много книг, особенно принадлежавших старой интеллигенции, оказалось на прилавках государственных букинистических магазинов. Рассказывали, что некоторые ленинградцы настолько ослабели из-за голода и болезней, что у них не было сил относить книги в магазин, поэтому зачастую друзья раздирали для них книги на отдельные страницы и главы, и в таком виде книги оказывались на прилавках у букинистов, а там их можно было купить. Я бы сделал все возможное, чтобы попасть в Ленинград в любом случае: мне не терпелось своими глазами снова увидеть город, где я провел четыре года моего детства. Книжный соблазн лишь еще сильнее разжигал мое желание. После обычной волокиты мне дали разрешение провести в Ленинграде две ночи в старой гостинице «Астория», в обществе представителя Британского Совета в Советском Союзе, мисс Бренды Трипп, весьма умной и симпатичной барышни, специализировавшейся в области органической химии. Мы приехали в Ленинград серым осенним днем в конце ноября.

III

Я не был в этом городе с 1919 года, когда мне было 10 лет и моей семье разрешили вернуться в нашу родную Ригу, столицу в то время независимой республики. В Ленинграде воспоминания детства вернулись ко мне с необычайной отчетливостью. Я был невыразимо тронут видом улиц, домов, статуй, набережных, рынков, внезапно знакомых сломанных перил в маленькой лавочке, где чинили самовары, в подвале дома, где мы жили. Внутренний двор дома выглядел таким же заброшенным и грязным, как и тогда, в первые годы революции. Воспоминания об отдельных событиях, эпизодах, переживаниях как бы стали между мною и окружающей действительностью. Я как будто бы бродил по легендарному городу и сам был частью этой яркой, полузабытой легенды. Одновременно я смотрел на все это с позиции стороннего наблюдателя. Город был сильно поврежден, но тогда, в 1945 году, он оставался еще неописуемо стройным и прекрасным. Когда я посетил его снова через одиннадцать лет, он казался уже полностью восстановленным. Я направился прямо к цели моего путешествия – на Невский проспект, в книжную лавку писателей, о которой я был много наслышан. В то время (наверное, и сейчас) в некоторых русских книжных магазинах были две половины: одна, внешняя, для общей публики, в которой книги лежали по ту сторону прилавка, и другая – внутренняя, со свободным доступом к полкам, куда допускались писатели, журналисты и другие привилегированные лица. Поскольку мисс Трипп и я были иностранцами, нас допустили во внутреннее святилище. Рассматривая книги, я вступил в разговор с человеком, перелистывавшим книжку стихов. Он оказался известным критиком и историком литературы. Мы разговорились о недавних событиях, и он рассказал мне об ужасной участи Ленинграда во время блокады, о мученичестве и героизме ленинградцев. Он сказал, что многие умерли от голода и холода, другие – особенно те, что помоложе, – выжили, некоторых эвакуировали. Я спросил его о судьбе писателей-ленинградцев. Он ответил: «Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?» Ахматова была для меня фигурой из далекого прошлого. Морис Баура, переводивший некоторые из ее стихов, говорил, что о ней не было слышно со времени Первой мировой войны. «А Ахматова еще жива?» – спросил я. «Ахматова, Анна Андреевна? – сказал он. – Да, конечно. Она живет недалеко отсюда, на Фонтанке, в Фонтанном доме. Хотите встретиться с ней?» Для меня это прозвучало так, как будто бы меня вдруг пригласили встретиться с английской поэтессой прошлого века мисс Кристиной Россетти. Я с трудом нашелся, что сказать, и пробормотал, что очень бы желал с ней встретиться. «Я позвоню ей», – ответил мой новый

знакомец и возвратился с известием, что она примет нас в три часа. Мне надо было прийти обратно в книжную лавку, откуда мы должны были вместе отправиться к Ахматовой. Я тем временем возвратился в «Асторию» к мисс Трипп и спросил ее, хочет ли она посетить поэта, на что она ответила, что не может, поскольку у нее уже что-то было назначено на это время.

Я вернулся к назначенному часу. Критик и я вышли из книжной лавки, повернули налево, перешли через Аничков мост и снова повернули налево вдоль набережной Фонтанки. Фонтанный дом, дворец Шереметевых, – прекрасное здание в стиле позднего барокко, с воротами тончайшего художественного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград. Внутри – просторная зеленая площадка, напоминающая четырехугольные дворы какого-нибудь большого колледжа в Оксфорде или Кембридже. По одной из крутых темных лестниц мы поднялись на верхний этаж и вошли в комнату Ахматовой. Комната была обставлена очень скупо, по-видимому, почти все, что в ней стояло раньше, исчезло во время блокады – продано или растащено. В комнате стоял небольшой стол, три или четыре стула, деревянный сундук, тахта и над незажженной печкой – рисунок Модильяни. Навстречу нам медленно поднялась статная, седоволосая дама в белой шали, наброшенной на плечи.

Анна Андреевна Ахматова держалась с необычайным достоинством, ее движения были неторопливы, благородная голова, прекрасные, немного суровые черты, выражение безмерной скорби. Я поклонился – это казалось уместным, поскольку она выглядела и двигалась, как королева в трагедии, – поблагодарил ее за то, что она согласилась принять меня, и сказал, что на Западе будут рады узнать, что она в добром здравии, поскольку в течение многих лет о ней ничего не было слышно. «Однако же статья обо мне была напечатана в “Дублин ревью”, – сказала она, – а о моих стихах пишется, как мне сказали, диссертация в Болонье». С ней была ее знакомая, принадлежавшая, по-видимому, к академическим кругам, и несколько минут мы все вели светский разговор. Затем Ахматова спросила меня об испытаниях, пережитых лондонцами во время бомбежек. Я отвечал, как мог, чувствуя себя очень неловко, – веяло холодком от ее сдержанной, в чем-то царственной манеры себя держать. Вдруг я услышал какие-то крики с улицы, и мне показалось, что я различаю свое собственное имя! Некоторое время я пытался не обращать на них никакого внимания – ясно, что это была галлюцинация, но крики становились все громче и громче, и можно было вполне явственно различить слово «Исайя!». Я подошел к окну, выглянул наружу и увидел человека,

в котором я узнал сына Уинстона Черчилля, Рандольфа. Похожий на сильно подвыпившего студента, он стоял посреди большого двора и громко звал меня. Несколько секунд я не мог сдвинуться с места – ноги буквально приросли к полу, – после чего я пришел в себя, пробормотал извинения и сбежал вниз по лестнице. Единственное, о чем я мог в ту минуту думать, было – как предотвратить его появление в комнате Ахматовой. Мой спутник, критик, выбежал вслед за мной. Когда мы вышли во двор, Черчилль подошел ко мне и весело и шумно меня приветствовал. «Мистер Х., – сказал я совершенно механически, – я полагаю, вы еще не знакомы с мистером Рандольфом Черчиллем?» Критик застыл на месте, на лице его выражение недоумения сменилось ужасом, и он поспешно скрылся. Я больше никогда не встречал его, но его статьи продолжают печататься в Советском Союзе, из этого я делаю вывод, что наша случайная встреча ему никак не повредила. Я не знаю, следили ли за мной агенты тайной полиции, но никакого сомнения не было в том, что они следили за Рандольфом Черчиллем. Этот невероятный инцидент породил в Ленинграде самые нелепые слухи о том, что приехала иностранная делегация, которая должна была убедить Ахматову уехать из России, что Уинстон Черчилль, многолетний поклонник Ахматовой, собирался прислать специальный самолет, чтобы забрать ее в Англию, и т. д. и т. п.

Я не видел Рандольфа с наших студенческих дней в Оксфорде. Я в спешке вывел его из Фонтанного дома и спросил, что это все значит. Он объяснил мне, что приехал в Москву как журналист по поручению Североамериканского газетного объединения. Посещение Ленинграда было частью его программы. Первым серьезным делом, за которое он взялся сразу по приезде в гостиницу «Астория», было устройство в холодильник приобретенной им икры. Поскольку он совсем не знал русского языка, а его переводчик куда-то запропастился, он стал громко звать о помощи. Эти крики в конце концов донеслись до мисс Бренды Трипп. Она спустилась вниз, позаботилась об икре и в ходе общей беседы рассказала ему, что я нахожусь в Ленинграде. Он сказал, что знает меня и что по, его мнению, я прекрасно смогу заменить ему исчезнувшего переводчика. После чего мисс Трипп довольно неосмотрительно поведала ему о моем посещении дворца Шереметевых. Остальное было понятным: поскольку Черчилль не знал, где именно меня искать, он прибег к старому испытанному методу, хорошо послужившему ему еще во время пребывания в Крайст Черч[392] и, пожалуй, в других ситуациях тоже. Этот метод был безотказным, добавил он с обезоруживающей улыбкой. Я поспешил при первом удобном

случае избавиться от него и, получив номер Ахматовой от продавца в книжной лавке, позвонил ей, чтобы объяснить причину моего внезапного и неожиданного бегства и принести свои извинения. Я спросил, смею ли я прийти к ней снова. «Я жду вас сегодня в девять часов вечера», – сказала она.

Когда я вернулся, у Ахматовой снова сидела приятельница, на этот раз ученица ассириолога Шилейко, ее второго мужа, ученая дама, засыпавшая меня многочисленными вопросами об английских университетах и их организации. Ахматовой это было явно неинтересно, она молчала. Незадолго до полуночи дама-ассириолог ушла, и Ахматова стала расспрашивать меня о судьбе своих старых друзей, которые эмигрировали из России и которых я мог знать (она сказала позже, что была в этом абсолютно уверена, так как в личных отношениях ее интуиция – почти второе зрение – никогда не обманывала ее). И действительно, с некоторыми из них я был знаком. Мы поговорили о композиторе Артуре Лурье, которого я встретил в Америке во время войны. Лурье был когда-то интимным другом Ахматовой и положил на музыку некоторые из ее стихов и стихов Мандельштама. Она вспомнила поэта Георгия Адамовича, мозаичиста Бориса Анрепа (с которым я никогда не встречался); я знал о нем очень мало – только то, что он украсил пол вестибюля Национальной галереи в Лондоне фигурами знаменитостей, среди них Бертран Рассел, Вирджиния Вулф, Грета Гарбо, Клайв Белл, Лидия Лопухова. Через двадцать лет я смог рассказать Ахматовой о том, что Анреп добавил к этим портретам и ее собственный мозаичный портрет и назвал его «Сострадание». Она ничего об этом не знала и была глубоко тронута; тут она показала мне кольцо с черным камнем, подаренное ей Анрепом в 1917 году. Ахматова принялась расспрашивать о Саломее Гальперн, урожденной Андрониковой (находящейся, к счастью, среди нас в момент написания этих строк). Ахматова была с ней хорошо знакома в Петербурге еще до Первой мировой войны. Саломея Андроникова была одной из самых известных светских красавиц той эпохи. Она славилась своим умом, обаянием и остроумием. В числе ее друзей были многие знаменитые русские поэты и художники того времени. Ахматова рассказала мне то, что я уже знал до этого: влюбленный в Андроникову Мандельштам посвятил ей одно из самых замечательных своих стихотворений. Я был хорошо знаком с Саломеей Николаевной (и с ее мужем Александром Яковлевичем Гальперном) и смог рассказать Ахматовой об их жизни, круге друзей и взглядах. Она спросила о Вере Стравинской, жене композитора, с которой я в то время не был знаком. Я смог полностью ответить на эти вопросы лишь в 1965 году в Оксфорде.

Она рассказывала о своих поездках в Париж до Первой мировой войны, о дружбе с Амедео Модильяни; ее портрет пера Модильяни висел над печкой (у нее было много таких рисунков Модильяни, но все они пропали во время блокады); она рассказывала о своем детстве на берегу Черного моря; она называла эти места языческим, некрещеным краем; там она чувствовала близость к какой-то древней, полугреческой, полуварварской, глубоко нерусской культуре; о своем первом муже, знаменитом поэте Гумилеве, который внес большой вклад в ее формирование. Ему казалось нелепым, что и муж и жена – поэты, и иногда он сурово критиковал ее стихи, хотя никогда не унижал ее перед другими. Однажды, когда он возвращался из одного из своих путешествий в Абиссинию (тема его наиболее экзотических и великолепных стихотворений), она встречала его на вокзале в Петербурге (через много лет она снова рассказывала эту историю – в тех же самых словах – Дмитрию Оболенскому и мне в Оксфорде). Гумилев хмурился. Первый вопрос, который он ей задал, был: «Писала?» – «Да». – «Прочти». Она прочла. «Да, неплохо, хорошо!» – сказал Гумилев, перестав хмуриться, и они отправились домой. С этой минуты он признал ее как поэта. Она была убеждена в том, что он не принимал участия ни в каком монархическом заговоре, в чем его обвинили и за что он был расстрелян. Горький, которого многие писатели просили похлопотать за Гумилева, не любил его и, согласно некоторым сведениям[393], не вступился за него. Она не виделась с Гумилевым в течение уже некоторого времени перед его арестом – они развелись за несколько лет до этого. У нее были слезы на глазах, когда она рассказывала об ужасных обстоятельствах его смерти.

После некоторого молчания она спросила меня, хочу ли я послушать ее стихи. Но до этого она хотела бы прочесть мне две песни из «Дон Жуана» Байрона, поскольку они имеют прямое отношение к последующему. Даже несмотря на то, что я хорошо знал поэму, я не мог бы сказать, какие именно песни она выбрала, поскольку, хоть она и читала по-английски, ее произношение было таким, что я не мог понять ничего, за исключением одного или двух слов. Закрыв глаза, она читала наизусть, с большим эмоциональным напряжением. Чтобы скрыть свое замешательство, я поднялся и выглянул из окна. Позднее я сообразил, что, может быть, именно так мы декламируем классическую греческую или латинскую поэзию. И ведь нас неизъяснимо волнуют эти слова, которые в нашем произношении, может быть, были бы совсем непонятны их авторам и слушателям. Затем она стала читать собственные стихи из

сборников «Anna Domini», «Белая стая», «Из шести книг». «Стихи, похожие на эти, только лучше, чем мои, явились причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня…» – я не мог понять, шла ли речь о Гумилеве или о Мандельштаме, потому что она разрыдалась и не могла продолжать. Затем она прочла еще не оконченную в то время «Поэму без героя». Сохранились звукозаписи ее чтения, и я не буду пытаться описать его. Уже тогда я сознавал, что слушаю гениальное произведение. Не буду утверждать, что тогда я понимал эту многогранную и совершенно волшебную поэму с ее глубоко личными аллюзиями в большей степени, чем понимаю ее теперь. Ахматова не скрывала, что поэма была задумана как своего рода окончательный памятник ее жизни как поэта, памятник прошлому ее города – Петербурга, которое стало неотъемлемой частью ее личности, и – под видом святочной карнавальной процессии переодетых фигур в масках – памятник ее друзьям, их жизни и судьбам, памятник ее собственной судьбе, своего рода художественное «ныне отпущаеши», произнесенное перед неизбежным и уже близким концом. Строки о Госте из Будущего еще не были написаны, как и третье посвящение. Это таинственная вещь, полная скрытого смысла. Курган научных комментариев неумолимо растет над поэмой. Скоро она, пожалуй, будет совсем погребена под ним.

Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остановилась и начала рассказывать о 1937–1938 годах, когда и муж и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь (этому суждено было повториться), о длинных очередях, в которых день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения послать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было, никакие известия не доходили до них. Гробовой покров повис над городами Советского Союза, где миллионы невинных подвергались истязаниям и казням. Она говорила совершенно спокойным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог замечаниями вроде: «Нет, я не могу, все это бесполезно. Вы живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество разделено на людей и…» Затем, после долгого молчания: «И даже теперь…» Я спросил про Мандельштама. Она не произнесла ни слова, глаза ее наполнились слезами, и она попросила меня не говорить о нем: «После того как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено…» Ей нужно было некоторое время, чтобы успокоиться, затем совершенно другим тоном она сказала: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках à la russe и любил говорить о том, как

нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на все, на все; он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу. Он не окончил своего “Петра Первого”, потому что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. “Что мне делать с ними всеми старыми?” Он был похож на Долохова и называл меня Аннушкой, – меня это коробило, – но он мне нравился, хотя он и был причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня».

К этому времени было уже, мне кажется, три часа утра. Она не подавала никакого знака, что мне надо уйти. Я же был слишком взволнован и поглощен, чтобы сдвинуться с места. Отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев, ее сын (сейчас он профессор истории в Ленинграде); было ясно, что они были глубоко привязаны друг к другу. Он рассказал мне, что учился у знаменитого ленинградского историка Евгения Тарле и что областью его занятий является история древних племен Центральной Азии (он не упомянул о том, что был там в лагере). Его интересовала ранняя история хазар, казахов и более древних племен. Ему разрешили пойти добровольцем на фронт, где он служил в зенитной части, состоявшей из бывших заключенных. Только что он вернулся из Германии. Он производил впечатление человека в хорошем расположении духа и был уверен, что сможет снова жить и работать в Ленинграде. Гумилев предложил мне блюдо вареной картошки – все, что у них было. Ахматова извинилась за скудость угощения. Я стал умолять ее позволить мне записать «Поэму без героя» и «Реквием». «Не нужно, – сказала она, – в феврале должен выйти томик моих избранных стихов; и все это уже есть в корректуре. Я пошлю вам экземпляр в Оксфорд». Как мы знаем, партия судила иначе, и Жданов выступил с публичными поношениями Ахматовой, назвав ее «полумонашенкой полублудницей» (выражение, которое он не полностью выдумал[394]). Эти обвинения были частью более широкой кампании, направленной против «формалистов» и «декадентов» и против двух журналов, в которых печатались их произведения. После того как ушел Лев Гумилев, она спросила меня, что я читал. Прежде чем я смог ответить, она обрушилась на Чехова, обвиняя его в том, что его мир покрыт какой-то ужасной тиной, что его пьесы тоскливы, что в его мире нет героев и мучеников, нет глубины, нет темного, нет духовных высот. Это была та самая страстная обвинительная речь, о которой я позднее

рассказывал Пастернаку, когда она заявила, что у Чехова «не блещут мечи». Я сказал что-то по поводу того, что Толстой любил его. «А зачем надо было убивать Анну Каренину? – спросила она. – Как только она оставляет Каренина, все меняется, сразу же она становится в глазах Толстого падшей женщиной, травиатой, проституткой. Конечно, там есть гениальные страницы, но основная мораль омерзительна. Кто наказывает Анну? Бог? Нет, общество. То самое общество, чье лицемерие Толстой всегда так усердно разоблачает. В конце он пишет, что она становится отвратительной даже Вронскому. Толстой лжет. Он-то сам знает правду. Мораль "Анны Карениной" – это мораль жены Толстого, его московских тетушек. Он сам знает правду, но заставляет себя совершенно безо всякого стыда приспособляться к мещанским условностям. Мораль Толстого – это прямое выражение его интимной жизни, всех перипетий его брака. Когда он счастливо женат, он пишет "Войну и мир", в которой воспевает семейную жизнь. После того как он возненавидел Софью Андреевну, но не решался развестись с ней, поскольку развод осуждался обществом, а может быть, и мужиками, он написал "Анну Каренину" и наказал ее за то, что она ушла от Каренина. Когда он состарился и перестал испытывать такое грубое вожделение к деревенским девкам, он написал "Крейцерову сонату" и вообще запретил всякую половую жизнь».

Кто знает, возможно, этот приговор и не был полностью серьезным, ясно одно: Ахматова искренне не любила проповедей Толстого. Она считала его невероятно тщеславным эгоцентриком, врагом любви и свободы. Ахматова боготворила Достоевского (и, как он, презирала Тургенева), а после Достоевского – Кафку. («Он писал для меня и обо мне», – сказала она мне в 1965 году в Оксфорде. «Джойс и Элиот – прекрасные поэты, но они стоят ниже этого глубочайшего и правдивейшего из современных авторов».) О Пушкине она говорила, что он, конечно, понимал все. «Как это он понимал все, как он мог? Этот курчавый смуглый отрок в Царском, с томом Парни под мышкой?» Затем она прочла мне свои записки о «Египетских ночах» Пушкина. Она заговорила о бледном незнакомце, таинственном поэте, который предложил импровизировать на тему, вытянутую по жребию. Она не сомневалась в том, что прототипом этого виртуоза был польский поэт Адам Мицкевич. Отношение Пушкина к нему было довольно сложным. Их разделял польский вопрос, но Пушкин всегда узнавал в своих современниках гениальность. Блок был таким же, с его безумными глазами и великолепным поэтическим даром. Он тоже мог бы быть импровизатором. Она сказала, что Блоку, который иногда мог и похвалить ее стихи, она никогда не

нравилась. Несмотря на это, все школьные учительницы уверены (а некоторые будут так думать всегда), что у нее с Блоком был роман – «и историки литературы поверят в это тоже, и все это основано, по-видимому, лишь на моем стихотворении “Я пришла к поэту в гости”, которое я посвятила Блоку в 1914 году, и еще, может быть, на стихотворении “Сероглазый король”, хотя оно было написано более чем за 10 лет до смерти Блока; были и другие стихи, но он никого из нас не любил». Она имела в виду других поэтов-акмеистов, и прежде всего Мандельштама, Гумилева и себя. Тут же она добавила, что Блок не любил и Пастернака.

После этого она заговорила о Пастернаке, которому она была предана. Она сказала, что на Пастернака находит желание встретиться с ней, только когда она находится в угнетенном состоянии. Тогда он обычно приходит расстроенный и измученный, чаще всего после какого-нибудь любовного увлечения, но его жена появляется вскоре вслед за ним и забирает его домой. Оба они – Пастернак и Ахматова – были влюбчивы. Пастернак время от времени делал ей предложение, но она к этому никогда серьезно не относилась. Они не были никогда влюблены друг в друга по-настоящему; но, не будучи влюблены, они любили и обожали друг друга и чувствовали, что после смерти Цветаевой и Мандельштама они остались одни. Сознание того, что каждый из них жив и продолжает работать, было для них источником безмерного утешения. Они могли критиковать друг друга, но не позволяли этого никому другому. Ахматова восхищалась Цветаевой. «Марина – поэт лучше меня», – сказала она мне. Но теперь, когда не стало Мандельштама и Цветаевой, она и Пастернак живут одни, в пустыне. Правда, они окружены любовью и бесконечной преданностью бесчисленных читателей, множество людей в Советском Союзе знают их стихи наизусть, переписывают их, декламируют, передают из рук в руки, конечно, это очень приятно, и они гордятся этим, но продолжают пребывать в глухой ссылке. Оба они были настоящими патриотами, но при этом в них не было ни капли национализма. Сама мысль об эмиграции была ненавистна обоим. Пастернак мечтал о поездке на Запад, но ни в коем случае он бы не хотел остаться там навсегда и не иметь возможности вернуться на родину. Ахматова же сказала мне, что она не сдвинется с места: она была готова умереть на родине, какие бы ужасы ни ожидали ее в будущем. Она никогда не покинет свою страну. Оба принадлежали к тем, кто лелеял несбыточные иллюзии относительно богатой художественной и интеллектуальной культуры Запада – о золотом мире, полном творческой жизни, и

оба мечтали и стремились увидеть его и войти с ним в общение.

По мере того как уходила ночь, Ахматова становилась все более и более одушевленной. Она задавала мне вопросы о моей личной жизни. Я отвечал ей с исчерпывающей полнотой и свободой, как будто она располагала правом знать все обо мне. Она в свою очередь вознаградила меня великолепным рассказом о своем детстве у Черного моря, о своих браках с Гумилевым, Шилейко и Пуниным, о своих отношениях с друзьями молодости, о Петербурге до Первой мировой войны. Лишь на фоне всего этого можно понять смену образов и символов в «Поэме без героя», ее игру в личины и переодевания, весь этот бал-маскарад с отзвуками «Don Giovanni» и commedia dell'arte[395]. Снова она вспомнила Саломею Андроникову (Гальперн), ее красоту, обаяние, острый ум, ее неспособность обманываться насчет второстепенных и третьестепенных поэтов («сегодня они уже четвертого разбора»), о вечерах в кабаре «Бродячая собака», о представлениях в театре «Кривое зеркало», о том, как она взбунтовалась против лжетаинств символизма – несмотря на Бодлера, Верлена, Рембо и Верхарна, которых они все знали наизусть. Вячеслав Иванов был поэтом огромного мастерства и культуры, его вкус и оценки были непогрешимы, как критик он отличался удивительной тонкостью. Однако его стихи Ахматова считала холодными и бесчувственными. То же самое относилось и к Андрею Белому. Что же касается Бальмонта, то его презирали совершенно напрасно. В нем, конечно, было много комической помпезности, и он был о себе преувеличенно высокого мнения, но его одаренность была несомненной. Сологуб был поэтом неровным, но интересным и оригинальным; при этом значительно крупнее всех их был строгий, щепетильный директор царскосельской гимназии Иннокентий Анненский. Он научил ее гораздо большему, чем все остальные, включая Гумилева, который сам был его учеником. Анненский умер почти совсем не замеченным редакторами и критиками. Великий забытый мастер. Без него не было бы ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Лозинского, ни Пастернака, ни Ахматовой. Некоторое время она говорила о музыке, о величии и красоте трех последних фортепьянных сонат Бетховена. Пастернак считал, что они выше, чем его посмертные квартеты, и она была с ним согласна. Все ее существо отзывалось на эту музыку с ее внезапной сменой лирического чувства внутри частей. Параллели, которые Пастернак проводил между Бахом и Шопеном, казались ей странными и удивительными. Вообще ей было легче говорить с ним о музыке, чем о поэзии.

Она заговорила о своем одиночестве и изоляции как в

культурном, так и в личном плане. После войны Ленинград был для нее огромным кладбищем, где похоронены ее друзья. Все было как после лесного пожара – несколько оставшихся обугленных деревьев лишь усиливали общее чувство запустения. У нее еще оставались преданные друзья – Лозинский, Жирмунский, Харджиев, Ардовы, Ольга Берггольц, Лидия Чуковская, Эмма Герштейн (она не упомянула ни о Гаршине, ни о Надежде Мандельштам, о чьем существовании я тогда не знал ничего). Однако поддержку она черпала не от них, а из литературы и из образов прошлого: пушкинский Петербург, Дон Жуан Байрона, Моцарта, Мольера, великая панорама итальянского Возрождения. Она зарабатывала на жизнь переводами. Ей долго пришлось просить, чтобы ей разрешили переводить письма Рубенса, а не Ромен Роллана, в конце концов разрешение было дано – видел ли я это издание? Я спросил, представляет ли она себе Возрождение в виде реального исторического прошлого, населенного живыми несовершенными людьми, или в виде идеализированного образа некоего воображаемого мира. Она ответила, что, конечно, как последнее. Вся поэзия и искусство были для нее – и здесь она употребила выражение, принадлежавшее Мандельштаму, – чем-то вроде тоски по всемирной культуре, как ее представляли себе Гете и Шлегель, культуре, которая бы претворяла в искусство и мысль природу, любовь, смерть, отчаяние и мученичество, своего рода внеисторическая реальность, вне которой нет ничего. Снова она говорила о дореволюционном Петербурге – о городе, где она сформировалась, и о долгой темной ночи, которая с тех пор надвинулась на нее. Она говорила без малейшего следа жалости к себе, как принцесса в изгнании, гордая, несчастная, недоступная. Ее голос звучал спокойно, ровно, слова ее временами были полны трогательного красноречия. Никто никогда не рассказывал мне вслух ничего, что могло бы хоть отчасти сравниться с тем, что она поведала мне о безысходной трагедии ее жизни. До сих пор само воспоминание об этом настолько ярко, что вызывает боль. Я спросил ее, собирается ли она написать воспоминания о своей литературной жизни. Она ответила, что все это есть в стихах, и в особенности в «Поэме без героя», после чего она снова прочла ее. Снова я попросил ее позволить мне записать текст поэмы, и она снова отказалась. Наша беседа, которая затрагивала интимные детали и ее жизни и моей, отвлеклась от литературы и искусства и затянулась вплоть до позднего утра следующего дня. Я встретился с ней опять, проезжая на обратном пути из Советского Союза через Ленинград в Хельсинки. Я зашел к ней попрощаться пополудни 5 января 1946 года, и она подарила мне один из своих

поэтических сборников. На титульном листе было записано новое стихотворение, которое стало впоследствии вторым в цикле, названном «Cinque». Я понял, что стихотворение в его той, первой, версии было прямо навеяно нашей предыдущей встречей. В «Cinque» и в других местах можно найти дополнительные упоминания и аллюзии о наших встречах[396]. Эти намеки были мне совершенно ясны, когда я впервые их прочел. Академик Виктор Максимович Жирмунский, близкий друг Ахматовой, выдающийся литературовед и один из редакторов посмертного советского издания ее стихов, был в Оксфорде через год или два после смерти Ахматовой. Он просмотрел тексты стихов вместе со мной и подтвердил мои впечатления точными ссылками. Он читал эти тексты и с автором, и она рассказывала ему о трех посвящениях, их датах и значении их и о «Госте из будущего». С некоторым смущением Жирмунский объяснил мне, почему последнее посвящение в поэме – посвящение мне – должно было быть выпущено в официальном издании. А что это посвящение существовало, было широко известно любителям поэзии в России, как он сам мне объяснил. Я достаточно хорошо понимал эту причину тогда и понимаю ее теперь. Жирмунский был необычайно скрупулезным и честным ученым, храбрым и мужественным человеком, которому пришлось пострадать за свои принципы. Он поделился со мной своим отчаянием по поводу того, что ему пришлось пренебречь прямыми указаниями Ахматовой в этом отношении, однако политические условия сделали это неизбежным. Я попытался убедить его, что это неважно. Верно, что поэзия Ахматовой в существенной степени автобиографична, и поэтому обстоятельства ее жизни могут прояснить значение ее стихов в большей мере, чем у многих других поэтов. Тем не менее маловероятно, что факты будут забыты полностью. Как и в других странах, где существует строгая цензура, весьма вероятно, что их сохранит устная традиция. Конечно, такая традиция может развиваться в самых разных направлениях, весьма возможно, что она будет включать в себя легенды и небылицы; но, если он хочет быть уверенным в том, что настоящая правда останется известной в тесном кругу тех, кому это может быть интересно, он может записать все, что знает, и оставить это у меня или у кого-нибудь другого на Западе до того момента, пока не будет безопасным опубликовать эти сведения. Я сомневаюсь в том, чтобы он последовал моему совету, но он никак не мог успокоиться, что из-за цензуры в его редакторской работе были допущены пробелы. Каждый раз, когда мы встречались во время его визитов в Англию, он снова и снова извинялся.

Тот факт, что мое посещение настолько повлияло на Ахматову, во многом объясняется, как мне кажется, тем случайным обстоятельством, что я явился всего лишь вторым человеком из-за границы, с которым она встретилась после Первой мировой войны[397]. Мне кажется, что я был первым человеком, приехавшим из внешнего мира, который разговаривал на ее языке и смог привезти ей известие о том мире, от которого она была столько лет отрезана. В Ахматовой ум, способность к острой критической оценке и иронический юмор сосуществовали с представлением о мире, которое было не только драматичным, но иногда – провидческим и пророческим. По-видимому, она увидела во мне судьбоносного и, быть может, предрекающего катастрофу провозвестника конца мира – трагическую весть о будущем, которая оказала на нее глубокое влияние и, наверное, послужила толчком для нового всплеска творческой энергии поэта.

Во время моего следующего посещения Советского Союза в 1956 году я не видел Ахматову. Пастернак сказал мне, что хотя Анна Андреевна и хотела со мной встретиться, ее сын, которого арестовали во второй раз вскоре после того, как я видел его, только недавно вышел из лагеря, и она поэтому опасалась встречаться с иностранцами. Особенно потому, что она объясняла яростные нападки на себя, по крайней мере частично, моей встречей с ней в 1945 году. Пастернак сказал, что она сомневается в том, что мое посещение причинило ей хоть какой-нибудь вред, но, поскольку она, видимо, была уверена в обратном и, кроме того, поскольку ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она никак не может со мной встретиться. Она, однако, очень хотела, чтобы я сам позвонил ей. Это было небезопасным, поскольку ее телефон наверняка прослушивался, так же, впрочем, как и его собственный.

Он рассказал ей в Москве, что встречался с моей женой и со мной и нашел мою жену прелестной. Он сказал Ахматовой, что ему было очень жаль, что Ахматова не может с ней встретиться. Анна Андреевна будет в Москве недолго, и мне надо позвонить ей сейчас же.

«Где вы остановились?» – спросил он меня. «В британском посольстве». – «Ни в коем случае не звоните оттуда. Позвоните из телефона-автомата. С моего телефона тоже нельзя».

В тот же день позднее я позвонил Ахматовой. «Да, Пастернак рассказал мне, что вы с женой в Москве. Я не могу увидеться с вами по причинам, вполне понятным вам. Так же мы можем говорить, потому что они знают. Сколько времени вы женаты?» – «Недолго», – сказал я. «Но когда именно вы женились?» – «В

феврале этого года». – «Она англичанка или, может быть, американка?» – «Нет, она полуфранцуженка-полурусская». – «Так». Последовало долгое молчание. «Очень жаль, что вы не можете увидеться со мной. Пастернак говорил, что ваша жена очаровательна». Опять долгое молчание. «Видели ли вы сборник корейской поэзии в моем переводе? С предисловием Суркова? Можете себе представить, насколько я знаю корейский. Стихи для перевода выбирала не я. Я вам пошлю их».

Она рассказала мне о своей жизни отверженного и запрещенного поэта. О том, как от нее отвернулись некоторые из тех, кого она считала преданными друзьями, о благородстве и мужестве других. Она перечитала Чехова, которого когда-то сурово критиковала. Теперь она считала, что, по крайней мере, в «Палате № 6» он точно описал ее собственную ситуацию и ситуацию многих других. «Пастернак (она всегда так его называла в разговорах со мной, как и многие другие русские, никогда – Борис Леонидович), наверное, объяснил вам, почему мне нельзя встречаться с вами. У него были трудные времена, но не столь мучительные, как у меня. Кто знает, может быть, мы еще встретимся в этой жизни. Вы мне опять позвоните?» Я ответил утвердительно, но, когда я позвонил снова, мне сказали, что она уже уехала из Москвы, а Пастернак настоятельно советовал не звонить ей в Ленинград.

Когда мы встретились в Оксфорде в 1965 году, Ахматова в подробностях рассказала о кампании, поднятой против нее властями. Она рассказала мне, что сам Сталин лично был возмущен тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся писатель, обязанная своею безопасностью, скорее всего, тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, еще до того как разразились культурные баталии, часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не разрешенной властями встрече с иностранцем, причем не просто с иностранцем, а состоящим на службе капиталистического правительства. «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов», – заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных ругательств, что она вначале даже не решилась воспроизвести их в моем присутствии. То, что я никогда не работал ни в каком разведывательном учреждении, было несущественно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий были шпионами. «Конечно, – продолжала она, – к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди, присутствовавшие при этом взрыве бешенства по моему адресу (а один из них мне потом об

этом рассказывал), нисколько не сомневались, что перед ними был человек, страдавший патологической, неудержимой манией преследования». 6 января 1946 года, на следующий день после того, как я покинул Ленинград, у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в потолок комнаты вставили микрофон – явно не для того, чтобы подслушивать, а чтобы вселить страх. Она поняла, что обречена. И хотя официальная немилость последовала позднее, через несколько месяцев, когда Жданов выступил с официальным отлучением ее и Зощенко, она приписывала свои несчастья личной паранойе Сталина. Когда она рассказала мне об этом в Оксфорде, она прибавила, что, по ее мнению, мы, то есть она и я, нечаянно, самим лишь фактом нашей встречи, положили начало «холодной войне» и тем самым изменили историю человечества. Она придавала этому абсолютно буквальное значение и, как свидетельствует в своей книге Аманда Хейт[398], была уверена в этом совершенно непоколебимо. Для Ахматовой она сама и я рисовались в виде персонажей всемирно-исторического масштаба, которым судьба определила положить начало космическому конфликту (она прямо так и пишет в одном из стихотворений). Я не мог и подумать, чтобы возразить ей, что она, возможно, несколько переоценивает влияние нашей встречи на судьбы мира (даже если и принять во внимание реальность пароксизма сталинского гнева и его возможные последствия), поскольку она бы восприняла мои возражения как оскорбление сложившемуся у нее трагическому образу самой себя как Кассандры, – более того, это был бы удар по историко-метафизическому видению, которым проникнуто так много ее стихов. Я промолчал.

Затем она заговорила о путешествии в Италию в прошлом году, где ей вручили литературную премию Таормина. По возвращении, как она мне рассказала, к ней пришли агенты советской тайной полиции, которые принялись ее расспрашивать о римских впечатлениях: сталкивалась ли она с антисоветскими взглядами у писателей, встречалась ли она с русскими эмигрантами? Она ответила, что Рим – это для нее город, где язычество до сих пор ведет войну с христианством. «Что за война? – был задан ей вопрос. – Шла речь о США?» Что ей отвечать, если подобные вопросы будут ей задавать – а их обязательно будут задавать – об Англии, о Лондоне, Оксфорде? Есть ли какое-то политическое лицо у Зигфрида Сассуна, поэта, которого чествовали вместе с ней в Шелдоновском театре? А другие почетные доктора? Может быть, лучше всего будет ограничиться упоминанием об интересе, который у нее вызвала великолепно украшенная купель, подаренная Мертон Колледжу

императором Александром I, когда его так же чествовал университет по окончании Наполеоновских войн? Она – русская и вернется в Россию, что бы там ее ни ожидало. Можно что угодно думать о советском режиме, но это установленный порядок в ее стране. Она с ним жила и с ним умрет – вот что значит быть русской.

Мы вернулись к русской литературе. Она сказала, что непрекращающаяся цепь испытаний, через которые прошла ее родина за время ее жизни, породила поэзию изумительной глубины и красоты. Эта поэзия в большей своей части, начиная с 30-х годов, оставалась неопубликованной. Она сказала, что предпочитает не говорить о современных советских поэтах, чьи стихи печатаются в Советском Союзе. Один из наиболее известных таких поэтов, как раз находившийся в то время в Англии, прислал Ахматовой телеграмму, в которой поздравлял ее с получением оксфордского доктората. Я был у Ахматовой в то время, когда пришла телеграмма. Она прочитала ее и сердито бросила в мусорную корзину: «Они все бандитики, проституирующие свой талант и эксплуатирующие вкусы публики. Маяковский оказал на них всех пагубное влияние». По ее мнению, Маяковский был, конечно, гением, не великим поэтом, а великим литературным новатором, террористом, подкладывающим бомбы под старинные строения. Он был крупной фигурой, у которого темперамент был больше таланта. Он хотел все разрушить, все взорвать. Конечно, это разрушение было вполне заслуженным. Маяковский кричал во весь голос, потому что для него это было естественным, он не мог иначе, а его эпигоны – здесь она назвала несколько имен еще здравствующих поэтов – восприняли его личную манеру как литературный жанр и превратились в вульгарных декламаторов. Ни в ком из них нет поэтической искры. Это краснобаи, и их талант – театральный. Русская публика постепенно привыкла, чтобы на нее орали всевозможные «мастера художественного слова», как их теперь называют.

Единственный поэт более старшего поколения, о котором она отзывалась с одобрением, была Мария Петровых, но было много талантливых поэтов среди младшего поколения: лучшим из них был Иосиф Бродский, которого, как она выразилась, она сама вырастила. Его стихи были частично опубликованы. Это благородный поэт, пребывающий в глубокой опале, со всеми соответствующими последствиями. Были и другие замечательно талантливые поэты – их имена ничего мне не скажут. Их стихи также не могут быть опубликованы, но само их существование служит подтверждением неиссякаемого творческого вдохновения

России: «Они затмят всех нас, – сказала она, – поверьте мне. Пастернак и я, Мандельштам и Цветаева – все мы находимся в конце долгого периода развития, начавшегося еще в девятнадцатом веке. Мои друзья и я думали, что говорим подлинным голосом двадцатого столетия. Но настоящее начало пришло лишь с этими новыми поэтами. Пока они находятся под замком, но придет время – они вырвутся на свободу и изумят весь мир». Она продолжала некоторое время этот пророческий монолог, а затем снова вернулась к Маяковскому. Его довели до отчаяния, друзья его предали, однако некоторое время он был настоящим голосом народа, его трубой, хотя его пример был фатальным для других. Она сама ничем ему не была обязана. Зато многим она обязана Анненскому, этому чистейшему и тончайшему из поэтов, стоящему в стороне от всех литературных махинаций. Авангардистские журналы его не признавали, и ему, пожалуй, повезло, что он умер именно в то время. При жизни его не читали широко, но ведь такова судьба многих других великих поэтов. Вообще современное поколение гораздо тоньше чувствует поэзию, чем ее собственное поколение. Кому было дело в 1910 году, кому по-настоящему было дело до Блока, Белого или Вячеслава Иванова? Или, если уж говорить всю правду, до нее самой и до поэтов ее группы? А сегодня молодежь знает все эти стихи наизусть. Она все еще продолжает получать письма от молодых людей, конечно, многие из них от глупых восторженных молодых девиц, но само количество этих писем ведь говорит о чем-то. Пастернак получал еще больше писем, и они доставляли ему больше удовольствия. Имел ли случай познакомиться с его другом, Ольгой Ивинской? Нет. Сама Ахматова находила их обеих – и жену Пастернака Зинаиду Николаевну, и его любовницу – одинаково непереносимыми, но сам Борис Леонидович был волшебным поэтом, одним из великих поэтов земли русской: в каждой фразе Пастернака в стихах и прозе звучал его подлинный голос, не похожий ни на что другое, что она слышала. Блок и Пастернак – божественные поэты. Никто из современных французских или английских поэтов не может сравниться с ними – ни Валери, ни Элиот. Бодлер, Шелли, Леопарди – вот общество, к которому они принадлежат. Как все великие поэты, они с трудом могли по-настоящему оценить творчество других. Пастернак часто хвалил слабых критиков, открывал воображаемые скрытые таланты, поощрял всякую мелкоту, порядочных, но бесталанных писателей. У него вообще было мифологическое представление об истории, в котором совершенно ничтожные фигуры могли вдруг играть таинственную значительную роль – как Евграф в «Докторе Живаго» (она яростно

отвергала предположение о том, что этот таинственный образ мог хоть в чем-то опираться на Сталина как прототип; для нее это было слишком невероятным). Пастернак вообще не читал современных поэтов, которых он был готов щедро хвалить, – ни Багрицкого, ни Асеева, ни Марию Петровых, ни даже Мандельштама (к которому он вообще не питал никаких чувств ни как к человеку, ни как к поэту, хотя, конечно, сделал для Мандельштама все, что мог, когда тот оказался в беде); он не читал и ее стихов – он писал ей замечательные письма о ее стихах, но на самом деле они были лишь о нем самом, не о ней. Она знала, что все это были небесные фантазии, которые не имели ничего общего с ее стихами: «Возможно, все великие поэты таковы».

Конечно, пастернаковские комплименты делали тех, кому они были адресованы, счастливыми, но это было заблуждение. Он просто был очень щедрым человеком, но творчество других по-настоящему его нисколько не интересовало. Разумеется, его интересовали Шекспир, Гете, французские символисты, Рильке, может быть Пруст, но «никто из нас» ему не был интересен. Она сказала, что каждый день жизни ощущает, насколько ей не хватает Пастернака. Они никогда не были друг в друга влюблены, но их взаимная любовь была глубока, и это раздражало его жену. Она заговорила о «глухих» годах, когда официально она не значилась среди советских поэтов – с середины 20-х по конец 30-х. Тогда она, по ее словам, не переводила, а читала русских поэтов: конечно, Пушкина, все время, а также Одоевского, Лермонтова, Баратынского. Она находила «Осень» Баратынского гениальным произведением. Недавно она перечитала Велимира Хлебникова – безумные, но прекрасные стихи.

Я спросил ее, согласится ли она когда-нибудь дать комментарии к «Поэме без героя». Ее многочисленные аллюзии могут остаться непонятными для тех, кто не был знаком с жизнью, описываемой в поэме. Неужели она хочет, чтобы все это так и осталось неизвестным? Она ответила, что когда тех, кто знали мир, о котором написана поэма, настигнут дряхлость или смерть, поэма тоже должна будет умереть. Она будет погребена вместе с поэтом и ее веком. Она написана не для вечности и даже не для потомства. Для поэта единственное, что имеет значение, – это прошлое, а более всего – детство. Все поэты стремятся воспроизвести и заново пережить свое детство. Вещий дар, оды к будущему, даже замечательное послание Пушкина Чаадаеву – все это чистая декламация и риторика, попытка стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различимое будущее, – поза, которую она презирала.

Она знала, что ей осталось жить недолго. Доктора объяснили ей, что у нее слабое сердце. Поэтому она терпеливо ожидает конца. Она ненавидит саму мысль о том, что ее будут жалеть. Она знала ужасы, самое безысходное горе, и она заставила друзей дать ей обещание, что они не позволят себе выказать ни малейшего намека на жалость по отношению к ней, что они немедленно подавят в себе всякие признаки жалости, чуть только почувствуют ее. Некоторые из ее друзей не смогли противостоять жалости, и с ними ей пришлось расстаться. Она может вынести все – ненависть, оскорбление, презрение, непонимание, преследования, но только не сочувствие, смешанное с состраданием. Могу ли я дать ей честное слово? Я дал ей обещание и сдержал его. Она обладала беспримерной гордостью и чувством собственного достоинства.

Она рассказала мне об одной своей встрече с Корнеем Чуковским во время войны, когда они ехали в эвакуацию в разные города в Узбекистане. В течение многих лет у нее установилось несколько двойственное отношение к Чуковскому. С одной стороны, она уважала его как умного и в высшей степени талантливого литератора и восхищалась его честностью и независимостью, с другой стороны, ей были чужды его невозмутимые, скептические взгляды и ее отталкивал его вкус к русским народническим романам и «передовой» литературе XX века, а в особенности к гражданской поэзии; наконец, она не могла забыть его недружелюбно иронических отзывов о себе в 20-е годы. Все это создало пропасть между ними. Но сейчас их объединяло то, что оба были жертвами сталинской тирании. Он был особенно мил и радушен во время этого путешествия в Ташкент, и, по словам Ахматовой, она уже готова была царственно отпустить ему все грехи, как вдруг он воскликнул: «Ах, Анна Андреевна! Какое это было время – двадцатые годы! Какой замечательный период русской культуры – Горький, Маяковский, молодой Алеша Толстой. Хорошо было жить тогда!» Она немедленно отступилась от своего намерения простить Чуковского.

В отличие от других людей, которые прошли сквозь бурные годы послереволюционного экспериментирования и остались в живых, Ахматова вспоминала об этом времени лишь с чувством глубокого отвращения. Для нее это был период дешевого богемного хаоса, начало опошления русской культурной жизни, когда настоящие художники должны были прятаться по подвалам и убежищам, из которых они могли высунуться лишь с риском быть убитыми и замученными.

Анна Андреевна рассказывала мне о своей жизни внешне

совершенно отстраненным, даже безличным тоном, который, впрочем, лишь частично мог скрыть страстную убежденность и моральные суждения, против которых решительно нельзя было возражать. Ее суждения о личностях и поступках других людей совмещали в себе умение зорко и проницательно определять самый нравственный центр людей и положений – и в этом смысле она не щадила самых ближайших друзей – с фанатической уверенностью в приписывании людям мотивов и намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а временами и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до невероятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Возможно, что даже сейчас к нему не применимы нормальные критерии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивительной связностью и ясностью. Одним из таких примеров idées fixes была ее непоколебимая убежденность в том, что наша встреча имела серьезные исторические последствия; она верила, что Сталин сначала отдал приказ, чтобы ее медленно отравили, а затем отменил его; что убежденность Мандельштама незадолго до смерти, что его в лагере кормили отравленной пищей, была вполне обоснованной, что поэт Георгий Иванов (которого она обвиняла в том, что он опубликовал в эмиграции лживые мемуары) одно время был платным шпионом царской полиции, что поэт Некрасов в XIX веке тоже, должно быть, был правительственным агентом, что Иннокентия Анненского затравили до смерти враги. У этих концепций, казалось, не было видимой фактической основы. Они строились на чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными. Напротив, судьбы ее народа, основные проблемы, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным, составляли картину мира, которая формировала и питала ее воображение и искусство. Ахматова ни в коем случае не была визионером, напротив, у нее было сильное чувство реальности. Она могла описывать литературную и светскую жизнь Петербурга до Первой мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым реализмом, что все представало как живое перед глазами. Я виню себя за то, что не удосужился в свое время подробно записать ее рассказы о людях, движениях и о сложных обстоятельствах.

Ахматова жила в ужасное время и вела себя, по словам Надежды Мандельштам, героически. Все имеющиеся

свидетельства говорят об этом. Ни публично, ни частным образом – передо мною, например, – она ни разу не высказалась против советского режима; однако вся ее жизнь может служить примером того, что Герцен сказал однажды почти обо всей русской литературе, – одним непрерывным обвинительным актом против русской действительности. Насколько мне известно, повсеместный культ ее памяти как поэта и как человека, которого не смогли сломить никакие испытания, не знает себе равных в Советском Союзе сегодня. Ее жизнь стала легендой. Ее несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны (как в свое время предсказал Белинский по поводу Герцена), определило ее место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века.

Вернусь к самому началу этого повествования. В отчете[399], написанном мною для «Форейн Офиса» в 1945 году, я указал, что, каковы бы ни были причины этого – врожденная чистота вкуса или вынужденное отсутствие плохой и пошлой литературы, которая может его испортить, – в наше время не было, по-видимому, другой страны, в которой старую и новую поэзию покупали бы в таких количествах и читали бы с такой жадностью, как в Советском Союзе. Это, конечно, служит мощным стимулом как для критиков, так и для поэтов. Далее я отмечал, что все это привело к созданию публики, чья живая реакция на литературу и культуру может лишь служить предметом зависти западных романистов, поэтов и драматургов. Поэтому, если только каким-то чудом будет смягчен политический контроль сверху и будет разрешена большая свобода художественного выражения, нет никаких причин, чтобы в этом обществе, где существует такая тяга к производительной деятельности, в этом народе, еще жаждущем новых переживаний, еще достаточно молодом и поэтому легко попадающем под обаяние всего, что кажется незнакомым или просто правдивым, и, самое главное, в обществе, жизненная сила которого настолько велика, что позволяет ему терпеть и переносить огромный груз ошибок, бессмыслиц, преступлений и катастроф, которые наверняка оказались бы фатальными для более слабой культуры, – чтобы там не расцвело великолепное творческое искусство. Я написал снова, что, возможно, наиболее отличительной чертой советской культуры того времени можно считать контраст между жадностью до всего, в чем есть хоть малейшая искорка жизни, и той мертвой материей, которой является творчество большинства официально признанных писателей и композиторов.

Я написал эти слова в 1945 году, но, как мне кажется, они

сохраняют свою справедливость и по сей день. Было много ложных зорь, но по-настоящему солнце еще не поднялось над русской интеллигенцией. Наверное, даже самый отвратительный деспотизм порождает своего рода непредусмотренный побочный продукт – непричастность лучших людей нации к господствующей коррупции, героическую защиту человеческих ценностей. В России это часто сочетается – при всех режимах – с необыкновенным развитием чувства смешного, иногда весьма тонкого и деликатного. Это можно наблюдать во всей русской литературе, иногда на самых мучительных страницах Гоголя и Достоевского. Юмор этот – прямой, непосредственный, неудержимый. Он сильно отличается от остроумия, сатиры и всех искусно устроенных развлечений Запада. Я отмечал далее, что именно эта черта русских писателей, даже верных слуг режима, проявлявшаяся, чуть только они забывали следить за собой, придавала их поведению и разговору черты, особенно привлекательные для иностранного посетителя. Мне кажется, чтодело обстоит так и сегодня.

Мои встречи и беседы с Борисом Пастернаком и Анной Ахматовой, знакомство с не поддающимися описанию условиями, в которых они жили и работали, с отношением, которому они подвергались, сам факт, что мне довелось вступить с ними в личные, скажу прямо, дружеские отношения, – все это глубоко повлияло на меня и навсегда изменило мой внутренний кругозор. Когда я теперь вижу их имена в печати или слышу, как их упоминают, передо мной как живые встают они сами – выражение лиц, жесты, слова. Когда я читаю их произведения, то даже сегодня я слышу звуки их голосов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ниже перечислены стихи, в которых встречаются упоминания о «госте из будущего» в «Поэме без героя». Ссылки даются на однотомник стихов и поэм Ахматовой под редакцией В.М. Жирмунского: Стихотворения и поэмы (Ленинград, 1976, ниже – Ж). Включены также постраничные ссылки на: Анна Ахматова. Сочинения / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова: В 2 т. Мюнхен, 1967 (2-е изд.), 1968, ниже – СФ I и СФ II.

Cinque. Ж. № 415–419: 1. 26 ноября 1945; 2 и 3, 20 декабря 1945; 4, 6 января 1946; 5. 11 января 1946 (Ж. С. 235–237. Примечания. С. 412, 488; СФ I. С. 283–285. Примечания. С. 410).

Шиповник цветет: из сожженной тетради. Ж. № 420–433: 1. Сожженная тетрадь, 1961; 2. Наяву, 13 июня 1946; 3. Во сне, 15

февраля 1946; 4. Первая песенка, 1956; 5. Другая песенка, 1956; 6. Сон, 14 августа 1956, под Коломной; 7. без заглавия, без даты; 8. без заглавия, 18 августа 1956, Старки; 9. В разбитом зеркале, 1956; 10. без заглавия, 1956 (1957 в СФ), Комарово; 11. без заглавия, 1962, Комарово (Ж. С. 238–243. Примечания. С. 412–413, 488–489; СФ I. С. 288–295. Примечания. С. 411–412).

Ж. № 555 (без заглавия, 27 января 1946. Ж. С. 296–297. Примечания. С. 499; СФ I. С. 295, напечатано (по указаниям Лидии Чуковской) как 13-е стихотворение в цикле «Шиповник цветет» (см. выше). Примечания. С. 412).

Полночные стихи: семь стихотворений. Ж. № 442–450: Вместо посвящения, лето 1963; 1. Предвесенняя элегия, 10 марта 1963, Комарово; 5. Зов (первоначально напечатано с эпиграфом «Arioso dolente», название третьей части фортепианной сонаты, опус 110, Бетховена), 1 июля 1963; 6. Ночное посещение, 10–13 сентября 1963, Комарово (Ж. С. 247–250. Примечания. С. 414–415, 490; СФ I. С. 303–306. Примечания. С. 414–415).

Ж. № 456, без заглавия, 15 октября 1959 (октябрь 1959 в СФ), Ярославское шоссе (Ж. С. 253. Примечания. С. 415, 491; СФ I. С. 320–321. Примечания, С. 418) (проф. В.М. Жирмунский не сомневался в том, что это стихотворение необходимо включить в этот список; у меня есть на этот счет некоторые сомнения).

Из итальянского дневника (Мэчелли). Ж. № 597, декабрь 1964 (Ж. С. 311–312. Примечания. С. 502).

Ж. № 598, без заглавия, февраль 1965, Москва (Ж. С. 312. Примечания. С. 502).

Песенка. Ж. № 601, без даты (Ж. С. 313. Примечания. С. 422–423, 502).

Ж. № 619, без заглавия, без даты (Ж. С. 318. Примечания. С. 503).

Поэма без героя: триптих. Ж. № 648, 1940–1962 (в СФ: Ленинград – Ташкент – Москва: Посвящение) Третье и последнее, 5 января 1956 (Le jour des rois): Девятьсот тринадцатый год: петербургская повесть, строки 133–145 («Белый зал»), 210 (Ж. С. 354–355, 358, 360. Примечания, 4127, 513–514; СФ II. С. 102–103, 107 (строки 82–93). С. 109 (строка 166). Примечания. С. 357–370, 603–605); Эпилог, строки 40–50 (СФ II. С. 130–131).

Я хочу предупредить читателя, что некоторые из героев, встречающиеся в «Поэме без героя» и в других стихах, перечисленных выше, могут представлять собою синтез двух или более персонажей, реальных, воображаемых или символических.

Вот и вся помощь, которую я могу оказать исследователям. Больше я ничего не желаю добавить.

Советская интеллигенция

[400]

Можно было бы предположить, что результатом стольких лет сталинизма, усиленно формировавшего облик нового советского человека, будет создание нового существа, настолько же отличного от своего западного аналога, насколько советская система правления отличается от западной. Но оказалось, что это не так. Как показывают мои недавние разговоры со студентами, продавцами, водителями такси и всевозможными случайными знакомыми, результатом явилась скорее инфантильная задержка в развитии, чем иной тип взрослого человека.

Нынешние условия в Советском Союзе чрезвычайно напоминают те, что существуют в организациях с четко определенной структурой ответственности – в армиях, в школах с суровой дисциплиной и тому подобных жестких иерархических системах, где разница между теми, кто правит, и теми, кто подчиняется, кардинальна. По существу, пропасть между правителями и подчиненными – единственное глубокое разделение, которое можно заметить в советском обществе, и, едва начав разговор с советским гражданином, нетрудно понять, к какой из этих двух групп он принадлежит. Честная публичная дискуссия по поводу целей, к которым предположительно стремится данное общество, или средств, выбираемых для достижения этих целей, одинаково не одобряется по обеим сторонам разделительной черты. Муравьиная куча должна быть построена, и все, что ведет к потере времени и ненужным сомнениям, следует отмести. Хотя мотивировки в обоих случаях несколько отличаются друг от друга.

Позвольте мне начать с подчиненных. Тех граждан, кто не питает честолюбивых надежд стать правителями и более или менее смирились со своим положением в нижних рядах советской иерархии, общественные проблемы, кажется, вообще мало волнуют. Они понимают, что повлиять на эти вещи они не могут, так что обсуждать их бессмысленно и опасно. Поэтому, мимоходом касаясь этих проблем, они говорят о них с веселым интересом и безответственностью школьников, обсуждающих взрослые темы, в которых они мало разбираются, – не слишком всерьез, с приятным ощущением скольжения по краю дозволенного. Эти люди культивируют частные, а не гражданские добродетели, сохраняют типичные русские черты, которые всегда отмечали иностранцы. Как правило, они дружелюбны, непосредственны, любознательны, любят повеселиться, по-детски

отзывчивы к новым впечатлениям, которыми отнюдь не пресыщены, и, будучи так долго ограждены от контактов с внешним миром, стыдливо консервативны в своих вкусах и привычках. Они уже не столь запуганы, как в сталинские дни, когда никто не знал, что с ним случится завтра, и не существовало никаких правовых институтов, куда можно было бы обратиться за помощью. Тиран умер, и вместо него правит некая система правил и установлений.

Правила эти чрезвычайно жесткие, но ясные; люди знают, что если они нарушат их, то будут наказаны, но если вы ни в чем не виноваты – живете осмотрительно, не совершаете рискованных поступков, не встречаетесь с иностранцами, не выражаете крамольных мыслей, – можно рассчитывать, что вас никто не тронет, а если ненароком и арестуют, есть реальная возможность оправдаться и выйти на свободу. Справедливость самих правил, очевидно, не обсуждается. Хороши они или нет – такой вопрос даже не ставится. Они принимаются как некая данность, посланная свыше, в целом – неприятная и, разумеется, не подкрепленная той почти религиозной верой, которую можно было бы ожидать от настоящих коммунистов, но неизменяемая и непреложная, как закон природы.

Вкусы остаются простыми и неиспорченными. Советские люди воспитаны на диете классической литературы, русской (в которой сейчас почти нет запретного) и зарубежной, представленной главным образом «социально значимыми авторами»: Шиллером, Диккенсом, Бальзаком, Стендалем, Флобером, Золя, Джеком Лондоном, да еще «бойскаутскими» повестями, в которых утверждаются общественные добродетели и зло неизменно наказуется в конце. Дешевое чтиво, порнография и «проблемная» литература исключены, поэтому мировоззрение при такой образовательной системе остается ясным и полным энтузиазма, как у подростков, причем подростков, порою весьма симпатичных и талантливых. На великолепной выставке французского искусства в ленинградском Эрмитаже русские посетители (по наблюдениям одного иностранца, обменявшегося с ними впечатлениями) плохо воспринимали живопись после 1850-х годов, находили картины импрессионистов, в особенности Моне и Ренуара, малопривлекательными и открыто отвергали Гогена, Сезанна и Пикассо, представленных на выставке многими прекрасными работами. Конечно, есть в Советском Союзе люди и с более развитым вкусом, но их мало и они не афишируют широко своих взглядов.

В молодежи скорее поощряется интерес к научным и техническим знаниям, чем к гуманитарным, и чем ближе к

политике, тем слабее образование. Хуже всего поставлено оно у экономистов, историков современности, философов и юристов. Иностранный ученый, работавший в Библиотеке Ленина в Москве, обнаружил, что большинство его соседей по залу – аспиранты, компилирующие свои диссертации в основном из отрывков других, уже защищенных диссертаций, в частности из ходовых отрывков классиков, главным образом – Ленина и Сталина (все еще Сталина в 1956 году!), то есть из материала, выдержавшего наибольшее количество испытаний и доказавшего свою прочность. Иностранцу объяснили, что без этих отрывков у диссертации нет шансов на успешную защиту. Очевидно, что и соискатель, и экзаменаторы понимают неписаные, но незыблемые требования относительно типа требуемых цитат и их квоты в тексте диссертации – условия sine qua non[401] для получения ученой степени. Аспирантов, читающих книги, было чрезвычайно мало по сравнению с теми, кто читал чужие диссертации, а также номера «Правды» и других коммунистических газет и журналов, из которых можно набрать нужные цитаты.

Ситуация в философии особенно безрадостна. Философия, то есть диалектический материализм и его предшественники, – обязательный предмет на всех факультетах советских вузов, но трудно найти хотя бы одного преподавателя, с которым можно было бы сколько-нибудь интересно поговорить на философскую тему. Один из них, очевидно застигнутый врасплох, даже пустился объяснять заинтересованному иностранцу (чем весьма его озадачил), что при царском режиме в каждом классе были уроки Закона Божьего, на которые приходил священник, бубнил, что положено, а ученики сидели и смирно слушали. От них не требовали отвечать урок, и если они не шалили, не мешали и не допускали антирелигиозных выпадов, они могли, по молчаливому согласию, спокойно продремать целый час: ни одна из сторон не принимала другую всерьез. Преподаватели философии – те же самые циничные священники наших дней. Диалектический материализм обычно читают по учебнику, не изменившемуся за последние двадцать лет, с тех самых пор, как философские дискуссии вообще запретили, включая диспуты внутри собственно диалектического материализма. С тех пор преподавание его превратилось в механическое повторение текстов, значение которых постепенно полностью улетучилось, ибо они, как святыня, не подлежат ни обсуждению, ни, тем более, какому-либо применению – помимо ритуально-обрядового – к другим дисциплинам, скажем к экономике или к истории. И специалисты по этой официальной метафизике, и их слушатели, кажется, одинаково сознают ее полную никчемность. Конечно,

безнаказанно признать это могут лишь немногие привилегированные: например, физики-ядерщики, которые получают, вероятно, самое высокое жалованье среди ученых и могут позволить себе заметить, почти публично, что диалектическая, да и вообще любая философия – чушь, на которую они не станут тратить своего драгоценного времени. Большинство тех приезжих с Запада, которые разговаривали с преподавателями философии в Москве, отмечают, что все они, как один, проявляют живейший интерес ко всему, что происходит на Западе, задают бесчисленные вопросы о неопозитивизме, экзистенциализме и так далее и слушают ответы с жадностью детей, неожиданно получивших доступ к запретным плодам. Если спросить их о прогрессе в их собственной области, выражение виноватого интереса мгновенно пропадает на их лицах, сменяясь неприкрытой скукой. Обсуждать проблемы, которые они сами считают мертвыми и бессмысленными, с не подозревающими об этом иностранцами никто и нигде не хочет. Ученые весьма откровенно дают понять, что их философские занятия, как всем известно, своего рода фарс, и они были бы счастливы, если бы им разрешили всерьез обсуждать хотя бы таких старомодных мыслителей, как Фейербах или Конт, но их руководство не находит это уместным. Совершенно ясно, что «подчиненные» не обманываются тем, что им внушают. Те, кто изучает философию, знают, что «наука», которую им преподают, – окаменелая бессмыслица. Преподаватели экономики обычно осознают, что терминология, которую они вынуждены использовать, в лучшем случае устарела.

В более широких слоях трудно найти кого-нибудь, кто бы искренне доверял информации, исходящей от советского радио и газет, а иногда – и от зарубежных. Считая, что все это в основном пропаганда, в одном случае советская, в другом – антисоветская, и потому ею можно одинаково пренебречь, они направляют свои мысли в другие сферы, где дозволены более свободные дискуссии, – в споры о личной жизни, пьесах, романах, фильмах, вкусах, амбициях и так далее. Здесь их суждения свежи, забавны и интересны. Они не страдают сколько-нибудь заметной ксенофобией. Что бы им ни талдычили власти, в них нет ненависти к иностранцам, даже к немцам, к которым у них была, как я помню, сильная неприязнь в 1945–1946 годах; даже к американцам, хотя они и боятся, что из-за правительственных ссор те могут начать против них войну. Впрочем, это представляется им скорее стихийным бедствием, вроде землетрясения, чем поводом винить дипломатов. Те, кто задает вопросы о текущей политике, обычно проявляют не

тенденциозность, а любопытство смышленых детей. Таксист, который спрашивал своего пассажира, правда ли, что в Англии два миллиона безработных, узнав, что это не так, философски заметил: «Значит, и тут наврали». Сказал он это без всякого возмущения, даже без иронии, констатируя очевидный факт. Видимо, он хотел сказать: «Дело правительства – распространять всякое вранье (как делает министерство пропаганды в военное время), но умные люди не обязаны в это верить». Заблуждений и иллюзий относительно внешнего мира в больших советских городах не так много, как иногда представляют на Западе, – информация здесь скудная, но нелепым выдумкам верят редко. Мне кажется, что если в результате какого-нибудь поворота судьбы или истории Россия освободится от коммунистического контроля, ее людям понадобится не переобучение, – они не впитали в себя распространяемую доктрину, – а просто нормальное обучение. В этом отношении они скорее напоминают обманутых фашизмом итальянцев, чем искренне проникшихся нацизмом немцев.

Действительно, относительное отсутствие того, что можно было бы назвать *мистическим* коммунизмом, – самое поразительное в так называемой советской интеллигенции. Без сомнения, много убежденных марксистов в Польше, Югославии, где угодно, но я не верю, что их много в Советском Союзе, где марксизм стал формой принятого, неоспоримого, бесконечно наскучившего официального краснобайства. Симптоматично, что те писатели и интеллектуалы, которые выразили свой протест на последних заседаниях Союза писателей, добиваются свободы не столько для того, чтобы нападать на господствующую ортодоксию или обсуждать идеологические проблемы, сколько для того, чтобы просто описывать жизнь так, как они ее видят, не обращаясь постоянно к идеологии. У романистов вызывают скуку или даже отвращение застывшие, идеализированные фигуры советских героев и крепостных; им бы очень хотелось писать с большим – пусть все еще наивным – реализмом, большим разнообразием и психологической свободой. Они ностальгически вспоминают золотое время – ленинские 20-е, – но привлекают их не страсти политического мятежа. Писатели, или, во всяком случае, некоторые из них, осуждают бюрократию, лицемерие, ложь, притеснения, торжество зла над добром с точки зрения тех моральных принципов, которым внешне остается верен даже режим. Такие чувства, общие для всего человечества, нельзя счесть крамольными или открыто антимарксистскими. Именно в этой форме, кажется, провозгласили или осудили венгерское восстание. В ней написан и обсуждается глубоко всех

взволновавший роман Дудинцева «Не хлебом единым»[402], почти ничего не стоящий как литература, но очень важный как социальный симптом.

Подчиненное население по большей части – не правоверные коммунисты, не бессильные еретики. Многие – вероятно, большинство – недовольны; а недовольные в тоталитарных государствах – ipso facto[403] ниспровергатели. Но в настоящее время они принимают или, во всяком случае, пассивно терпят свое правительство и думают о других вещах. Они гордятся российской экономикой и военными достижениями. Они привлекают как воспитанные в строгости, умеренно романтичные, одаренные богатым воображением, немного ребячливые, глубоко аполитичные, простые, нормальные люди, оказавшиеся членами жестко организованной корпорации, которая тем не менее их защищает.

Что касается правителей, это другое дело. По природе своей жестокие и честолюбивые, они, по-видимому, считают, что коммунистический жаргон и определенный минимум коммунистической доктрины – единственный цемент, который способен скрепить составные части Советского Союза, а слишком большие перемены подвергли бы опасности стабильность системы и сделали бы чрезвычайно ненадежной их собственную позицию. Они сумели перевести свои мысли на более или менее гладкий коммунистический жаргон и успешно используют его в общении друг с другом и с иностранцами. Когда вы их спрашиваете (а по внешнему виду человека, его тону, одежде и другим менее осязаемым вещам всегда ясно, говорите ли вы с членом верхнего слоя иерархии или с тем, кто стремится туда попасть), сперва кажется, что они пускают в ход пропагандистский трюк. Только потом вы понимаете, что они верят в то, о чем говорят, примерно так же, как политик в любой стране верит в свою риторику, отшлифованную и подогнанную под аудиторию, от которой зависят его успех и карьера, и это постепенно она становится способом самовыражения, привычным даже для него самого, не говоря уже про друзей и коллег.

Я не верю, что в Советском Союзе преобладает двойная мораль, что партийные лидеры или бюрократы разговаривают на своем священном жаргоне только с подчиненными, а едва оставшись одни, оставляют притворство и переходят на циничный язык здравого смысла. Нет, их язык, понятия, кругозор – это смесь того и другого. Вероятно, как старая русская бюрократия и определенный тип политиков и властителей повсюду, они относятся к своей официальной доктрине, тем более – к верованиям остального мира скептически, а то и цинично; однако

некоторых, очень упрощенных марксистских положений они придерживаются. Я думаю, они искренне верят, что капиталистический мир обречен погибнуть от своих внутренних противоречий; что верный способ оценить силу, направление развития и перспективы общества – в некоторых «материалистических» социально-экономических критериях (определенных Лениным) и что эти критерии играют решающую роль в выработке и формулировке их собственной политико-экономической стратегии. Верят они и в то, что мир неумолимо марширует к коллективизму, что попытки остановить этот процесс или даже затормозить его свидетельствуют о незрелости или слепоте; что их собственная система, если только она достаточно долго продержится под бешеным натиском капитализма, в конце концов восторжествует и что, изменив в ней что-либо просто для того, чтобы сделать жизнь своих подчиненных лучше и счастливее, они обрекли бы на гибель самих себя, а может быть, – кто знает? – этих самых подчиненных. Другими словами, они мыслят в терминах марксистских теорий и категорий, но не с точки зрения изначальных целей или ценностей марксизма – свободы от эксплуатации и принуждения, классового или национального, – ни тем более с точки зрения индивидуальной свободы, высвобождения творческих сил, всеобщего благоденствия и т. п. Для этого они слишком грубы и безразличны к морали. У них нет религиозной веры; но не верят они и в какую-то особую пролетарскую мораль или логику истории.

Отношение к интеллектуалам у них до некоторой степени такое же, как у политических боссов во всем мире. Конечно, во многом оно обусловлено той позицией, которую занимают их лидеры – члены Центрального Комитета Коммунистической партии. Большинство из них помимо подозрений, которые они вообще испытывают ко всякому, кто имеет дело с идеями, как постоянному источнику потенциальной опасности, вообще чувствует себя неуютно с интеллигентами, испытывая к ним так называемую социальную неприязнь – ту самую, из-за которой наши профсоюзные деятели ощущают рядом с «умниками» и собственное превосходство и собственное ничтожество. Выше они тем, что считают себя практиками, глубже постигшими мир в тяжелой школе жизни; ниже – потому, что не умеют мыслить. Группа недоумков, которая вершит судьбами России (одного взгляда на Политбюро, теперь называемое Президиумом, достаточно, чтобы понять, что этим людям привычней митинги или трибуны, но не книжные полки), смотрит на интеллектуалов с тем же тяжелым чувством, как на хорошо одетых, воспитанных

дипломатов и журналистов, к которым она проявляет показную, неестественную вежливость, испытывая при этом зависть, презрение, прорывающееся иногда заискивание и огромную подозрительность. В то же время эти люди чувствуют, что у великой нации должны быть крупные ученые, увенчанные лаврами художники и соответствующие звания. Тем, кто достиг высот мастерства, они много платят, но неистребимое чувство собственного ничтожества поддерживает в них раздражение, непреодолимое желание припугнуть, ударить, оскорбить, публично унизить и напомнить про цепь, на которой они держат этих деятелей культуры, едва лишь те выкажут малейший признак независимости или собственного достоинства.

Некоторые интеллектуалы, конечно, принадлежат к высшим ступенькам иерархии, а остальные смотрят на них как на ренегатов, пособников власти, политиканов и дельцов, которые только притворяются образованными и творческими людьми. Разница между истинными писателями, которые могут говорить на нормальном человеческом языке, и литературными бюрократами – это опять-таки разница между правителями и подчиненными, самая глубокая и единственная граница в советской интеллектуальной жизни. Один из интеллектуалов-правителей, говоря вроде бы не о себе, а об интеллигенции вообще, сказал американскому журналисту, что она, интеллигенция, совсем не хочет, чтобы рабочим и крестьянам предоставили больше личной свободы. По его словам, если бы им дали слишком много свободы, на заводах и в деревнях могли бы начаться беспорядки – стачки, забастовки, а интеллигенция, самый уважаемый класс в советском обществе, не хочет, чтобы тот порядок, который гарантирует ей заслуженный престиж и обеспеченную жизнь, подвергался опасности. «Вы, конечно, понимаете?» – спросил он.

Итак, мы проследовали от XIX столетия, когда вся русская литература была негодующим обвинительным актом российской жизни, сквозь горькие, часто безнадежные, противоречия и смертельные поединки 20-х – начала 30-х, их страдания и энтузиазм. Из досталинских литераторов мало кто уцелел, это великие имена, но их немного. Ими отчасти восхищаются, как полумифическими фигурами из легендарного, но погибшего прошлого. Теперь наверху агрессивные, а часто и циничные полумарксисты вполне мещанского типа; посередине – тонкий слой подлинно цивилизованных, восприимчивых, неравнодушных, часто талантливых, но слишком запуганных, политически пассивных «специалистов»; а внизу – честные, впечатлительные, трогательно наивные, чистосердечные,

умственно голодные, снедаемые неутолимым любопытством, полуграмотные люди, ни с каким марксизмом не связанные. Такова в общем и целом нынешняя советская культура.

notes

Сноски

1

Ignatieff Michael. Isaiah Berlin. A Life. London: Vintage, 1998.

2

Статья Берлина «Русское народничество» была предисловием к исследованию итальянского историка, до сих пор непревзойденному: *Venturi Franco*. Roots of Revolution. tr. by Francis Haskell. N. Y., 1960.

3

Впервые: Вопросы литературы. 1993. № 6.

4

«A Remarcable Decade» © Isaiah Berlin 1955, 1956

мыслители (*фр.*).

искажения (*фр.*).

7

Герцен А.И. Былое и думы. Ч. IV, гл. XXV.

Анненков П.В. Замечательное десятилетие, гл. XXVI.

9

«Tolstoy and the Enlightenment» © Isaiah Berlin 1961

душой мира (*лат.*).

11

Скорее всего, имеется в виду Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751–1792), немецкий писатель «Бури и натиска», считающийся предтечей натурализма. – *Примеч. пер*.

образование, просвещение, воспитание (*нем.*). – *Примеч. пер.*

13

«В сегодняшнем обществе художники, – писал Кс. Жонсьер в «Ле Глоб» (8 апреля 1832 года), – никогда не понимали и не понимают союза поэзии и общества. Мы, напротив, хотим все увязать с политикой в широчайшем смысле этого слова. Не мешкая, мы сообразуем с ней все, что попадается к нам в руки. Литература наличествует в нашем мире, и она должна получить права гражданства и занять место в нашей политической жизни». Сравните со строками другого автора «Ле Глоб» (10 марта 1831 года): «Функция искусства, понимаемого в его священном смысле, состоит в том, чтобы беспрерывно сопровождать, предостерегать и побуждать человечество в его продвижении к все более прекрасному уделу, порой гармоничной музыкой, а иногда суровым и грубым голосом». Цитаты взяты из книги Джорджа Г. Иггерса «Культ авторитета» (*Iggers George G.* The Cult of Authority. The Hague, 1958. P. 173).

14

Готье Т. Мадемуазель де Мопен / Пер. Е. Баевской. М.: ТЕРРА, 1997. С. 21. Роман опубликован в 1835 году, «Предисловие» датировано 1834 годом.

«золотой середины» (*фр.*).

16

Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1974–1978 (далее СС). Т. 2. С. 225.

17

Там же. Т. 9. С. 146.

18

Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1959 (далее ПСС). Т. 7. С. 345.

Пушкин. СС. Т. 2. С 167.

20

Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968 (далее ПССП). Сочинения. Т. 14. С. 45–46.

21

Белинский В.Г. ПСС. Т. 3. С. 399.

Там же. С. 397.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 280.

Там же. С. 277.

25

Там же. С. 497.

Там же. С. 276.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 277.

28

Там же. Т. 6. С. 268.

29

Там же. Т. 12. С. 115.

30

Образ из 7-й главы поэмы Гоголя «Мертвые души».

31

Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 526.

32

Там же. Т. 10. С. 326.

33

Там же.

Там же. С. 326–327.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. С. 343–344.

Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1972. Т. 6. С. 427.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. С. 303.

Там же. С. 312.

39

См. выше, соответствующую сноску к этой статье.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 9. С. 78.

«Крик души» (*фр.*).

Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 267.

43

Там же. С. 269.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 569.

45

Там же. Т. 10. С. 311.

46

Там же. С. 312. Сравните с: ПСС. Т. 7. С. 311: «У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята, – произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое».

47

Хотя к 30-м годам XIX века слово «вопросы» широко использовалось по отношению к социальным проблемам, волновавшим русскую интеллигенцию, автором крылатого выражения «проклятые вопросы» был, по всей видимости, М.Л. Михайлов – в 1858 году, переводя стихотворение Гейне «Zum Lazarus» (1853–1854), он так передал по-русски слова «die verdammten Fragen» (см.: Стихотворения Гейне // Современник. 1858. № 3. С. 125, и с. 225 третьего тома собрания сочинений Гейне – «Heinrich Heines Samtliche Werke», вышедшего в издательстве «Oskar Walzel» (Лейпциг, 1913). Возможна и другая версия: эта точная калька со слов Гейне уже существовала, и Михайлов просто ею воспользовался. Однако мне не удалось найти его в печатных текстах до Михайлова. – *Примеч. ред. англ. изд.*

Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 503.

Mathewson Rufus W. The Positive Hero in Russian Literature. 2-d ed. Standford, 1975.

Ibid. P. 42.

51

См: *Mathewson Rufus W*. The Positive Hero in Russian Literature. P. 93; отрывок взят из письма Чехова Суворину от 27 октября 1888 года (Мэтьюсон приводит неверную дату).

52

Патер, Уолтер Горацио (1839–1894), английский теоретик эстетики. – *Примеч. пер.*

род занятий (*фр*.) Здесь – «профессиональные обязанности». – *Примеч. пер*.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 9. С. 78.

Там же. P. 77.

«Hineinfühlen» дословно «вчувствоваться» (*нем.*). – *Примеч. пер.* – «Herder's sämmtliche Werke». Берлин: Изд-во «Bernhard Suphan»; 1877–1913. Т. 5. С. 503. – *Примеч. автора*.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 12. С. 445.

Тургенев И.С. ПССП. Сочинения. Т. 6. С. 263.

59

Тургенев И.С. ПССП. Письма. Т. 1. С. 297–298 (письмо было написано по-французски).

Там же. С. 297.

Тургенев И.С. ПССП. Сочинения. Т. 5. С. 368.

Тургенев И.С. ПССП. Письма. Т. 2. С. 282.

Там же. Т. 3. С. 188.

Там же. С. 210.

65

Там же. Т. 11. С. 191. Под «кличкой» Тургенев подразумевает слово «нигилист».

«кризис веры» (*фр.*). – *Примеч. пер.*

Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 16 т. М., 1939–1953. Т. 3. С. 429–430.

Там же. Т. 5. С. 166.

Там же. Т. 2. С. 77.

«переживанием» (*нем.*).

71

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.; Л., 1928–1958, 1964. Т. 5. С. 271–272.

Там же. С. 272.

Там же. Т. 61. С. 100.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 47. С. 198.

Там же. С. 108.

Термин «нечистая совесть» (mauvaise foi) в его экзистенциалистском изводе восходит к «Бытию и ничто» Сартра. – *Примеч. пер.*

Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 284.

Белинский В.Г. ПСС. Т. 6. С. 284–286.

исповедание веры, кредо (*фр.*).

Короленко В.Г. История моего современника, гл. 27. Цит. по: *Короленко В.Г.* Собрание сочинений: В 5 т. Л., 1989–1991. Т. 4. С. 270.

81

Белинский В.Г. ПСС. Т. 7. С. 305. Редактор собрания сочинений Белинского не смог установить источник цитаты из Гете.

«Artistic Commitment: The Russian Legacy» © Isaiah Berlin 1996

83

Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1965; справ. т. 1966. Т. X1. С. 48. Все последующие ссылки на работы Герцена сделаны по этому изданию с указанием римской цифрой тома и арабской – страницы.

на свой страх и риск (*нем.*).

85

Письмо Д. Мадзини от 13 сентября 1850 г.

священная история *(лат.)*.

«С того берега»: VI, 124.

Там же: VI, 123.

благо народа (*лат.*).

90

Пусть погибнет мир, но да совершится правосудие (*лат.*).

91

«Письма из Франции и Италии», письмо 10-е: V, 175–176.

ребячество (*фр.*).

«С того берега»: VI, 125–126.

«Доктор Крупов»: IV, 263–264.

Там же: IV, 264.

96

Благо народа – высший закон, пусть погибнет мир, но да совершится правосудие (*лат.*).

«С того берега»: VI, 140.

«Письма из Франции и Италии», письмо 5-е: V, 89. См. также замечательный анализ всеобщего желания избежать интеллектуальной ответственности, сотворив себе кумира и преступив вторую заповедь, в работе «Новые вариации на старую тему» (Т. 11. С. 86–102), которая сначала была напечатана в «Современнике».

99

См. сноску 14.

«С того берега»: VI, 46.

101

Там же: VI, 35.

кредо (*фр.*).

103

Осужденные на смерть приветствуют тебя (*лат.*).

«С того берега»: VI, 34–35.

тотчас, без приготовления (*лат.*).

Там же: VI, 36.

107

«С того берега»: VI, 31.

Там же: VI, 32.

109

«С того берега»: VI, 94.

110

«Письмо о свободе воли» (сыну Александру): XX, 437–438.

111

«С того берега»: VI, 131.

«С того берега»: VI, 129.

113

Там же: VI, 51.

«К старому товарищу»: XX, 584.

115

Там же: XX, 578.

«С того берега»: VI, 472.

117

«К старому товарищу»: XX, 578.

118

«Письма из Франции и Италии», письмо 14-е: V, 211.

119

«С того берега»: VI, 104.

120

«Письма из Франции и Италии», письмо 14-е: V, 215–217.

в бельэтаже (*фр.*).

«С того берега»: VI, 58–59.

123

Там же: VI, 110.

«С того берега»: VI, 53.

125

«К старому товарищу»: XX, 576.

«Былое и думы»: XI, 70.

127

«Письма из Франции и Италии», письмо 4-е: V, 62.

«С того берега»: VI, 36, 91.

129

«С того берега»: VI, 130.

130

Там же: VI, 131.

131

Там же: VI, 119.

132

Там же: VI, 120.

133

Там же.

«К старому товарищу»: XX, 588.

135

Там же: XX, 588–589.

136

См. сноску 14.

137

«С того берега»: VI, 126.

138

Письмо Н.П. Огареву, 1–2 мая 1868 года.

139

«Былое и думы»: XX, 351.

140

«О развитии революционных идей в России»: VII, 15. Арнольд Руге был возмущен этим замечанием и горячо протестовал в своей записи по поводу этой статьи в 1854 году, когда он получил немецкое издание. См.: *Ruges Arnold*. Briefwecksel und Tagebuchblatter aus den Jahren 1825–1880 / Сост. P.Nerrlich. Berlin, 1886. Т. 2. С. 147–148.

141

«Русский народ и социализм: письмо господину Ж. Мишле»: VII, 330.

142

Все за одного и один за всех (*фр.*). «Письмо в редакцию журнала L'Egalité» // Oeuvres / Сост. J. Guillaume. Paris, 1911. T. 5. P. 15.

143

Цитата из воспоминаний А. Руге о Бакунине // Neue Freie Presse, апрель/май 1876 года.

144

«Три лекции для рабочих Валь-де-Сен-Эмье» // Oeuvres / Сост. J. Guillaume T. 5. P. 231–232.

145

Бакунин М. Кнуто-Германская империя и социальная революция // Избр. соч. Пг.; Мю, 1922. Т. 2. С. 235–236.

Там же. С. 236–238.

городу и миру (*лат.*).

148

См. его памфлет 1869 года «Заявление революционного вопроса» // *Бакунин М.А.* Речи и воззвания. М., 1906. С. 235–245.

149

Материалы для биографии М. Бакунина / Сост. В.А. Полонский. М., 1928. Т. 3. С. 43.

150

Там же. С. 121.

Там же. С. 122–123.

152

Герцен в письме Тургеневу от 10 ноября 1862 года справедливо назвал это «fatras бакунинской демагогии» (fatras – пустословие. – *фр*.).

153

Бакунин М. Государственность и анархия // Archives Bakounine / Сост. A. Lehning. Leiden, 1967. Т. 3. С. 358.

Там же. С. 317.

155

«Я шарлатан по натуре, – писал он в письме к царю, – но неестественное и неловкое положение (в котором, на самом деле, я сам повинен) делает иногда из меня шарлатана помимо моей воли» (Материалы для биографии М. Бакунина. Т. 1. С. 159).

большая Лиза (*нем.*). Так Герцен обычно его называл в честь своей трехлетней дочери, приятельницы Бакунина.

«Herzen and Bakunin on Individual Liberty» © President and Fellows of Harvard College, 1955.

158

Слова Белинского – *самодержавие, православие и народность* – перекликаются с официальной патриотической формулой, придуманной министром народного просвещения в ранний период правления Николая I. Последнее из этих слов – *народность* – очевидным образом воспринималось как русский эквивалент слова *Volkstum*; оно использовалось в этом контексте для противопоставления традиционных «нравов» обычных людей заимствованным, «искусственным» конструкциям «умников», появившимся под влиянием западного Просвещения. На практике оно означало официальный патриотизм, равно как и крепостное право, сословную иерархию и обязательство безоговорочно повиноваться императору и его правительству. Письмо Белинского – это резкое обвинение Гоголю в том, что он «искренне или неискренне» сыграл на руку мракобесию и реакции. Именно за чтение этого письма на тайном собрании подрывной организации был арестован и приговорен к смерти Достоевский.

добрый великан (*фр.*).

завсегдатаев (*фр.*).

161

Текст *Discours* от 1 октября 1883 года см. в: *Tourgueneff I.* Oeuvres derniиres, 2nd ed. Paris, 1885. P. 297–302.

162

Цит. по статье В.Г. Короленко «Гончаров и “молодое поколение”» // Полное собрание сочинений. Пг., 1914. Т. 9. С. 324; см.: Тургенев в русской критике. М., 1953. С. 527.

врага, предмет особого ужаса (*фр.*).

делом, ремеслом (*фр.*).

165

См.: Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 288–289 (письмо к К.П. Победоносцеву, 1881).

166

Шелдонский театр в Оксфорде, в котором 12 ноября 1970 года была прочитана сокращенная версия этой лекции.

167

Людвиг Питч описывает это событие, рассказанное ему Тургеневым. См.: Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884. С. 147. На Питча ссылается Е.А. Соловьев (И.С. Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность. Казань, 1922. С. 39–40), на которого в свою очередь ссылается Ж. Мурье. Последний, явно неверно истолковав Соловьева, считает, что это была мать Тургенева. См.: *Мурье Ж.* Ivan Serguéiévitch Tourguéneff à Spasskoé. Spb., 1899. С. 28.

Белинский В.Г. Речь о критике // Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 267, 269.

169

Письмо к Василию Боткину, 29 июня 1855 // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. М.; Л., 1960–1968. Письма. Т. 2. С. 282. Все цитаты из писем Тургенева взяты из данного издания, если не указано иначе.

170

Письмо Л.Н. Толстому, 29 января 1858.

171

Письмо Л.Н. Толстому, 8 апреля 1858.

172

«Сомнения <…> мучили [Белинского], лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости <…> искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде <…>». (Литературные и житейские воспоминания. Л., 1934. С. 79).

173

Герцен А.И. Концы и начала. Первое письмо, 1862 // Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1965. Т. 16. С. 138. Дальнейшие цитаты из сочинений Герцена приводятся по этому изданию.

174

Письмо к Герцену, 8 ноября 1862.

175

Там же. На эту тему см.: Письма К.Д. Кавелина и И.С. Тургенева к А.И. Герцену, изд. М. Драгоманов (Женева, 1892), письма Тургенева 1862–1863.

176

Письмо к Герцену, 8 ноября 1862.

177

Вступление к собранию романов, 1880 // Полное собрание сочинений и писем. М.; Л., 1960–1968. Сочинения. Т. 12. С. 303. Дальнейшие цитаты из сочинений Тургенева даются по этому изданию, если не указано иное.

178

Цит. по: *Джеймс Г.* Женский портрет. М., 1981. С. 510–511 (пер. М.А. Шерешевской). – *Примеч. пер.* Взгляд Джеймса на Тургенева см. также в *The Art of Fiction* (Oxford, 1948).

179

Его критически настроенный друг Герцен сказал, что Тургенев создал Рудина, «увлекаясь библейской привычкой Бога», «по своему образу и подобию». «Рудин, – добавил он, – это Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина» (Собр. соч. Т. 11. С. 359).

180

Этого отрывка нет в оригинальном издании 1860 года, но он включен в посмертное издание статей Добролюбова двумя годами позже. См.: Когда же придет настоящий день? // Добролюбов Н.А. Собр. соч. Т. 6. М., 1963. С. 126.

181

Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 14. С. 322.

182

Воспоминания Н.Г. Чернышевского цит. по: И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. 1. С. 356. Эта история записана Чернышевским через много лет, в 1884 году, по просьбе его двоюродного брата Пыпина, который собирал материал о радикальном движении в 1860-х годах; нет оснований сомневаться в ее точности.

183

Там же. С. 358.

184

Изначальный эпиграф к «Отцам и детям», который Тургенев позднее отверг. См.: *Mazon A.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev. Paris, 1930. P. 64–65.

185

Из письма к М.Е. Салтыкову-Щедрину, 15 января 1876.

186

Сорель утверждает, что эта фраза встречается в письме, которое, согласно экономисту Лухо Брентано, Маркс написал одному из его английских друзей, профессору Бисли. – Цит. по: *Сорель Ж.* Размышления о насилии. М., 1907. С. 65. Перевод под ред. В.М. Фриче (*Примеч. пер.*).

187

Тургенев называет эту книгу *Stoff und Kraft*.

188

Письмо к К.К. Случевскому, 26 апреля 1862.

189

Отцы и дети // Время. 1862. № 4. С. 58–84. См. также его эссе о Тургеневе в: Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом. СПб., 1862–1885.

190

И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 343.

191

И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 343–344.

192

Письмо к Тургеневу, цитируемое в сборнике «Литературные и житейские воспоминания» (С. 158).

193

См.: *Антонович М.А.* Асмодей нашего времени // Современник. 1862. Март. С. 65–154; *Базанов В.Г.* Тургенев и антинигилистический роман. Петрозаводск, 1940. Т. 4. С. 160. См. также: *Зелинский В.А.* Критические разборы романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева. М., 1894; *Тухомицкий В.* Прототипы Базарова. К правде. М., 1904. С. 227–285.

194

Письмо Л. Питчу, 3 июня 1869.

195

По поводу «Отцов и детей» (1869): Литературные и житейские воспоминания. С. 157–159.

196

Напр., в журнале «Оса» (1863. № 7). См.: *Клевенский М.М.* Иван Сергеевич Тургенев в карикатурах и пародиях // Голос минувшего. 1918. № 1/3. С. 185–218; Думы и песни Д.Д. Минаева. СПб., 1863.

197

Писарев Д.И. Базаров // Русское слово. 1862. № 3; Полное собрание сочинений. СПб., 1901. Т. 2. С.. 379–428; Реалисты (1864) // Там же. Т. 4. С. 1–146. Для интересующихся историей радикальных идей в России заметим, что именно спор о характере Базарова, возможно, повлиял на образ Рахметова в знаменитом дидактическом романе *Что делать?*, опубликованном в следующем году. Впрочем, нет оснований думать, будто Рахметов – не просто «ответ» на Базарова, но «положительная» версия тургеневского героя (как сказано в недавнем предисловии к одному из английских переводов романа). Самоотождествление Писарева с Базаровым указывает на линию расхождения между рациональным эгоизмом и потенциальной элитарностью «нигилистов» из *Русского слова* (вместе с их неоякобинскими союзниками 1860-х годов, самыми крайними представителями которых стали Ткачев и Нечаев), с одной стороны, и альтруистичным, искренне уравнительным социализмом *Современника* и народниками 1870-х с их острым чувством гражданского долга (которых Тургенев позднее попытался описать, не всегда удачно, в *Нови*) – с другой (см. по этому поводу *Frank Joseph*. N.G. Chernyshevsky: A Russian Utopia // The Southern Review, Baton Rouge. Winter 1967. С. 68–84). Это особенно явно выражается в споре между Ткачевым и Лавровым в 1870-х годах. Исторически Базаров значителен не потому, что он – прототип Рахметова, но потому, что он ему противоположен; хотя, согласно, по крайней мере, одному источнику, Тургенев не отрицал, что прототипом для обоих мог послужить один и тот же человек. В этом смысле возмущенные нападки Антоновича и позднее Шелгунова, пусть невоздержанные и не представляющие ценности как критика, небезосновательны.

198

Письмо к Тургеневу, 26 сентября 1861. Цит. в: *Архипов В.А.* К творческой истории романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» // Русская литература. 1958. № 1. С. 148.

Архипов В.А. Указ. соч. С. 147.

200

Там же.

201

Роман Тургенева и его критики // Русский вестник. 1862. № 5. С. 393–426; О нашем нигилизме: По поводу романа Тургенева // Там же. 1862. № 7. С. 402–426.

202

Герцен А.И. Еще раз Базаров // Собрание сочинений. Т. 20. С. 339.

203

Там же.

Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 11. С. 351.

205

Для полного анализа непосредственной реакции на роман см.: *З* (*Е.Ф. Зарин*). Не в бровь, а в глаз // Библиотека для чтения. 1862. № 4. С. 21–55.

Литература, в особенности полемическая, очень обширна. Среди самых характерных эссе можно назвать: знаменитое «Два нигилизма: Базаров и Санин» В.В. Воровского (1909) // Сочинения. М., Т. 2. С. 74–100; *Кин В.П.* Литература и марксизм. М., 1929. Т. 6. С. 71–116; *Пумпянский Л.В.* «Отцы и дети»: Историко-литературный очерк // Тургенев И.С. Сочинения. М.; Л., 1939. Т. 6. С. 167–186; *Ипполит И.К.* Ленин о Тургеневе. М., 1934; *Векслер И.И.* И.С. Тургенев и политическая борьба шестидесятых годов. М.; Л., 1935; *Архипов В.А.* // Русская литература. 1958. № 1. С. 132–162; *Бялый Г.А.* // Новый мир. 1958. № 8. С. 255–259; *Батюто А.И.* // И.С. Тургенев (1818–1883–1958): статьи и материалы. Орел, 1960. С. 77–95; *Пустовойт П.Г.* Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов XIX века. М., 1960; *Чернов Н.* // Вопросы литературы. 1961. № 8. С. 188–193; *Эгертон У.* // Русская литература. 1967. № 1. С. 149–154.

Перед нами образец непрекращающегося спора, в котором едкое упоминание Ленина о схожести взглядов Тургенева со взглядами немецких социал-демократов правого крыла постоянно цитируется и в подкрепление, и в опровержение идеи, что Базаров – прототип большевистских активистов. Очень много написано о том, пытался ли и до какой степени Катков переубедить Тургенева, чтобы тот переделал текст в «умеренном» направлении, очернив Базарова. Нет сомнений, что Тургенев изменил текст в результате этих просьб; однако, возможно, он восстановил, по крайней мере, что-то из оригинального варианта, когда роман печатался в виде книги. Его отношения с Катковым быстро ухудшались; Тургенев стал считать его злобным реакционером и не подал ему руки на мемориальном банкете в честь Пушкина в 1880 году; одной из любимых привычек Тургенева было называть мучивший его артрит катковкой. По этому поводу см.: Гутьяр Н.М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907; Базанов В.Г. Из литературной полемики 60-х годов. Петрозаводск, 1941. С. 46–48. Список «исправлений» в тексте, за которые несет ответственность Катков, воспроизводится практически в каждом исследовании тургеневских сочинений. См. также: Батюто А. Парижская рукопись романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» // Русская литература. 1961. № 4. С. 57–78.

Литературные и житейские воспоминания. С. 155.

208

Письмо к К.К. Случевскому, 26 апреля 1862.

209

И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 441.

210

Письмо к М.Е. Салтыкову-Щедрину, 15 января 1876.

211

Там же.

Литературные и житейские воспоминания. С. 155.

213

Там же. С. 157.

Герцен А.И. Еще раз Базаров // Собр. соч. Т. 20. С. 335–350.

215

Письмо к К.К. Случевскому, 26 апреля 1862.

216

Письмо от 18 апреля 1862.

217

Письмо к И.П. Борисову, 4 января 1870.

218

Письмо от 30 августа 1874.

219

Письмо к Марко Вовчку (Мадам Маркович), 27 августа 1862.

220

Из стихотворения в прозе «Услышишь шум глупца». Цит. П. Лавровым в: И.С. Тургенев и развитие русского общества // Вестник народной воли. Женева, 1884. Т. 2. С. 119.

самолюбие (*фр.*).

222

Письмо к Герцену, 4 июня 1867.

223

См.: письмо Достоевского к поэту А.Н. Майкову от 28 августа 1867 (цит. в: *Гутьяр Н.М.* Указ. соч. С. 337–340).

224

Письмо к М.М. Стасюлевичу, 3 января 1877.

225

См. блестящее эссе о Тургеневе в: Politics and the Novel. London, 1961.

226

Письмо от 23 ноября 1876.

227

См.: *Маркевич Б.* (под псевдонимом «Иногородный обыватель»). С берегов Невы // Московские ведомости. 1879. 9 дек.

228

Письмо в «Вестнике Европы» от 2 января 1880 года // Собрание сочинений. Т. 15. С. 185.

В 1863 году его вызвали обратно из Парижа, чтобы допросить в комиссии при Сенате в Санкт-Петербурге о его отношениях с Герценом и Бакуниным. Как мог он составлять заговор с этими людьми, – протестовал он, – он, который всю жизнь был монархистом, на которого вечно нападали «красные»? После «Отцов и детей», уверял он сенаторов, его отношения с Герценом, которые никогда не были очень близкими, «порваны». В этом была доля истины. Возможно, нет ничего удивительного в том, что Герцен (который не забыл отказ Тургенева подписать его и Огарева манифест, критикующий недостатки Указа об освобождении крепостных) имел право сослаться на «белокурую Магдалину мужского пола», которая не может спать ночью, потому что думает, что император не услышит ее раскаяния. Тургенев и Герцен виделись снова позже, но никогда больше не были в близком общении. В 1879 году Тургенев поспешил отречься и от любых связей с Лавровым и его товарищами-революционерами. Лавров тоже простил его. (По поводу отношений Тургенева с Лавровым и другими революционными эмигрантами см.: *Лавров П.Л.* И.С. Тургенев и развитие русского общества. С. 69–149; *Delines Michel* [M.O. Ashkinazy]. Tourguéneff inconnu. Paris, 1888. C. 53–75.

230

См. воспоминания Германа Лопатина в: И.С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. М.; Л., 1930. С. 124.

жестокий турецкий наемник.

232

Предисловие к изданию романов 1880 года // Собрание сочинений. Т. 12. С. 307–308.

233

Письмо к Герцену, 28 апреля 1862.

Лопатин Г. Указ. соч. С. 126.

235

Эту замечательную формулировку для различения либералов и радикалов см. в: Mathewson R.W. The Positive Hero in Russian Literature. New York, 1958.

236

Письмо в «Вестник Европы». См. также письма к Стасюлевичу, к Герцену от 25 ноября 1862 года и статью Ф. Волконского «Иван Сергеевич Тургенев» (Free Russia. Vol. 9. № 4 (1898). P. 26–29).

237

См. письма к графине Ламбер в 1864 году и к писателю М. А. Милютину в 1875 году, процитированные вместе с большим набором важных материалов в: *Горбачева В.Н.* Молодые годы Тургенева. Казань, 1926.

238

Сатирик Салтыков-Щедрин.

239

Литературное наследство. Т. 76. С. 332; И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. Предисловие. С. 36.

240

Автором памфлета был П.Ф. Якубович (цит. по: Тургенев о русской критике. С. 401).

241

Герцен А.И. Собр. соч. Т. 10. С. 319.

242

«К старому товарищу», письмо четвертое, 1869 // Собр. соч. Т. 20. С. 592–593.

243

Там же. С. 593.

244

Письмо к Герцену от 25 ноября 1862.

Тургенев И.С. По поводу «Отцов и детей». С. 159.

246

Цитата из «Довольно», речи, произнесенной им в 1864 году, которую потом спародировал Достоевский в «Бесах». См.: Собрание сочинений. Т. 9. С. 118–119.

Там же. С. 119.

Там же. С. 120.

249

Дневник А.С. Суворина / Под ред. М.Г. Кричевского. М.; Пг., 1923. С. 15–16. Эта запись за 1887 год – первая в дневнике друга и издателя Достоевского (и Чехова).

250

Ипполит Млодецкий совершил покушение на главу правительства 20 февраля 1880 года, через несколько недель после неудачной попытки Халтурина убить царя. Млодецкий был повешен через два дня.

251

Издатель этого текста, который он называет «фрагментом», упоминает отрывок из романа, в котором Иван Карамазов рассказывает своему праведному брату Алеше историю про генерала, который затравил собаками крестьянского мальчика на глазах у его матери; Иван спрашивает Алешу, хотел бы тот, чтобы генерала за это убили. Алеша после очень долгого молчания говорит, что хотел бы. «Браво», – говорит Иван.

«Fathers and Children: Turgenev and the Liberal Predicament» © Isaiah Berlin 1972

Vogué E.M. de. Le Roman russe. Paris, 1886. P. 282.

254

Фрагмент 201, цит. по: *West M.L.* (ed.). Iambi et Elegi Graeci. Oxford, 1971. Vol. 1

замечания, высказывания, фразы (*лат.*).

В данном эссе я намерен ограничиться почти исключительно той стройной философией истории, которая содержится в «Войне и мире», не принимая в расчет, к примеру, «Севастопольских рассказов», «Казаков», фрагментов неопубликованного романа о декабристах, разрозненных размышлений самого Толстого на эту тему – кроме тех случаев, когда они соответствуют взглядам, изложенным в «Войне и мире».

257

См.: *Богословский Е.И.* Тургенев о Л. Толстом. Тифлис, 1894. С. 41; цит. по: *Бирюков П.И.* Л.Н. Толстой: биография. 3-е изд. Берлин, 1921. Т. 2. С. 48–49.

Богословский Е.И. Указ. соч.

259

Письмо к Толстому от 11 июля 1883.

260

«Он повторяется, и он философствует» (*Flaubert Gustave*. Lettres inédites à Tourguéneff. Monaco, 1946. P. 218).

261

Фет А.А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 2. С. 175.

262

См. более чем нелицеприятную критику А. Витмера, весьма уважаемого военного историка, в книге «1812 год в “Войне и мире”» (СПб., 1869), и все более и более возмущенные ноты в современных критических откликах А.С. Норова, А.П. Пятковского и С. Навалихина. Первый принимал участие в кампании 1812 года и, несмотря на ряд фактологических ошибок, выдвигает достаточно существенные критические замечания в адрес Толстого. Мнение двух последних как литературных критиков, особого веса не имеет, но они, кажется, дали себе труд проверить некоторые относящиеся к делу факты.

263

См.: *Шкловский В.Б.* Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1927. Passim, но в особенности главы 7 и 8.

Ахшарумов Д. Разбор «Войны и мира». СПб., 1868. С. 1–4.

Напр., И. Ильин, Яковенко, Зеньковский и др.

Достойные исключения из этого правила представлены работами российских ученых Н.И. Кареева и Б.М. Эйхенбаума и французских ученых Э. Омана и Альбера Сореля. Из специально посвященных данной теме сочинений, насколько мне известно, заслуживают какого бы то ни было внимания только два. Автор первого из них, В.Н. Перцев («Философия истории Л.Н. Толстого», в кн.: «Война и мир»: сборник памяти Л.Н. Толстого / Под ред. В.П. Обнинского и Т.И. Полнера. М… 1912), слегка пожурив Толстого за неясности, преувеличения и непоследовательность, быстро возвращается на безопасную почву общих мест. Другой труд, «Философия истории в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”» М.М. Рубинштейна в «Русской мысли» (июль, 1911. С. 78–103), куда более основателен, но в итоге, как мне представляется, не приходит ровным счетом ни к чему. (Совершенно иное дело – мнение Арнолда Беннетта, о котором я узнал уже после того, как были написаны эти строки: «Заключительная часть Эпилога полна хороших идей, на какие дилетант просто-напросто неспособен. Конечно, с точки зрения критики они здесь лишние. Их и не замечают; но сам Толстой никак не мог без них обойтись. Ведь именно ради них и была написана книга» (The Journals of Arnold Bennett / Ed. Newman Flower. 3 vols. London, 1932–1933. Vol. 2, 1911–1921. P. 62). Что же касается неизбежных попыток соотнести взгляды Толстого на исторический процесс с различными течениями в позднем марксизме – с Каутским, Лениным, Сталиным и т. д., – их скорее нужно отнести к ведомству политических или теологических причуд, нежели к литературе.

267

Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив 1869. № 7. Стб. 181–192, 01–016 (*sic*), в особенности стб. 185–187.

268

«Проклятые вопросы» – выражение, ставшее в России XIX века своего рода клише для обозначения тех моральных и общественных проблем, которые всякий порядочный человек, а тем более каждый писатель, обязан рано или поздно поставить и тем самым оказаться в ситуации выбора, полностью осознавая свою ответственность за то, вступит он в борьбу либо повернется спиной к своим собратьям по человечеству. Термин *вопросы* широко использовался еще в 1830-е годы, но сочетание *проклятые вопросы*, кажется, ввел Михаил Михайлов, когда использовал его для передачи оборота «die verdammten Fragen» в «Zum Lazarus» Гейне (1853/54): см.: Стихотворения Гейне // Современник. 1858. № 3. С. 125; Heinrich Heines Sämtliche Werke / Ed. Oskar Walzel. Leipzig, 1911–1920. Т. 3. С. 225. Михайлов мог подчеркнуть при переводе тот факт, что уже существует русское выражение, совершенно аналогичное выражению Гейне, однако мне до сих пор не попадалось более раннее употребление его в печати.

269

Инструкции императрицы в адрес исполнительной власти.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1928–1964. Т. 46. С. 4–28 (18–26 марта 1847 г.).

271

Там же. С. 97, 113, 114, 117, 123–124, 127 (с 20 марта по 27 июня 1852 года).

Там же. С. 126, 127, 130, 132–134, 167, 176, 249; 82, 110; 140 (126–176: с 24 июня 1852 г. по 28 сентября 1853 г.; 249, 3 марта 1847 г.; 82, 110: 10 августа 1851 г., 14 апреля 1852 г.).

Там же. С. 123 (11 июня 1852 г.).

Там же. С. 141–142 (22 сентября 1852 г.).

Там же. Т. 1. С. 222.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 222.

277

Там же.

Назарьев В.Н. Люди былого времени // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. Т. 1. С. 52.

Там же. С. 52–53.

Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым… М., 1973. С. 188.

281

Война и мир. Эпилог. Ч. 1, гл. 1.

282

См.: Война и мир. Т. 4. Ч. 1, гл. 4.

283

См.: Война и мир. Т. 4. Ч. 1, гл. 4.

284

Война и мир. Т. 2. Ч. 3, гл. 1.

285

Ср. своего рода декларацию в его знаменитом – и воинствующе моралистическом – вступлении к изданию Мопассана, чьим даром он, несмотря ни на что, восхищался («Предисловие к сочинениям Гуи де Мопассана» // Цит. соч. Т. 30. С. 3–24). Гораздо менее высокого мнения он о Бернарде Шоу, чьи рассуждения на социальные темы он называет затасканными и плоскими (запись в дневнике от 31 января 1908 г. // Там же. Т. 56. С. 97–98).

286

Война и мир. Эпилог. Ч. 2, гл. 1.

287

Определенную разновидность кресел в стиле ампир до сих пор называют в России «талейрановскими».

общественным договором *(фр.)*.

289

Один из российских критиков Толстого, М.М. Рубинштейн, на которого мне уже приходилось ссылаться, утверждает, что всякая наука использует не подлежащие анализу термины для того, чтобы обозначить сферу деятельности других наук, и что «власть» как раз и оказывается ключевым необъяснимым понятием исторической науки. Однако Толстой уверен в том, что никакая другая наука не в состоянии его «объяснить», поскольку в том смысле, в котором его употребляют историки, этот термин попросту не имеет смысла, ни концептуального, ни вообще какого бы то ни было.

[объясняя] темное темнейшим *(лат.)*.

291

См.: Война и мир. Эпилог. Ч. 1, гл. 2.

См.: *Шкловский В.Б.* Цит. соч. (см. сноску 11). Гл. 7, 8; *Покровский К.В.* Источники романа «Война и мир» // Обнинский и Полнер. Цит. соч. (см. сноску 14).

293

Эдвард Гиббон (1737–1794), английский историк. Основной труд – «История упадка и падения Римской империи» (1776–1781) *(Примеч. пер.)*.

294

Генри Томас Бокль (1821–1862), английский историк. Находился под явным влиянием Джона Стюарта Милля. Автор неоконченного, написанного со столь нелюбезных Толстому позиций «научной истории» труда «История цивилизации» (1857–1861) *(Примеч. пер.)*.

295

Война и мир. Т. 4. Ч. 2, гл. 1.

Несколько слов по поводу книги: «Война и мир» // Русский архив. 1868. № 6. Стб. 515–528.

297

Война и мир. Т. 3. Ч. 3, гл. 1.

298

Эдмунд Берк (1729–1797), английский политик и политический философ. Наиболее известное его сочинение – «Размышления о революции во Франции» (1790) *(Примеч. пер.)*.

Цит. соч. (см. сноску 12).

Кареев Н.И. Историческая философия в «Войне и мире» // Вестник Европы. 1887. № 4 (июль – август). С. 227–269.

301

Там же. С. 230. Ср.: Война и мир. Т. 3. Ч. 1, гл. 1 («две стороны в жизни каждого человека»).

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Л., 1928–1931. Т. 1. С. 123–124.

Здесь – снова парадокс. «Бесконечно малые величины», интегрирование которых – задача идеального историка, должны быть в достаточной степени единообразны, иначе ничего не получится; в то же время чувство «реальности» именно и состоит в ощущении их уникальных различий.

В наши дни французские экзистенциалисты, исходя из сходных психологических мотиваций, ополчились на все объяснения как таковые, ибо те – не что иное, как наркотик, позволяющий заглушить серьезные вопросы, рассчитанный на недолгий срок паллиатив. Нам предлагается лечить им раны, которые невыносимы, но с которыми нужно стерпеться, и прежде всего – не отрицать их и не «объяснять»; ибо всякое объяснение – это отговорка, то есть отрицание жестоких реалий.

К примеру, Шкловский и Эйхенбаум, чьи работы уже цитировались выше.

306

«On n’a pas rendu justice à Rousseau… … J’ai lu tout Rousseau, oui, tous les vingt volumes, y compris le *Dictionnaire de musique*. Je faisais mieux que l’admirer; je lui rendais une culte véritable» («Руссо не воздали должного… Да, я читал всего Руссо, все двадцать томов, включая “Музыкальный словарь”. Я не только восхищался им, я поистине его боготворил» – *(фр.)*.

307

Мятежник, бунтарь *(фр.)*.

«Война и мир» *(фр.)*.

309

См.: *Boyer Paul* (1864–1949). Chez Tolstoy. Paris, 1950. P. 40.

Духа времени *(нем.)*.

См.: *Omodeo Adolfo.* Un reazionario. Bari, 1950. P. 40.

Цит. по: *Эйхенбаум Б.М.* Лев Толстой. Т. 2. С. 309.

См.: *Эйхенбаум Б.М.* Лев Толстой.

314

Война и мир. Т. 3. Ч. 2, гл. 6.

315

Война и мир. Ч. 1, гл. 3. Заметку на полях см. в цит. соч.

Жихарев С.П. Записки современника. М., 1934. Т. 2. С. 112–113.

317

Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Разговор седьмой: Цит. соч. Т. 5. С. 33–34. «Люди рассуждают о сражениях, не зная, что это в действительности такое. В частности, они имеют обыкновение считать, что все происходит в одном и том же месте, в то время как битва растягивается на два или три лье. Они всерьез спрашивают тебя: *Как же вы можете не знать, что происходило в этом сражении, если вы сами там были?* Тогда как обычно говорить приходится нечто совершенно противоположное. Разве тот, кто справа может знать о том, что происходит слева? Разве может он знать о том, что происходит в двух шагах от него? Я легко могу себе представить подобную жуткую сцену. На широком поле, усеянном всевозможными орудиями убийства и содрогающемся под ногами людей и лошадей, в огне и в клубах дыма, оглушенный и ошарашенный грохотом ружей и пушек, криками, в которых приказ, или ярость, или это крик предсмертный, окруженный мертвыми, умирающими, изувеченными трупами, охваченный попеременно то страхом, то надеждой, то яростью, пятью или шестью различными страстями - что происходит с таким человеком? Что он видит? Что он может понимать по прошествии нескольких часов? Что он может знать о себе самом или о других? Среди толпы бойцов, весь день проведших в сражении, часто не находится ни единого, не исключая генерала, кто знал бы, за кем осталась победа. Сошлюсь хотя бы на современные сражения, знаменитые битвы, память о которых будет жить вечно, битвы, которые изменили лицо Европы и которые были проиграны только потому, что такой-то и такой-то человек решил, что они проиграны; в этих битвах при тех же самых условиях и не пролив ни единой лишней капли крови ни с той, ни с другой стороны, другой генерал тоже мог заставить собственную страну петь *Te Deum* и нудить историю записать в анналы нечто противоположное тому, что отныне она будет гласить».

318

Les Soirées de Saint-Pétersbourg. С. 35. «Разве нам не доводилось видеть, как проигрывают выигранные битвы? … В общем, я считаю, что физически битвы не проигрывают и не выигрывают».

319

Там же. С. 29. «Точно так же, армия в 40 000 человек физически уступает другой армии в 60 000: но если первая храбрее, опытнее и дисциплинированней, она вполне в состоянии разбить вторую, поскольку меньшая масса означает большую мобильность – что мы и наблюдаем на каждой странице истории».

320

Там же. С .32. «Человеческий взгляд проигрывает битвы, он же их и выигрывает».

321

Les Soirées de Saint-Pétersbourg. «*Что такое проигранная битва? … Это битва, которую, как вам кажется, вы проиграли.* Нет ничего более верного. Когда один человек сражается с другим, он терпит поражение, если он убит или упал, в то время как другой остался стоять на ногах; с двумя противостоящими армиями дело обстоит иначе: одна не может быть убита, при том, что другая останется на ногах. И силы, и потери находятся в некотором равновесии, и в особенности после того, как изобретение пороха в значительной степени уравняло средства разрушения, сражения больше не проигрываются материально, то есть в силу того, что одна из сторон потеряла больше, чем другая: вот и Фридрих II, который кое-что понимал в этих материях, сказал: *Побеждает тот, кто наступает.* А кто наступает? тот, чья выдержка и чей боевой дух заставят противника отступить».

Там же. С. 33. «Воображение проигрывает битвы».

323

Письмо от 14 сентября 1812 года графу де Фрону: Там же. Т. 12. С. 220–221. «Редкая битва бывает проиграна физически – вы стреляете, я стреляю… … настоящим победителем, как и настоящим побежденным становится тот, кто считает себя таковым».

324

Война и мир. Т. 3. Ч. 2, гл. 25.

325

Sorel Albert. Tolstoп historien // Revue bleue 41 (январь – июнь 1888). P. 460–469. Эта лекция, переизданная затем в новой редакции в Сорелевых «Lectures historiques» (Paris, 1894), находится в совершенно не должном пренебрежении со стороны специалистов по Толстому; она могла бы существенно скорректировать взгляды тех (напр., П.И. Бирюкова и К.В. Покровского, в цитированных выше сочинениях, не говоря уж о критиках и историках литературы более поздних времен, которые едва ли не все ссылаются на их авторитет), кто избегает всякого упоминания о Местре. Эмиль Оман был едва ли не единственным из тогдашних ученых, кто проигнорировал вторичные влияния и обратил внимание на истинное положение вещей; см. его «La Culture française en Russie» (1700–1900) (Paris, 1910. P. 490–492).

Sorel A. Цит. соч. С. 462. Этот отрывок выпущен в издании 1894 года.

327

Там же. С. 10. *«Объясните, почему с точки зрения всего, безо всяких исключений человечества, самым благородным в мире делом всегда являлось невинное пролитие крови ни в чем неповинных людей?»*

Толстой посетил Прудона в Брюсселе в 1861 году, когда тот опубликовал работу под названием «La Guerre et la paix», тремя годами позже переведенную на русский язык. На этом основании Эйхенбаум пытается отследить в толстовском романе влияние Прудона. Прудон вслед за де Местром воспринимает причины войн как непостижимую и запретную для смертных тайну; в его трудах мы видим смесь иррационализма, пуританства, любви к парадоксам и общеруссоистского флера. Однако эти качества достаточно характерны для всей французской радикальной мысли, и в толстовской «Войне и мире» нелегко найти хоть что-нибудь от Прудона, если, конечно, не считать названия. Общее влияние Прудона на самые разные слои тогдашней русской интеллигенции, конечно, весьма ощутимо; так же легко, а по сути – много легче, доказать, что Достоевский или Максим Горький – потенциальные прудонисты. Однако это было бы пустой демонстрацией профессионального мастерства, ибо параллели носят самый смутный и общий характер, тогда как различия куда глубже, куда многочисленнее и специфичнее.

Другом палача *(фр.) (Примеч. пер.)*.

Однако и Толстой говорит, что миллионы людей убивают друг друга, зная, что это «физический и нравственный грех», потому, что это «необходимо»; «Поступая так, люди исполняли элементарный, зоологический закон»: Цит. соч. Стб. 526. Это уже чистейшей воды де Местр и очень далеко от Стендаля или Руссо.

да не обидятся, не в обиду будь сказано *(ит.)*.

Гречишке-голодранцу *(лат.)*.

писак и адвокатишек *(фр.)*.

не в возмущении Господь *(лат.)* (см. 3 Цар. 19:11; по синодальному переводу: «не в землетрясении Господь») *(Примеч. пер.)*.

Практически в том же смысле, который вложен в эту фразу в предложении, открывающем «О духе законов» Монтескье.

крайнее средство *(фр.)*.

Здесь: со всеми необходимыми оговорками *(лат.) (Примеч. пер.)*.

как таковой *(лат.)*.

с землей и с мертвыми *(фр.)*.

доводам сердца *(фр.)*; выражение из «Мыслей» Паскаля *(Примеч. пер.)*.

«The Hedgehog and the Fox» © Isaiah Berlin 1953, second edition © The Isaiah Berlin Literary Trust and Henry Hardy 2013, editorial matter © Henry Hardy 2013ff

Образование для него – это «деятельность, основанная на человеческой потребности в равенстве и в непреложном законе роста образованности», каковой он истолковывает как постоянное выравнивание знаний, которые постоянно возрастают, ибо я знаю то, чего не знает ребенок. Более того, каждое поколение знает, о чем думало предшествующее поколение, не имея при этом понятия, о чем будут думать поколения грядущие. Равны учитель и ученик, и стремление к этому, на его взгляд, само по себе ведет к прогрессу, то есть мы все больше и больше знаем, что такое человек и что ему следует делать.

золотой молодежи (*фр.*).

Толстого просто бесят знаменитые слова Мопассана (которые он цитирует), что обязанность художника состоит не в том, чтобы развлечь, позабавить, растрогать, поразить читателя, заставить его мечтать или задуматься, улыбнуться, заплакать, содрогнуться, но *(faire) quelque chose de beau dans la forme qui vous conviendra le mieux d'après votre tempèrament* [сотворить что-нибудь прекрасное в той форме, какая больше подходит вашему темпераменту (*фр.*)].

Михайловский утверждает, что в «Поликушке», одном из лучших рассказов Толстого, сочиненном тогда же, когда и статьи о воспитании, тот представляет трагическую смерть героя как неизбежное следствие вмешательства в жизнь крестьян доброхотной, но тщеславной и глупой помещицы. Доводы его очень убедительны.

образование (*нем.*).

Некоторые марксистские критики, в особенности Лукач, считают, что эти противоречия выражают средствами искусства кризис российского феодализма, особенно – в том, что касается крестьян, чье тяжелое положение постоянно тяготило Толстого. Взгляд их представляется мне излишне оптимистическим: тогда, чтобы все эти дилеммы безвозвратно ушли в прошлое, достаточно было бы разрушить тот мир, в котором жил Толстой. Читатель может сам судить, так это или не так.

«Russian Populism» © Isaiah Berlin 1960

переворот *(фр.)*.

В «Il populismo russo», переведенном на английский как «Roots of Revolution» (Лондон, 1960), Франко Вентури очень кстати приводит статистику народников, которая кажется вполне правдоподобной. В соответствии с ней пропорция крестьян и помещиков составляла 341:1, земля, которой владели крестьяне и их хозяева, находилась в отношении 1:112, а их доходы – 2.5:97.5; в промышленности пропорция городских рабочих к крестьянам была 1:100. Имея эти цифры, Маркс, наверное, уточнил бы, что его прогноз касается западной экономики и вовсе не обязательно относится к России, даже если его русские ученики не считаются с этим, настаивая на том, что капитализм делает большие успехи в России и скоро уничтожит различия, которые отделяют его от Запада. Эту теорию развивал Плеханов (который упорно отрицал, что Чернышевский был народником); в соответствии с ней действовал и Ленин.

«The Silence in Russian Culture» © Isaiah Berlin 1957

мятежники (*фр.*).

идеологам *(фр.)*.

Utis O. Stalin and the Art of Government // Foreign Affairs. 1952. January. – См. статью «Генералиссимус Сталин и искусство властвовать» в наст. изд. *(Ред.)*

неряшливость, небрежность *(нем.)*.

Милован Джилас приводит убедительные доводы в защиту этого утверждения в своей книге «Новый класс» («The New Class» New York: Praeger, 1957). Называть ли эту систему государственным капитализмом (когда государство – какое угодно, только не демократическое), или «государством дегенеративных рабочих», или неприкрытой аристократией – это вопрос о подходящем ярлыке. Сами факты – вне сомнения.

К примеру, чтобы показать, что произведения Томаса Лав Пикока могли появиться только в той экономической ситуации, которая сложилась в Англии к началу XIX в.; или что эта экономическая ситуация сделала появление других произведений, к примеру Олдоса Хаксли, неизбежным через столетие.

игра (шутка) истории (*лат.*).

359

«Generalissimo Stalin and the Art of Government» © Isaiah Berlin 1952

Проблема вовсе не была чисто теоретической и возникла не на пустом месте, иначе говоря, Сталин и его сподвижники пришли к ее решению не путем абстрактных размышлений об устройстве истории и ее законах. Когда разгул первого большевистского террора и «военного коммунизма» сменился компромиссами новой экономической политики, перед лидерами большевиков во всей красе предстала перспектива повторения в их собственном государстве событий Великой французской революции или даже, скорее, революции 1848–1849 годов. Им регулярно об этом напоминали, особенно их иностранные оппоненты. Таким образом, политика, о которой идет речь, родилась, как и все наиболее значительные изобретения, в силу острой насущной необходимости.

Среди них то и дело попадаются сами вчерашние ортодоксы. Можно лишь гадать, какая судьба уготована профессору Кону, который летом 1951-го, в период «послабления», пытался защитить историю от нападок ультрамарксистов 1946–1947 годов.

Мы не утверждаем, что один лишь Сталин стоит за всеми или даже за значительной частью политических решений Советского Союза. Никакая система столь огромных масштабов, какой бы «монолитной» она ни была, не может управляться целиком одним человеком, каковы бы ни были его способности. Но, с другой стороны, у нас нет ни малейших оснований полагать, что помощники Сталина, хотя бы они и доказали свою компетентность под его руководством, окажутся более способны продолжать действовать его методами, нежели это были способны делать помощники Ивана Грозного и Петра Великого, в руках которых системы обоих правителей рассыпались в прах за очень короткое время. С третьей же стороны, мы можем привести положительный опыт кемалевской Турции. Время покажет.

Вероятно, автор имеет в виду население всех социалистических стран, вместе взятых. – *Примеч. пер.*

Доклад, составленный И. Берлиным для британского правительства в 1945 г. (*Прим. ред.*)

«The Arts in Russia under Stalin» © The Isaiah Berlin Trust 1997, 2000, 2006

366

Первые два наркома просвещения. Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), драматург и литературный критик, отвечающий за реформу образования при новой экономической политике Ленина, пока в 1929 году Сталин не сместил его с этого поста. Андрей Сергеевич Бубнов (1883–1938), большевик левого крыла (троцкист), позднее перешел на сторону Сталина и занимал этот пост до 1937 года.

367

Евгений Багратионович Вахтангов, артист, режиссер и театральный педагог, ученик Станиславского, известен своей новаторской работой в Московском Художественном театре в начале 20-х годов.

Левый фронт искусства.

369

Ежовский террор, наиболее неистовая фаза описанных здесь чисток, указывает на произвольные репрессии, организованные Николаем Ивановичем Ежовым, главой НКВД (предшественника КГБ) в 1936–1938 годах.

370

Дора (Фанни) Каплан в действительности была расстреляна через четыре дня после ее ареста 4 сентября 1918 г., Мейерхольд был расстрелян 2 февраля 1040 года

371

На самом деле 31 августа 1941 года.

произведения на случай (*фр.*).

Олдридж, австралийский коммунистический писатель-романист, опубликовал «Signed with their Honour» (1942) и «The Sea Eagle» (1944). Первый и наиболее известный роман рабочего писателя Гринвуда «Love on the Dole» (1933).

Эти писатели, сейчас совершенно забытые и не читаемые, входили в число наиболее успешных и широко читаемых представителей социалистического реализма. Тогда хорошо знали роман Катаева о пятилетке «Время, вперед!» (1932), «Цемент» (1925) Гладкова, «Барсуки» (1924) Леонова, «Севастопольская страда» (1937–1939) Сергеева-Ценского, «Разгром» (1925–1926) Фадеева и «Любовь Яровая» (1926) Тренева. Первым секретарем и председателем Союза советских писателей в 1946–1954 гг. был беспощадный *аппаратчик* Александр Александрович Фадеев (1901–1956)

благонамеренные (*фр.*).

blasé – пресыщена, устала (*фр.*).

Более точно – «социалистический символизм», который позволил бы писателю говорить о чем-нибудь кроме тракторов и доменных печей, сохраняя политическую лояльность.

романы о нравах (*фр.*).

Впервые: Slavica Hierosalimitana. 1981. 5/6. Благодарим издательство «The Magnes Press» за любезное разрешение републиковать это эссе в том переводе, который был авторизован И. Берлиным.

Я считаю своим долгом выразить глубокую благодарность г-же Аманде Хэйт, д-ру Георгию Каткову, д-ру Эйлин Келли, д-ру Робину Милиер-Галланду, проф. Дмитрию Оболенскому, г-ну Питеру Оппенгеймеру, г-же Жозефине Пастернак, г-же Лидии Пастернак-Слэйтер, г-ну Джону Симмонсу, г-же Патриции Утехиной и в особенности моей жене. Все эти лица любезно согласились прочесть первый вариант этой статьи. Почти все их заметки и указания мною учтены и оказались весьма полезными. Разумеется, за все возможные недостатки несу ответственность лишь я один.

381

«Meetings with the Russian Writers in 1945 and 1956» © Isaiah Berlin 1980

382

Цит. по: *Мандрыкина Л.А.* Ненаписанная книга: Листки из дневника А.А. Ахматовой // Книги. Архивы. Автографы. М., 1973. С. 57–76. Цитату см. на с. 75. Статья Мандрыкиной основывается на материалах из архива А.А. Ахматовой в Государственной публичной библиотеке (Ф. 1073. № 47–69). Цитата взята из листа 2, № 47.

Я никогда не вел дневника, и в этих заметках опирался на то, что помнил непосредственно во время работы над настоящим текстом, или на то, что, как мне помнилось, я хранил в памяти в течение последних тридцати с лишним лет и не раз рассказывал друзьям. Я слишком хорошо знаю, что память, во всяком случае, моя память, – не всегда надежный свидетель событий и фактов. В особенности это касается разговоров, которые я иногда пытаюсь здесь приводить дословно. Могу лишь сказать, что я записал все факты в точности так, как я их помню. Я буду рад любым документальным или иным свидетельствам, в свете которых настоящее изложение сможет быть дополнено или исправлено.

Незадолго до нашей встречи Эйзенштейн получил строгий выговор от Сталина, которому показали вторую серию «Ивана Грозного». Как я узнал, он выразил свое неудовольствие в связи с тем, что в фильме царь Иван (с которым Сталин, возможно, до некоторой степени отождествлял самого себя) был показан как психически неуравновешенный молодой властитель, глубоко потрясенный раскрытием предательства и заговора со стороны бояр и разрываемый внутренними муками, когда ему приходится прибегнуть к жестоким преследованиям своих врагов, чтобы спасти государство и собственную жизнь. Все это превращало его в одинокого, мрачного и маниакально подозрительного тирана, в то время как он вел свое царство на вершину величия.

«Сквозь дым костров» (1943). – *Примеч. ред.*

Я спросил Андре Мальро об этом много лет спустя. Он сказал, что не помнит этой речи.

Щербаков позднее стал одним из могущественнейших членов сталинского Политбюро и умер в 1945 году.

В 1956 году он уже прочел одну или две пьесы Сартра, но ни одной вещи Камю, который был объявлен реакционером и профашистом.

музыкальной шкатулкой (*фр.*).

390

См.: *Мандельштам Надежда*. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 15–16 и глава «Истоки чуда».

391

Согласно Лидии Чуковской, Ахматова и Надежда Мандельштам считали, что в этой ситуации «он вел себя на крепкую четверку».

Оксфордский колледж, в котором учился Рандольф.

393

См., напр.: *Мандельштам Н.* Вторая книга. Париж, 1972. С. 102–103.

Подобная же формула, но совершенно в другом контексте, была употреблена критиком Борисом Эйхенбаумом в его лекции 1923 года, где он говорил о переплетении эротических и религиозных мотивов в ранней поэзии Ахматовой. Она снова появляется в недоброжелательной статье об Ахматовой в советской «Литературной энциклопедии», откуда она перекочевала, в карикатурном виде, в ждановские анафемствования.

«Дон Жуана» и комедии дель арте (*ит.*).

См. подробнее в Приложении.

До меня она общалась лишь с одним иностранцем – графом Юзефом Чапским, знаменитым польским критиком, которого она встретила во время войны в Ташкенте.

Haight Amanda. Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage. Oxford, 1976. P. 146.

399

«A Note on Literature and the Arts in the Russian Soviet Federated Socialist Republic in the Closing Months of 1945» находится в публичном архиве F.O. 371/56725. См. статью «Литература и искусство в России при Сталине» в наст. изд. *(Ред.)*.

«The Soviet Intelligentsia» © Isaiah Berlin 1957

непременные (*лат.*).

Даже «оппозиционный» литературный альманах «Литературная Москва» в этом отношении такой же – это и не «чистое» искусство, и не альтернативная, пусть даже завуалированная, политическая линия. Его «подозрительные» статьи защищают общечеловеческие ценности.

самим [этим] фактом (*лат.*).